

ISSN 0130 - 6545

2. 1983

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА







ЛЯТИФ АХМЕД ГАФУРИ. Горный пейзаж. 1981

*Цветные иллюстрации номера~  
работы афганских художников*

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

■  
ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■  
ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

Содержание

2 февраль  
1983

ЯРОМИРА КОЛАРОВА — Вода! (Главы из романа. Перевод с чешского В. Андриянова и Н. Зимяниной)	3
ВАШКУ КАБРАЛ — Стихи (Перевод с португальского и вступление Владимира Резниченко)	62
УРСУЛА ХОЛДЕН — Узы денег (Роман. Перевод с английского и вступление К. Чугунова)	67
ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ — Из книги «Динарская бабочка» (Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича)	159
<b>Литературное наследие</b>	
ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Лирика (Перевод с английского Г. Кружкова и А. Ливерганга. Предисловие Е. Гениевой)	165
<b>Критика</b>	
А. ПЕТРИКОВСКАЯ — Говорит абориген	171

## Наш календарь

- Уроки великого романиста (К 200-летию со дня рождения Стендаля)  
О. ТИМАШЕВА — Философ, лирик 179  
Ю. КАГРАМАНОВ — В поисках нравственного идеала 182

## Трибуна переводчика

- Л. ЭЙДЛИН — Поэзия Ай Цина и ее перевод 186

## Наши интервью

- Н. Попова — Питер Устинов, его роли и книги 191

## Культура и современность

- К. Мядо — 1982: французы и музыка 196

## Публицистика

- Проблемы идеологии  
Г. ШАХНАЗАРОВ — Антиутопия и жизнь 199

## Документальная проза

- СААДИ АЛЬ-МАЛЕХ — Бейрутский дневник (Перевод с арабского Е. Стефановой) 210

## Антирубрика

- ЛУКА ГОЛЬДОНИ — Рассказы (Перевод с итальянского Екатерины Бочарниковой) 222

- Советская литература за рубежом 229, 243

## Наши гости

- С. Фадеев — Миклош Хубай, Дюла Фекете, Андраш Фодор (Венгрия) 230  
Г. Ротенберг — Тонино Гуэрра (Италия) 232

## Среди книг

- Издано в СССР  
Вадим Климовский — Трагический бурлеск Винчен-та Шиккулы ◆ Олег Алякринский — Путешествие в поэтическую Канаду 236

- Издано за рубежом  
Иоаким Г. Бэр — Что такое американский Юг? 241

- Из месяца в месяц 244

- Авторы этого номера 255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы афганских художников АСЛАМА АКРАМА «Бозкаши» (1981) и КАМАРОДИНА ЧЕЖТИ «Образец каллиграфии» (1981).





# ЯРОМИРА КОЛАРОВА

## Вода!

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с чешского В. АНДРИЯНОВА и Н. ЗИМЯНИНОЙ

### От автора

В Оставу мы приехали вскоре после войны, полные энтузиазма. Поселились с тремя детьми в одном из первых домов первого микрорайона и на себе испытали тяготы послевоенной жизни... Но помнятся те годы не столько трудностями, сколько радостью личного участия в перестройке грязного, заброшенного города угля и железа в прекрасную столицу Северо-Моравской области. Я видела, как на месте рабочих колоний вырастали целые районы новостроек, у меня на глазах рождался новый город — Гавиржов, строился металлургический комбинат имени Клементя Готвальда — первая стройка социализма, открывались новые шахты.

Я прожила в Оставе 15 лет и считаю ее своим вторым родным городом. И теперь Острава притягивает меня, и я чувствую себя в долгу перед ней.

События моей книги происходят в начале 60-х годов, когда из потока разнорабочих начинали складываться горняцкие коллективы. В основу сюжета легли подлинные события. На одной из шахт со старой выработки прорвалась вода и отрезала бригаду горняков. Вся Острава помогала их спасать. К сожалению, шахтеры, попавшие в беду, считали, что они брошены на произвол судьбы и должны выбираться собственными силами. Своей книгой мне хотелось сказать, что человек никогда не бывает одинок, даже если он сам так думает, всегда найдутся люди, готовые и способные прийти на помощь.

В сегодняшнем мире все мы ощущаем нависшую угрозу, но мы не должны поддаваться панике, нужно сохранять спокойствие и возлагать надежду на силу человеческой общности, которая и есть спасение. Именно эта вера в силу человеческого духа и составляет пафос моей книги о шахтерах.

**Н**изкое зимнее солнце выбелило желтые занавески, пройдя через узкую щель, золотой чертой перерезало висящую на стене картину.

Вера сладко потянулась. Глядя на полоску солнца, нащупала будильник. Поддесятого. Хотела вскочить с кровати, но тут же передумала — на семинар все равно уже поздно.

Ей было жарко, она высунула ноги из-под одеяла. Солнце упало на руку, блеснул коралловый лак. Вера оживилась, стала подставлять лучику один палец за другим, довольная своим вкусом: ей

пришлось долго подбирать лак в тон помаде — не какого-нибудь там кроваво-красного, а именно этого изысканного цвета.

Вдоволь налюбовавшись ногтями, подставила солнцу всю руку, бриллиантик подаренного Михалом кольца сверкнул маленькой радугой. Она бездумно забавлялась ею, перемещая ее с пододеяльника на колени, с колена на стену. Солнечный зайчик остановился в распахнутом настежь шкафу.

Носки он искал? Носки или кофе? Кофе или носки? Напрасно пытаюсь вспомнить, чем началось сегодняшнее утро, она в конце концов рассмеялась рассыпчатым, счастливым смехом. Кистью руки мягко провела по щеке, подбородку, шее, но все это было не то: сонная кожа помнила другие прикосновения. Михал, он такой сильный, такой нежный!

А новый знакомый? Поджав губы, она фыркнула. Тоже мне, красавец, думает, я брошусь ему в объятия. А вообще-то он и впрямь ничего, этого у него не отнимешь. Капитан!

— «Капитан, что делать с вашим кораблем...» — снова пропела она, подражая модной певице.

А что, капитан, подумала Вера, мог бы тебе достаться кусочек — пальчики оближешь. Но меня так просто не купишь.

Она болтала в воздухе длинными, стройными ногами, на гладкой коже ни пятнышка.

Между прочим, я замужем, отрезала она, когда во время танца он предложил ей увидеться. Танцевал он, правда, как бог, весь мир расплылся, осталось одно — чувство ледящего кровь полета. Какое мне дело, ответил этот сумасшедший, его дыхание приятно пощекотало шею. А вас это что, тяготит? Нисколько не тяготит, услышала она свой собственный голос, показавшийся ей чужим. Ей хотелось сказать вовсе не то, ни о каком свиданье не могло быть и речи, но кто-то будто подсунул другие слова.

— «Капитан, что делать с вашим кораблем...» — снова пропела Вера. — И никаких претензий, дорогой капитан.

Постель Михала уже остыла, на одеяле лежал дырявый носок. Она брезгливо взяла его кончиками пальцев и забросила подальше.

Нет, уж если и есть в ком настоящая сила, так это в Михале, подумала Вера и улыбнулась: как это прекрасно — поддаться уверенным, крепким рукам и лететь во тьму, в неведомое, за пределы привычных ощущений. Куда там какому-то капитану!

Она отдернула занавеску, отступив в тень. Во дворе, сбившись в кучку, стояли женщины. На деревьях лежал иней, на осыпавшейся новогодней елке развевались цветные блестящие нити, воробьи прыгали вокруг опрокинутой урны.

— «Капитан, что делать с вашим кораблем...» — не давал ей покоя шлагер.

В ванной Вера стянула с себя прозрачную сиреневую рубашку. Шикарная вещица. Увидев ее на жене в первый раз, Михал вытаращил глаза, поперхнулся и хрипло сказал: ну, смотри, Верка, в этом ко мне лучше не приходи. А ей так хотелось покружиться перед ним в этой сиреневой паутинке.

Она встала под душ, пустила теплую воду. Красота! Что может знать какой-то там капитан о ее жизни? Ему, видите ли, дела нет, что я замужем, а как увидел Михала — тут же смылся. Да стоило мне медвежонку слово шепнуть — не собрать бы капитану своих косточек... Но улыбка у него приятная, губы, должно быть, мягкие и горячие...

Выскользнув из-под душа, она принялась растираться жестким полотенцем, отгоняя от себя шальные мысли. «А вас это что, тяготит?» — так и лезло в голову. «Нисколько не тяготит». Да она же совсем другое имела в виду: наоборот, с Михалом хорошо, дорогой капитан. До чего ж самонадеян этот дурак! Ну и пусть себе торчит



у педфака, все равно я уже не успеваю. И на семинар тоже. Если меня не вышибут теперь, не вышибут уже никогда. Хоть бы какой-нибудь старичок вел, можно было бы выкрутиться, а с бабой умрешь — не договоришься.

Ну и что? Вышибут так вышибут, вешаться, что ли? Надо было хоть Власте позвонить, чтобы отметила в журнале или передала, что я отпросилась.

Скомканное полотенце, не долетев до батареи, упало на пол. Вера уставилась на себя в зеркало. Светло-голубые глаза почти без бровей, розовые щечки, нос пуговкой, ротик — хоть пустышку суй.

Знаешь, Вер, говорил ей Михал, у нас с тобой просто чудеса в решетке: вечером с женщиной ложусь, а утром пацанка какая-то под боком, прямо страшно становится — вдруг ты несовершеннолетняя.

Но утром чаще всего он вставал первым, уже научившись глушить будильник раньше, чем тот успевал зазвонить. А она просыпалась оттого, что щека соскальзывала на прохладное одеяло или когда он задавал какой-нибудь ерундовый вопрос. Как сегодня. Кофе! Наконец-то она вспомнила. Банка с кофе со вчерашнего вечера так и осталась лежать в сумке, этого он, конечно, не сообразил. Ну и бабда, а наорал-то...

Распушив волосы, пристально разглядывая свое пока еще ненакрашенное лицо, Вера нашла себя вполне достойной кисти художника. Она повернулась, махнув полами халата, и, чистенькая, новенькая, отогнавшая грешные мысли, отправилась пить кофе.

Одного ей было жаль — никто так и не оценит ее жертвы, в конце концов, нельзя же было раструбить всему свету, что уже через три месяца после свадьбы она назначила свидание другому. Боже упаси Михалу проговориться.

Она оглянулась: никого, кроме нее, в комнате не было. Но на какое-то мгновение ей показалось, что Михал рядом, смотрит на нее, читает ее мысли. Взгляд его ни с того ни с сего леденеет, лицо застывает, горячие мускулы напрягаются, беспощадный, огромный, как скала, он вот-вот в бешенстве обрушится на нее.

Вера закусил губу, на халат выплеснулся кофе, оставив на колоне жгучий след, она послонила больное место.

А собственно, почему бы ему и не сказать? Надо держать их на коротком поводке, а мне и нитки хватит, макаронины вареной. Золотого колечка.

Продень в ноздри, донимал ее на Новый год Зденек, да и верти себе как хочешь. Он не побоялся сказать это вслух, чтобы все слышали. В ней шевельнулись страх и любопытство. Все уже были навеселе. Но Михал ее просто удивил — только посмеялся совету: самоуверенность из него так и лезла.

Она даже обиделась. Над столом стоял едкий дым. Компания собралась та еще, то один, то другой ржали, как лошади. Только старик Пёнтек все больше моргал да потягивал ром. Лишь изредка он щурился, и она чувствовала на себе его острый взгляд, как чувствуют прикосновение холодного, страшного лезвия — оно не ранит, но по всему телу бегут мурашки.

Вам в уборную не надо? — шепотом спросила ее Рогленова и, схватив за руку, потащила за собой. Вот корова, вылила на себя флакон французских духов и воняет теперь так, что в нос шибает. Мало того, прямо в коридоре она задрала юбку, мол, поглядите, что мне Рудольф кушил. Вот ведь как любит. Сквозь кружева просвечивал жирный живот. Тьфу, да и только!

Веселились всюю, жены сбились в кучку, смакуя вишневую наливку и кудахча обо всем на свете: полуночное шампанское развязало им языки. Только беременная Милушка Стшалкова, сцепив руки на высоком животе, пила лимонад и участливо кивала то налево, то направо, сдерживая зевоту и отрыжку от избытка газировки. На

Стшалкову Вера не сердилась, пирушку-то не она — Яречек ее драгоценный затеял, отличиться захотелось. Мужиков он, пожалуй, сколотит, а вот жены скорее всех перессорят. Да что там Милушка, она еще ничего, но вот что у меня общего с Рогленшей, а ведь придется вместе ходить в театр, в кино. Или с Выметалихой. Эта — просто образцово-показательная жена, чистехонькая, волосок к волоску подобран, наглаженная, накрахмаленная, вон, села возле Пицмаусовой и трещит на своем глушинском<sup>1</sup> диалекте, а та, хоть и не понимает ни слова, всему поддакивает, свеженькая шестимесячная завивка торчит у нее во все стороны. В ответ начинает своего расхваливать, какой, мол, умник-разумник, не пьет, не курит, любая работа в руках горит, и цену себе знает, вот бы таких мужей дочерям. Она и их притащила с собой — двух крысят в платьях, — ни дать ни взять ночные рубашки, одна в розовом, другая в голубом. Мамаша по очереди вешала дочек на шею покорного Йожина — танцевать с ними никого не тянуло.

Несчастный Йожин наступал им на изящные туфельки, Вера выводиала его, вспотевшего, красного от напряжения, и шепнула: вам, похоже, уголь легче добывать, а бедняжка так и вперился в нее своими помутневшими телячьими глазами, так они же меня заставляют, признался он жалобно. А теперь я вас заставила, словно извиняясь, сказала Вера, но Йожин изо всех сил замотал головой, кадык вылез из великоватого воротника, и он затянул потуже галстук, да так, что, казалось, вот-вот задохнется.

Танец кончился. Тут же перед Верой возник Зденек, отодвинув приятеля в сторону. Было далеко за полночь, танцевали только они двое, ритм увлек ее, и она больше не чувствовала веса своего тела, не видела ничего вокруг, все мысли улетучились, осталась только непонятная тоска.

Когда оба опомнились, Вера вся была обмотана серпантинном, усыпана конфетти, она тряхнула головой, и Зденек, ловя маленькие цветные кружочки, словно ненароком коснулся ее груди. Она хотела было оттолкнуть его, но не сделала этого. Ах ты потаскушка, сказал он ей прямо в лицо, мило улыбаясь. Это вы о ком? И, еще не услышав ответа, догадалась, вся сжалась в комочек. А он, засмеявшись, подбросил вверх разноцветную мелочь. Этот смех она ощутила физически и принялась обеими руками стирать его со щек — казалось, в лицо плеснули кислотой.

Дома, примостившись на плече Михала, она осторожно пожаловалась ему, но он и слушать не стал. Зденда? Да ну, все тебе что-то кажется, он только свистни — любая прибежит, скорее мне какую-нибудь отфутболит, чем у меня отобьет. И преспокойно завалился спать.

Она брякнула кофейником, поставив его на огонь.

— Дурак! — прорвало ее. — Чурбан неотесанный!

Кого ругала — не знала сама. Собственная беспомощность угнетала ее. Пальцем она сняла с языка крошку плохо промолотого кофе.

Нанялась я ему, что ли? Ошибаешься, милый. Подумаешь, шахтер какой-то! Герой с плаката. Она хихикнула, но тут же почувствовала угрызение совета. А, ладно, я себе цену знаю, капитан так капитан. И вообще, почему бы с ним не встретиться? У меня что, друзей своих не может быть?

Вера быстро оделась, начесала волосы, поработала подушечками пальцев над слоем крема и пудры двух оттенков, и, употребив все краски, кисточки и щеточки, за двадцать минут превратила свою свежую детскую мордочку в физиономию рекламной дивы, для полного совершенства обрामив портрет пушистым белым воротником зимнего пальто.

<sup>1</sup> Район в Северо-Моравской области. (Здесь и далее прим. перев.)



По дороге к институту она совсем развеялась и даже почувствовала прилив радости — капитан топтался на условленном месте, посиневший, с платком у носа. Она пошла ему навстречу.

■  
Когда тебя догоняет зловонный поток, сбивая с ног, в голове остается только одно. Нет, это даже не мысль, скорее чувство, инстинкт самосохранения, превращающий человеческое существо в животное.

Застигнутые врасплох темной, неукротимой водой, они бежали теперь, как бегут на возвышенное место зверьки, которым угрожает наводнение. Остановить и загнать всех в клеть Стшалке не удалось: его голос терялся в грохоте водопада.

Вывернувшись, наконец, из объятий Михала, старый Пёнтек плюхнулся в воду.

— Наверх, пошли наверх.

— Вниз надо спускаться, к людям, — кричал Стшалка, — наверху нам крышка.

Клеть тронулась. Сверху, разлетаясь во все стороны, ее заливала вода. Уже никто никогда не узнает, кто в панике дал обратный сигнал, на подъем, и кто окончательно сбил Германа с толку последовавшими беспорядочными, тревожными сигналами. Может быть, к тому времени вода нарушила сигнализацию, клеть беспорядочно моталась под ее напором, то опускаясь, то поднимаясь, то вовсе останавливаясь.

Михал почувствовал, как почти до дурноты защемило сердце. В мыслях промелькнул Йожка, тонкая шея-стебелек и две огромные мишени глаз, обведенных угольной пылью. Где он сейчас? Успел ли добежать, сказать?

Теперь не время было копаться в прошлом. Михал схватил трубку:

— Герман, позвони диспетчеру, вода прорвалась. Попробуем спуститься, если успеем; скорей верни клеть!

Клеть поднялась обратно и остановилась. Первым, обхватив голову руками, почти вывалился Пицмаус, его рвало. Зденек судорожно вцепился в локоть Михала, но, опомнившись, разжал пальцы, только дрожь никак не мог унять.

— Как крысы в трубе, — сплюнул Роглена, — не идет клеть вниз.

— Мы должны спуститься, должны! Инженера слышали?

Вода грохотала, низвергаясь в ствол.

— Ничего не выйдет, — спокойно сказал Эрих Выметал, — не выйдет, Ярек, и точка. Пошли.

Бригадир больше не сопротивлялся. Он в отчаянии смотрел, как они уходят от него все дальше, и задержать их не было сил, да и разве у него самого хватало бы теперь смелости влезть в затопленную клеть?

Он вцепился в телефонную трубку, понимая, что это последняя надежда на спасение, и попытался выровнять голос:

— Позвоните в диспетчерскую, в забое прорвалась вода, ну да, хлещет в ствол, прямо в клеть, слышите... это вода шумит... свяжитесь с диспетчером, вы слушаете?..

Тот из них, кто взобрался на раму, к которой крепились шкивы, имел счастье узреть картину идиллическую: на железном полу камеры с мечтательным видом сидел Комар, гладкая, нежная кожа его лица не огрубела даже за два года работы под землей, он напоминал только что вымытого, выскобленного канифолью поросенка. Угольная пыль словно не приставала к нему, оседая лишь вокруг глаз и оттеняя их васильковую голубизну. Постоянное умиротворенно-счастливое выражение придавало Франтишеку молодежавый, глуповатый вид. Но его огромные, багровые, вечно потрескавшиеся руки обладали удивительной ловкостью, шутя выполняли любую работу, осваивая любое

ремесло. Казалось, они делают это совершенно независимо, действуя по своему усмотрению, и уж во всяком случае никак не вязались ни с его тучным телом, ни с лишенным всякой растительности лицом.

Прозвище ему прилепил Зденек, отблагодарил за теплый прием, сукин сын. Пришел он к ним забитый, ошалевший, всеми брошенный, как бездомный щенок. Но стоило ему чуть отойти, и он уже не знал, над кем бы еще поизмываться, что бы изгадить — ничего святого для него не было.

Бывает, найдет в общежитии тоска, подкатит к горлу, а перед ребятами неудобно, повернешься к ним спиной, за окном пар поднимается, плывет дым, за стеной тумана еле светятся огоньки, но ты видишь там другое: теплый, розовый живот, вздымающийся новой жизнью, кладешь на него легонько руку — тогда тебе это еще разрешалось, — чувствуешь под ладонью тайное движение, шевеленье под нежной кожей и небом ощущаешь сладость.

Скрывая волнение, прижмешься лбом к холодному стеклу, увидишь — бьется заморенный комар, раздавишь его пальцем и всю свою счастливую тоску вложишь во вздох: господи, а у нас и туман другой, и комары не такие, у нас комары так комары.

Тут-то и примется за тебя новенький, студент-недоучка, и вот уже Франтик Офнер вовсе не Франтик, а Комар, для всех отныне и навеки. Иногда он и сам забывает, что у него есть имя, но в мечтах о доме он снова становится прежним Франтиком, тут-то и начинается его настоящая жизнь. Получалось, что живет он и там и здесь одновременно, как бы раздвоившись: шахте принадлежат только его руки, все остальное — жене Павлинке, вот она садится на кровать и, расстегивая блузку, высвобождает обе груди, поднимает ребенка, словно защищаясь от мужниных ласк, маленькая Павлинка громко сосет одну грудь, вторая подрагивает, и из большого темного соска сочится молоко, капля за каплей падая на одеяльце, а он, не смея даже шевельнуться, страдает от жажды и мучительного счастья.

Как хочется прикоснуться, но Павлинка-старшая нежно, с улыбкой отстраняет его. Она права, ему и самому неловко даже приблизить задубелую руку к ее чистенькой коже. Прыснет Павлинка молоком на щечки малышке, чтобы девочка лицом вышла, а он думает: хоть разочек покропила бы она так и его лапы, белый родник неиссякаем, вот приеду в следующий раз домой, поставлю под него обе ладони.

— Комар? Ничего себе, разлегся!

— Ты откуда здесь взялся?

— Внизу вода, — смущенно оправдывался Франтишек, — жду, пока сойдет.

— Ни... — выдавил из себя Пицмаус. — Ни... — и когда кто-то сообразил стукнуть его по спине, закончил: — Ниагара, как есть Ниагара.

— Да из тебя больше вылилось, чем из этой дыры.

Шахтеры грохнули, смех был натянутым, но приглушил страх.

— До самой смерти на яйца смотреть не смогу, — сказал Пицмаус, — хоть прямо из-под несущки. А китайцы, говорят, их тухлыми жрут.

Его передернуло.

Выметал извлек разорвавшийся пакетик с мятными леденцами. Видно, они давно лежали у него в кармане, чего только не пристало к слипшемуся комку.

— На уж, погрызи. Сюда вонь не дойдет, сероводород — он по земле стелется.

Один за другим они брали подозрительного вида леденцы. Только старик Пёнтек отказался, по-прежнему жуя свой табак.

— Метан был бы хуже, эта дрянь хоть и воняет, зато не ядовитая.

— Дед, — Стшалка подсел к товарищам, — они же не малые ребята, чтоб их успокаивать, сероводород как раз сильно ядовитый.



— «Сильно ядовитый!» Подумаешь, сопляк, да я уже давно вкалывал, когда твой отец еще под стол пешком ходил. И что-то не припомню, чтобы кто-нибудь этой вонючкой отравился.

— Потому что от вони сразу все разбегаются. А вот метан сам по себе действительно не ядовитый.

— Куда нам! — обиженно пробурчал старик. — Теперь шахтер ученый пошел, так что тебе лучше знать.

— Метан вытесняет кислород, — продолжал бригадир осторожно, чтобы не ударить лицом в грязь и в то же время не раззадорить Пёнтека еще больше, — наступает удушье, а не отравление.

Зденек хихикнул:

— Ну спасибо, шеф, успокоил ты меня.

Звук собственного голоса подбодрил Зденека, ему, наконец, удалось унять дрожь. Шахтеры, будто сжалившись, перекрыли гогомом его нервный смешок, тоненький и одинокий, и тем самым поддержали Зденека.

— Тихо! Вентилятор кто-нибудь слышит?

Все прислушались.

Бурлила вода.

— Я перекрыл только шланг к перфоратору, — стал вспоминать Выметал, — а вентилятор вроде работал.

Они притихли, напрасно пытаясь услышать еще что-нибудь, кроме всепоглощающего гула падающей воды.

Стшалка развернул свой «тормозок». Между двумя кусками хлеба лежал огромный, хорошо поджаренный, золотистый ромштекс. Он поделил хлеб и масло на восемь частей и, накалывая порции ножом, стал раздавать их товарищам. Комар, все с тем же наивно-детским выражением лица, покачав головой, отказался от своей доли, снова отправившись в блаженное плаванье по молочным рекам.

Старый Пёнтек обычно никогда не ел, но сейчас не стал спорить, а с аппетитом взялся за ароматный ломтик, его нос-губка ходил туда-сюда, к подбородку и обратно.

— Что люблю — так это ромштекс, — смачно сказал Роглена. — Он должен быть вот такущий, как стульчак, и поджаренный на сале, моя старуха помнет картошечку да с жиром этим перемешает, а если еще пару бутылок пива...

— И салат, — добавил Выметал, — салат с салом.

— Салат — тьфу, пакость какая, им только Пёнтековых кроликов откармливать.

— Гляди, как бы они тебе руку не оттяпали.

Михал мигот проглотил обе порции — свою и Комара, но чувство сосущей пустоты в желудке только усилилось. К голоду присоединилось ощущение какой-то странной неопределенности: Михала удивила внезапная перемена в Пёнтеке. Дед, всегда готовый выпустить ядовитые колючки, помягчел, не рассердившись даже за кроликов — попробуй кто-нибудь заикнуться о них в другое время!

Михал прикрыл глаза — и шахта исчезла, все заслонил собой один-единственный зеленый листок. Свежий и сочный, он вырос на бескрайней, темной пашне, пробив теплую землю копьём побега.

Эта картина была порождена голодом, мучительным голодом — вечным спутником его детства, заставлявшим обрывать горьковатые почки липы, жевать смолку, набивать желудок щавелем, кругляшами семян мальвы, земляникой, сыроежками, боярышником, рябиной, молочными зернами пшеницы, тонкой кожицей плодов шиповника (как першило в горле!), высасывать нектар из трубочек клевера, цветной крапивы, красть яблоки и картошку — ах, какая была картошка, горячая, приправленная пеплом вместо соли! Он скрывал от матери, что голоден, но она не могла не замечать царапин от колючек ежевики и заноз от заборов, пчелиных укусов на шее, разорванной сторо-

жевым псом икры, обожженных пальцев и вечных дыр на штанах, которые ей приходилось зашивать изо дня в день. Он понимал: сама мать только говорит, что сыта, но ничего не мог с собой поделывать и съедал все подчистую, лепешки исчезали во рту, как в бездонном колодце.

Маме, понятно, тогда и кормить-то было нечем, а Верка — та обыкновенная лентяйка, с его аппетитом нужно было искать такую, чтобы по крайней мере готовить умела, не зря Стшалка внушал ему: лицом пригожа, руками негожа. Какой там ромштекс, отбивает мясо — маленькие кусочки брызгами летят прямо на стену, Верочка, говорю, радость моя, положи доску на колени вот так, а она смеется и ластится к нему, ах ты, золотые ручки, все-то ты лучше меня умеешь. Но только меня на эту удочку не поймаешь, не такой я наивный; все переводит почему зря, и яйца, и муку, и молотые сухари, хорошо еще, что мать делала, она бы ей показала, как добром кидаться. Да только Верка все равно из другого теста, сделать из нее хозяйку разве что черту под силу. Обнимет тебя сзади за шею, шепнет жарко на ухо, поди, медвежонок, посмотри, что это ромштексы так на сковородке трещат? Ничего, а? Ничего или чего? Дурацкая у нас такая игра, а я, дурак, говорю: ладно, ничего, масло шипит, сухари подгорают, фартучек у Веры размером с носовой платок, сделает она самую что ни на есть невинную мордашку, наверно, жарко им в масле, медвежонок, вот они и раздеваются. Чего-чего — да ничего, тыщу раз говорил себе, ты меня этим не купишь, а она прижмется к тебе своим кошачьим носиком — все к черту сторит. В том числе и ромштексы. Раз соседи чуть пожарную команду не вызвали. От дыма можно было задохнуться. Чего-чего — а ничего: ели мы в выстуженной квартире, в кровати под одеялом. Картошку. Ко всему еще и разварившуюся.

— Все время во рту этот мерзкий вкус, — пожаловался Пицмаус, — черт подери, если я тут дуба дам, сколько мои за меня получат?

— За тебя не очень-то... Дают ведь по весу. По быку за килограмм.

— Я серьезно, Рудла, тебе хорошо смеяться, у тебя детей нет. А нам надо дом построить, две девки на выданье, Иванке семнадцать, Эвичке шестнадцать, да еще приданое, не хочу, чтобы они на пустом месте начинали, как мы. Вот так вкалываешь с утра до ночи, и все мало, дом и тот недостроенный...

— Кончай, ты, жила!

— На дом твоим хватит, — успокоил его Выметал. — Не волнуйся, шахта жене поможет, если что. А вот как ей об этом сказать, у кого язык повернется? Я в войну сколько насмотрелся, даже вспоминать не хочется, но когда тебя посылают к чьей-нибудь жене с вестью, что кормилец погиб, это, черт возьми, почище всякой войны. Помню, втолковывали мне: начнет истерику — ты давай сразу о вещах практических, любая сразу успокоится, мол, как лучше похороны организовать и все в таком духе. Она как раз дитё купала, второе за юбку уцепилось...

Выметал немного помолчал. Тогда их послали вдвоем, и ни один не мог найти нужных слов, не решался сказать ей главное, опасаясь, что она испугается и утопит младенца в ванночке. Но она — в чистеньком, накрахмаленном платье, гладко причесанная, излучающая свежесть и покой — по выражению лиц, по глазам их прочла, с чем пришли, младенец орал, а старшенький, почуяв недоброе, уткнулся личиком в колени матери, она его легонько отодвинула в сторону, вытерла малыша, стала надевать распашонку. Похороны шахта, конечно, оплатит, сказал он тогда поспешно, и траурную одежду для всей семьи тоже, а тот, напарник, все молчал, женщина смертельно побледнела, запеленала ребенка, взяла его на руки и покачнулася, о

детях шахта позаботится, продолжал он, боясь, как бы она не упала в обморок, получите пенсию и пособие...

Я тогда как начал о деньгах-то, она ребенка положила, Эдитку нашу, да как бросится на меня, в жизни не сказал бы, что в ней сила такая, молотит меня своими кулачками прямо по роже, а уж ругалась — больше десяти лет с ней прожили, но такого от нее я больше никогда не слышал.

— Выходит, мы с тобой в безопасности, — сказал Роглена, — говорят же, в одно место два снаряда не попадают.

— Да заткнитесь вы, уж лучше о бабах давайте.

— А мы о чем? — Выметал уставил на Стшалку долгий взгляд. — Открыть заслонку на вентиляционной трубе?

Бригадир молчал. Полжизни отдал бы он за десятника с лампой Вольфа<sup>1</sup>. Надо же, как нарочно, Лишчару понадобилось уйти. Если бы он хоть на полчасика задержался. Если бы. А вдруг теперь и метан пошел — тогда они все постепенно задохнутся. А если Выметал разбавит газ чистым воздухом — смесь станет взрывоопасной. Он перебрал все, что проходил в училище, чему научился за годы работы, но обрывки знаний кружились в голове, как подхваченные ветром клочки важного сообщения, и остановить этот вихрь было ему не под силу.

— Вам не кажется, что шум воды стихает?

Стремительный мутный поток заливал ствол.

— Скоро кончится, — ответил за всех Пёнтек, — не море же там. Дать кому табаку?

Табак из Пёнтекова кармана никого не привлекал. Выметал завертел головой и сунул в рот облепленный крошками леденец.

Рот Зденека был набит хлебом и мясом. Разжевав, он не мог проглотить кусок. Вернулось самое мучительное в его жизни воспоминание: сидит он в подвале, складывает домик из чурбачков, ждет отца — тот пошел за хлебом и молоком; вдруг его окружает толпа, сплошные юбки, ничего за ними не видать, все гладят его по голове, суют в рот соленое и сладкое одновременно, губы слипаются, он становится безразличным к прикосновениям, куски разбухают во рту, вокруг сюсюкающие голоса, совсем малыши, вот бедненький, несчастный ребенок, дыханье перехватило, крик застрял в горле. Вдруг кто-то протягивает ему холодное молоко, прохладный шелк скользит по горлу, в полумрак подвала откуда-то проникает свет и вместе с ним слова, которые инстинкт подсказал ему раньше, чем они были произнесены. Умер отец, застрелили его.

Сколько раз мучительное ощущение беспомощности и неуверенности возвращалось к нему в кошмарных снах, он просыпался взмогший, измученный, и только сама жизнь вливала в него новые силы. А теперь действительность обернулась беспомощностью и неуверенностью, и он давился чужим куском в ожидании, что сейчас услышит окончательный приговор, узнает что-то непоправимо страшное.

Но на него повеяло свежим ветерком, стало легче, и он, наконец, проглотил кусок. Взял у Пёнтека табак, дед усмехнулся и дружески сжал его плечо.

Все молчали. Шум воздушного потока отчасти заглушал грозный плеск воды. Напряжение ослабло.

— Чего не хватает — так это пива, — вздохнул Роглена. — Ну да ладно, хоть отдохнем.

— Как думаешь — за простой заплатят?

— А то нет! Тебе и за обделанные штаны заплатят!

Пицмаус обиделся. Хорошо Роглене смеяться, ему бы только пожрать, пузо набить, знай он, что такое дом строить, весь юмор как рукой сняло бы. То известь нужна позарез, то кирпич, то кафель для ванной и уборной, давно бы сам масляной краской цоколь покра-

<sup>1</sup> Специальная лампа для определения содержания метана в воздухе.

сил, так нет же, бабам кафель подавай, ванны одной хватило бы — куда там, девчонкам, мол, скоро замуж, не будут же они в туалет на другой этаж бегать, а ведь раньше через весь двор шастали и то ничего. Одни клозеты во что обойдутся — лучше и не считать, влетит в копеечку. Уборные им подавай три, ванны — три, кухни — три, и в каждую электроплиту, часы настенные, черт бы их побрал, у девок и женихов-то еще нет, а они уже прикидывают, кто с кем характерами не сойдется. А в сад сколько уже вбухали — и там все еще ничего не растет, хоть бы калитку как следует запирали, бабье чертово, в прошлом году снегу навалило, так эти паршивцы зайцы перемахнули через забор, твари ненасытные, ободрали молодые яблоньки. Вот так вкалываешь, ямы копаешь, саженцы достаешь, а эти паразиты косые захотят червячка заморить — и две сотни, считай, на ветер.

Комар очнулся от своего безмятежного младенческого сна.

— Ну как, все течет?

— Ага, можешь спать дальше.

— Мне приснилось, что у нас дома пруд спускают, рядом с нашим домом... А я сижу себе на запруде, смотрю, как там карпы плещутся, один больше другого...

— Рыба — это к смерти, — брякнул Зденек, — во всяком случае, моя мать в это верит.

— Да что ты за скотина такая, — обрушился на него Роглена, — долго тебя учили, аж отупел.

Зденек только криво усмехнулся.

Он неосторожно произнес слово, которое витало в воздухе, нагоняя на всех гнетущую тоску.

— Не впервой на старую выработку нарвались, — сказал Пёнтек, — переждем, бывало, и вода спадала.

— А ты когда-нибудь видел, чтобы ее было столько?

— Чтоб столько? Всего не упомнишь...

— Пруды тоже не все одинаковые, и глубина разная. Один за неделю можно спустить, а другой и за месяц не обмелеет.

— Я все-таки думаю, вниз надо было спускаться, — вступил в разговор Стшалка, — по плану эвакуации...

— Заткни этот план себе знаешь куда? Раньше самый верный путь мыши показывали, они как начнут пищать да прямо под ногами драпать! Мышь, думаешь, в воду сунется? Она куда повыше карабкается. Да где они теперь, мыши-то, вместо коней — машины, а вместо шахтеров — давили всякие да жмотины, дерьмо за собой — и то сожрут от жадности.

Пицмаусу и в голову не пришло принять это на свой счет.

Михал же заерзал: будет деду мелочиться, дались ему эти дурацкие мыши. Если уж говорить начистоту, с Пёнтеком они не ладили с первого дня. Михалу был противен запах, исходящий от деда, и его табачные плевки, а старика раздражал верзила, на которого он то и дело натыкался и который при своем росте чуть что стучался о верхняки. Но по-настоящему они схлестнулись по глупой случайности: дед кусочками сала откармливал в банке мышонка, а потом, порядком растолстевшего, выпустил на волю. У выросшего в деревне Михала сработал защитный рефлекс, и он в одно мгновение оставил от мыши мокрое место.

Пёнтек долго не разговаривал с Михалом, будто не замечал его, и только в последнее время иногда отпускал по его адресу колкости но все-таки это уже был шаг навстречу, пробивший стену молчания.

— Дед, а вы коней помните?

— Как же не помнить, да ведь это как будто вчера было...

— А правда, что они слепли?

— Зачем им в темноте глаза были? Штрек они знали на память, бункер находили точно, сколько раз я им завидовал, у них всегда



было что пожрать. В войну, еще в ту, в первую, я овес у них крал, валился я тогда от голода, набивал потайной карман, мне его мать снизу подшила, и хрустел себе потихоньку, зубы тогда были железные.

Электрическое освещение погасло.

Шахтерские лампы едва разжигали непроглядную тьму.

— Может, сигнал нам подадут?

— Похоже на короткое замыкание.

Все с напряжением ждали. Пространство ужасающе сузилось. Рокот усилился.

— Максом его звали, коня того, у которого я овес воровал, — как ни в чем не бывало продолжал старик, — мой старший сын машину купил, в его честь назвал, чертяка такой. — Лампа освещала морщинистое, носатое лицо, казалось, над огоньком, скрестив ноги, сидит сам сказочный хранитель подземелья — шубин. — А я ему за это зерно, траву приносил, клевер. Один раз — в восемнадцатом это было, в последнюю военную весну, я тогда овес уже домой стал таскать, жрать совсем было нечего — я ему нарвал целую охапку одуванчиков, он их обнюхал, а как жевать стал, вспомнил, видать, какие они, одуванчики, может, и солнце в них почуял.

Михал улыбнулся Стшалке, не вешай, мол, носа. В спину дул ледяной ветер.



Под мостом передвигали вагоны, металлический ляг буферов вливался в уличный шум. Вера с детства любила глазеть на пути, пожалуй, сказалось влияние отца, но на этот раз она даже не остановилась — серебристо-серые лодочки не давали ей покоя.

Первым Мишиным подарком тоже были туфельки — черные «гондолы» за сто пятьдесят крон, дороже в магазине просто не нашлось. Продавщица уже закрывала, на уговоры не поддавалась и, когда Михал сам поднял жалюзи на входе, рассердилась не на шутку, но, увидев его, сразу растаяла и готова была выложить перед ним весь прилавок. На Веру это произвело впечатление — ревность вспыхнула в ней раньше, чем любовь. Тогда между ними еще ничего не было, кроме езды на машине, ветра, задувающего в окошко, шоссе, апрельского неба, капелек минутного дождя, размазанных по стеклу в матовую пленку, ритмичных движений «дворников» и внезапно ударившего прямо в глаза ослепительного солнца за поворотом.

Это же аисты, закричала она ликующе и залилась краской, он расхохотался, а она, смутившись, покраснела. Остановив машину, Михал повел Веру по тропинке к лесу, ярко-зеленый луг был рассечен ручейком, обрамленным золотыми цветами, она набросилась на калужницы, их сочные стебельки хрустели под пальцами, желтые головки пылали солнечным жаром. Ноги месили грязь. Он поднял ее на руки, но одного каблука как не бывало, это была расплата за сорванное золото.

На сухое место Михал перенес ее, как поднос с фарфором — поднял, поставил и тут же опустил руки.

И еще чулки, девушка, сказал он продавщице, и немного воды — ноги ополоснуть. А больше вы ничего не хотите? Хочу: чтоб ваш милый вас поцеловал. А если у меня нет милого? Не может этого быть, вы такая хорошенькая.

Их шутливая перепалка чуть было не вывела Веру из себя, но она послушно вытерла ноги и переобулась, разрешив Михалу заплатить, сунуть старые, стоптанные туфельки в коробку, а потом выбросить ее в мусорную корзину. Он подал руку, и она повисла на ней.

А что я дома скажу, спросила она жалобно. Правду, уверенно

ответил он. Мать меня просто прибьет. Не бойтесь, я вашей маме все объясню.

Ну да, тогда они еще были на «вы», летели навстречу солнцу, калужницы вяли, и Михал молчал. Он довез ее до самых гор, в новых туфлях идти было неудобно, они сели на бревна, всюду перед ними были застывшие волны поросших лесом гор.

Михал не сводил с нее глаз, один взгляд был явно вопрошающим, но он остался без ответа, Вера срывала сосновую хвою и, будто шпильками, вооружала свой рот. Он поддержал игру, двумя пальцами собрал торчащие у нее изо рта иголки и бросил их на землю, она тут же заменила их новыми, он терпеливо расправился и с теми, но она опять сделала то же самое. Аромат смолы смешивался с тяжелым мужским запахом, она повернулась к нему, губы сжимали зеленую щетину, он резким движением вырвал зеленые колючки и поцеловал ее недолгим, крепким поцелуем.

Я хочу на тебе жениться, если ты не против.

Я не знаю, сказала она то, что думала, правда, не знаю.

Дома разразился скандал, первая оплеуха за позднее возвращение обрушилась на нее тут же, в прихожей, лодочки блеснули новизной, мать раскричалась на весь дом, размахнулась, и Вера через полуоткрытую дверь влетела в кухню, прямо в раскрытую перед отцом газету.

Вдруг как из-под земли возник Михал с забытым ею букетиком, предельно спокойный и ужасно элегантный, в костюме на заказ (готового на его фигуру не купить), простите, что мы так поздно, вежливо извинился он и представился.

С красной пятерней на щеке, она ставила цветы в широкую вазочку и, неторопливо расправляя их, довольно поглядывала то на отца, так и застывшего с порванной газетой в руках, то на обалдевшую мать, которая обтирала стул, не зная, чем бы попотчевать гостя. Позже она отмахивалась, мол, не так все было, наверно, до самой смерти не простит Михалу, что с первого взгляда приняла его за инженера.



...У театра стояла очередь на автобус. В основном женщины — «отоварившись» в центре, они возвращались домой.

Продукты куплю в Порубе<sup>1</sup>, решила Вера, может, что-нибудь и придумаю на ужин. От занятой сотни осталось всего сорок крон, потому что она, не устояв, купила два бутерброда и черносмородиновый сок — уж больно хотелось есть, к тому же смородина такая полезная — одни витамины.

Что бы такое приготовить на ужин, вчера обедали у мамы, она завернула пирожки на дорожку, но Миша, придя домой, тотчас их съел, на танцах подкрепились в буфете, можно, конечно, сосиски субботние поджарить или сардельки сварить с картошкой, пюре сделать, тогда за молоком придется сбегать, там уже пять бутылок грязных, помыть их — дадут пять крон за посуду, вечно забываю купить этот ершик, попробую отмыть скорлупой... о, идея — яичницу! Да, а сало? А лук? Есть у меня луковица или нет, я же ее выкинула, с этим центральным отоплением все быстро портится. картошка прорастает, а что, если подбить медвежонка на новый ресторан, говорят, там бывает печенка по-английски?

Правда, неизвестно еще, как у него с деньгами. За три месяца они ни разу не занялись своим бюджетом, Милушке проще, Стшалка два раза в месяц отдает ей все до последнего геллера, надо бы Михалу как-нибудь намекнуть. Осторожно-осторожно. А то как

<sup>1</sup> Район Острова.

примет непроницаемый вид, на лице написано: «Въезд запрещен!» — это он умеет, и тогда слова от него не добьешься. Милушка завидует, что Михал мне такой подарок сделал, а что беденький Ярек ей может купить, если она ни кроны ему не дает!

До зарплаты почти неделя, может, у Миши что и заваялось, обедает он по талонам, если уж совсем подопрет, сбегая к матери, навру, что все счета одновременно пришли, ну, получу очередной втык.

— Я уже здесь! — Власта втиснулась в очередь рядом с ней. — Ты же для меня заняла?

— Еще немножко — и ты бы опоздала.

Кто-то попытался возмутиться, но Власта тут же обернулась:

— Извините, мне надо было сбегать кое-куда, просто сил не было терпеть.

Вера отчаянно пыталась подавить смех.

— Хорошо еще, что вы мне в ботинки не напрудили, — произнес подвыпивший мужчина и навалился на нее. Она ткнула его острым локтем под дых, и он чуть было не упал навзничь. Внимание толпы переключилось на него.

Девушки с трудом влезли в автобус, Вера, подняв над головой коробку с новыми туфельками, протиснулась к окошку на задней площадке, Власте удалось проскользнуть за ней.

— Ты где гуляла, Верка? Брыхуля тебе зачет не поставит.

— Она что, говорила? А ты меня не отметила?

— Отметила. Но контрольную-то я за тебя написать не могу. В общем, загремела ты.

— Да зайду я к ней. А что это она вдруг контрольную заката?

— Кто ее знает. Но наши тоже все расшумелись, тебя даже на собрании не было. Представляешь, какво Дану: ругать тебя он не хочет, а выгораживать тоже не может.

— И не надо, никто его не просит. Знаешь, сколько у меня дел, с утра как белка в колесе, то убирать, то готовить, черт-те сколько всего...

Власта лукаво подмигнула ей:

— Бедняжечка, что ж ты так торопилась? Полгруппы считает, что ты просто влипла, поспорили на ящик пива.

— Ты за кого?

— Я считаю, что влипла.

— Тогда давай копи мне на пеленки. А Дан?

— Он в споре не участвовал. Это ниже его достоинства. Скорее всего, считает, что нет, он и мысли не может допустить, что между тобой и Михалом до свадьбы что-нибудь было.

— Может, и не было.

— Было, не было, — усмехнулась Власта, — давным-давно, в тринадцатом царстве...

— Из сказок я уже выросла. А ты пожила бы с моей мамашей восемнадцать лет, поняла бы кое-что.

От пощечины к пощечине, от нотации к нотации, где была, с кем была, почему... Тогда были прогулки по парку, игра в прятки за голыми деревьями, поцелуй в тумане, прикосновенья озябших рук, в общем, чахлая любовь без продолженья. Зубрить, мечтать и ждать, главное — ждать, всего четыре года, потом армия, ходить в перешитой юбке с майкой, утешая себя надеждой, что потом где-нибудь в пограничье нам выделят развалившийся домик и мы будем учить полубеспризорных детей, устраивать для них утренники, для родителей — лекции, розочки сажать посреди деревенской площади.

— Значит, ты выскочила замуж, только чтобы уйти из дома?

— Вот глупость. Ты знаешь, что такое Михал? Если бы ты знала...

Но раньше я выцарапаю твои хитрющие глаза, подумала Вера, ты и понятия не имеешь, что это такое — чувствовать рядом руку настоящего мужчины. Нужны мне твои слюняи с их дурацкими романтическими идеалами.

— Почему как-нибудь не притащить его к нам? Пусть бы рассказал о своей работе. Он в бригаде социалистического труда?

— Нет. И потом, только они и ждут, чтобы их пригласили студенты из педа. Ты пойми, у них совсем другая жизнь, им не до болтовни, просто работают — и все.

— Не забудь заскочить к Брыхуле, я попробую протиснуться к выходу.

Смена на металлургическом еще не закончилась, и дальше автобус двинулся полупустым.

За грязными стеклами цехов вспыхивал синий огонь, неоштукатуренные кирпичные здания навевали скуку. А позади был крытый рынок, еще недавно Вера ходила туда глазеть на недоступную роскошь. Шоколадки в цветастых обертках, тонко нарезанная колбаса, пирожные, соленая рыбка — груды лакомств, а в кармане пусто, так, двадцать геллеров на таблетку шипучки.

Она презрительно усмехнулась, мысленно вернувшись в страну своего детства, покинутую три месяца назад, ей казалось, что прошла уже уйма времени и в ней ничего не осталось от ребенка, разглядывавшего витрины.

Бедный папа! Когда ей исполнилось десять лет, она получила от него необычный подарок (его единственным богатством была природная изобретательность): живое железо. Зрелище искрящейся реки захватило ее, она стояла в своем красном платье, с красным бантом в волосах и, держа отца за руку, зачарованно смотрела на огонь. Они были далеко, но он дышал на них жаром, золотые звездочки вылетали и вновь возвращались в свою стихию, она рванулась было к ним, но отец крепко сжимал ее ладонь, не отпуская от себя ни на шаг.

Если я туда упаду, я стану звездочкой, пап?

Нет, ты превратишься в облачко, маленькое облачко пара.

Облачко — и больше ничего, папа, ничего от меня не останется?

Ничего, и это маленькое облачко быстро рассеется, из железа отольют куколку и вместо тебя положат в гробик.

Железную куколку, пап? А что, так уже было, пап?

Да, бывало такое, но мы с тобой стоим далеко и ведем себя осторожно.

Все равно хочется перепрыгнуть через эту реку, пап!

Перепрыгнуть искрящийся поток, фантастическую струю раскаленного железа. Только благородный металл дает искру, говорил отец, шлак течет лениво, без звезд, и совсем непохоже на салют.

Отец никогда так и не узнает истинную цену этого подарка. До сих пор она думала, что он самый главный, с револьвером охраняет завод, пропускает кого хочет, ходит куда вздумает. Теперь, в этих огромных цехах она поняла какой он маленький, незаметный среди гигантских огненных шлейфов. Владыки искрящихся рек, пышущих огнем болванок, раскаленных слитков, могучих кранов сердито покрикивали издали, по сравнению с ними отец был совсем маленький. Это моя дочка, кричал он в ответ, ей сегодня десять исполнилось, и я подарил ей завод. Сэкономил, дешево отделался, пытались они перекричать грохот машин.

Но подарок обошелся ему дорого, он утратил в глазах дочери свой ореол. Вера знала теперь, что разноцветные огни завода — это одно, а он — совсем другое, седой, ничем не примечательный папа.

Автобус проехал мимо нового дворца культуры, на диво чистенького в городе, запорошенном пылью. Между домиками появи-



лись два огромных террикона шахты имени Швермы — гигантская, живая грудь Остравы.

Вера улыбнулась. Тогда, на заводе, она первый раз влюбилась, первый раз загляделась на незнакомого мужчину. Они зашли в кузнечный цех, гигантский молот с силой обрушивался на раскаленный слиток, ударял в него, расплющивал и поднимался.

В отблеске огня ловко двигался плечистый, заросший парень, блестящие мускулы перекатывались, он орудовал молотом, придавая железному огню нужную форму. Загляденье! Девочка не спускала с него глаз, а когда наконец заставила себя отвести взгляд в сторону, его образ остался на сетчатке, отпечатался в сознании и перерос в девичью мечту.

Она любила незнакомца так сильно, что не поделилась тайной даже с Милушкой, все мимолетные увлечения сразу померкли и тихо ушли из ее жизни.

Прямо перед ней возникла белая башня-новостройка, она вышла из автобуса. Широкая улица была запружена молодыми мамами с колясками и кипела разноцветной молодостью. Перед самым домом Вера вспомнила, что утром, уходя, она не видела на месте машины — наверное, проспав, Михал решил наверстать время. Значит, и домой он вернется раньше обычного, хорошо еще, что она не стала ждать Милушку, вот было бы дело! Пришел бы Михал — а кровать и та не убрана, он бы задал мне жару!

Уж лучше бы он ее упрекал, тут бы она нашлась что ответить, но он вовсе не из простачков, один раз, когда она вот так опоздала, он сам убрал постель, прибрался в квартире и к ее приходу уже заканчивал мыть посуду. После смены самое приятное — активный отдых, сказал он таким тоном, что лучше бы ей провалиться сквозь землю. Дошло бы это до Милушки или до матери — не было бы ей пощады. Особенно Милушка — та никому спуску не дает. Не удивительно, что она возгордилась своим животом, может, это ее единственная достопримечательность. Если бы не она, Вера, сидеть бы ей до сих пор в девках, сама Милушка в жизни бы Ярека не захотела. Ишь, вцепилась в него мертвой хваткой!

Вера бегом поднялась по лестнице и быстро отомкнула дверь. Раз-раз, пальто на вешалку, платье в шкаф, постель в тумбочку, окно нараспашку, отвалившуюся штукатурку на совок — и надо же ему так дверь бухать, медведь такой!

Кто-то позвонил в дверь. Она набросила халат.

Соседка принесла посылку от матери Михала.

— Немного подтекло, я на балкон вынесла, наверное, что-нибудь съестное, раз срочная.

— Спасибо вам большое. Вы извините, я как раз переодевалась.

— А я уж испугалась, что вы заболели.

— Нет, я была в городе. За доставку сколько?

— Доставка оплачена, но почтальону я все-таки дала две кроны.

— Одну минуту.

Соседка ступила в прихожую и, оглянувшись, подложила под свою дверь башмак, чтобы та не захлопнулась.

— Не надо, не ищите, как-нибудь потом. Ну, спасибо, спасибо. Такая слякоть — выгирать не успеваешь, правда же? — она выразительно покосилась на мокрые следы у порога и заляпанные сапоги. — Мы у самых дверей разуваемся, и то ведро с тряпкой у меня уже вот где сидит.

Закрыв за ней, Вера облегченно вздохнула. Ну, ни дать ни взять моя мамаша, та когда первый раз пришла в гости, мебель была совсем новая, на коврах — ни пятнышка, стол накрыт — салфетки, рюмки, мама кивала головой, кивала, а потом вдруг и говорит: во-он под тем шкафом и пылищи же у тебя. У соседки, хоть она и моло-

дая, детей трое, мал мала меньше, а квартира всегда как игрушка. Когда она успевает — одному богу известно.

Вера прямо из мойки взяла нож и перерезала веревку, терпеть не могла узелки развязывать. Из посылки пахло свежескопченной свининой, и у нее потекли слюнки. Под пакетиком лежало промасленное письмо, она пробежала взглядом расплывшиеся буквы.

Зельц лучше всего положите в морозилку, мясо тоже, пусть Вера на этом что-нибудь сэкономит.

Правильно советует свекровь, но ей невдомек, что деньги, подаренные сыну на холодильник, истрачены на предметы противоположного назначения, согревающие теперь Веру. Так решил Михал, раз это был подарок его матери, последнее слово было за ним.

На балконе не испортится, родителей угощу, за это что-нибудь из них выужу, не забыть бы Индре послать кровяной колбасы. Надо же, как вовремя пришла посылка, бр-р, представляю себе разговор с Михалом о деньгах. Что ж делать, сказал бы он подчеркнуто спокойным тоном, ты только высшую математику проходила, а с этой арифметикой не в ладу.

Сам ест от пуза. Саава богу, еды теперь хватит на неделю, нужно только по дням распределить. Хотя ладно, я ведь везучая, я всегда была ужасно везучая. И экзамен сдам запросто.

Она отрезала толстый кружок зельца и, с аппетитом откусив, заела хлебом.



Когда снизу доложили, что насосы вышли из строя, всем стало ясно: единственный выход — эвакуировать шахту. Главный инженер побелел, а начальник шахты побагровел, но подумали они об одном и том же и лишь обменялись коротким взглядом.

— Световую сигнализацию и меркаптан<sup>1</sup>, — проговорил наконец главный инженер.

— Я сам всех обзвоню, — предложил Гавлик, — пойду к себе.

Он встал и, пошатнувшись, как пьяный, задел дверь. Но сейчас он не замечал ничего. В коридоре перед ним возник щупальцый, совершенно черный шахтер.

Вид у Йожина был жалкий, угольная пыль размазана по заплаканному лицу, нос он утирал рукавом, глаза умоляли только об одном.

— Потом, — отстранил его директор и ворвался в свою приемную.

Секретарша встала.

— Чем помочь? Я могу остаться, домой позвонила.

Ее участие лишь усилило ощущение безнадежности.

— Комбинат, обком партии, райком, министерство энергетики... подождите...

Крутанув до отказа кран, он напился прямо из ладоней, не заметив даже, что весь забрызгался. Хельга поставила рядом с телефоном фруктовый сок, но он к нему и не притронулся. Вперив невидящий взгляд в три розовые гвоздики, он докладывал об эвакуации по всем станциям. Тонкие стебли гнулись под тяжестью цветков, нежно окрашенные лепестки с растрепанными краями подрагивали, когда он нервно барабанил по столу пальцами, несколько пожелтевших иголочек аспарагуса осыпались, он проводил их все тем же застывшим взглядом: за свесившимися головками цветов ему виделся его подземный город, над которым нависла смертельная опасность.

Вместе с воздушной струей ужасающий смрад из разбитых ампул проникал в каждый забой, на каждое рабочее место. Свет зами-

<sup>1</sup> Воздушная смесь с резким запахом, нагнетаемая в шахту для оповещения об аварии.

гал и погас. Люди мгновенно кончали работу, выключали машины, откладывали в сторону инструменты, останавливали рудничные электровозы. Бригады звонили поспешно по телефону и, получив от диспетчера короткий приказ, выводили своих людей запасным выходом через вентиляционный ствол на южной границе шахты.

Главный инженер Адамчик руководил эвакуацией, голос его звучал спокойно, словно проводилась учебная тревога. Лицо инженера уже давно приобрело обычное выражение и ничем не выдавало волнения. Где-то глубоко в сознании, за пределами мыслей, билась крылышками хрупкая надежда, плотно опутанная паутиной сомнений, слабый полумертвый мотылек, прибить которого не поднималась рука: может, среди многих голосов снизу отзовется тот самый, единственный, и снимет со всех невыносимую тяжесть.

Наверх Стшалка уже не может подать весть, на слепом стволе<sup>1</sup> только внутренний телефон. Ему ничего не остается, как позвонить в машинное отделение, если кабели еще не испорчены водой, горноспасатели услышат его.

В машинном отделении нечем было дышать, горноспасатели в своих респираторах с трудом передвигались, по пояс в воде. Она пока не прибывала, стекая по квершлагу<sup>2</sup> на нижний горизонт, постепенно подступая к стволу. Электрики шаг за шагом проходили изоляцию, надеясь привести в движение подъемник. Даже водонепроницаемый прожектор, установленный с такими трудностями, не мог пробить сплошную черноту воды. Клеть стояла. На нее с грохотом обрушивался водопад, сверху, с третьего горизонта, где, возможно, еще ждали люди.

Конечно, ждали. И мысли никто не допускал, что ждать уже некому.

Через два часа горноспасателям пришлось смениться, операции не видно было конца, они уходили, почти ничего не сделав, но ни респираторы, ни инструкции не позволяли им задерживаться дольше.

За все время спасательных работ они ни на шаг не приблизились к ловушке, которая, захопнувшись, отрезала от мира бригаду Стшалки, один за другим уходили они понуро, словно похоронная процессия. Поднимаясь наверх, снимая с себя спасательные аппараты, они превращались в обычных, уставших людей. Несмотря на двухчасовое вынужденное молчание, им теперь было не до разговоров.

— Быстро отдохнуть, через час обратно!

Утолив жажду, они даже не притрагивались к приготовленной для них еде и пытались хоть на какое-то время уснуть. Но, закрывая глаза, оказывались на гребне темной воды, она разрушала их неглубокий сон, вынося на границу реальности.

Три водолаза, преодолевая напор воды, пытались проникнуть в запасной ствол. Они скорее чувствовали, чем видели друг друга, на ощупь двигаясь в потоке, несущем гибель, связанные веревкой не на жизнь, а на смерть. Один за другим они пробовали подняться наверх по скобам, но для их снаряжения ствол был слишком узок.

Бригада за бригадой расходилась от копра шахтеры в своих пропыленных, черных спецовках, с горящими лампами в руках, их принимала обычная, ничуть не изменившаяся в этот хмурый день улица. Сегодня она была им чужой, ничего не зная об их трагедии, встречала их смехом, беззаботным гомоном, звоном трамваев, детскими голосами, шумом автомобильных моторов. Они шли тревожными, притихшими группками, не смешиваясь с толпой, объединенные своей тайной.

Сегодня никто не коснулся их, на счастье.

Когда первые из горняков начали подходить к шахте, вторая

<sup>1</sup> Вертикальная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность.

<sup>2</sup> Горизонтальная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность.

смена была уже на полпути к дому. На шахте остались только дирекция и горноспасатели.

Гавлик покончил со звонками, ему показалось, что в этих разговорах вместе с голосом из него вытекла вся кровь. Он чувствовал себя совершенно опустошенным, почти невменяемым от удара, нанесенного ему шахтой. Он был готов к любым бедам, умел встречать их с поднятой головой, но такого удара стихии не ожидал.

Когда-то, будучи совсем мальчишкой, он начинал именно на этой шахте, здесь впервые спустился под землю; ему, ошеломленному, растерявшемуся, шахта казалась невероятной огромной, полной тайн и опасностей. Дома в нижнем ящике стола до сих пор хранится несколько окаменевших отпечатков папоротника и блестящих кусочков угля, сколько раз, натываясь на них, собирался выбросить, да рука так и не поднялась.

Потом он работал на других шахтах, но своему назначению сюда был рад; каждому приятно вернуться начальником в те места, где когда-то был на побегушках. Шахта разочаровала, она оказалась маленькой, бедной, плохо оснащенной. И все-таки Гавлик любил ее, хотел подтянуть, оборудовать, заставить работать, хотел, чтобы она распахнула недра, как своему. И на тебе — такой сюрприз.

— Товарищ директор, разрешите мне спуститься вниз.

Огромные молящие глаза на комично маленьком лице Йожина.

— Чего ты хочешь?

— Вниз. Разрешите мне спуститься.

— Спасательными работами руководит главный инженер.

— Я знаю, он меня не пускает.

— Он и права не имеет.

— Я обязательно их найду, товарищ директор, обязательно.

Гавлик отрицательно покачал головой.

— Я должен, товарищ директор, должен туда попасть, ведь я с ними до последнего был. Должен я, и все.

— Должен! Это проще всего сказать. Думаешь, я сижу не дергаюсь? Да я б сейчас сам спустился и черпал бы воду прямо руками. Но закон у нас здесь, парень, железный. И по закону вниз тебе никак не попасть.

— Да я до них даже на ощупь доберусь. Я обязательно найду, ведь это же моя бригада.

Директор горько усмехнулся.

— Твоя такая же, как и моя, понял?

Турнуть бы его отсюда, этот страдальческий взгляд и во сне мне покою не даст. Теперь чего только не приснится! Как будто я виноват, что у Лишчара желчный пузырь прихватило и он поднялся наверх, к врачу, в самый неподходящий момент — за час до катастрофы. Сейчас-то он тоже рвется вниз, весь скрюченный, напичканный таблетками, после укола вералгина в задницу; приспичило ему вниз, нет чтоб сидеть там, когда нужно! Из-за его дурацких камней (давно пора их удалить, трус!) теперь беды не оберешься.

Впрочем, беду бы он вряд ли отвел, разве что предупредил бы вовремя об опасности — это его прямая обязанность.

Безотчетная ярость, с которой он было набросился на Лишчара, сменилась вдруг снисходительным сочувствием к пожелтевшему, убитому происшедшим инспектору.

— Как ты оттуда выбрался? — спросил Гавлик Йожина.

— Когда появилась вода и вонь, меня послали за инженером.

— Почему же вы все сразу не ушли, — неожиданно сорвался директор, — почему, черт вас возьми, вы что, думали, эту дырку пальцем можно заткнуть или еще чем?!

Йожка поднял на него глаза, полные слез.

— Вода хлещет всюю, а они, видите ли, инженера идут искать!

— Она тогда еще не хлестала, ручеек тек маленький такой, а



вонь — так мы думали... — Йожка густо покраснел — не мог же он выражаться при директоре — и стал судорожно соображать, как бы поприличнее высказаться, — что Медведь воздух испортил.

Директор закрыл лицо руками, потер щеки и громко выдохнул.

— Но спуститься я обязательно должен, товарищ директор, они меня ждут.

— Знаешь что? Поди умойся, а потом найди меня, может быть, вспомнишь еще что-нибудь важное.

Он отодвинул парнишку в сторону и, не говоря больше ни слова, направился в диспетчерскую, думая хоть чем-нибудь поддержать едва теплившуюся надежду. Но каждое сообщение убивало наповал: приток воды не ослабевает, воздух становится ядовитым от сероводорода, концентрация сероводорода повышается, о бригаде Стпалки ни слуху ни духу.

Господи, откуда же льет, откуда столько воды, ведь не море же там, внизу. Вдруг он в ужасе замер, перед глазами возникла Одра, ее темные, маслянистые воды неторопливо омывали шахту.

Он наклонился к Адамчику:

— А река? Может, это река?

— Исключается.

Он считает меня идиотом, подумал Гавлик, и спросил постороже:

— А что же это? Ведь старая выработка дальше, в стороне.

Главный пожал плечами. Прислушался к голосам из шахты.

— Говорит Прохазка. Мы попытались подняться по стволу с самоспасателем СК-4. Я дал отбой, у одного из наших респиратор поврежден, узко очень. Мы его эвакуировали в безопасное место.

— Попробуете еще раз?

— Риск слишком велик. И аппараты для пострадавших все равно не протащить.

— Мы все время пытаемся запустить подъемный механизм.

— Пусть поторопятся! И найдите машиниста подъема Германа! — Главный повернул к начальнику изможденное лицо. — Нет, река не может быть, слишком они глубоко. Дно мы летом щупали, в журнале есть запись. И геологоразведка проводилась особенно тщательно.

Он не высказал того, что напрашивалось само собой. Он был решительно против разработки пласта между третьим и четвертым горизонтами, ни за что с этим решением не соглашался. Даже в оккупацию, во время повального грабежа, никто не притронулся к целику<sup>1</sup>, хотя бы и потому, что чешские шахтеры берегли уголь для будущего, но, может быть, у них были другие причины. Помня это, Адамчик изобретал все новые контраргументы, «ставил палки в колеса», по выражению бывшего директора.

Гавлик отлично понял, что скрывается за словами «особенно тщательно», и по достоинству оценил тонкость, с которой инженер напомнил о своих тогдашних сомнениях. Испытывает ли он теперь злорадство? Хотя что на него наговаривать, на самом деле он вовсе не из тех, кто тормозит дело, да и не время счеты сводить. Сейчас они товарищи по несчастью.

Уходя, в дверях он столкнулся с бывшим директором Кухтой.

— А я тебя как раз вспоминал.

— Надеюсь, не последними словами. Внизу кто-нибудь остался?

— Эвакуация шахты пока не закончена, — сухо отчитался Адамчик, даже не оглянувшись.

Обстановка сразу накалилась.

— Зайдем ко мне, не забыл дорожку-то?

Они вышли. Гавлик крепко взял его за локоть.

— Ты не думай, что я пришел вас контролировать, но и в беде тебя бросать тоже не собираюсь. Моя ведь была идея, еле отстоял.

<sup>1</sup> Часть угольного пласта, не извлеченная в процессе разработки.

— Раз я твое детище усыновил, теперь оно целиком на моей шее, тут уж ничего не поделаешь.

О своем комфорте Гавлик заботился мало, и за полгода ни в приемной, ни в кабинете ничего не изменилось. Все было на прежних местах, и у Кухты на миг возникло ощущение, что он вернулся домой, в свою крепость. Хельга улыбнулась ему, наливая в чашки кипяток. Кофе источал пронзительный аромат.

— Будете, товарищ директор?

Она смотрела на Кухту, и Гавлика это задело. Он отпил из стакана сок, к которому не притронулся раньше.

— Отнесите кофе в диспетчерскую, а то у нас там главный совсем скиснет,— распорядился он; ему хотелось продемонстрировать своему предшественнику, что у них с Адамчиком вполне приличные отношения, и тем самым как бы уколоть его в ответ.— А потом съездите с водителем, купите что-нибудь поесть.

Он отдал ей все деньги.

— Я могу взять из кассы..

— Ступайте.

Дверь в просторный директорский кабинет осталась распахнутой. На столе лежали планы горных работ. Старые выработки уходили далеко от слепого ствола и не представляли никакой опасности. Гавлик и Кухта склонились над листами.

Бумага все выдержит, подумал Гавлик, беря в руки журнал водного режима. О реке он больше не спрашивал.

— Эвакуация шахты закончена,— тихо отрапортовал техник-инспектор Беранек.

Погруженные в раздумья, они не расслышали его слов.

— Что? — спокойно переспросил Гавлик.

Беранек первым принял удар, пока начальник с главным инженером были на совещании по технике безопасности, он и распорядился приступить к спасательным работам.

— Эвакуация закончена.

По его глуховатому голосу и интонации сразу стало ясно, что чуда не произошло.

В руке у него был листок бумаги.

— Сколько?

— Как и предполагали.

В ламповой не досчитались восьми светильников. В раздевалке осталось восемь костюмов; поднятые к потолку, они болтались как висельники.

— Мы прорвемся! Мы должны к ним прорваться!

Гавлик несколько устыдился столь громкого проявления своих чувств, он знал, что все всё понимают и никакие эмоции тут не помогут.

Беранек молча положил список на стол. Порядковые номера и имена.

Директор, отведя бумагу подальше от глаз, прочитал:

Стпалка Ярослав, Колига Михал, Выметал Эрих, Роглена Рудольф, Пёнтек Антонин, Пицмаус Ян, Офнер Франтишек, Коуба Зденек.

Имена почти ничего ему не говорили, но каждое из них болезненно отпечатывалось в сознании.

В этот момент вахтер поднял шлагбаум. Приехали горноспасатели и водолазы из Польши, из соседних Катовиц.

■

Приступ небывалого усердия закончился уборкой. Не последней причиной Вериных стараний был капитан, здорово ж она его отбрила, в самом деле, свидание не стоило того, чтобы на него ходить.

Она чувствовала себя виноватой. Устроилась в кресле с немецким словариком в руках. Прикрыла левую половину.

Орех. Твердый орешек. Колоть орехи. Вот глупость какая. Неужели я буду говорить с кем-нибудь о колке орехов? О колке или коленье? Хороша из меня будет учительница! Орех. Опять орех? Ну да, Nuss и Nussbaum, как у них все сложно, обходимся же мы одним словом, у нас даже есть пес Орех<sup>1</sup>. Интересно, а как по-немецки гриб-подорешник? Nusspolze или Nusspolzen? Я бы сейчас не отказалась. Мать Михала как-то собрала нам целый ящик солений-варений. Рецепты вложила, наивная женщина. Вкуснее всего были все-таки грибы.

Вера выдвинула ящик, свой тайничок. Хоть шаром покати. Обнаружив за окном начатую сгущенку, сунула в банку палец и облила его. Пошла на кухню, всыпала в полупустую жестянку какао и долила рому. Ничего, довольно вкусно.

Опять забравшись в кресло, начала повторять слова, то и дело облизывая ложку. Подставила под ноги стул, так было удобнее. Выскоблив «коктейль» до последней капли, измазавшись липкой тянучкой, пошла сполоснуть руки под краном. И выпить. Принесла стакан в комнату и приняла прежнюю позу. Поворочалась последний раз — со всех сторон обложила себя книгами и уселась по-эффектнее.

Михал рот разинет. Пожалеет ее. Мол, ты, бедняжка, все учишься. Только бы он сам вошел, без звонка, а то все впечатление на-смарку. Вера выставила из-под юбки коленки. Во время их первой встречи она поступила наоборот, быстро одернула юбку.

Вообще-то скромницей она не была, но когда Ярек привел Михала, ей захотелось спрятаться от него, она смутилась неожиданно для самой себя.

К счастью, один носок у Михала был дырявый, из прорехи выглядывал большой палец, это был повод посмеяться и преодолеть свою скованность.

Ярек не мог скрыть досады, видимо, не ожидал увидеть Веру у себя дома. Он так трогательно оберегал Михала, всячески пытаясь воспрепятствовать их знакомству, — не иначе, боялся, что Вера его сглазит, — и не скупился на ядовитые реплики в ее адрес. Но ей было хоть бы что, со снисходительной усмешкой пропускала она колкости мимо ушей. И добилась своего: Михал пошел ее провожать.

Увидев красную «шкоду», Вера села в нее с таким видом, словно всю жизнь разъезжала только на машине.

Так вот почему вы ничего не пили. А я-то уж испугалась, что вы трезвенник. Носок дырявый, сам непьющий — это было бы слишком.

По крайней мере теперь вам ясно, что я холостяк.

Вы так думаете? Странные у вас представления о семейной жизни. Была бы я вашей женой, ходили бы с дырками и на пятках.

Михал засмеялся, наверное, не принял всерьез. И правильно сделал, в дырявых носках он ходил недолго — они тут же летели в мусорное ведро, и он их вечно искал.

Милушка при первом же удобном случае встала грудью, даже домой к ней специально забежала — наверняка у них с Яреком состоялся семейный совет на тему: что делать с Михалом.

Ярек тебя предупреждает: не морочь ему голову.

Кому, Яреку?

Ты прекрасно знаешь кому. Медведь — приличный человек.

С каких это пор медведь стал человеком? А я думала, что это животное.

Прибереги шуточки для своих институтских дружков, всплыла

<sup>1</sup> Самая распространенная в Чехословакии кличка дворняги.

Милушка. Что мы, не видели, как ты с ним заигрываешь? Могу поспорить, ты назначила ему свидание.

Проиграешь. Это он мне назначил.

Надеюсь, ты не пойдешь.

Вера подлюбовалась новыми лодочками. Знай Милушка их происхождение, лопнула бы от злости.

Почему же не пойду, сама говоришь, приличный человек.

Разве ты не крутишь роман с каким-то там Даном?

Дан — мой друг. Просто сокурсник.

Ах, вот оно что. Просто сокурсник! И машины у него нет, а? И квартиры ему не видать.

А я-то все в толк не возьму: и чего ты за Ярека выскочила, на какую удочку он тебя поймал?

Прекрати! Это уже хамство с твоей стороны. Все равно Ярек все ему расскажет.

Что он обо мне знает, Ярек твой?

Больше, чем ты думаешь.

Знаешь, Милуш, иди-ка ты куда подальше. Вместе со своим Яречком.

Сама виновата, не надо было с ней делиться, с этой задницей куриной. Все равно ей не понять, она над своей невинностью тряслась, как теперь над кронами. Это хорошо — подальше положить, да только если можно поближе взять.

Впрочем, винить ее не в чем, Миша на все их увещевания — ноль внимания. Один только раз — месяца через три после знакомства — он спросил, есть ли у меня кто-нибудь (Стпалковы постарались!).

Ты, ответила я спокойно, как будто не знаешь.

Это была чистая правда, потому что Дан на каникулы уехал далеко, на Шумаву<sup>1</sup>, так далеко, что перестал для меня существовать.

И больше никого?

Нет.

А раньше?

А у тебя раньше?

Михал не ответил. Почему тогда я должна была отвечать? Больше он ничего не спрашивал, только надел на лицо каменную маску.

Даже страшно стало, но мне он таким нравился.

Вера вздрогнула — зазвонил телефон. Словарик соскользнул на пол. Хороши занятия, сердилась она на себя, Власта сбила с панталыку — теперь Дан из головы не выходит, а осталась-то от него разве что тень.

— Не сердитесь, Верушка, что я опять беспокою, ваш уже дома?

— Нет, нету, ведь... а сколько сейчас? — Часы она оставила на кухне, когда мыла посуду. — Полчетвертого? Уже? Наверное, задержались на собрании или еще где-нибудь.

— Руда в столовую не ходит, может, они справляют что? Или день рождения у кого? Я так боюсь, как бы Руда в пивную не вернулся, стоит только дорожку проложить — и, считай, конец.

— Милушке Стпалковой вы звонили?

— Неудобно, не хочу ее беспокоить, она ведь такая... как бы это сказать, ну, мне кажется, загордилась она, что ли.

— Это у беременных бывает, раньше она была нормальная. Вообще-то она добрая, нет, правда.

И почему это я выступаю в роли защитницы?

— А мне всегда кажется, что она смотрит на меня свысока, вам нет?

— Нет, зря вы так про нее.

<sup>1</sup> Горы на границе Чехословакии, ФРГ и Австрии.

На самом деле Рогленша права, Милушка на всех глядит с высоты своего целомудрия, одна я знаю его истинные причины, но никогда никому их не открою.

— Верочка, вы не можете ей звякнуть? Вы же подружки. Стшалка наверняка в курсе, уж он-то в пивную не ходит.

Это точно, статьи «пивная» в бюджете Стшалковых не существует.

— Попробую. Но вы зря волнуетесь.

Вот разобрало бабу! Будь ее красавец моим мужем, я б только радовалась, что его дома нету. Но ведь Михал утром взял машину, значит, он давно должен был приехать. Может, завез домой Ярека и застрял у них? Милушка ведь такая ехидна, она его там задержит и продемонстрирует, каким должно быть образцовое хозяйство.

Вот идиотство, придется теперь из-за Рогленши выступать в роли ревнивицы.

Она подняла словарик.

Разве тут что-нибудь выучишь, никакой жизни из-за этого телефона.

— Да ну ее, совсем свихнулась,— зло сказала Милушка,— у них, наверное, собрание какое-нибудь. Вот пристала к мужику. Ну, выпил — и что? На свои ведь пьет, она-то на работу не ходит.

Что-то, а шпынять в самую точку Милушка мастерица.

— Тогда успокой ее, Милуш.

— Чихать мне на нее с высокой колокольни, сама успокаивай. Она же не мне позвонила. И вообще, у меня времени нет, я сейчас как раз распашонки глажу, надо все приготовить для малыша, мало ли какая неожиданность.

— Милуш, ты вообще о чем-нибудь еще думаешь, кроме ребенка?

— Почему ты так спрашиваешь?

— Глупая ты стала, как клушка.

— Зато ты у нас умнееешь не по дням, а по часам.

— Ну правда, Милуш, что ей сказать-то?

— Придумай что-нибудь, сама не сообразишь, что ли?

Подруга называется. Умней на два года. И на свое округлившееся пузо. Обладай Михал хоть малейшим чувством юмора, я бы сейчас так Ярека охмурила, что ее бы удар хватил. Жаль, Михал все может принять за чистую монету, тогда только держись!

Однажды она уже чуть не довела его, при одном воспоминании до сих пор мороз по коже подирает. Еще самая малость — и прощай Михал.

Вера несколько раз прошлась по комнате, но никак не могла заставить себя позвонить. Неторопливая речь Рогленши выводила ее из себя. Никакого настроения не было разводить с ней тары-бары.

— Стшалка тоже еще не вернулся, Милушка говорит, наверное, у них собрание.

— И где же они собираются? Уж не в пивной ли?

— Ну конечно же в той самой пивной, что напротив шахты, попробуйте туда позвонить.

Вера лукаво усмехнулась. Слышал бы сейчас Роглена, он бы ее быстро привел в чувство. Далась ей эта пивная, одно на уме.

Шутка не развеяла ее собственного беспокойства, никакого собрания быть не может, а в пивную Михал никогда не заглядывал. Ему хватало, что вечерами Вера таскала его по кафе да по танцулкам. Кажется, утром он что-то говорил, даже наверняка, но что — она не могла вспомнить, когда тебя так бесцеремонно будят, ни одной мысли в голове не остается, сколько раз она пыталась ему



объяснить, что люди — ничего не поделаешь! — делятся на сов и жаворонков, она, к примеру, сова и утром невменяема.

Штукатурка на полу означает, что он рассердился, один раз после утренней ссоры Михал намеренно с работы домой не пришел, она давно забыла, из-за чего они повздорили, и когда он наконец вернулся, встретила его почти приветливо, мол, вы, наверное, отметили что-нибудь, да? Ты поел или голодный?

Он довольно долго стоял, уставив в нее бессмысленный взгляд.

Сильна ты, девочка, проговорил он наконец, я смотрю, тебе хоть бы хны.

Это ты о чем?

Он прижал ее к себе. Остался без ужина, сам виноват.

Но сегодня утром они не ссорились. Дверью он, правда, бухнул. Вахлак и есть вахлак.

По лестнице кто-то поднимался. Со словариком в руках она прыгнула в кресло.

Но это был не Михал.

Она швырнула тетрадку в угол. Пошла и подняла ее.

Налила в банку еще немного рому. Он отдавал жостью. Это было отвратительно. Ее передернуло.



Невыносимый запах меркаптана служил сигналом к эвакуации всей шахты. Как только было произнесено слово «река», шум воды показался еще более зловещим. Никто не стал прикидывать, каким образом могла река проникнуть на такую глубину, она просто стояла у всех перед глазами — густая, как масло, ленивая, бесконечная.

— Вниз надо спускаться, здесь нас никто не найдет, — Стшалка по привычке искал подтверждения своим словам у старого Пёнтека. Но на этот раз и дед беспомощно мял свой послушный, весь в наростах нос, на его веку такого в шахте еще не бывало.

— Может, ты и прав, Ярек. Если это река... — Пёнтек замолчал. Не поможет нам ни святой Прокоп, ни святая Варвара, докончил он про себя.

— В крайнем случае можем вернуться.

— А если внизу газ?

— Есть самоспасатели. Можно прямо сейчас надеть. Пицмаус, умеешь?

Кышмышка неуверенно кивнул.

— Дай-ка сюда! — Стшалка открыл коробку и сам натянул ему маску. — Зажим на носу ни в коем случае не ослабляй. Мундштук закуси и рта больше не раскрывай.

— А я и не раскрываю.

— Да заткнись же, говорят тебе!

Зденек нервно рассмеялся. Выгаращив глаза, Кышмышка-Пицмаус беспорядочно махал руками.

— Дыши спокойно, все нормально, — советовал ему Выметал.

— Я пойду первым, — сказал Стшалка. — Медведь замыкает.

— Последним пойду я, я здесь самый старший.

— Ладно, дед.

Улыбнувшись ему, Ярек надел маску. Один за другим шахтеры последовали его примеру. Зденек отступил в темноту. Тогда, побежав звонить, он не заметил, где оставил свой самоспасатель, найди его теперь под водой. Но он ничего не сказал, просто не мог. Не чувствовал даже страха, произошло нечто вроде раздвоения личности: откуда-то с большой высоты он наблюдал за собой, словно за червячком, извивающимся беззвучно, бессмысленно, безнадежно.

Михал вытаскивал мундштук.

— Зденда, ты что? Давай скорей!

— Сейчас вот я ему, как намордник... — подоспел Пёнтек и, пре-

жде чем Зденек что-либо возразил, крепко схватил его, зажав рот ладонью.— Хуже всего то, что собаке ничего не объяснишь. Ждать будет, что я ей принесу, Катринка из столовой всегда для нее целый сверток всего собирает. Будет ждать меня, все время будет ждать.

— Собаки время не чувствуют, собака не понимает, сколько она ждет.

— Тебе видней, ты ученый.

На это Зденек уже ничего не мог ответить — мешал мундштук. Он мог бы сорвать его, но дед крепко держал его руки.

— А для меня подол надежней, все одно — в легких сплошной уголь. Да и нос такой куда в противогаз! Давай!

Он сунул Зденеку свою лампу.

За ним подтолкнул Комара.

— Смотри руку ему не отдави. Я пойду последним.

Стшалка полез первым. Сначала все шло спокойно, но скобу пришлось нащупывать под водой. Вытягивая шею, он пытался нащарить опору. Качнул лампой. За ним пошел Роглена.

Свет беспорядочно скользил по воде.

Потом стал спускаться Зденек. Комар отпрянул назад. Его замутило. Выростший на берегу, он любил ничем не нарушаемую гладь пруда, но эта вода, невесть откуда прорвавшаяся, повергала его в ужас.

— Ну, лезь же, — поторопил Пёнтек.

Поток сшибал людей, одержимых только одним — притулиться где-нибудь в укромном, надежном месте. Вода лила и лила, разлетаясь во все стороны. Здесь, посреди ствола, ее шум казался просто оглушительным.

Стшалка спустился уже до половины, вниз валила сплошная черная река. Устав до полусмерти, он инстинктивно представлял себе, как все глубже и глубже заползает в щель, забирается в раковину, подальше от опасности, туда, где нет больше шума в ушах, где в тишине можно лечь и расслабиться. Сделав несколько шагов, он опомнился, вернулся назад (хотя это стоило ему невероятного усилия) и втащил в нишу Роглену.

Они объяснялись жестами, вниз пути не было, но и вернуться назад они уже не могли: не было сил.

Пицмаус, забыв лампу наверху, застрял на третьей скобе. Выметал угодил в него ногой. Прислали подарочек, хорошая помощь, подумал он раздраженно, ничего не умеет, слабак к тому же, хоть подставляй с каждого боку по няньке. Не церемонясь, он схватил и почти снес его, подтолкнув вглубь.

— Не пойду я дальше, — буркнул Пицмаус.

Выметал тут же затолкнул мундштук ему обратно в рот и выразительно постучал себя по лбу. Кышмышка удивленно вытаращил глаза.

Видно, никогда не понять этому идиоту, что он идиот.

Выметал посветил на себя и, показав на маску, попытался дать понять, что трогать ее нельзя. Пицмаус, наконец, кивнул... Выметал прислонил его к стене, словно неодушевленный предмет.

Еще в детстве Михал облазил все деревья вокруг, были на его счету отчаянные восхождения и спуски, но сейчас сильные ноги не слушались, он не сводил глаз с лампы Зденека. Она металась так дико, что становилось страшно.

Зденек об этом не знал, он боролся за свою жизнь. Все, что волновало его, забылось, кроме одного: не сорваться. Он судорожно цеплялся за скобу и каждый раз с трудом заставлял себя покидать ее, нащупав ногой следующую опору. Угрызенный совести он никогда не знал, жизнь была для него эстафетой, навязанной ему против его воли, именно потому он не мог сойти с дорожки.

У Комара кружилась голова, он закрыл глаза. Сразу показалось, что шум воды усилился, и он тут же открыл их, посмотрев наверх, на огонек папаши Пёнтека.

Старый шахтер, стоя наверху, перекрестился и закусил подол рубахи. На минуту заколебался. Страха он не чувствовал, только усталость. И неуверенность: пожалуй, все-таки стоило переждать там, где можно было пока держаться. Шахта обречена, ее заполняет река: просочилась где-то в трещину, веками готовясь нанести удар.

От перенапряжения руки и ноги немели, словно отмирая. Вдруг перед глазами возник шкафчик для посуды, он ничуть не удивился этому, за стеклом — чашки с картинками из «Проданной невесты» и надписями: «Подумаю, Марженка» и «Верная наша любовь». По большим праздникам из «Верной любви» пьет папа, а из «Марженки» — мама; иногда дети потихоньку наливают в них из-под крана воду, и она приобретает таинственный, сладковатый вкус. Из угла на него глядит, не сводя глаз, Божья Матерь Ченстоховская, у ног ее днем и ночью горит красная лампадка. А вот и он сам — сидящий на отцовском стуле после первой трудовой смены; мать усадила его на это место, которое никому не позволялось занимать. Уставший до полусмерти, гордый и счастливый, распухшими пальцами он попытается расшнуровать ботинок, мама опускается на колени и, погладив его по руке, улыбаясь сквозь слезы, сама развязывает шнурок. Снимаемая ботинок, освобождает ноги от тяжести.

...Вниз летит лампа и темная масса тела, Комар, рванувшись за ним, теряет равновесие, роняет свою лампу и только в последний момент успевает схватиться за скобу. В панике он карабкается обратно, туда, где сухо, подальше от бурлящей воды, выше, еще выше, на берег.

Забывшая лампа Пицмауса служит ему ориентиром...

Внизу, в тесноте узкой выработки, приютившей их, шахтеры были на исходе сил. Зденек впал в равнодушное оцепенение и, не шевелясь, глядел прямо перед собой. Ему казалось, что он очутился на том свете. Осознав, как смешно его снаряжение для мира иного, хотел было освободить рот и нос, но кто-то силой удержал его. Силой заставил сесть, прислонить голову к стене, несколько раз ударил ладонью по щекам. Он покорно позволял делать с собой все что угодно.

В свете лампы из темноты возникли глаза Михала, глядевшие на него из-под густых бровей. Два глубоких, чистых родника излучали бодрящую силу.

Зденек был даже рад, что не может высказаться, с языка готовы были сорваться слова благодарности, за которые пришлось бы краснеть перед бригадой, скажи он их при всех. Никогда никем он так не восхищался, никого так не любил и не ценил.

Зденека потянуло к Михалу в первый же день. Тот снисходительно воспринял это как нечто само собой разумеющееся, не выяснявая, не навязывая советов, просто терпел его рядом с собой. В его спасительной тени Зденек чувствовал себя вне опасности.

Михал умел быть чертовски несговорчивым, ничего не стоило ему выгнать человека из кровати, словно щенка, и чуть ли не за шиворот дотащить его до нарядной. Пару раз Зденеку удалось вырваться из-под его суровой опеки и нарезать на чертиков. Как-то, одетый, прямо в ботинках, он плюхнулся на кровать, но Михал, не говоря ни слова, схватил его и швырнул на кафельный пол душевой, открыв до отказа холодный душ.

Они были знакомы уже почти полгода, когда Михал выгнал Зденека из пьяной драки в пивной, не заметив, что в последний момент тот прихватил с собой поллитровку и теперь, защищаясь, размахивал ею что было сил. Только кровь на лбу Михала привела его в чувство, но, едва осознав происшедшее, он потерял сознание.

Только попробуй кому что ляпнуть — это были первые слова, которые, очнувшись, услышал Зденек, скажешь что-нибудь — я тебя больше знать не хочу, заруби себе на носу. В больнице они изобразили все в лучшем виде. Надо было слышать, как заливал Михал, опыт у него небольшой, зато настойчивость он проявил завидную, несмотря на всю нелепость своих утверждений.

При других обстоятельствах Зденек сыграл бы свою роль убедительнее, но чувство вины угнетало его, и он способен был лишь вяло подыгрывать.

Да, я споткнулся и упал, диктовал в протокол Михал, сидя с перевязанной головой.

На что вы упали? Уж не на пивной ли бокал?

А я не разглядывал. По-моему, там были какие-то осколки.

Интересно, прямо лбом утораздило.

Случайность. Тут как раз Коуба меня и поднял.

Любопытно. Пьяный — трезвого, невиданное дело.

Все когда-нибудь бывает впервые.

Я гляжу, вы еще и философ, иронически взглянул на него врач. Наконец с трудом, но поверил.

И бригада приняла эту версию, вернее, вид сделала. Зденек понял это, потому что спуску ему теперь не давали. Каждый раз самая тяжелая работа доставалась именно ему, а Михал словно ничего не замечал.

Это была настоящая мужская дружба. И на тебе! — переманила его теперь какая-то маленькая потаскушка. На плотно сжатых губах промелькнуло что-то вроде усмешки. Промахнулась, девочка, останешься теперь одна, а мы здесь, вместе, плечом к плечу, будем стоять до конца.

Он занес руку, чтобы немного освободить нос, но Михал, неотступно стоявший на страже, одним махом сбил ее вниз. На ладони начал писать буквы: Т...Е...Р...П...И... Пришлось повторить два раза, зато ответ сразу был ясен.

На фига?

Водянистые глаза Зденека заискрились смешинкой, и он, наконец, ощутил себя тем, прежним Зденеком.

Выметал с Рогленой едва удерживали бригадира, рвавшегося то за Пёнтеком, то за Комаром. Он и сам знал, что ничем уже не помочь, но совесть мучила его, и он напряженно вглядывался в черную пустоту, бессмысленно надеясь, что пропавшие огоньки еще вынырнут из темноты.

Михал стиснул руку Зденека и, оставив его одного, отвел Ярека дальше по выработке. Теперь их было шестеро, и им не оставалось ничего другого, как ждать. Тихо покориться. Другого выбора не было.

Роглена и Выметал не сводили глаз с Пицмауса, Михал сидел между Зденеком и Стшалкой. Теперь его больше волновал Ярек — казалось, вынужденная бездеятельность отняла у него последние силы. А может быть, его просто терзали сомнения, верно ли они сделали.

Человек решает раз и навсегда, подумал Михал, и каждое решение должно быть правильным. Должно, иначе нельзя жить. Но если оно все-таки было неверным, не остается ничего другого, как смириться с его последствиями.

Какая опасная ловушка — жизненное решение. Перед необходимостью принять его Михала поставили слишком рано, и двенадцати ему еще не было. Он уже тогда был дюжий, выше учителя, мать мог поднять на руках и покружить в воздухе. А вот разуму к тому времени набрался не шибко, видно, все в рост пошло.

Он пытался вслушаться в размеренную речь священника, но все мысли были устремлены на тарелку, полную спелых черешен. На

черные мясистые сердечки из окна лилось солнце, превращая их в темные рубины.

Тебе, Михал, наверное, известно, что пан Плигал — твой отец. Да, мальчишки говорили.

А мать — нет?

Нет.

Даже никогда не намекала?

Нет. Черешни были с оторванными черенками, и из маленьких дырочек выступал сок. У Михала текли слюнки.

Хоть и оступилась твоя мать в жизни, женщина она разумная и не хотела будить в тебе напрасных надежд. Бог лишил пана Плигала наследника, но в бесконечной своей доброте дал ему возможность утешиться. Он хочет признать тебя сыном, я говорил с твоей матерью, и она предоставила решать это тебе самому.

Черешни были из сада Плигала, там стоят три развесистых дерева, до чего ж сладки их плоды, но и коварны: горсти достаточно, чтобы выкрасить зубы и весь рот.

Ты слушаешь меня, Михал?

Слушаю, досточтимый отец. Значит, Плигал хочет жениться на моей матери?

Священник даже на стуле подпрыгнул. Взял одну черешню, съел ее. Михал проглотил слюну.

Имя тебе дали в честь архангела Михаила, мысли же твои суть дьявольские. Пан Плигал состоит в законном браке, жена его станет тебе новой матерью.

Плигалиха?

У которой снега зимой не допросишься? Которая удавится за грош?

Когда жеребая кобыла лягнула их сына Венцу прямо в грудь, Плигал в ярости схватился за ружье, а Плигалиха крепко вцепилась в руку мужа. Венца два дня мучился, а как помер, батрак погнал Вранку на рынок, бока у нее блестели под солнцем, черная была, что дьявол.

Пани Плигалова, назидательно поправил его преподобный отец.

Над черешнями кружилась оса, усевшись, она стала пить сладкий сок.

Ты получишь большое наследство, Михал, и сможешь свершить много добрых дел.

Слова преподобного отца заинтересовали его, и он замечтался, представляя себя в усадьбе Плигаловых. Вот он открывает калитку в сад, зовет туда всех мальчишек, и Фердика из приюта, и целую ораву девчонок — они будут стоять внизу и подбирать черешни, учителя Альжбетка повесит их на уши, потом они заберутся на сливу, потом на грушу, на яблони, и в чулан их пустят, и в погреб. Девчонки будут лизать сметану, а ребята откусывать ветчину от окорока и жевать прямо без хлеба.

А я смогу купить маме новый шкаф для посуды? — спросил он громко.

Священник усмехнулся. Отогнал осу. Она вылетела в открытое окно. Больше всего Михалу хотелось сейчас вылететь вместе с ней.

Ты добрый мальчик, Михал. О твоей маме позаботятся.

Как это — позаботятся?

Предоставь это взрослым. Ну что, сказать твоему отцу, что ты согласен?

Михал молчал. Значит, что-то предоставить взрослым, а что-то надо решать самому.

Ты хочешь еще подумать, мой мальчик?

Ага. То есть да, преподобный отец.

Будь по-твоему, но помни, что сам господь бог протягивает тебе



свою десницу. Учишься ты хорошо, для тебя откроется путь к знаниям, и ты сможешь стать большим человеком.

А я и так не маленький, подумал про себя Михал, вон, до потолка достаю, даже на цыпочки не надо вставать.

Даю тебе день на размышление. Ты должен решить раз и навсегда, так что не ошибись, сын мой.

Принимать решение он помчался на черешню Плигаловых, она так и манила его с того момента, как он увидел вожделенную, полную до краев тарелку. Забравшись наверх, Михал вознаграждал себя за долгую проповедь, битком набивая рот, и чем больше ел, тем сильнее была жажда, слаще становился сок.

Время от времени он посматривал, что делается во дворе, после вчерашних похорон там осталась полоска песка, но черные занавески, расшитые серебром, были уже сняты, и желтую дорожку разгребали куры. Розы были срезаны и подставляли солнцу колючие культи. Тетка в черной косынке вышла на крыльцо. Пани Плигалова, его новая мать. Раз чуть до смерти не ухоталась, когда он зарылся носом в землю с ворованным маком. Чуть что — так и брызгала в него ядовитой слюной. Ведьма кривоzubая.

Михал соскользнул со ствола и припустил в поле. Она увидела его, но на этот раз промолчала. Теперь она кое-что про него знала.

Он бродил до самой темноты, под ее покровом прошмыгнул в дом учителя, тот еще сидел над книгой. По выражению его лица Михал понял, что и ему уже все известно.

Поздоровавшись, они оба долго молчали.

Учитель придвинул к нему тарелку с двумя пирожками, и Михал умял их в один присест. Взамен выгащил из-под рубахи две горсти согретой телом черешни. Больше на тарелку не вмещалось.

Случайно не краденая, Колига?

Михал пожал плечами.

Из сада Плигаловых. Преподобный отец сказал, я могу сделать много добрых дел.

В этом нет сомнений. Конечно, если только захочешь.

А почему ж не захочу?

Но тогда ты будешь уже не Колига, а Плигал.

И вся разница?

Как сказать. Деньги меняют человека.

Но мать согласна?

Она не хочет мешать твоему счастью.

Преподобный отец говорил. Это мне сам бог послал. Значит, он и Венцу из-за меня убил?

А сам-то ты как думаешь?

Если бы бог хотел его убить, у него же для этого молния есть. Не стал бы он Венцу жеребой кобыле под задние копыта подставлять.

Преподобному отцу ты этот вопрос не задавал?

У него на все один ответ — пути господни неисповедимы.

Учитель рассмеялся.

Ты, парень, и с фамилией Колига не пропадешь. Но решить ты должен сам.

Почему?

Потому что никто из взрослых не посмеет посоветовать тебе отказываться от такого богатства.

И даже вы, пан учитель?

И даже я, Михал.

Вот так он остался на распутье жизни один-одинешенек.

Приоткрыв дверь, он заглянул в дом. Мать, погасив свет, спойно спала, Михал ненавидел ее. И наверху, в усадьбе Плигаловых, было уже темно. Он запрокинул голову. На небе зажглось много тусклых мерцающих огоньков.

Собака прыгала ему на грудь и лизала руку. Одна она не бросила его. Михал со двора посмотрел в окно. Полумрак в комнате постепенно рассеялся, вырисовалась мамина голова, плечи, сотрясавшиеся от рыданий.

Ни с того ни с сего в нем вспыхнула ярость, он влетел в дом и разразился криком — слишком долго пришлось терпеть, и он дал волю своей горячности, в минуту высказав все, что терзало его долгие годы.

Раньше он и знать нас не знал, даже не здоровался с тобой, двенадцать лет ему дела не было, что я живу на свете, от дома плеткой меня гнал, а теперь вы решили, что меня, как котенка, можно взять за шкурку и швырнуть на чужой двор? Да еще пана священника впутываете! Какое господу богу дело до их богатства, выходит, он подsunул Венцу кобыле под самый хвост, чтоб все наследство мне досталось, а мне-то наплевать на это наследство, раз ты хочешь от меня избавиться...

Она влепила ему пощечину, потом, плача, они успокаивали друг друга, мать обнимала его так крепко, что раздавила всю плагаловскую черешню. Испугалась, что это кровь, что господь наказал его за богохульство, а потом, смеясь сквозь слезы, стирала рубашку — у него и было-то их всего две. Но пятна не отошли даже на солнце.

Больше в усадьбе Михал никогда не бывал. Даже теперь не заходил он туда к матери, которая работала там в кооперативе на ферме. Предала его, вышла замуж, растит чужих детей. Он ни разу не упрекнул ее, но чувство обиды осталось. И домой из армии Михал уже не вернулся.

В горле нестерпимо жгло, он обхватил шею ладонью. Переглянувшись, все поняли, что чувствуют одно и то же. Шахтеры беспомощно сидели, бурлящей воде не было конца. Никакие сигналы извне сюда не доходили.



Во дворе одно за другим зажигались окна. Может, он и вправду рассердился? Черт знает что я там намолочила спросонок. Сейчас быстро темнеет, ведь еще совсем не поздно.

Из оконных щелей дул студеной ветер. Она распахнула окно. На улице подморозило. С вечернего неба сеялась ледяная крупка. Обе детские площадки пустовали, по песку бродил шоколадный спаниель. Его выпускали одного, и он обнюхивал дворы, волоча длинные уши.

Дети, вытащив из мусорных баков елки, разложили костер. Отсыревшие оголенные веточки источали густой белый дымок. Из окна кто-то бросил в огонь пересохшее деревце, высоко взвились языки пламени.

Между этажами началась перебранка. Женские голоса срывались на визг...

В комнате совсем стемнело.

В дверь позвонили.

Она зажгла свет.

Распахнула ее навстречу Михалу. Улыбка слетела с лица, сменившись выражением испуга.

— Товарищ Колигова, мы из шахткома, моя фамилия Шуба.

— Полачек, — почти перебив его, представился второй.

— Но Михала еще нет дома.

Визитеры пришли в замешательство.

— Понятно. Мы как раз пришли сообщить вам, что он задержится.

— Чтобы вы зря не волновались.

— Может быть, даже он задержится надолго, тут уж такой случай.

— Но он обязательно вернется.

Они перебивали друг друга, и в этом усердии было что-то неестественное.

— А чем он, собственно, так занят? Почему задерживается? И потом, он сам мог бы мне позвонить.

Они переглянулись.

— Не волнуйтесь, товарищ Колигова, ничего страшного не случилось.

— Так, небольшое происшествие.

Под натиском неожиданных гостей она отступала в глубь прихожей. На их лицах все отчетливее читались растерянность и сочувствие.

Она поджала щеки кулаками, чтобы не закричать. Страх постепенно парализовал ее, и руки беспомощно упали вниз.

— Что с ним?

— Ничего, честное слово, просто он остался внизу, в забое...

— Там почти все остались...

— Они поднимутся, как только это будет возможно...

На лбу у Шубы выступили капельки пота. Полачек пытался напустить на себя беззаботный вид, но улыбка вышла кривой.

— Вы на машине?

Они недоуменно кивнули.

— Я поеду с вами на шахту.

— Нельзя, товарищ Колигова, и смысла никакого нет.

— Что вам там делать? Можете позвонить туда когда хотите, я дам вам прямой телефон.

— Да и не пустят вас туда. Не волнуйтесь, до утра ваш муж обязательно вернется.

Она не стала их задерживать. Спорить не было сил. Она доберется до шахты сама. Не сидеть же всю ночь у телефона.

Звонок.

Сердце громко застучало.

— Верушка, не хочешь кнедлики разогреть к ужину, Индра тебе может занести.

— Что, мама?

— Я говорю, кнедликов послать тебе? Михал их любит. Или ты уже приготовила? Тогда завтра разогреешь. Только Индру сейчас же отправь обратно, чтоб не шаялся по ночам.

— Что-что? А, ну да, только не сегодня, мама, я сейчас ухажу.

— Одна?

— Михал ждет меня в центре.

— Опять на танцы?

— Да нет.

— Что с тобой? Вы поругались? Экзамен завалила?

— Все в порядке. Мне надо бежать, мама. Пока.

Она положила трубку рядом с телефоном, чтобы мать не могла перезвонить. Вера боялась высказать вслух страшную догадку — того и гляди, накличешь беду.

Кнедлики, с ума мама сошла. Вечно лезет со всякой ерундой в самое неподходящее время. Теперь обидится. Ладно, завтра с Мишей заедем к ним.

Она прикусила палец, чтобы не вскрикнуть.

А что, если не будет никакого «завтра»?

Квартира казалась ей теперь ужасающе огромной. Она металась из угла в угол, пытаясь отогнать страх, но он и не преследовал ее, а исходил откуда-то изнутри.

Надо собраться. Надо одеться. Там холодно. Надо надеть шарф. На голову что-нибудь. Шапку. Потянулась за пушистым белым мехом и отшатнулась.

Вылитая Белоснежка, восхитился Михал, когда она примерила ее, а гномы не нужны?

Меняю семерых на одного медвежонка.

Он чмокнул ее в нос. При продавщице.

Да не может же все это вдруг кончиться! Не может!

Она подошла к телефону и положила трубку на рычаг. Вдруг Михал уже набирает номер? С ним ничего не может случиться. Я же везучая. Тьфу-тьфу-тьфу, и по дереву еще постучу. Он с Яреком. Стшалка умница, и шахтерское дело знает, про него в газетах писали. И старый Пёнтек с ним, тот, говорят, по шороху все определит, с одного взгляда поймет, какой камень ослаб. Выметал смелый, он в партизанах был, а Роглена здоровый, как бык, одними руками обвал держит; не может ничего с ними случиться, не может.

Я должна туда поехать. Я должна быть уверена.

Вот два идиота. Мямлили что-то, мямлили себе под нос. Неужели не ясно, что я должна знать правду.

Не хочу ее знать.

Если он погиб, они бы сказали.

Он жив.

Она натягивала сапоги.

Он даже не видел моих новых туфелек.

Она прислонилась к стене.

Звонок.

Она закрыла глаза.

— Вер, к тебе уже приезжали?

— Спокойно, Милуш, все нормально, тебе нельзя волноваться.

— А я и не волнуюсь. Но в любом случае я должна быть с ним рядом.

Как удивительно она это сказала.

— Я уже одетая, сейчас за тобой заеду. Только такси поймаю.

— Хорошо.

Боже, да чтоб Милушка согласилась ехать на такси, это ж конец света!

Вера пошатнулась. Хуже всего было то, что у боли не было источника — ее не отыщешь, не заглушишь. Она наступала, постепенно сжимая огромные невидимые челюсти.

— Лучше, если мы будем рядом с ними, — повторила Милушка, как будто забыла все остальные слова.

— Надо Рогленшу захватить.

— Я ей звонила — я про нее тоже подумала.

Машина забуксовала в колеях, засыпанных ледяной крупой. Обхватив руками живот, Милушка словно оберегала еще не родившуюся жизнь.

— Так что, заезжаем за ней?

— Не надо, она говорит, Руда рассердится, если узнает, что она его искала. Лучше дома будет ждать.

— Одной дома свихнуться можно.

Не ответив, Милушка со спокойным, безучастным лицом наблюдала за работой «дворников». Ритмичным движением они словно отсчитывали время.

— Лучше, если мы будем с ними рядом, — рассеянно повторяла она крепко засевшую в сознании мысль. — Я думаю, Вера, лучше, если мы будем рядом с ними.

Но вахтер так не думал. Он получил строгий приказ никого не пускать. Они вступили с ним в пререкания. Заставили его позвонить.

Такси уже и след простыл, свистел ледяной ветер.

— Этого нам еще не хватало, — кричал в трубку директор, — это именно то, что нужно для полного счастья. Пусть подождут в проходной, сейчас я за ними пришло.

Он брякнул трубкой.

— Хельга, сбегайте в шахтком, пусть принимают подарочек, мастера художественного слова! И пускай что хотят, то с ними и делают, раз объяснить толком не сумели.

Как будто без женских слез воды мало, черт возьми! Он подсел к остальным.

— Жены, понимаешь ли, явились! Пока только две.

— Комар — из Гршебони<sup>1</sup>, Пицмаус — живет в Пардубице<sup>2</sup>, — сказал Йожка, — Пёнтек вообще вдовый.

— Только пять, значит, слава богу. Нет уж, пусть сами теперь с ними разбираются, головы садовые!

— Шахтерские жены — это тебе не фунт изюму, — вздохнул Кухта, — не то что дурочки какие-нибудь. Ну-ка, сынок, давай еще раз во всех подробностях.

Йожин уже освоился в присутствии больших начальников, смущение постепенно прошло. Теперь он временами и вовсе забывал, что перед ним одни шишки, никто из них не пыжился, все были одинаково издерганные и озабоченные.

— Положили мы рельсы для прогона, поставили две рамы, затянули бока и кровлю — там, где осыпалось, завалили породой. Потом Медведь, то есть Колига, что-то принохиваться начал...

— А вы ничего не слышали?

— Слышали, отбойный молоток. И еще перфоратор. Выметал по левой стороне бурил, вот так, наискосок... А, да, еще вентилятор шумел.

— А гула, гула никакого не слышали? Или толчков?

— Уголь какой был? Блестящий или матовый?

— А давило как? Что с давлением?

Услышав столько вопросов, Йожин только плечами пожал.

— Все было нормально, как обычно. Да, давление... Уголь шел хорошо, Медведь говорил, а тут его как раз бригадир позвал. Только мы хотели ставить крепь, как увидели воду, первым Зденек увидел, он еще сказал, ну...

— Так что он сказал?

— Неприлично выразился, известное дело — столичный.

Кухта не сдержал улыбки — он и сам был из коренных пражан, и работать начинал в Кладно<sup>3</sup>.

— А где была вода? Поточнее объясни.

— Если точнее, то вот здесь, — показывал руками Йожин, — где пласт сходится с кровлей, там струйка и текла.

— А потом через уголь прорвало?

— Тогда меня уже не было.

Директор шахты Гавлик резко поднялся с места. Все могли спастись! Спустились бы спокойно на четвертый, как этот малый, не пришлось бы сейчас ломать голову. А с водой как-нибудь справились бы. Да куда там — вот и вдалбливай им после этого в башку, что главное в шахте — это люди. Подумать только — ждут, пока затопит всех, и в ус не дуют.

До проходной наконец добежал Тонда Фикейс, член шахткома. Он славился своим красноречием, ни одно собрание не обходилось без его выступления. Хлебом не корми — дай только поговорить.

Но когда он оказался лицом к лицу с двумя молодыми женщинами, одна из которых была к тому же на сносях, его набитый привычными фразами рот закрылся сам собой. Он смог лишь представиться и робко спросить:

— Может, лучше вас домой отвезти? Это я могу устроить.

— Мы только что приехали, — ответила Вера. — Поймите нас, пожалуйста.

<sup>1</sup> Город в южной Чехии.

<sup>2</sup> Город в Среднечешской области.

<sup>3</sup> Центр угольной и металлургической промышленности недалеко от Праги.

Сразу за шлагбаумом она увидела красную «шкоду» и усилием воли подавила крик. Машина казалась брошенным, покинутым всеми существом. На окне обросла морозными иголочками дурацкая надпись. Вера остановилась и стерла ее ладонью.

Руку пронзила леденящая боль.

— Пошли, — одернула ее Милушка, — не задерживайся.

Дальше они отправились, взявшись за руки. Во дворе стояли большие машины горноспасателей — из Радванице, Оставы, Катовице.

— Это еще ничего не значит, — успокаивал их Фикейс. — Обычное состояние аварийной готовности, на всякий случай. Мало ли что.

— Вы что, душой меня считаете? — перебила его Милушка. — Чем мы вам не показались, что наем уж и правды сказать нельзя? Что там — пожар? Самовозгорание?

— Нет, вода.

Обе почувствовали облегчение. Им казалось, что вода — это не так страшно. Кого-то укладывали в «скорую помощь». Забыв о своих подопечных, Фикейс бросился к машине.

Вернулся разочарованный. Увозили Лишчара.

— Это инспектор. Нет, не раненый, приступ желчного пузыря, — сообщил он почти с досадой.

«Скорая помощь» с воем выкатила из ворот.

Долго крепился Лишчар, хотя волнение быстро нейтрализовало действие укола. Боль опять охватила его, но в машину он забрался без посторонней помощи, улегся на носилки и вдруг ощутил вокруг приятный туман, растворившись в нем без остатка.

Машинист подъема Герман давно уже помылся и переоделся. Но уйти с шахты не смог. Он не был ни горноспасателем, ни должностным лицом, но чувствовал свою причастность к судьбе пропавших, потому что был к ним ближе всех. Его голос стал для них последним сигналом из мира людей. Его и Леготы. Знай он это тогда, нашел бы для них другие слова.

Что могло случиться, почему они положили трубку? Прервали связь добровольно или задохнулись от газа?

Он терзался, не предполагая, что проживет в мучительном неведении всю оставшуюся жизнь. Со временем он узнает, что случилось с шахтерами, но никто и никогда не ответит ему на вопрос, что было бы, если бы он остановил Йожина и дал сигнал тревоги.

Никто не ответит, никто не спросит, никто не обвинит в нарушении служебных обязанностей, и нерешенная загадка так и останется между ним и его беспощадным богом.

Хорошо, что он еще не ушел, вспомнили и о нем.

— Никак клеть не идет. Может, вы спуститесь, попробуете?

— Конечно.

— Но это опасно.

Герман только презрительно усмехнулся. Опасность его не волновала. Вслух он ничего не сказал, да его бы и не поняли. Это они должны были преодолевать страх, а он всего лишь подчинялся воле божьей.

Врач торопливо осмотрел его.

— Сорок, ну да, с хвостиком. А выглядите старше, в общем, не мальчик. Болезней никаких не нахожу.

Директор напряженно следил за врачом. Время летело с бешеной скоростью. Клеть была нужна позарез.

— Практически здоров, — нехотя вынес заключение врач. — Противопоказаний нет.

Машинисту быстро объяснили, как пользоваться респиратором. Он был спокоен и понятлив. Но когда спустился в свое подземное отделение, где работали спасатели, его охватил ужас. В темноте, в неведомом, все казалось иным, чуждым. Ему представилась картина



последнего суда — огромная волна погребает все живое, машины, инструменты. Он звонил по всем телефонам аварийного участка, но аппарат был глух. Мертв.

Герман превозмог страх. Где-то в дебрях темноты теплилась жизнь, ждала Германа, его разума, рук, опыта. Забыв опасения и молитвы, он принялся за дело.

Они по-прежнему сидели на глыбах породы друг возле друга, опаленные изнутри жаром жажды.

Выметал, встав, выбрал три лампы поярче и отнес к стволу, поставив так, чтобы горноспасатели их не проглядели.

Свет едва мерцал. Испытание почти полной темнотой. Голодом. Жаждой. Но они не падали духом. Их счастье: смертоносный газ лежал у ног.

Опершись головой о стену, Выметал задумчиво смотрел на угасавшие огоньки. Когда-то давно вот так же меркли звезды, он навзничь лежал на снегу, безучастно наблюдая, как постепенно они тают, ощущая сладкую уверенность, что уйдет вместе с ними. Хрустального сиянья дня больше не будет. На нем была ненавистная зеленая форма, которая превращала его в солдата по имени Wimetal Erich<sup>1</sup>. Ему было восемнадцать.

Сосновый бор темнел в нескольких шагах, до него он не добежал.

Деревня догорала, он понял это по розоватому зареву. Такое бывает над Островой, бесконечно далекой отсюда. Он был уверен, что уже никогда не вернется туда, но и это его не печалило. Остывший мозг просил только тишины.

Звездной ночи предшествовал страшный сон.

Он стоял с нацеленным ружьем, в горле жгло от положенной порции спирта, мушка прыгала перед глазами. У свежей могилы стояли люди, закутанные женщины, подросток, несколько стариков, кучка детей, жавшихся к девушке со светлыми косами и прозрачно-голубыми глазами.

Она пела.

Песня девушки не умолкла и тогда, когда, подкошенная, она упала в яму.

Он старался стрелять мимо. Даже оглушенный алкоголем, он понимал, что точное попадание было бы куда милосерднее, но решиться на это не мог. А взять на мушку офицера рука не поднималась.

Над могилой вырос холмик земли, а ему все слышалось пение. Песня звучала высоко, звонко. Ночью Выметал ползком выбрался из части. Смертельный ужас обуял его. Не выдержав, он поднялся во весь рост и кинулся бежать.

Вдогонку стреляли, он упал, но смог еще подтянуться чуть ближе к лесу. И снова стрельба. Он кинул гранату. По своим. Вторую. И понял, что теперь он не с ними. Да и не по своей воле был он с ними.

Он прополз дальше и скатился в какую-то ложбину. Выбраться не было сил, повернувшись на спину, он стал глядеть на звезды. На розовое зарево.

Кругом стояла тишина. Его подразделение, скорее всего, уже ушло. Жизнь покидала его, не причиняя боли, отдаляясь, как засыпанная песня.

Вытянув руку, он набрал в ладонь снег. Не донесенная до рта, рыхлая горсточка лишь припорошила лицо. И тут его коснулось теплое, сладкое дыхание.

Саша. Сестричка из партизанского отряда.

<sup>1</sup> Немецкое написание чешского имени.

Выметал никогда не рассказывал, как воевал. Он противился воспоминаниям, щадя себя. Яростные атаки, преодоление страха, упоеание боем, мужская дружба, ледящие кровь картины войны, а в короткие затишья — минутная, ничем не защищенная любовь украдкой, такая горячая, такая сладкая.

Но сейчас, как ни бежал он прочь от воспоминаний, они все-таки настигли его. И отступить было некуда. Боевое крещение в партизанском отряде было беспощадным: две его гранаты разорвали Курта и Пауля — тех, с кем он шагал в ногу, с кем делился куском хлеба и глотком воды, спал бок о бок, пытаясь согреться. Да, они первыми открыли по нему огонь тогда, во время побега. Ранили, лечиться пришлось долго. Все равно вид их обезображенных тел произвел на него гнетущее впечатление, оставшись в памяти незаживающей раной.

Первая в его жизни любовь закончилась с первым весенним ветром. Его влажное дыхание вытянуло листочки из почек, ветви засветились зеленым опереньем. Но та весна запомнилась ему не свежим горьковатым ароматом, а сладким трупным запахом.

Теплый ветерок лишил повешенную человеческого обличья, он узнал ее, сам не понимая как: может, по волосам, промытым дождем, просушенным весенним солнцем.

Не проронив ни слова, Эрих начал рыть могилу, на дно просочилась вода; пройдя дальше, к самому лесу, он стал копать заново. Товарищи помогали ему, каждый понимал, что нет в мире слов, способных хоть что-нибудь изменить.

До могилы он донес ее сам. Увязая в грязи, с трудом тащил тяжелую ношу, у которой не было почти ничего общего с Сашей, прядка волос приклеилась к шинели, он отделил ее осторожно, волосок за волоском. Опустив тело в яму, на хвойный настил, прикрыл анемонами то, что было когда-то ее полудетским лицом с зелеными глазами, удивленно поднятыми бровями, веснушками на носу.

Выметал похоронил ее, но ночами она иногда возвращалась к нему, сливаясь в один образ с девушкой на краю братской могилы, сам же он стоял с ружьем и решал, застрелить ее или закопать заживо. Он стонал во сне, жена будила его ласковым прикосновением, клала руку ему на лоб, приносила воды.

Жили они хорошо, тихо, без бурных страстей. Когда его одолевали тяжкие мысли, жена не докучала, целиком отдаваясь хозяйству и детям. Ее истинным пристрастием было чистое белье, она упорно отказывалась от стиральной машины, замачивала, намыливала, отстирывала, откипячивала, терла о стиральную доску, прополаскивала в нескольких водах, подсинивала, подкрахмаливала, в саду вечно развевалось белье — над капустой и помидорами, над слякотью ли, над снегом или над зеленой лужайкой, усыпанной одуванчиками. Из вечера в вечер она наглаживала полотно, любовно складывая в стопку выбеленные, ровные, как листы бумаги, пододеяльники.

Подражая матери, дочки с малолетства плескались в воде, возились с лоханочками и корытцами, враз превращая кукол в гольшей, развешивая их наряды по кустам сушиться.

Может, поэтому из детей его больше тянуло к старшему мальчику, носившему чужое имя. Выметал усыновил его не просто из чувства долга перед погибшим товарищем, он стал ему настоящим отцом, один понимал другого с полувзгляда, они сплотились под натиском четырех женщин в доме. Еще бы пару лет его поддерживать, пока сам не встанет на ноги. Везет же парню — потерять отца во второй раз.

Выметал почувствовал внутренний холодок. С едва мерцавшими огоньками ламп угасала надежда.

Думы о возможной разлуке не вызывали у него ни скорби, ни

печали с тех минут, когда он нес Сашу, боль уснула в нем навек, он разучился ее чувствовать...

Интересно, чем они сейчас там дома занимаются?

Дочки, верно, устроили возню в кровати, а старший сидит наверху, занимается. Они вместе перестроили чердак в уютную комнатку, достали тесу, обшили стены, сами соорудили нехитрую мебель, полочки, стол, парню это нравилось, сроднились они с ним, впрямь сроднились.

Жена ждет. Наверное, ей уже что-то сообщили. Правду, конечно, скроют до тех пор, пока его не найдут, сбrehнули, мол, срочная работа, но ее так просто не проведешь.

Она ждет. Распустила тугой пучок, расчесывает волосы, свободно заплетает их в косу, надевает длинную, белую, совсем старомодную рубашку, источая аромат миндаля и чуть подпаленного белья, такая робкая и стыдливая. И такая пылкая.

Выметал подошел к стволу и несколько раз покачал лампой. Его убивала вынужденная бездеятельность. Надо хоть что-нибудь делать для спасения.

Бригадир вопросительно взглянул на него. Показал в темноту, где, по его догадке, висела мертвая клеть.

Выметал пожал плечами.

В темноте ничто не шевельнулось, лишь грохотала вода.

Стшалак попробовал сделать глоток. В горле жгло.

Он настороженно следил за Пицмаусом, пару раз ребята уже приструнивали Кышмышку, чтоб не суетился зря. И теперь все беспокойство сосредоточилось в его испуганных глазах. Острый носик, казалось, подрагивает, чуя опасность.

Вид у Пицмауса был жалкий, даже странно, как это он мог стать мишенью для насмешек. Смешной была только фамилия, он всегда придиричиво следил, чтобы ее правильно произносили, а в остальном это была фигура трагическая. Пылу у него хватало на любую работу, а результаты всегда были плачевными, его анкета была длинным перечнем самых невероятных профессий — даже и не скажешь, что есть такие на белом свете. Не прогульщик, не лодырь, напротив, вечно охваченный бессмысленным усердием, Пицмаус так и не постиг до конца ни одного ремесла. Бригада как своих приняла и Зденека, и Роглену, хотя ни тот, ни другой святыми не были и время от времени «уходили в загул», но Пицмауса все как-то чурались.

Раз в кино показывали документальный фильм о кибернетической мышке, учившейся обходить препятствия в лабиринте. Так же отчаянно метался Кышмышка-Пицмаус в лабиринте мира: влево-вправо...

Глянуть бы на дом, что он строит, посмеивались шахтеры за его спиной, небось с трубы начал или окна прорубить забыл.

Бедняга Кышмышка сидел теперь вместе со всеми в ловушке, блуждая в темноте полными испуга глазами. Стшалак смотрел на него не отрываясь, ему казалось, что своим взглядом он хоть немного его подбадривает. Но обезумевший от ужаса Пицмаус жался к Михалу так же, как Зденек и все остальные.

Стшалак все понимал, но чувствовал горькую несправедливость. Он сколько всего передумал-перепробовал, вконец сомнениями измучился, а их так и притягивает Михал своей молчаливой, спокойной уверенностью.

Стшалак заметил это давно, почувствовал неприязнь к Михалу, но, стыдясь недоброго чувства, пытался подавить его.

Трудно сказать, когда их отношения дали первую трещину. Михал был обязан ему всем. Если бы не помощь Ярека на первых порах, на шахте он бы не остался. Сперва казалось, не годится Михал в углекопы, приспособиться не сумеет — уж больно велик для шахты. Но он настолько владел своим могучим телом, что не чувствовал се-

бя стесненным даже в узких ходках, а сноровкой без труда догнал Эриха. Признавал это даже старый Пёнтек, правда, молча и хмуро.

Ярека замутило, он попытался представить себе, как погиб Пёнтек. Не мог он смириться с его смертью, мысль о ней упорно мучила его. Пёнтек с Выметалом были ядром бригады. Большинство новичков приходили и уходили, «дембили» — Роглена и Медведь — держались вон уже сколько лет, малыш Йожин, кажется, мировой парень. Индра Ткач болен и навряд ли вернется. У Комара руки золотые, но котелок не шибко варит. Стшалка замер: вот уж для кого удар ниже пояса — променял бедняга Комар тихую воду южночешских прудов на зловонный водопад.

Собственные мысли вдруг показались Стшалке безумными, подумать только, разбирать каждого по косточкам в самый неподходящий момент. Околеем тут — все героями станем, смерть уравнивает все достоинства и недостатки. А живы будем — сразу придется замену искать: Зденок и Пицмаус в первый же день деру дадут.

Михал останется, этот уже свой. Он теперь, пожалуй, и Выметалу фору даст. Эрих не то чтобы отставал, нет, он точный, как часы, работает без усталости, как машина, но в то же время работа его ничуть не волнует, душу не затрагивает. Одно время двинули его в шахтком — заслуженное прошлое! — но не доставало ему красноречия: ни убедить никого не умел, ни сагитировать, людям казалось, он глух к их бедам. А ведь Эрих не такой, сердце у него доброе, вон детей чужих усыновил, другой бы не преминул похвалиться лишним раз, а Эрих помалкивает.

Странный он все-таки экземпляр. Вроде меня. Нет во мне того, к чему люди сразу тянутся.

Ярек с надеждой посмотрел на друзей, глаза Михала сверкнули подбадривающей искоркой, но он не ответил, неподвижно уставившись на угасающие лампы.

Внезапно Стшалка осознал истинную причину своей тягостной ревности, в душе он никак не хотел с ней мириться, настолько недостойной она ему казалась. Он попытался отогнать эту мысль, отер ладонью потный лоб, но она неотступно глодала его изнутри. Наверняка освободиться от нее можно было, только поделившись ею, но все они были лишены этой возможности. И хотя, прикоснувшись, любой мог ощутить рядом товарища, каждый из них был ужасающе одинок.

Вера.

Стыд нахлынул на него. Но отмахнуться от нее он не мог. Воспользовавшись темнотой, она проникла, проскользнула сюда. Вот ее лицо-солнышко в нимбе растрепанных ветром волос, умоляюще сложив руки, она приближалась к нему с растерянной улыбкой.

Вера.

Тогда на станции она обратилась к нему так неожиданно. Обернувшись на зов, он тут же попятился, его не меньше удивило бы, если бы ласточка, прервав ни с того ни с сего свой полет, опустилась бы на плечо, слегка задев его лицо крылышками. Девушка даже не прикоснулась к нему, но, подойдя, обдала волной нежности, каждое ее слово было ярким хрупким цветком, высеченной искоркой, легкой бабочкой.

Он знал теперь, что она и есть счастье.

У него не было сомнений, что он заслужил его, прожив жизнь, достойную хрестоматии. Одно ремесло осваивал за другим, ничего больше в жизни не было. Если суждено дожить до старости, может, выпадут на его долю хоть осколки радости — ледяная горка, островок левкоев, веселая ярмарка, карусель, праздничные булочки, варка варенья, писк вылупившихся птенцов. Но сейчас, в неполные тридцать, ему казалось, что жизнь его всегда теснили и теснят большие и маленькие каменные плиты, их становится все больше, и, подсту-

пая все ближе, они заставляют его преодолевать усталость. Лес — это был сбор хвороста, шишек, черники — бесконечные ягодка за ягодкой, назойливая мошкара по утрам и комарье вечерами; на рассвете он тащил ягоды на рынок, в школе старался слушать внимательно, днем возвращался домой, еле поднимая в гору керосин, хлеб гвозди, муку, соль — летом на спине, зимой на санках. И две младшие сестренки в придачу.

Потом было училище, по праздникам и воскресеньям работа в поле или на рубке леса и, наконец, шахта, настоящая, уже сознательная работа, упоение трудом, немного славы, отравленной страхом перед завистью других, удостоверение ударника, пачки денег, часть которых неизбежно уходила на выпивку за большим столом, чтобы не упсть в глазах товарищей. Остальное пошло на содержание дома, на приданое сестрам. Работа заслонила собой весь горизонт, он потонул в ней, захлебнулся до полного равнодушия ко всему; что ее не касалось. Были у него девушки, но ни одна не пожелала смириться с его вечной занятостью, и расставался он с ними без сожаления.

В тот день он возвращался в Оставу из дома, ставшего совсем чужим, — сестры обзавелись своими семьями, родители крутились с внуками, он стоял на платформе один-одинешенек на всем белом свете, как вдруг почувствовал приближение счастья.

Потерявшись, он не сообразил, как удержать его, не решился даже протянуть к нему руки. Растерянность имела свою причину — за солнечной девушкой повсюду следовала ее подруга — блеклая, серая тень...

Я несправедлив: Милушка — жена как жена. Работящая, старательная, скромная и экономная, разумная и внимательная, завтрак и чистое белье она ни разу приготовить не забыла, за всю беременность хоть бы на что пожаловалась, и ссор между ними не бывало — она сразу уступала. Другие жены чуть не бесятся, если воскресная смена, пият мол, вам все равно где, только бы не дома, а Милушка улыбается себе: ничего, Яречек, я пока тут приберусь потихоньку, зато к рождению маленького все лишняя копейка.

Мальша и на свете еще нет, а на него уже отдельный конверт заведен, я и ахнуть не успел — всю зарплату к рукам прибрала. Два раза в месяц мы усаживаемся за стол, раскладываем деньги кучками, перекаладываем из одной в другую, советуемся (как же я все это ненавижу!), Милушка довольно воркует — вот они, наши любовные игры.

Голова кругом!

Она ему еще перед свадьбой рассказывала, представляешь, какая Вера испорченная. все это, мол, не страшно, сначала голова кругом, а потом — тишина.

Голова кругом!

Да это был просто титанический труд, сначала Милушка отбивалась как ненормальная, потом смирилась, покорилась судьбе, как в зубодробном кресле, а когда все осталось позади, на лице ее было написано такое облегчение.

Спи, Яречек, завтра вставать чуть свет.

Всю жизнь он всем был должен, должен, должен; если бы хоть на несколько дней, хоть на несколько часов он мог сбросить панцирь обязанностей и остаться беззаботным, веселым, легкомысленным.

На Стшааку нашло спокойствие. Он не мог умереть тут, это было бы слишком несправедливо. Жизнь задолжала ему кое-что — маленький кусочек цветного, солнечного счастья.

Может быть, он обретет его в ребенке сыне или дочке. детство повторится, но теперь уже радостное. он накупит игрушек, о которых напрасно мечтал когда-то, они вместе будут строить железную

дорогу с тоннелями и станциями, запускать поезд, до самой темноты бродить по лесу или так просто носиться по траве, собирать малину и запихивать ее прямо в рот.

Ребенок помирит, сблизит его с Милушкой, озарит тень, расцветит ее, пока она не примет вид вождя счастия.

Но здесь, глубоко под землей, он никак не мог представить своего будущего ребенка, в темноте перед глазами вставал только вздутый, розовый живот, протканый синеватыми жилками, он чувствовал его все ближе. различая шевеления сокрытого в нем плода, но склонялась над будущим ребенком не Милушкина, а совсем другая, солнечная головка. Вера.

Он застонал.

Михал заботливо взял его за руку.

Ярек кивнул, мол, все в порядке, попытался улыбнуться глазами. Михал ответил тем же. Так, быстро переглянувшись, они подержали друг друга.

Михала тягостные мысли не мучили, больше всего он страдал от жажды. Она вызывала в сознании одну и ту же картину — сочная зелень, толстые водянистые стебли хрустят под девичьими пальцами, под сорванными калужницами открывается чистая голубая лента, и он представлял себе, как, упав на прохладную траву, лицом прямо в ручей, гасит застрявший в горле раскаленный клубок.

Вот они в его родных краях, на Высочине, вода прозрачно-чистая, на дне серебрится слюда, мелькает форель. Вера карабкается на берег, нагибается за земляничкой, голые, загоревшие ноги отражаются в воде, сорвавшийся камешек падает вниз, изображение кольшегется. Вера протягивает ему свою добычу, они смеются, он захватывает незрелые кислые ягодки с ее ладони прямо губами — хорошая коняшка, не кусается.

А сама кусает его в ухо. Он и забыл — с ней всегда надо быть начеку, маленькая, быстрая змейка, она торжествует, оставляя след на его теле.

Верка, с ума сошла, знаешь, как ребята в душе издеваются?

Как будто она не знает.

Не знаю. Небось завидуют?

Я бы ее на твоём месте по губам, кипел Ярек. Правильно, я с ней только так, хорохорился Михал.

Вера присасывается к его плечу. Да здесь, на Высочине, их полдеревни может увидеть!

Знаешь, Верка, ты кто? Чудище морское!

Да? А я и моря-то в жизни не видела.

Значит, увидишь.

Честно?

Она опускает в воду босые ноги. Болтает ими. Покрытые лаком ногти под водой похожи на розовые камешки. Михал хватает их, боясь, что они уплывут.

Твоей маме я не очень, а, Миш?

Почему? Ты ей понравилась.

Она тебе говорила?

Ну, в общем, да.

А в частности? В частности, что сказала?

Я не записывал.

Но он точно помнил каждое слово. Когда они с матерью остались наедине, она замолчала. А он слишком хорошо знал ее, чтобы спрашивать.

Ты уже решил или пришел посоветоваться?

Решил.

Я так сразу и подумала.

Тебе Вера не нравится.



Почему же, но это не та насадка, что несет золотые яйца. Да и простых от нее не жди.

Мой лучший друг по-другому говорит: лицом пригожа — руками негожа.

Не для шахтера она.

А для кого же?

Ни для кого. Она для радости. Для счастья. А счастье человеку рядом с собой всю жизнь не удержать.

Я так понимаю: ты не советуешь мне на ней жениться.

Наоборот, Миша, я советую жениться. Если ты будешь счастлив год, или хотя бы полгода, или еще меньше...

Она расплакалась.

Плохая я мать, Миша, никогда мне разума не хватало, ты же знаешь, как я тебя на свет родила, у меня для тебя, голодного, иной раз крошки не было, вот и теперь — разве правильный совет я тебе даю?

Он обнял ее, поднял высоко и закружил, как давно когда-то, мальчишкой, пробуя свою силу.

Не переживай, мам, даже если бы ты меня отговаривала, я бы тебя не послушался.

Вскарабкавшись на большой камень, Вера балансирует руками, морщит нос, солнце льет на нее золото через неровные кружева листы.

Говори, медвежонок, или утоплюсь.

Топись!

Она плюхается прямо в платье, высоко взлетают брызги. Перевернувшись на спину, с намокшими волосами, она, смеясь, протягивает к нему руки. Он хватается за них, чтобы помочь ей выбраться, а она тащит его в воду.

Ну и бестия же ты, Верка.

Кто-кто? А ну еще раз повтори.

Хохочет во все горло, топит его, но следит, чтобы голова не держалась под водой слишком долго.

Да я тебя сейчас утоплю, бродяга ты этакий!

Они целуются как сумасшедшие, скрытые широкими листьями девясила, ласковая вода журчаньем приглушает их вздохи, подстилает им шелковый песок, омывает чистыми ключами.

Медведь вздрогнул. Зловещий рокот вернул его к действительности. Не может же счастье быть таким коротким, не может, не бывает так, мама, мамочка, Вера, милая моя.

Ему захотелось кричать во все горло, но он только крепче стиснул зубы. Оглядел товарищей — свет угасал, их фигуры становились все прозрачнее.

Молча они сторожили тлеющий огонек. На ничейной земле. На островке, окруженном пожирающей его водой. Он знал, что теперь останется с ними до самого конца.

Раз уж впустили отчаявшихся Веру и Милушку на шахту, пришлось о них всячески позаботиться. Приволокли в шахтком кресла, кофе поставили, сифон зарядили, открыли банки с фруктовым соком, и конфеты нашлись, и апельсины, и три яблока. Фикейс своими не привыкшими к тонкой работе руками вырезал из бумаги кружевные салфеточки — глупо, но трогательно.

Не зная, чем бы занять женщин, он раз-другой пытался завести с ними разговор, но Колигова так осадил его взглядом, что у него вдох-то в горле застрял, не то что слово. Стшалкова устроилась в кресле поудобнее, он еще и стул придвинул, чтобы дать отдых ее отевающим ногам. Сложив руки на огромном животе, она устала оценивать взгляд в пустое пространство.

Поди ж ты, всех как ветром сдуло в соседний кабинет, бросили его тут одного на произвол судьбы. Ладно же, остальных пусть сами оповещают, а его в жизни больше никто не заставит вот так крутиться с бабами, уж лучше десять раз с горноспасателями спуститься. Жаль, больше врач не пускает.

— Конфеток хотите? Может, апельсин очистить, а?

Раскрыв складной нож, Фикейс осторожно надрезал кожуру, по комнате разлился аромат. Соорудив красивый цветок с аккуратными лепестками — как для внучат, — он поставил его перед Милушкой.

— Подкрепитесь.

Она перевела на него отсутствующий взгляд.

Не успеют школу кончить, а уже замуж выскакивают, подумал он возмущенно. Строят из себя матрон. Смотреть тошно. За шкуру бы их сейчас да выкинуть отсюда, подумаешь, страдалицы!

Он занялся вторым апельсином, дужками обозначил глаза, подцепив кусочек кожуры, превратил его в нос, вырезал белые зубы в широком оранжевом рту — поставив чертика на ладони, протянул Вере.

Слегка улыбнувшись, она приняла его.

Им с куклами впору цацкаться, а не мужей ждать у ворот шахты.

— Может, вам почитать что-нибудь найти?

Он порылся на полке, но результаты были весьма скромными — куча брошюр в помощь агитатору, нетронутая кипа журналов, детектив без обложки. Он быстро сунул его подальше — в первой же фразе бросилось в глаза слово «труп». Вытащил два подарочных альбома с видами Остравы, пусть хоть картинки посмотрят.

Зазвонил телефон.

— Пёнтека? Что, правда? Старого Пёнтека? Ага, ага, позвони в комитет, они все там сидят.

Положив трубку, он уткнулся к книге, зарекшись передавать новость своим подопечным, но растерянное выражение лица выдавало его.

— Что-нибудь случилось?

— Пёнтека нашли?

— Нашли.

— Что он говорит?

Фикейс отвернулся к полке.

Вера тихо охнула, потолок закачался и поплыл прямо на нее, она вскинула руки, но, не справившись с тяжестью, впала в беспамятство.

— Что тут поделаешь, ничего тут не поделаешь.

— Вера, ты что, Вера, это еще ничего не значит, слышишь, Вер, это совершенно ничего не значит.

Она пришла в себя. Послушно глотнула воды.

Смешно: отхаживала ее Милушка.

— Ничего не значит, точно я тебе говорю, — бубнила она, уговаривая Веру и саму себя.

Конечно, ничего, кроме одного: старого Пёнтека больше нет. Разве не сидел он несколько дней назад за столом напротив, оглядывая ее из-под нахмуренных бровей, глаза с покрасневшими белками то и дело разряжались искрой, пронзительный взгляд полосовал бритвой. Острые словно касалось кожи, становилось не по себе. Дед казался ей препротивным, она с ним словом ни разу не перекинулась, улыбки не удостоила, все нос воротила — страшно воняло от него дешевым табаком.

А теперь нет его больше. Мертв. Не может он быть мертв! Никто из них. Не может и не должен. Просто не смеет.

Вера не замечала, что качает головой из стороны в сторону, выражая свое «нет», пытаясь уйти от боли, от времени.

— Прекрати,— прикрикнула на нее Милушка,— да прекрати же! Чего ты качаешься, как медведь...

Бывают в жизни минуты, когда даже самые обычные слова обростают шипами, причиняя острую боль, а непреднамеренные удары оказываются самыми точными. Милушка уже сама не рада была своим словам, боль заставила Веру опомниться, она замерла.

Медведь. Медвежонок. Миша.

Еще раз положить ему голову на грудь. Разочек.

— Примите-ка вот это. Не бойтесь, я врач.— Адамчикова протянула ей таблетку и стакан с водой.

— Но я совсем не хочу заснуть.

— Вы просто немного успокойтесь. А уснуть не уснете, обещаю вам.

Вера проглотила таблетку. Милушка наблюдала за ней с укоризненной. Вера медленно перевела взгляд на Милушкин туго обтянутый живот: на нем вдруг вздулся небольшой буторок, передвинулся и исчез совсем, чтобы тут же вырасти в другом месте. Милушка проследивала его путь ладонью.

Ей легче, подумала Вера, ей ждать не в тягость, она носит любовь в себе, ее опора всегда при ней, ощутимая, осязаемая. Живая. Живая!

А я одна.

Она сжалась в комочек в кресле, прикрыла веки, и звуки голосов приобрели силу удара.

— ...Нет, он с «Победного Февраля»<sup>1</sup> ушел, переехал в Карвину<sup>2</sup>. А второй работает машинистом на шахте имени Швермы, в общезжитии живет, знаете, эти дома напротив автобусной остановки на Нововесской. Дочери его дали квартиру у нас, в Порубе, рядом с торговым центром где-то, не припомню, какая у нее теперь фамилия.

Деловой тон Милушки коробил Веру; она полистала книжку, вздрогнула, наткнувшись на снимок канатной дороги над Черным лугом,— видно, не только слова, но и предметы обросли шипами, немилосердно впивавшимися в память.

Да еще это бездумное, унижительное свидание! Может, именно в ту минуту, когда Михал боролся за жизнь, я ноготочки свои подставляла этому идиоту для его сопливых поцелуев и слушала пустопорожний треп.

Впрочем, разве это что-нибудь меняет, имею же я право немного позабавиться. Какие все это глупости, нужно собраться, сосредоточиться, снять боль. Всего год назад я даже не знала о существовании Михала, в то время прочтала бы об аварии в газете с тем же интересом, что и «Черную хронику»<sup>3</sup>, ну, екнуло бы сердце, так ведь даже приятно сознавать свою полную непричастность к такой далекой человеческой беде.

Не мог же он за какой-то там несчастный год врасти в меня так, что разлука стала невыносимой пыткой, я себе просто внушаю, на самом деле не такая уж это мука, нет, не такая.

Но новая волна душевной боли подкатила к горлу, в глазах потемнело. Они могли бы расстаться тогда, может быть, и лучше было бы потерять его сразу.

К первому вечеру их совместной жизни он подготовился более чем тщательно. После ужина — разорился на деликатесы! — она пошла в свой номер. Со смеху можно было помереть, какие церемонии предшествовали их поездке. Прежде чем Михал решился на последний шаг, он продемонстрировал классическую старомодность — или

<sup>1</sup> Шахта в Остраве.

<sup>2</sup> Шахтерский городок в Оставско-Карвинском бассейне.

<sup>3</sup> Ежедневная рубрика чехословацких газет, в которой сообщается об автомобильных авариях, уголовных преступлениях и т. д.

его вымуштровали на курсах бальных танцев, или он знал о любви только по книжкам.

Сколько раз они бывали в лесу наедине, но в последнюю минуту Михалу всегда удавалось совладать с собой. Ее это раздражало, она сразу вспоминала, как в детстве мать до невозможности затягивала рождественский ужин, подкладывая в тарелки все новые и новые куски, в то время как умиравшей от любопытства Вере не терпелось развернуть подарки.

К тебе можно? — спросил он, не переступая порога.

А чего мы тогда сюда ехали, скажи на милость?

Судя по всему, ответ его разозлил, он так и не вошел. Была жара, и Вера почти приклеилась к креслу, обитому черным дерматином.

Из-за волнистых гор вынырнула большая оранжевая луна-апельсин. Вот смешно. Вера ждала долго. Луна успела подняться, уменьшиться в размерах и побледнеть. По-прежнему похожая на апельсин, забавной она уже не казалась.

Наконец Вера сдалась и сама пошла к Михаилу. В дверь стучать не стала. Он стоял у открытого окна и смотрел на улицу.

Михал, может, у тебя не все дома?

Он обернулся. Чужой, ужасающе огромный. На призрачно-голубом фоне резко рисовалась его голова. Усмехнувшись, он взял ее на руки и отнес на кровать. Она услышала, как бьется его сердце, прижалась к нему и первой начала его целовать.

Друг любовь покинула его, он лег рядом. Повернувшись на живот, она ластилась к нему, но он съезжился еще больше. И не прикоснулся к ней. Лежал рядом, далекий, безучастный.

Сердишься, что я не девушка? Ну, ты что?

Да ничего.

Нет чего. Давай фант! Ухо, например.

Ногтями она вцепилась ему в мочку уха.

Он сердито вскопчил. Рассмеявшись, встала и Вера.

Михал, ну что за трагедии из ковбойской жизни, ведь ничего же не случилось.

Ничего?

Они стояли друг напротив друга, как враги. Нагие, залитые лунным светом. Ее нестерпимо тянуло к этому красивому, сильному человеку.

А жениться на мне совсем не обязательно, Михал, никто тебя не заставляет. Наши даже против.

Михал промолчал. Но она чувствовала, что он закипает. Стиснул зубы, на скулах заходили желваки. Взгляд злой, холодный. Он стоял рядом, сердитый исполин, но страх перед ним доставлял ей почти наслаждение. Нет, все, что исходит от этого мужчины, будет безраздельно принадлежать ей. Она почувствовала непреодолимое желание подзадорить его. Для чего, почему — ей и самой это было неведомо.

По крайней мере прорепетировали перед свадьбой.

Она ждала, что он ударит ее, но не отступила, а сделала шаг вперед.

И часто ты так репетируешь?

А ты?

Оценки выставяешь? Очки?

Вера взвилась и изо всех сил ударила его по губам.

Он сжал ее плечи с неистовой силой. Потом произошло крушение мира, рушились скалы, камни неслись прямо на нее, как подрубленные, падали деревья, царапая ее шершавой корой, колючей хвоей...

Той, прежней Веры больше не было, она растаяла, разлилась бесплотной негой, рассеялась, все прошлое стерлось, растворившись в его силе, она возродилась иным созданием, чистым, невинным, счастливым.

Положив голову на грудь Михала, она расплакалась. Он не утешал ее. Только ласково гладил ее по волосам ладонью, подбородком, лбом, разбитыми губами.

Это за то, что ты заставил меня ждать.

Я понял.

Почему ты заставил меня ждать?

Не знаю. Мне все хотелось по-другому.

Как это — по-другому?

Ну, так.

Ничего, что я для тебя больше не тайна?

Ничего. А ничего, что я тебя люблю?

Ничего. А ничего, что ты — радость моя и опора?

Ничего. А ничего, что я на тебе женюсь?

Че-его? Вместо фанга можешь взять мое ухо. На, я свое запросто отдаю. Или руку на. Я вся твой фант. Ничего?

Он поцеловал ее. Она почувствовала на губах его кровь.

— Вера, ты прекратишь или нет?

Она вздрогнула и перестала раскачиваться. Хотя это приносило ей облегчение.

— Не сердись, Милуш, я просто психую.— Она погладила подружку по руке.— Вместо того чтобы тебя успокаивать, я тебе еще и на нервы действую. Пойми ты, Милуш, не могу я себе представить, что...

— Ну хватит же!

Во взгляде не то отвращение, не то презрение.

Вера взяла апельсин. Стала медленно отрывать лепестки.

Прикидывается тут несчастной, а завтра же с другим и утешится, зло подумала Милушка, поймав ладонью движение плода. А я одна останусь, одна с ребенком. Все потеряет смысл: квартира, которую Ярек своими руками отремонтировал, кафельная ванная, купленные в рассрочку вещи — всё, одно за другим; в конвертах останутся мертвые, ничего не значащие бумажки.

Чашка будет обыкновенной чашкой, говяжьих отбивные превратятся в кровавые кусочки мяса, и уже никто не придаст им смысл своей похвалой. Платяя станут тряпками, а умильный комплект для новорожденного никогда больше не засветится под его взглядом. И ребенок, так и не узнавший Ярека, будет не таким, как мечтали, и вся моя жизнь превратится в тень прошлого.

Не бывать этому, Ярек вернется, он жив, он где-то там, под землей, он жив и думает обо мне, о ребенке, это придаст ему сил и поможет продержаться, пока его не найдут. Его найдут, должны найти, работают первоклассные горноспасатели, все начальство думает над картами, все сейчас делают больше, чем могут, его должны спасти, его должны найти, вот и малыш Йожин говорит, он тоже верит, он с ними до последней минуты был.

Вера с надеждой посмотрела на открытую дверь, но шаги удалились по коридору. Она отпила воды — первый глоток застрял болезненным комком.



Диспетчеры сменяли один другого, только главный инженер Адамчик оставался на посту. Все человеческие потребности в нем угасли, работал только мозг — принимал сообщения, автоматически оценивал их, определял меры по спасению людей и шахты.

Насосы отказали сразу, и аварийная комиссия сошлась на простейшем, но верном способе. Вместо угля наверх поднималась вода, полные вагонетки опорожнялись и снова отправлялись вниз.

Еще утром диспетчерская гудела от множества голосов и звуков; заглушая друг друга, мешались споры о порожняке, крепежном лесе, запчастях, кто-то спешил, кто-то упрямо стоял на своем, кто-то грубо-

вато отвечал на упрек. Но сейчас все подчинилось одному ритму не-веселой песни с отчаянным рефреном: приток воды прежний.

Ночевать Йожин не пошел, и никто не посмел отправить его с шахты: ведь он был из той самой, попавшей в аварию бригады. Сидеть сложа руки малыш не мог, работой его не заняли, и он бесшумно сновал туда-сюда. Поняв, что разрешения на спуск ему не видать, он перестал настаивать, добровольно взяв на себя роль связного между диспетчерской, кабинетом Гавлика и медпунктом, заходил к горноспасателям и, когда они возвращались ни с чем, услужливо предлагал им кофе; время от времени заглядывал к томящимся в ожидании Вере и Милушке, раз даже решился побороть их улыбкой.

Йожин расхаживал по коридорам как упрек и живая надежда, его сопение за спиной стерпел даже главный инженер, более того, он спросил:

— А ты, куда бы ты бежал от воды? Наверх или вниз?

— Я бы наверх. Ясное дело, наверх.

— Но ведь выход пока есть только через нижний горизонт.

— Зато наверх вода не достанет, нет, я б наверх пошел, да по-выше.

Наверху они задохнулись бы от метана. Внизу — от сероводорода. Небогатый выбор.

— О камере повышенного давления ты когда-нибудь слышал?

— Да, мы в училище проходили. У нас там такого не было.

— Но ведь можно было бы соорудить.

Йожин выпучил свои наивные, как у теленка, глаза.

— Это в такой-то спешке? Да вы представляете себе, товарищ инженер, что там делалось?

Главный не ответил. Вопрос был излишен.

Сменив респираторы, водолазы в облегченных костюмах штурмовали ствол, едва выдерживая напор воды. За собой они с трудом тянули самоспасатели для потерпевших.

Аварийная комиссия пополнилась инженером-немцем Егером. Увлечения юношеских лет, казалось, помогли ему дожить до старости все тем же мальчишкой — маленькая, легкая фигурка почти не утратила прежней гибкости, светлые волосы без видимой границы переходили в седину. Мышечные усики казались приклеенными, заведенные, вероятно, для солидности, на моложавом лице с живыми, пытливыми глазами, они выглядели комично.

Его вытащили сюда прямо из кровати, но выглядел он бодро; вдохнув аромат предложенного кофе, гримасой выразил свое удовлетворение и начал разбираться в картах.

— Я на шахте все оставил в полная Ordnung<sup>1</sup>, это вы тут заборделила, еще как заборделила!

Егеру и в голову бы не пришло, что оброненное им словечко войдет в обиход, пережив его самого, более того, воспоминания об этой аварии. Пройдут годы, и никто не вспомнит, какой бесконечной ночи обаяно это выражение своим появлением.

Егер привез с собой составленную им хронику, переписанную красивым готическим почерком. Он знал ее почти наизусть, безошибочно открывая нужную страницу. В ней было собрано все найденное им в журналах и записях, слышанное от ветеранов, вычитанное в книгах.

— Это старая шахта. Именно этот Ort<sup>2</sup> в начале века слишком взорвался, все тогда рухнуло, остался завал. Может быть, они это не обозначили или обозначили не там, где надо.

Покопавшись, он извлек нужные карты и разложил их на длинных столиках в хронологическом порядке. Такая дотошность нервировала Гавлика, и он направился в диспетчерскую.

<sup>1</sup> Порядок (нем.).

<sup>2</sup> Здесь: забой (нем.).

— Подъем на четвертом исправен, но сигнализацию восстановить не удастся, — встретил его Адамчик.

— Будете запускать?

— Будем. Водолазам удалось подняться по запасному стволу, сейчас пытаются добраться до камеры.

— У меня там в кабинете чудо-юдо — крупный спец по старым картам.

— Егер? Неужто старик Егер? Пойду-ка повидаюсь с ним.

Кивнув, Гавлик уселся на место главного. Услышав сообщение «Приток воды прежний», он громко фыркнул. Так бы и треснул по проклятому селектору!

Внезапно директора ужаснуло, как бездарно растрачиваются силы и знания человека — думали, шапками закидаем, а дело из рук вон, такого специалиста, как Егер, на пенсию списываем, и никому даже в голову не придет перевести его архив с немецкого и передать шахте, никто не возьмет на себя труд уговорить его поделиться опытом с молодежью, ветеранов в забой отправляем, а им место — наставниками в училище. Только Пёнтека черта с два уговоришь! Может, я и сам бы его убедил, если бы время выкроил. Да что там, разве я один виноват, все хороши, перечеркнули прошлое, живем, опережая время, самих себя, — потом сами же и расплачиваемся.

Он обернулся — в диспетчерскую осторожно заглянул Йожин.

— Ничего нового, сынок. — Посмотрев на часы, он тяжело вздохнул. Было уже за полночь.

В этот момент селектор передал новость. Гавлик рта не успел раскрыть, как Йожин уже бросился в коридор.

— Комар жив! — оповещал он всех со счастливой улыбкой. — Комара нашли, живого! Нашли живого Комара! Жи-во-го!

Старый Егер оторвался от карт, очки съехали на кончик носа, в глазах стояло удивление. Комар в январе — это, конечно, редкость, но поднимать такой шум... Тронулся, видно, парнишка от пережитого.

— Комара нашли! — кричал Йожин, думая, что так понятней. — Офнера Франтишека, он совсем живой, в камере его нашли.

Франтик Офнер действительно был «совсем живой», хотя сам не сразу поверил в это, когда его обнаружили. Оставшись в полном одиночестве, он уснул как убитый и теперь был уверен, что очнулся на том свете. Когда сознание наконец прояснилось, он не мог понять, куда попал — в рай или в ад.

Неведомая сила трянула его не слишком деликатно. Посыпались пощечины. Соображал он всегда медленно, но на оплеухи реакция была молниеносной — вслепую он принялся размахивать руками налево и направо.

Конец света, подумал Комар, куда же я попал-то, неужто во сне границу под землей переполюс? Может, вода отнесла?

— Где остальные?

— О со pyta? Co chcacie wiedzieć? <sup>1</sup>

— Черт возьми, вы что, не понимаете, что ли? Где все наши?

— Musicie iść z nami do dół? <sup>2</sup>

Не нравилось ему все это. Он изо всех сил отбивался от маски, которую они пытались на него натянуть, а когда потащили к стволу, сопротивлялся как помешанный. Но силы были неравные...

Радость на шахте быстро улетучилась, на Офнере след обрывался. Ничего, что облегчило бы поиски, сказать он не мог. Его куцый рассказ, пожалуй, лишил горноспасателей последней надежды.

Комара нашли, заметив слабый свет забытой Пицмауэром лампы. По пути вниз, где каждая ступенька была адовой, блуждающих огоньков больше не заметили.

<sup>1</sup> О чем он спрашивает? Что хочет узнать? (польск.).

<sup>2</sup> Вы должны идти с нами вниз (польск.).

Адамчик вернулся в диспетчерскую, с досадой подумав, что пошла у него полоса неудач, вот и сегодня первое доброе известие принял Гавлик, а на его долю останутся одни мертвецы. Стараясь отделиться от нехорошего предчувствия, он полез за сигаретой. Пачка была пустой, диспетчер придвинул ему свою.

— Попробуем запустить клеть пока вхолостую,— сказал Адамчик.— Машинист спустится через пять минут.

— Уже в третий раз!

— Знаю. И все-таки хочу, чтобы Герман присутствовал, он ведь там как рыба в воде — и ощупью не промахнется. Машинное отделение проветрено.

Староват, конечно, для таких отчаянных номеров, но выбирать не приходится. К тому же Герман — человек разумный и достаточно сознательный: почувствуй он слабость — отказался бы, а он — нет, ни слова не возразил, но почему-то это и угнетало больше всего.

Адамчик закурил сигарету. Которую по счету — представления не имел.

В минуты крайнего сосредоточения все мы забываем об усталости, о болезнях — они берут свое позже. Все наши грехи подсчитывает время.

— Чем занимаются наши гости?

— Ждут.

— Дала бы ты им снотворного.

— А если они ждут в последний раз? Ты пойми, последняя ночь с живым мужем — не могу я вмешиваться.

Адамчикова неслышно вышла.

— Соедините с Германом,— приказал Адамчик,— Германа к телефону.

Горячая ложечка выпала из пальцев, он осторожно поднял ее и положил остывать рядом с чашкой. Вдохнул бодрящий кофейный аромат.

— Герман? Запусти вхолостую, понял? Рассчитывай по секундам. Потом с людьми. Понемногу будешь приспускать — пусть ищут, где-то ведь они должны быть.

— Понятно,— по обыкновению выкрикнул Герман.— Помоги, господи!

Адамчик невольно постучал пальцем по столу — на счастье. На губах промелькнула улыбка. Все, начиная с руководства и кончая диспетчерами, партийные и беспартийные, поставили бы свечку, принесли бы в жертву ягненка любому святому, хоть языческому громовержцу Перуну или шахтерскому духу, наприбывали бы у порога подков, гонялись бы за трубочистами, на коленях под снегом искали бы клевер-четырёхлистник, если бы их убедили в том, что это поможет Стшалковой бригаде.

Но нет, не оставалось ничего другого, как качать наверх воду и партиями спускать людей в темную, мертвую шахту.

— До меня просто не доходит,— кипел Гавлик,— ведь могли сразу съехать на четвертый, как Йожин? Так нет же, остаются в самом пекле да еще связь прерывают, это же надо, черт возьми, как так могло получиться?

С багровым от ярости лицом он ходил вокруг стола, старый Егер следил за ним с опаской, боясь, что Гавлик сметет на пол какую-нибудь из карт.

— Паника,— объяснил он лаконично.

— Паника? Какая, к черту, паника? Ведь были уже в безопасном месте, не дети же, ей-богу! Раз добрались до подъемника, как Офнер рассказывает, куда их опять понесло? Сейчас бы уже все здесь сидели. Все до единого. А мы бы спокойно спасали шахту.

— Вероятно, им все представлялось по-другому,— вмешался Зайд-



лер,— одно дело, когда на все смотришь отсюда, и совсем другое — под землей.

Гавлик смерил бывшего директора сердитым взглядом. Тебе ли знать, как там, под землей, ты-то небось свои ручки сроду не замарал. Господин директор, недостижимое Его Величество! Он столкнулся с ним только раз в жизни, отступив с дороги в сторону. Гавлик пожалел, что по нынешним обстоятельствам нельзя было напомнить ему об этой встрече, происшедшей много лет назад, однако никакого злорадаства по отношению к Зайдлеру, чье место теперь занимал, он не испытывал.

Хельга подала ему телефонную трубку.

— Вас, товарищ директор.

— Кто говорит? А-а, ты... — протянул он сердито.— Что? Да я и не волнуюсь, чего мне волноваться, не понимаю, ты зачем звонишь. Ну если б не было работы, я бы тут не сидел. Вот именно. Только что? Это во втором-то часу ночи? Ну да, что ей не танцевать, если у нее платье за две тысячи. Приду, да приду же, как только освобожусь. Да. Пока.

Он бросил трубку.

— С танцуплек явилась, нет, вы видели? На балах танцует! Принцесса какая нашлась! — В голосе его прозвучало горькое недоумение: как сейчас можно заниматься такой ерундой да еще соваться с этим к нему; выражение детской обиды на округлом, заросшем лице было настолько неуместным, что, уткнув носы в карты, все захихикали.

— Что это вас разобрало? — набросился Гавлик на присутствующих.

— «Принцесса какая нашлась!» — передразнил его Кухта.— Тебя, видно, больше всего две тысячи за платье гложут.

— Да соплюшка ведь пятнадцатилетняя! Она, видите ли, два раза на бал в одном платье не может пойти!

— Правильно, пора тебе кубышку заводить, только учти — премии не видать как собственных ушей. Разве что этот смертный случай на себя возьму.

— Это ты брось! Бабы и так перебьются.— Он не понимал, что смешного нашли они в его словах. Жена и дочь со своими курсами бальных танцев действовали ему на нервы. Нет, пора, пора научить их считать деньги! Задело его и то, что Кухта упомянул о покойном Пёнтеке таким невозмутимым тоном.

Насупившись, он сел за стол.

Никто его не понимает: эти в карты уставились, разводят тарыбары о геологических пластах, дома только и разговоров что о тряпках. Была бы у него хоть одна-единственная душа на свете! Если бы жена решилась на сына! Сын. Пусть хоть такой заморыш, как Йожин.

Тот подошел почти неслышно.

— Пробный пуск прошел без помех, теперь поедут с людьми.

Гавлик кивнул и посмотрел на парнишку с такой теплотой, что Йожин от неожиданности смутился. Вот с ним бы я нашел общий язык, думал Гавлик, и сердце у него почему-то сжалось. Взять да приветить Йожина домой — так ведь дочка, фифа эта, демонстративно не заметит, а то еще и на смех парня поднимет. Он ужаснулся, поняв, как отдалился от семьи, и тут же в голове мелькнула мысль, насколько забывал он собственное прошлое, свою рабочую юность, прежних друзей.

Стремясь уйти от тяжкого раздумья, Гавлик распахнул окно и с наслаждением вдохнул резкий, морозный воздух, сразу почувствовав облегчение.

— Следить за мной,— Егер переходил от карты к карте,— вот здесь старая выработка заштрихована, а тут она очень низко. Через

десять лет — как было раньше, значит, опять не мериль, просто так чертиль, видите, здесь опять низко...

— Вы хотите сказать, что здесь значительный провал, по всей вероятности, опустилась и старая выработка, но во время геологоразведки этого не заметили.

— И не могли заметить, она была завалена. Или забыль — нет разница, здесь везде скала, вода не пройдет, она вот тут собирается.

— Стало быть, мы ей путь и проложили.

— О плавунах в вашей хронике нет упоминания?

— Ausgeschlossen<sup>1</sup>.

— В данных геологических условиях это совершенно исключается, — подтвердил инженер Зайдлер, — подземное озеро — это еще возможно, но наличие сероводорода подсказывает, что это — старая выработка. На повестке дня два вопроса: количество воды внизу и каким образом ее можно откачать.

— А временем мы располагаем?

— Боюсь, что нет. Ведь там люди.

Гавлик затворил окно. «На повестке дня!» Говорит как пишет. Все тебе на ведра пересчитает, а шахта того и гляди рухнет, ясно как день.

Он подсел к остальным. Но ничего спасительного в голову не приходило. Ни одна запруда такого напора не выдержит.

Старый инженер положил свою узкую руку поверх его лапы.

— Не надо бояться. Вода будет перестать течь, я знаю, будет перестать.

— Я понимаю, что перестанет, но что будет с людьми?

Старик развел руками.

— Больше, чем делаете вы, сделать нельзя.

Хельга подняла трубку. Занервничала, несколько раз тихо переспросила. Побледнев, положила трубку.

— Из госпиталя звонят, инспектор Лишчар умер от инфаркта.

Один за другим они поднялись. Только Гавлик продолжал сидеть, закрыв лицо руками.



Заживо погребенные в шахте, они уже не слышали рокота воды, время остановилось.

Зденек страдал от палящей жажды не меньше других, превозмочь ее удавалось с помощью все той же игры: как бы со стороны наблюдая за маленьким, скорчившимся от страданий человечком...

Как удивительно и как бессмысленно порой складывается человеческая жизнь. Маленький кудрявый мальчик, с которым носится вся улица, весь парк, отличник, образцовый ребенок, обученный матерью раскланиваться на все стороны («Лучше поздороваться два раза, чем ни одного!»), одаренный художник, рисунки которого обошли все международные детские выставки...

Наверное, есть во мне какой-то изъян, девушки хорошей я не встретил, живопись опротивела — все краски оказались предательски изменчивыми.

Написать бы эту темень, едва брезжущую розоватым светом, и назвать картину «Надежда», «Надежда на жизнь»... «Надежда выжить»...

Он вздрогнул. Поздно.

Каждый был погружен в свои мысли, усталость притупила внимание. Труднее всех приходилось непоседливому Пицмаусу, в нем словно сидела сжатая пружина, которая вот-вот резко распрямится. Вся жизнь его была бегством, беспорядочным лавированием между препятствиями. Обойдя одно, он тут же влетал в другое, поэтому, неспособный справиться с первыми же неудачами, преодолеть трудно-

<sup>1</sup> Исключено (нем.).

сти, он то и дело менял профессии. Теперь, убежденный, что наверху их уже просто списали, бросив на произвол судьбы, на растерзание воде, он потерял последнее доверие к людям.

В нем поднимался, разбухая, протест и вдруг прорвался сквозь сжатые губы; гонимый безудержным страхом, он сдернул маску и, швырнув ее в темноту, сам бросился к стволу.

Невнятный выкрик всех поднял на ноги, первым вскочил Стшалка. Не успев схватить отчаявшегося Пицмауса, он, забыв об опасности, высвободил рот, чтобы крикнуть ему вдогонку:

— Пицмаус! Кышмышка! Назад! — И, вспомнив вдруг, как его зовут, впервые назвал напарника по имени: — Енда! Еник! Назад! Вернись!

У ламп Стшалка остановился, дальше кипела вода, в которой бесследно исчез Пицмаус. И словно призраком, по стволу поднималась освещенная клеть.

Он бешено закрутил ручку телефона.

В ответ раздался гудок. Герман. Трубку взял машинист подъема Герман. Стшалке показалось, что это сон, — настолько все было невероятно. На всякий случай он подал голос:

— Говорит Стшалка. Мы во второй нише...

— Ярек, там газа нет?

— Мы в самоспасателях.

— Не говори больше ничего, слышишь? Надень маску и слушай. Сигнализация не работает, но я приноровлюсь. Продержитесь еще чуть-чуть! Только молчи, слышишь, положи трубку и перезвони — я буду знать, что ты понял. Спускаю клеть на двор. Положи трубку и перезвони!

Обыкновенно машинист кричал, но сейчас он просто надрывался, все его слышали, только Яреку вдруг показалось, что искаженный звук голоса перешел в бессмысленный гул, в голове вспыхнул ослепительный огонь, желтизна затопляла ровное, незнакомое ему поле, он попытался заглянуть за горизонт, ему казалось, там он увидит своего ребенка, он высматривал его на залитом светом песке, вдруг откуда ни возьмись выпорхнула ласточка, приближаясь, она поглощала отвратительный свет, пока не обратила его весь в черный бархат и, долетев наконец до Стшалки, осенила его нежным крылом.

Он упал, сжав в руке трубку.

Его подняли.

Выметал положил трубку и покрутил ручку.

— Порядок! — донесся голос Германа. — Ждите, чтоб вас!

Михал и Роглена, не найдя места, куда положить Стшалку, держали его на руках. Зденек пробовал вызвать у него признаки жизни, вспоминая все, что отложилось в памяти с пионерских лет. Теперь, уже усвоив, что понизу, у ног, концентрация газа особенно высока, он подал знак поднять Яреку как можно выше. Освободив рот, пытался вдохнуть в него хоть немного живой силы — той, что у самого была на исходе.

Счет в жизни Германа шел теперь на секунды, утомление перешло в состояние странного возбуждения. Всеобъемлющей любви. Знать, и впрямь настала решительная минута, если любовь эта распространилась даже на греховодника Леготу — вероятно, в глубине души Герман считал, что прикосновение ангела смерти заставит того раскаяться. Но он ошибался: Легота был из тех, кто даже на смертном одре вспоминает женские ласки.

Легота уже трижды спускался вниз, окончательно утратив легендарный облик. Привычный аромат дорогого одеколona выветрился, вытесненный запахом, которого он сам не выносил.

Ворвавшись в кабинет начальника шахты, Легота прямо в мокрой спецовке плюхнулся в кресло.

— Живы они, чтоб их, живы! Нет у тебя коньяка?

— Что?

— Коньяка немного. Живы они, сейчас их на четвертый спускают. Врача туда послали, еще и он их наверняка задержит.

Хельга налила ему почти полную рюмку «Наполеона». Он наградила секретаршу улыбкой — и ее утомленное, уже немолодое лицо посветлело, разгладилось.

Члены комиссии, услышав добрую весть, повскакивали со своих мест. Упустив момент, не двинулись только оба старика.

— Вы из министерства? — спросил Легота.

Егер смерил его взглядом из-под очков.

— Нет, мы — с пенсии.

— Даже с пенсии? А я пока в поте лица ее зарабатываю.

Зайдлер только невесело усмехнулся. «С пенсии», подумал он с тоской, как с того света. Понимая, что шахта есть шахта, он завидовал этим людям во всем, вплоть до их раздоров и неурядиц, завидовал даже тому, что произошла вот эта авария, сплотившая их. В его время ни один из подчиненных не посмел бы вот так развалиться перед ним в кресле да еще потребовать коньяку. Просто возмутительно. Одновременно Зайдлер был уязвлен, что никогда не познал такого доверия, такой человеческой близости с ними.

Подняв рюмку, Легота пригубил ее. И только потом вдохнул приятный аромат коньяка.

— Одного понять не могу, как это вдруг телефон заработал. Кабели отсырели напрочь, уж мы и так и сяк пытались связь восстановить, и все зря. А тут на тебе, вдруг они на проводе.

— Э-э, и техника имеет свои Laune<sup>1</sup>, — заметил Егер, — у провода своя, особая жизнь, как у нас.

Хельга расставила рюмки. Наливала на доньшке — каждый знаком останавливал ее. Они выпили за живых.

Фикейс в это время успокаивал Рогленову — та звонила что ни час. Он умоляюще переводил взгляд с Милушки на Веру и обратно, но ни у той, ни у другой не было никакой охоты ему помогать.

Поскольку телефон все время был занят, сообщить радостную весть выпало на долю Йожина, который объявил сквозь счастливые слезы:

— Их нашли! Даже говорили с ними. Герман, наш машинист. Скоро поднимут.

Вера, обняв, поцеловала его. Йожин залился краской.

— А где они сейчас?

Ничего не видя перед собой, она бросилась в коридор, но, опомнившись, вернулась за Милушкой...

Почти на пороге медпункта Веру с Милушкой вдруг остановил пронзительный вой «скорой помощи». Стшалку и Зденека Коубу везли в реанимацию. Их подняли на-гора первыми, остальных, сменив самоспасатели, оставили ждать.

Резкий звук удалялся, пока не затих совсем. Но радости как не бывало, осталась только тревога.

— Кого это повезли? — спросила Вера. — С ними что-нибудь случилось?

Адамчикова обняла за плечи Милушку.

— Ваш муж газа наглотался, не волнуйтесь, ему дали кислород, и два врача при нем.

Милушка высвободилась из объятий. Во взгляде ее сквозила враждебность.

— Почему они меня не взяли? Я хотела быть рядом с ним.

— Времени не было разбираться. Поедете с остальными, на осмотр всех обязательно повезут.

— Но я хотела с ним.

— Уедете со следующей машиной. Вы пока присядьте.

<sup>1</sup> Причуды, капризы (нем.).

Вера хотела было проводить ее до стула, но Милушка увернулась, не позволив больше к себе прикоснуться.

— Я же хотела с ним,— твердила она обиженно.

Она прислонилась спиной к стене, оскорбленная, злая, убежденная, что все собрались здесь только затем, чтобы нарочно причинить ей боль, помешать быть рядом с мужем.

— Идут! — услышала Вера, и все вокруг перестало существовать.

Она не знала, с какой стороны они появятся, но, инстинктивно определив направление, ракетой вылетела навстречу Михалу, бросилась ему на грудь с такой силой, что он оступися, повисла у него на шее. Но он, этот пень бесчувственный, только сощурился от резкого света и хрипло выдавил из себя:

— Мать твою, глотнуть дай чего-нибудь...

Не удовольствовавшись поцелуями, обеими руками потянулся за бутылкой с молоком. Адамчикова заказала их в магазине еще до открытия.

— А пива нет? — Роглена с отвращением отвел рукой бутылку с белой жидкостью. — Знаете, куда идите со своим молоком? Да хоть бы из вашей сиськи — мне его даром не надо.

— Пиво только после медицинского осмотра, — отрезала Адамчикова энергично, — а молоко — хорошее противоядие, сейчас это именно то, что вам нужно.

Вера, чуть откинув голову, со стороны наблюдала за Михалом: присосавшись к бутылке, он пил молоко, белые струйки бежали по его груди. Вера засветилась, ее улыбку заливали слезы радости.

Зденек Коуба лежал в боксе реанимационного отделения. Он боялся пошевелинуться — вена была подключена к капельнице. Тяжело болеть ему никогда еще не доводилось, все здесь его угнетало, правда, он не без удовольствия из-под ресниц наблюдал за сестрой. Она оставила незадернутой занавеску, разделявшую два бокса, и он следил, как ловко перестилает она постель. Молниеносно свернула грязную простыню, тут же сунув ее в мешок. У нее были тугие красные щеки, а на ногах — толстые белые чулки.

Вошла вторая сестра, без фартука, застиранный голубой халатик был короток и явно тесноват, смахивала она в нем на девочку, которая неожиданно выросла и округлилась.

Они о чем-то пошептались, украдкой поглядывая на Зденека. Это его встревожило.

— Эй, сестрички!

Подошла молоденькая; вторая вынесла белье.

— Вам что-нибудь нужно?

— Как мои дела?

— После обхода, наверное, переведем вас в обычную палату.

И еще...

Что, что еще? Вы о чем там шушукались?

— Да все рвется к вам какой-то медведь. А у нас посещения запрещены.

— Но если одна постережет...

Михал был готов ко всему, и все-таки слова не шли с языка — до того жалким показался ему Зденек. Золотистые кудри подернулись сединой, лицо осунулось.

— Что с остальными?

— Роглену и Выметала отправили домой. Вообще-то меня тоже отпустили, но я хотел с тобой повидаться.

— А Стшалка?

— Еще в операционной. Ждем вместе с Милушкой.

— Пицмаус?

— Сам понимаешь, ему уже ничем нельзя было помочь. И давай договоримся — о подробностях не распространяться, понял?

— Вам пора, а то вы меня подведете, — вмешалась сестра.

Зденек схватил его за руку.

— Послушай, сходи погляди, как там Пайташ... да нет, я в своем уме, Пайташ — это собака Пёнтека, он ведь один жил, я ему пообещал, что Пайташа не брошу.

— Не волнуйся, будет сделано.

Михалу казалось, что его собственное лицо, уставшее от маски бодрячка, сковала судорога. Подойдя к двери, он уже не смог оглянуться. Хотелось заплакаться и заснуть.

В коридоре сидели Вера с Милушкой.

— Ну как там?

— Зденда в порядке. Никогда бы не сказал, что он такой отчаянный. Но заметно присмирел.

— А Ярек? Ярека видел?

— Нет, не пустили. Наберись терпения, Милуш, и так делают все возможное.

— Но я хочу его видеть.

— Сейчас нельзя.

Он знал, что чуда не произошло, в операционной Стшалке вскрыли грудную клетку и попытались сделать прямой массаж сердца. Представлявшаяся его глазам картина была настолько страшной, что он не решился сказать им правду.

Из операционной вышел врач. Михал поднялся, но сразу понял, что вопросы излишни.

— Четверо,— сокрушенно повторял Гавлик, получив сведения из госпитала,— четверо, значит.

— Инспектор не в счет, так что трое,— поправил его Кухта.

— Самое ужасное в том, что все могли спастись. Дважды.

И так думал каждый из сидевших за столом. Чего проще — элементарное соблюдение инструкции, а если бы людям вообще было свойственно хладнокровно принимать решения в крайних ситуациях, удалось бы избежать не одной катастрофы.

— И бригадир у них был отличный.

А вот это была ложь. Мягкосердечный, нерешительный Стшалка под нажимом всегда тушевался. Руководство это устраивало: легче иметь дело с тем, кто, поддакивая, не вступает в пререкания, всегда готовый нажать указанную кнопку. Но лишь до той поры, пока не возникнут непредвиденные обстоятельства. А их почти всегда хоть отбавляй.

— Приток воды слабеет,— оповещал неутомимый Йожин,— кажется, вся вышла.

— Richtig, правильно, я же говорил, что она будет перестать,— оживился Егер.

У всех от сердца отлегло — худшее было позади, дальше все было проще, но главное — пришел конец мучительным сомнениям.

Заглянув в сияющие глаза Йожина, Гавлик с удивлением поймал себя на том, что облегчения не чувствует. Радость обошла его — слишком тяжким было бремя утрат. С трудом поднявшись, он молча направился в диспетчерскую к Адамчику.

К проходной уже тянулась утренняя смена. Ее отправляли обратно, на шахте все еще командовали горноспасатели. У отстойников замерзала поднимаемая снизу вода.

— Пора передохнуть, пожалуй,— предложил Гавлик,— а то я уже с ног валюсь.

— Сейчас начнется обстрел звонками сверху.

— Положим, они там сначала кофейку выпьют, газеты просмотрят. Когда начнем добычу?

Главный инженер Адамчик отвернулся с ироничной усмешкой — до того комична была сейчас решимость на лице Гавлика.

— Вам как — в часах доложить или в минутах?

— В секундах,— проворчал Гавлик,— тоже мне, юморист!— Самое

ужасное, что я даже сердиться на вас толком не способен, когда-нибудь это мне дорого обойдется.

Директор решительно направился к двери и врезался прямо в косяк. Главный снова усмехнулся. Была в Гавлике черта, которая совершенно обезоруживала, он сознавал это и напрасно противился своему растущему расположению к нему: в конечном счете Гавлик всегда подкупал его своей искренностью, играть на публику было ни к чему — шахта действительно была всей его жизнью...

Вера, Михал и Зденек вошли во двор, заваленный снегом, в колоде торчал топор. Бушевала метель.

Где-то тут это было, вспоминал Михал, может, чуть ближе к вокзалу, к тому нелепому вокзалу, куда современный локомотив въезжает как в прошлый век.

Подхваченный толпой, он тащил тогда свой солдатский чемодан вверх по деревянным ступеням, и ритмичное цоканье каблуков помогало ему утвердиться в принятом решении: домой возвращаться он не хотел, не мог; собственно, и дома уже не было — мать перебралась в другую семью, к другим детям.

Он остановился посредине моста, поставил чемодан между ног, и, оттянув веко, пытался платком вытащить жгучую крупинку сажи. В ноздри уже въедался особый запах города — туман и дым, пепел и копоть. Глаз слезился, вторым он видел поезда и рельсы в сером тумане, за спиной отдавалось эхо шагов.

Небо над ним висело как тусклый, давно не беленный потолок, уродливые дома с облупившейся штукатуркой навевали безнадежную тоску.

Ветви деревьев уже затаили светлое дыхание весны, но пока на них рассаживали вороны. Он чуть было не повернул назад. Неожиданно перед ним открылся вид на маленькие домики, в одном из дворов стояла колода, острие топора блеснуло под солнцем, прямо из земли вылезало несколько низких румяных тюльпанов. Пахнуло жильем, домом, и город не казался больше таким чужим.

Скорее всего, и домик был другим, и вокзал теперь уже вот-вот снесут, и весь район этот по обветшалости обречен.

Снег приглушал шаги, неслышно прошли мимо окна болтушки соседки. Метель и выпитая водка взбудрили всех, в доме залаяла собака.

Пес, наготове стоявший у дверей, прыгнул на Зденека, как только тот отпер, и, бурно здороваясь, лизал его прямо в лицо.

Всем троиц стало не по себе — с морозу ударил в нос запах Пёнтека, насквозь пропитавший кухню-прихожую, казалось, старый шахтер вот-вот выйдет из угла.

— С ума сошли, — сказала Вера, — мы все сошли с ума.

— Да пусти же ты, чертяка, погоди!

Пайташ был настоящей дворнягой, унаследовавшей черты сразу нескольких пород. Лапы у него были тонкие, кривые, хвост лохматый и закрученный кверху — именно с его помощью он выражал свой восторг; шерсть на туловище росла короткая, бурая, форма головы ему досталась от овчарки, только уменьшенного размера. Но самой забавной была серая маска: словно надетая на морду, она делала ее похожей на клоунское лицо.

— Правда, на меня чем-то смахивает.

— Брось, Зденек, не дури.

— Иди, иди сюда, Пайташек, хозяин тебе кое-что припас.

Разорвав мясо на кусочки, он положил их перед собакой на листе чертежной бумаги.

— Пить за улокой хозяйской души он не может, пусть хоть поест.

— Прекрати! — цыкнул на него Михал.

С опаской оглянувшись на него, собака взяла кусок в зубы и отнесла под печку.

— Ест со вчерашнего дня. Я уж боялся, что подохнет с голодухи,— сознался Зденек.

Вера поглядела на грязного, всклокоченного пса с отвращением, но сдержалась и промолчала.

Под слоем пепла тлели угольки; разворошив их, Зденек подложил в печь поленьев, нарубленных стоек, уже отслуживших свое.

Раздев гостей, он стряхнул снег с их пальто прямо на пол.

— Я принесу вам стулья сюда, а то в комнате холодина.

Стол был липким, залитым чем только можно. На посудном шкафу стояли пустые бутылки из-под рома.

— Видал, Миш? — кивнула на них Вера.

Зденек приволок два допотопных стула с высокими спинками.

— Вот трон для вас, принцесса. И для вас, о мой король. А бутылки — это после старика Пёнтека осталось, на моей совести только три.

Голос звучал выше обычного, шутки казались неискренними.

— Четвертую вместе выпьем. Или кофе хотите?

— Кофе, лучше только кофе, Зденек.

Огонь разгорелся, дерево приятно потрескивало. На окнах разросся ледяной папоротник, затянув все стекло. Зденек подложил в печь большие куски черного угля. Сполоснув кофейник, поставил кипятить в нем воду. Извлек из застекленного шкафчика старомодные рюмки и чашечки с картинками с «Проданной невесты». На всем лежал многолетний слой пыли.

— Давай помою,— предложила Вера.

Вытянув из хлама жестяную посудину побольше, она наполнила ее горячей водой. Пыль была жирная: оторвав кусок майки и посыпав его песком, Вера принялась приводить посуду в божеский вид.

Ухмыляясь, Зденек открыл ром, разлил по рюмкам.

— В общем, я вас приветствую у нас дома.

Вера сделала глоток. Мы просто сошли с ума, Зденек тронулся, а мы тут расслаживаемся с ним и хлещем ром. Ей хотелось кричать.

Пайташ вернулся за очередным куском мяса. Своей худобой, недоверчивым взглядом и комичной маской он и в самом деле чем-то отдаленно напоминал нового хозяина.

— Зачем, Зденек? — тихо спросил Михал.

Конфетки нагрелись, вода закипала. Изразцовая печка источала желанное тепло.

— Что — зачем?

— Вот это все. Кому ты этим поможешь?

— Пайташу. Кроликам.

Вера встала и заварила три кофе.

— Зденек, я ведь с тобой серьезно.

— Я тоже не шучу.— Сев, Зденек нервно притоптывал ногой.— Что тебе здесь не нравится? А когда Пёнтек здесь жил, значит, нравилось?

— Он был старик.

— И никто не заставлял его здесь жить,— взорвалась Вера,— он давно мог бы перебраться к детям. Или на шахте получить однокомнатную квартиру, кому-то кому — а ему бы дали.

— Вер, не кипи. И садь, наконец.

— Я ищу сахар.

В фарфоровой посудине с надписью «Сахар» было обнаружено нечто слипшееся и поглотившее целый муравейник. На шкафчике лежала начатая пачка рафинаду. Вере мыть больше ничего не хотелось, и она поставила сахар на стол прямо в коробке.

Зденек распахнул дверь в комнату:

— Пошли, я вам кое-что покажу.

Здесь было светлее, из окна открывался широкий простор.



Прямо на стене была написана большая картина. Только двумя красками — серой и розовой. Лишь спустя некоторое время они начали различать десятки составлявших их оттенков.

Здесь были серые терриконы, серое небо, лабиринт серых труб, серый дым. Из серого полумрака проступали размытые контуры лежащей нагой женщины, ее тело, излучавшее розовый свет — а может, это был отблеск огня и солнца, — тонуло в серой глубине, краски играли, переходили одна в другую, достигая своей максимальной яркости, рождались одна из другой, одна в другой гасли.

Михал застыл, сердце сжалось. Он снова услышал голос Пёнтека, его последний рассказ о женщине-видении. Говорил ли он правду или все придумывал, чтобы отвлечь их от невеселых мыслей? В горле стоял жгучий комок.

— Да это же Острава, — удивилась Вера. Картина потрясла ее. — Хотя нет, — поправилась она, — такой была Острава, такой вы ее не можете знать. Теперь она совсем другая.

— Какая?

— Другая, и все. Светлее, веселее, ну я не знаю. И моложе. Конечно, моложе — все у нее еще впереди... Картина удивительная, жалко, что написана прямо на стене, вот обидно-то.

Ей и в самом деле было жаль картины. Скоро приедут машины, снесут домишко, и в обломках погибнет живое существо — так ей казалось.

Михал сел на неприбранную постель, не сводя с картины глаз.

— Зденек, я поговорю с директором шахты, слово тебе даю, я сам ему все объясню, и ты вернешься в институт...

— Чтоб ноги моей в бригаде не было? С трусами знаться не желаешь?

— Какой же ты трус.

— Ты прекрасно знаешь какой. До меня еще на похоронах дошло, что ты все понял.

— Это касается только тебя и Пёнтека. И больше никого, ясно? Старик знал, что делает. Ему самоспасатель все равно был уже ни к чему, ясно?

Вера вышла на кухню — хотелось побыть одной. Она слышала каждое слово, но не желала вникать в их смысл: чужая тайна — тяжелое бремя.

— А ты бы взял на моем месте? Ответь! Взял бы?

— Не знаю.

— Нет, знаешь!

— Не знаю, черт тебя возьми! Не знаю — и дело с концом. И запомни: никто не имеет права осуждать тебя, никто из тех, кого там не было.

— Но ведь ты там был.

— Я ничего не видел. А язык свой попридержи, а то схлопочешь!

— Да не могу я! Ведь я, Миш, не хотел брать, а он меня к стенке припер, как будто так и надо, я и упустил момент, в отключку впал, понимал только, что происходит непоправимое, и жизнь, как ни крути, кончена.

— Нет, ты у меня, ей-богу, получишь, если вот так плакаться будешь всем подряд. Ты у меня уже во где сидишь! Погряз тут, понимаешь, в собственном дерьме и орет налево и направо — посмотрите, мол, люди добрые, что я за чудовище, глядите и запоминайте.

Зденек неожиданно рассмеялся. Весело, по-мальчишески.

Пайташ внимательно следил за ним все время, громкий разговор ему не нравился и мешал подремывать.

— Пошли, Медведь, зачоченеешь тут у меня. Или Пайташ тебя тяпнет.

Зденек прошел в кухню первым, налил себе в кофе рому и, даже

не пригубив, просто вдыхал аромат. Собака привычно пристроилась в ногах.

Михал стоял в комнате один, вглядываясь в картину, словно желая проникнуть в самую ее суть. Едва теплящаяся жизнь тонула в горе, живая надежда была неотделима от грусти.

Он вернулся в кухню.

— Я тебе помочь хотел, Зденек. Не понимаю я тебя, мне кажется, у тебя талант. А коли так — жалко тебя, лопатой махать каждый сумеет.

Зденек даже подскочил. Собака недовольно заворчала.

— А вас не жалко? Чем я лучше тебя? Пёнтека? Йожки? Эриха? Кого еще назвать? Ну скажи, чем я лучше? Объясни мне. Не жалко? А себя не жалеешь?

— Дурак ты, дураком, видать и помрешь. Ошибаешься, никого мне не жалко, а на тебя в таком случае и вовсе плевать. Выходишь завтра на смену — и выходи, только чтоб ромом от тебя не несло, а то выгоню взащей.

— Уже завтра?

— Оглох?

Зденек был ошарашен. Он сел, хотел было выпить кофе, но поставил чашку обратно на стол. Дрожавшие руки зажал между колен.

— Мы пошли, Зденда, выпись как следует. Дай нам этот ром на дорогу, а?

Зденек криво усмехнулся:

— Ради бога, под кроватью еще три непечатые бутылки.

Они зашли в комнату за пальто. В сгущавшемся сумраке картина казалась еще печальнее, светилась жизнью кожа женского тела, а может, отражала огненные или солнечные блики.

Метель кончилась, двор был затоплен снегом. Кролики прижались носами к металлической сетке. Их густая шерсть казалась пожелтевшей.

В окне Зденека зажегся огонь. Михал крепче сжал Верину руку и стал пробираться вперед, как по канату.

— Думаешь, завтра он выйдет?

— Обязательно, чтобы самому себе доказать, что он — мужчина. А вот трезвый ли — не уверен.

— Неужели обратно отправишь?

— И отправлю.

— Суров ты.

— Не без этого.

Лицо его приняло то самое застывшее выражение, которого Вера побаивалась. Она прижалась к мужу.

— Все, что ты слышала, Вера, забудь, и чем скорее, тем лучше.

— Судачить — не мой конек, — обиделась она.

Молча они дошли до трамвайной остановки. Стоял старый состав. У новых на морозе то и дело перегорал мотор.

Они протиснулись к окну на задней площадке, на заледеневшем стекле кто-то нацарапал: «Перевозка мороженых продуктов».

Улыбнувшись, Вера продышала на стекле кружок.

— Правда, что он как-то разбил тебе голову?

Михал оглянулся — каждый из продрогших пассажиров был погружен в свои заботы.

— Я должен был замять эту историю, понимаешь? Он в Праге натворил дел, срок получил условно... К нам его на исправление прислали.

Напрасно Вера пыталась подавить смех, уткнувшись в пальто Михала, ей было неудобно. Михал загородил ее от пассажиров, обняв двумя руками, оберегая от прикосновения к холодному стеклу.

— Что я такого особенного сказал?

— И какому идиоту... боже, какому же идиоту пришла в голову эта идея — отправлять алкоголиков на заработки?

Смех иссяк.

— Ему, наверное, лечиться надо, — сказала она уже серьезно, — а больше вы ему ничем не поможете.

— Для лечения тоже воля нужна. Вера, может, ты больше меня понимаешь; скажи, тебе не кажется, что у него — талант?

— Определенно. Я никогда не видала ничего подобного. Но и талант без воли — ничто.

Она прижалась к мужу. В конце концов какое им дело до Зденека, каждый в ответе сам за себя. Нет людей без забот, у каждого — свое. От Михала исходило тепло, колючая ткань пальто покрылась влагой — от теплого дыхания Веры. Она расстегнула пуговицу и уткнулась холодным лицом в жаркий свитер...

...Ночью Вера старалась побороть сон, чтобы продлить счастье. Где-то в глубине души она боялась, что Михал вдруг пропадет, растает, улетучится навсегда... И, не решаясь выпустить руку мужа, только крепче сжала ее.

Вдруг на нее повеяло холодом, она натянула одеяло. С головой. Ужасно хотелось спать. Просто ужасно.

— Вера, ты слышишь, на улице минус двадцать.

— Ну что тебе, медвежонок?

— Минус двадцать! Ты куда носки мои теплые задевала?

Все эти слова не имели для нее ровно никакого смысла, и она с легкостью пропустила их мимо ушей. Перевернувшись, она заняла еще не остывшее место Михала, забравшись под его одеяло. Какая же это была уютная ложбинка!

— Носки, Вера! — Он сдернул одеяло. — Носки шерстяные!

Она сощурила глаза.

— Носки-колготки, глазки-лапки... — пробурчала она беззлобно, засыпая.

— Какая же ты все-таки дура! — гаркнул Михал, вываливая на себя половину шкафа. — Черт вас всех возьми!

В полусне Вера ждала, когда хлопнет дверь. Услышав привычный звук падающей штукатурки, она сладко свернулась в своей норке и снова уснула.

Негодующий Михал выскочил на улицу. Машина стояла, вся заваленная снегом, на окнах наледь — разве ее заведешь. Вдалеке виднелась целая вереница трамваев, в темноте светились их огни. У первого перегорел мотор. Диспетчер в мегафон предлагал воспользоваться автобусом.

Студеный ветер бил по ногам, Михалу казалось, что он голый. Я вот ей вечером вкачу, клялся он себе, едва выдерживая напор ледяного вихря, я ей так мозги проветрю, она у меня узнает, она у меня как шелковая будет...

На этом злость выкипела. На стекле трамвая была надпись «Перевозка мороженных продуктов». Через толпу к нему протискивался приземистый крепыш.

— Во какая сегодня хреновина, а? — сказал Роглена. — Хорошо еще, что работаем в тепле.

Как бы слишком жарко не было, подумал Михал и вздрогнул. Так было перед первой в жизни сменой, сейчас он вместе со всеми спустится в неведомое. И страх был, и желание взглянуть, что там осталось, на старом месте.

Они вышли из автобуса и под ледяным ветром ускорили шаг. Снег скрипел под ногами. Он уже утратил свою первоначальную чистоту, успев покрыться серым налетом сажи. Метельное утро настойчиво пробивало пласты предрассветной тьмы.



# ВАШКУ КАБРАЛ

## Стихи

Перевод с португальского и вступление  
ВЛАДИМИРА РЕЗНИЧЕНКО

Журнал «Иностранная литература» впервые знакомит читателей с поэзией Гвинеи-Бисау. Эта небольшая страна на западном побережье Африки, бывшая в течение долгого времени захолустной окраиной португальской колониальной империи, обрела независимость в 1973 году. Литература Гвинеи-Бисау находится сейчас в стадии становления. Первая в истории страны поэтическая антология — тоненькая книжка, объединившая стихи четырнадцати авторов, многим из которых не исполнилось и двадцати пяти лет, — была выпущена лишь в 1977 году.

Вашку Кабрал — один из тех, кто создавал независимую Гвинею-Бисау и стоял у истоков ее литературы. Соратник Амилкара Кабрала, Агостиньо Нето и других борцов за свободу Африки, с юности он принимает участие в демократическом и антиколониальном движении, дважды попадает в застенки португальской политической полиции ПИДЕ, работает в подполье... После завоевания страной независимости занимает ряд руководящих партийных и государственных постов.

Публикуемые сегодня стихи взяты из первого и пока единственного сборника Вашку Кабрала, увидевшего свет в позапрошлом году. Этот сборник включает произведения, написанные в 1951—1974 гг., и охватывает, таким образом, почти четверть века жизни и творчества поэта. «Любовь», «Надежда», «Борьба и прогресс», «Мир» — таковы названия стихотворных циклов книги. Но не столько само значение этих ключевых для лирики Вашку Кабрала слов, сколько тесная взаимосвязь стоящих за ними понятий определяет содержание его творчества. «Оружие битвы», «орудие стройки» — так охарактеризовали назначение своей поэзии в предисловии к упомянутой выше антологии молодые литераторы Гвинеи-Бисау. В этом девизе слышится отчетливое эхо призыва, с которым полтора десятилетиями ранее обратился к своим собратьям по перу Вашку Кабрал:

Поэт! Жизнь — это лучшее стихотворенье.  
Выкуй из строчек своих плут с тысячько рукоятей.  
Пусть плодородной станет земля!

Вашку Кабрал пишет на португальском языке, в формах, характерных для современной португальской поэзии. Вместе с тем его стихи глубоко национальны по духу. От осмысления собственного «я» как частицы своего народа к осознанию исторических судеб Гвинеи-Бисау и всей Африки как составной части нашей огромной и беспокойной планеты — такой путь проделывает во времени поэт. Гражданин маленькой страны, познавший ужасы колониальной войны, он обеспокоен угрозой ядерной катастрофы, нависшей над всем человечеством. Ибо только в условиях мира могут стать реальностью те гуманные идеалы, которые отстаивает Вашку Кабрал своей поэзией и своей борьбой.

### Короткая сказка

— Мамочка, расскажи мне, пожалуйста,  
короткую-прекороткую сказку!  
— Ладно, малыш, вот тебе сказка,  
самая короткая сказка.

Солнце — золото,  
луна — серебро,  
звезды — жемчужины!..

© Vasco Cabral, 1981.

- Мама, пусть мне подарят солнце!  
— Будет солнце твоим, малыш,  
если ты вырастешь честным...
- Мама, пусть мне подарят луну!  
— Будет луна твоею, малыш,  
если ты вырастешь скромным...
- Мама, пусть мне подарят звезды!  
— Будут звезды твоими, малыш,  
если ты вырастешь добрым...
- Мамочка, мне хочется спать!  
— Спи, малыш, баю-бай...

### *Где искать поэзию?*

Поэзия — в восходящем солнце,  
в расправляющей крылья заре.

Поэзия — в лепестках цветка,  
открывающихся, как веки,  
чтобы выплакать слезы росы.

Поэзия — в океанской волне,  
когда она обнимает берег,  
в нежном, ласковом поцелуе  
прижимая к себе песок.

Поэзия — в глазах матерей,  
когда они в муках  
рожают младенцев.

Поэзия — на твоих губах,  
когда ты улыбаешься  
жизни.

Поэзия — за тюремной стеной,  
в голосе тех, кто идет на казнь,  
выкрикивая слово «свобода».

Поэзия — в обретенной победе,  
в расцветшей на поле сражений  
весне.

Поэзия — в народе моем,  
из каждой капли пролитой крови  
выращивающем цветы и пули:  
цветы, дарящие детям счастье,  
пули, несущие гибель врагу.

Поэзия — в каждом дне твоей жизни,  
если ты жизнь отдаешь борьбе.

## *Тоска по родине*

Сегодня улица грустная,  
на улице грустные дети.  
Дождь проливает слезы  
на могилу души.

Даже в солнечный день  
улица может быть грустной.  
В этом повинен дождь,  
дождь, идущий во мне,  
прорывающийся вовне,  
заливая улицу грустью.

Если бы мне подарили цветы,  
может быть, все бы прошло,  
все бы стало иным от красных цветов?..

Эти грустные дети,  
как языки огня,  
распаляют мою печаль...

Если бы мне подарили улыбку,  
где бы сияла весна на губах чернокожих детей!..

Нужно забыть о любви.  
Пусть станет светло!

Если бы красная роза  
вспыхнула на луне,  
боль бы тогда унялась.  
Но река моей крови  
бьется о берег бессилья.

Если бы, в небо вспорхнув, словно птица,  
роза, одна только роза зажглась на луне!

## *Разлука*

Как-то утром, когда, горя,  
занималась заря,  
я из солнца выдернул луч — и увидел  
твое улыбающееся лицо.

Как-то днем, гуляя в саду,  
думая про свою беду,  
я сорвал самый яркий цветок —  
и увидел  
твое улыбающееся лицо.

Как-то ночью, чтобы унять печаль  
по тебе,  
уехавшей в дальнюю даль,  
я с неба достал звезду —  
и увидел  
твое улыбающееся лицо.

## Отказ от предательства

Ко мне, притворившись рассветом,  
явилась ночь  
и рассыпала блеск,  
прозрачный, как сиянье зари.

Но я ответил ей: нет!

Потом, обернувшись девой,  
явилась змея  
и показала мне обнаженные плечи и грудь.

Но я ответил ей: нет!

Затем, переодевшись Христом,  
явился Пилат  
и сладким голосом обещал,  
что подарит мне рай,  
если я все ему о себе расскажу.

Но я ответил: нет!  
Нет! Никогда!

Каждый из нас остался тем, кем он был:  
я — Человеком, они —  
исчадием ужаса и темноты.

## Вперед, Африка!

Из наших уст  
пробивается слово,  
как из недр ключевая вода.  
Слово, радостное, как солнце,  
Слово мира, борьбы и счастья.

Слышите?  
Это шагаем мы —  
сеятели грядущего дня.

Бросая зерна надежды,  
мы ждем урожая правды.  
Наш голос — голос народа —  
летит над землей, как вихрь.

Каждый из нас —  
это знамя.  
Каждый из нас —  
ураган.

Христос говорил о смирении,  
Ганди — о ненасилии.  
Мы призываем к восстанию,  
мы призываем к борьбе.

Пусть плюют нам в лицо —  
мы отомстим за обиду.  
Пусть нас топчут ногами —  
мы свет добудем себе,  
подобно побегам плюща,  
карабкающимся к солнцу.

Веками томилась  
в оковах  
моя Африка-Прометей.

Пробитые в зарослях тропы,  
покрытые щебнем дороги  
намокли от нашей крови,  
оглохли от звона цепей...

Но больше этому не бывать!  
Слышите?  
Так говорим вам мы,  
сеятели грядущего дня.

Из каждой капли  
пота  
и крови,  
из каждой слезы  
горя  
и боли,  
закаливаясь в горниле гнева,  
выковывается оружие борьбы.

На дереве нашей скорби  
листвой прорастает новая жизнь  
Гвинеи и Зеленого Мыса.

Из чрева нашей борьбы  
рождается, как младенец,  
свободная Африка!

## *Твои тонкие девчоночьи руки*

Думаю

о глазах твоих, ласковых, как у лани,  
о твоём теле, хрупком, как стебель цветка,  
о твоих девчоночьих тонких руках.

Думаю

о твоём голосе, нежном, как дуновение ветра,  
и о смехе твоём, звонком, будто хрусталь.

Думаю...

Думаю о Хиросиме и Нагасаки...

Вижу красные слепые глаза,  
ищущие навсегда погасшее солнце;  
кожу, превращенную в язвы,  
и беспальные руки, выпрашивающие милостыню у жизни.  
Вижу детей, ставших уродливыми стариками.

Думаю

о японских рыбаках, об атолле Бикини.  
И когда смотрю на твои тонкие девчоночьи руки,  
мне становится страшно,  
в сердце закипает негодование  
и бессильные слезы превращаются в крик:  
«Хватит! Ни за что! Достаточно! Прекратите!»

Я обязан сказать свое слово.

Пусть же это слово множится, плодоносы,  
как в моем саду апельсиновые деревья.

Каждый обязан сказать свое слово.

Пусть голоса наши,  
слившись в единый призыв, заглушат  
жуткий, нечеловеческий вопль Хиросимы,  
пусть они заставят смолкнуть трубы войны!

Чтобы я, как прежде, гладил ладонью

твои тонкие девчоночьи руки  
и касался губами  
глаз твоих, ласковых, как у лани,  
чтобы счастливы были все дети земли.

Чтобы цвели апельсиновые деревья,  
чтобы тело твоё плодоносило, как сад.







# УРСУЛА ХОЛДЕН

## Узы денег

РОМАН

Перевод с английского и вступление К. ЧУГУНОВА

С творчеством английской писательницы Урсулы Холден мы знакомим наших читателей впервые, хотя в литературе Великобритании она известна. Перу этого автора принадлежат уже шесть романов.

В прошлом году, будучи в Англии, я получил возможность познакомиться с Урсулой Холден лично. Она приняла меня в своей скромной квартире на окраине Лондона.

Имея некоторое представление о возрасте писательницы и ее нелегком жизненном пути, я ожидал увидеть увядшего, усталого человека. Но я ошибся: моя хозяйка оказалась стройной, высокой женщиной с красивым молоджавым лицом. Энергичным жестом она пригласила меня в «студию» — крошечный внутренний дворик, огороженный глухим забором; посреди дворика стоял простой деревянный стол с пишущей машинкой. «Здесь я провожу большую часть времени, — объявила она. — Пишу новый роман».

Во дворике было прохладно, несмотря на солнечный день, но хозяйку это явно не смущало. Я же попросился обратно в кухню, где и состоялась за чашкой кофе наша беседа. Ответив на мои вопросы, вызванные трудностями перевода отдельных реалий и жаргонных выражений, содержащихся в тексте ее книги, Холден в свою очередь спросила: «Почему вы выбрали для перевода именно мою книгу?» Я ответил, что выбор сделан не случайно, и сослался на хвалебные отзывы английской и американской печати. Но дело не только в этих отзывах. Когда я сам взял в руки этот роман, он увлек меня ясностью мысли, предельной сжатостью стиля и отточенностью языка героев, в которых угадываются живые, реальные люди, наши современники. И еще мне показалось, что в творческой манере Холден есть некоторое сходство с Чеховым, которого я очень люблю.

Холден просияла: «О, я обожаю Чехова! Знали бы вы, как я горжусь этим сопоставлением».

Урсула Холден относится к числу тех английских писателей, которые либо прямо, либо косвенно обращаются в своих произведениях ко второй мировой войне. С окончанием этой войны, как известно, чрезвычайно ускорился процесс распада Британской империи, Англия снова стала «островом, только островом», и на первый план выступили внутренние, социальные проблемы. Понятно, что перемены в психологии и образе жизни британцев находят отражение и в художественной литературе. Такие прозаики, как Дэвид Стори, Джон Фаулз, Маргарет Дрэббл, Эмма Смит, избирают своими героями «детей войны», которые не совершают ничего необыкновенного, но в их горестях и несчастьях, в их неспособности сопротивляться обстоятельствам, изменить ход жизни чувствуется подлинный драматизм.

Все главные персонажи книг Урсулы Холден — тоже «дети войны» или «падшие ангелы» (так озаглавлен сборник трех повестей писательницы, вышедший в Англии в 1979 году), несчастные, одинокие, выросшие без родительской ласки дети и их душевно надломленные, черствые, эгоистичные отцы и матери — выходцы из буржуазной, мещанской среды.

Мир Урсулы Холден — это мир измен и обманутых надежд. Даже в минуты радости, переживаемые ее героями, читателя не покидает тревога за их будущее. И эта тревога чаще всего оказывается оправданной. Откуда этот беспощадный реализм, это постоянное ожидание новых и новых несчастий? Ответ следует искать в личном опыте писательницы. В истории каждой из женщин, которых она описывает, — кусочек ее собственной биографии.

Но при всем этом Холден далека от пессимизма. В ее книгах звучит не отчаяние, а надежда. И пусть узы, соединяющие людей, хрупки, непрочны, они помогают человеку жить.

© Ursula Holden, 1981.

— **М**не холодно, Мэрис. Очень холодно. Прибавь тепла, а? Он старается говорить мягче. Плохо, когда ты нездоров, ноют суставы, чувствуешь себя обузой, но еще хуже недостойное поведение, потеря самообладания, прогрессирующая неподвижность. Стремление казаться бодрее, чем ты есть, изнуряет. Он попробовал сморгнуть влагу. С возрастом тело превращается в жидкость, вода течет отовсюду — из носа, из глаз, изо рта, и... скоро он растворится совсем. Старые люди становятся ненужными, ни на что не годными, но душой он чувствует себя молодым. Чем меньше остается жить, тем больше усыхает тело. А ведь когда-то он был шести футов ростом, атлетически сложен. Болят ноги, особенно ступни, и стынут, стынут. Протянуть бы немного, пока не пришло время, еще чуть-чуть, он сделал не все, что хотел. Теперь день и ночь слились в тусклые пятна времени, превратились в сплошное ожидание. Пожить бы еще. Закончить проповеди. Мэрис их переписывает. Он не видит, что она пишет, да и на слух почти не воспринимает. Догадывается ли Мэрис? Это она ему кричит? Ее заботливые руки, грелки с водой, взбитые и удобно положенные подушки, ее рука, держащая ложку, действуют успокаивающе. Душой он чувствует себя молодым.

— Отопление не... теплее сделать нельзя, Джи. При такой погоде эту комнату не прогреешь.

— Я люблю этот дом. всегда любил. Ломит ступню.— Уж не винит ли она его за холодный дом, не осуждает ли? Ему нравится верхний этаж, нравится покой, уединение. Если напрячь зрение, то можно различить очертания ног, согнутых в коленях под пледом, расплывчатые очертания. Булькает в ушах.

— Сменю воду в грелках. Ночью было ниже нуля.— Большого она сделать не может, ничем не может согреть его, кроме грелок и пледов. Ей все время приходится помнить, что она должна говорить медленно, не понижая голоса, не должна показывать, что устала. Он, как ребенок, слабо воспринимает мир, ему недолго осталось жить. Он не должен знать, что у нее болят руки, что от бессонных дежурств разламывается голова.

— Если я слишком обременяю тебя, Мэрис, ты скажешь, а? Скажешь? Мне нравится эта комната.

— Конечно, не обременяешь. Я сплю этажом ниже, прямо под тобой. Редко спускаюсь вниз.

— Ну скажи Правду. Море замерзло? Холодно.

— Море? Это река, Джи. Высокий дом у реки, разве ты забыл? В нашем доме живут три поколения.— Дом ожидания и мрака. Милый папа. Есть дома, на которых лежит печать проклятия.

— Ну да. Я и хотел сказать — река. Когда-то мы жили у моря, не так ли? Давно? — Не упоминай о море, об ужасном, безжалостном море.

— Да, до того, как умерла Джемма, и до того, как ты женился на моей матери. Потом ты перебрался на эту реку, а на той стороне кафедральный собор, помнишь? — Не говори про колокольный звон, оглушительный, вбийственный звон. Сам-то он его уже не слышит.

— Верно, ее нет в живых. Джемма умерла. Сколько их умерло, Мэрис? Мне не хватает Джеммы, часто не хватает.

— Джемма. А потом — мой единственный брат Ланс. Я-то живу здесь с рождения помнишь? — Она никогда не видела единокровного брата, и никто о нем не упоминал. Она — дочь Коралл, родилась от брака пожилого отца и женщины из простонародья, непохожей на Джемму. Джеммы нет, но дух ее живет, вот уже двадцать пять лет как живет Скоро и Джи не станет. Он не должен знать, что она это

<sup>1</sup> Шекспир. Венецианский купец. Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

знает, он не слышит, не видит и не помнит. Надо отвлекать его от мыслей об умерших, о Джемме, которая была его первой любовью, о сыне Лансе, который покончил с собой, надо отвлекать от мыслей о прошлом.

— Моя Джемма, Ланс. Конечно, кафедральный собор, высокий дом у реки.— Почему же молчат колокола? Слишком разбитые, изношенные, как он сам? Однажды он там молился. Была еще одна война?

— Вот твой носовой платок, Джи. Гони от себя печальные мысли, не расстраивайся.

— Моя вторая жена, твоя мать... Забыл ее имя.

— Коралл.— Почему он должен помнить? Когда Коралл последний раз заходила в эту комнату? Живет, как всегда, в свое удовольствие, а сюда даже не заглядывает.

— Помню, помню.— Он скоро осознал свою ошибку, самую большую в жизни. Оплевал память Джеммы, осквернил ее. Одинок он был. Потом Ланс утонул, слишком много переживаний за один год. Зато есть у него Мэрис — дочь, сиделка, проблеск света во мраке ночи, его единственное утешение. Но почему она зовет свою мать Коралл?

— Она сама так решила. Когда-то мне хотелось называть ее мамой.

В этом высоком узком доме у всех, кроме миссис Чэт, христианские имена.

— Сейчас называют по-иному. А я предпочитаю как прежде. Знаешь ли ты, Мэрис, что однажды здесь зажарили быка — прямо на реке Темзе, в суровую зиму? Забыл, когда это было.

— Не здесь, не на этой реке. По-моему, в 1749 году. Отсюда до Лондона далеко.— Сегодня Джи хуже. Встревоженная, она принялась растирать его руки.

— Да, да. С удовольствием посмотрел бы.— Праздничность, веселье, возбуждение, больше двухсот лет назад. Нынче уже не увидишь такой простоты, такого великолепия, таких красок, огней, озябших лиц у костра, с посиневшими ртами люди жуют цукаты, смеются и поют. Парни поочередно крутят над огнем вертел с тушей быка. Гвалт, пронзительно кричат куклы, танцуют медведи, акробаты, звуки лютни, звон бубенцов. Люди в те времена жили недолго. Он и сам ни за что не дожил бы до своих лет, а Мэрис считалась бы пожилой. Долголетие приносит людям страдания.

— Тебе, Джи, не понравилось бы: болезни, насилие, нищета. Наклонись.

— Не такой уж я беспомощный. Сам справлюсь. Джемма слишком рано умерла. Мы с ней рассчитывали еще пожить здесь после того, как я оставлю церковную службу.

— Глазные капли тебе помогают? — Не допускай, чтобы он опять вспоминал о смерти. У него воспаленные веки, в нижней их части — полоски подсохшей слизи.

— Наверно, да. Не суетись, Мэрис. Вот нога не дает покоя. Сколько у нас градусов? Ты не можешь прибавить тепла?

— Я же сказала, что не могу.

— Все поломано? Деньги-то у нас есть? Не люблю, когда что-нибудь не в порядке.— Впрочем, не надо упреков, нельзя быть таким требовательным. Он обязан Мэрис жизнью. Никто, кроме нее, о нем не думает. Когда-то он гордился тем, что помогает больным и умирающим. Престарелые прихожане — будь то высокомерные или испуганные, злые или добродушные — полагались на своего священника. Теперь пришла его очередь, его унижение, и помогает ему Мэрис. Но ее место не здесь, ее настоящая жизнь — внизу. Он опять забыл, как зовут ее мать. А у Мэрис есть дитя. В доме, сказала она, живут

три поколения. Внизу у нее должен быть ребенок, а может, их двое. Трое?

— Деньги, конечно, есть. У тебя же сбережения. И ценные бумаги. Я уже говорила, что этот дом не прогреешь, если не заменить систему отопления. Подвинь, пожалуйста, ногу. Ты должен шевелить ногами. Старайся двигаться.— Она знала, что он не может двигаться. Даже нос вытереть сам не может. Она протерла ему очки — пусть думает, что в них он лучше видит. У него огромные уши. Уши продолжают расти до самой смерти, а волосы и ногти — даже после.

— Спасибо, дочка.— Он не различает печатного текста, не может перевернуть страницу. Скоро он превратится в труп. Он не хочет, чтобы его кто-то жалел.

— Я сейчас помою тебя. Легче будет двигаться.— Не обращай внимания на его брюзжание, на его расспросы, у него до сих пор изящные ступни ног. Сосредоточься на красоте пальцев твоего отца, не замечай худых голеней и посиневших колен. Кожа на подошвах гладкая, без отметин — как у ребенка. Не смотри на дрожащий подбородок, живот; радуйся красивым ногтям на ногах.

— Ты учительница, Мэрис? Тебя обучали, да? — У нее уверенные, натренированные руки. Она считает его младенцем? В детстве — он не забыл — у нее были темные глаза, они глядели пристально и серьезно. Как у Ланса. И у обоих — его веснушки. Руки у него стали рыжевато-коричневые, на коже выступили темные пятна, которые он уже не различает, — эти руки свое отработали. Крещения, конфирмации, венчания, причащения, елеосвящения больных и умирающих — все позади. Свой службы он отслужил и теперь ждет, когда отслужат по нему. Временами ему казалось, что он умер, а пробуждаясь, не осознавал себя, не помнил своего имени, возраста и пола — организм, ждущий своего конца. Когда туман понемногу рассеивался, память возвращалась. Старый человек ждет у моря или у реки, у колоколов. Кто... который... из них его внук?

Его вторая жена — та, чье имя Коралл, — никогда у него не бывает. Он знает, что ее интересовали, в сущности, только его деньги и его положение. Поденщица, барменша в сельской пивной, она стояла у противоположного края могилы Джеммы и весело улыбалась ему — вид у нее был совсем не траурный. «Время — лучший лекарь», — сказала она тогда. — Заходите когда захочется». Он помнит ее волосы, ему хотелось потрогать их. Не стало Ланса. Подождав немного, она пришла, на крашенных губах играла улыбка. И потом те, что присутствовал на похоронах, стали гостями при бракосочетании, выражения глубокого соболезнования сменились пожеланиями счастья. После женитьбы они перебрались в этот высокий узкий дом — в дом, предназначенный для Джеммы.

— Какая учительница? Я медсестра, помнишь? Я на сестру училась.

— Ах да. Помню. Завещание я оформил, да?

— Давно уже. Приходил мистер Тайлер, помнишь? Все подписано и заверено.

— Кто... кто получит наследство? — Он опустил большие веки. Его жизнь в руках Мэрис, он может умереть в любое время, и тем не менее душой он чувствует себя молодым. Надо выяснить имена, возраст, пол внучат. Вписаны ли они в завещание?

— Успокойся, Джи. Все оформлено. О миссис Чэт позабочусь я.

— Миссис Чэт? Кто это?

— Экономка. Она прекрасно относится к Артуру. Меня вырастит, а теперь Артура растит.

— Артура? Ах да, моего внука.— Значит, его имя Артур, он — единственный. Крестил ли я его? Кропил ли головку водой, держал ли в руках белый комочек — провозвестник и моего будущего? Белое одеяние, омовение в начале жизни и омовение — после смерти.

«Благословляю тебя, Артур, именем...» Именем кого? Какой он веры? Дом трех поколений, истинная вера, но какая? Нежная Мэрис, дитя моря, чьи руки так много делают, его последняя опора.

Веснушчатый Ланс с длинными, как у отца, пальцами рук, нашел себе смерть в океане. Ланса освободили от военной службы. Он был слишком неуравновешенный и покончил с собой вскоре после смерти Джеммы. Тогда отец покинул море, поселился с Коралл на берегу реки в высоком доме напротив соборной церкви и оставил службу, чтобы посвятить себя сочинению проповедей. Коралл родила ему Мэрис, и на этом их близость кончилась. Одно название, что жена. Знает ли Мэрис, что большая часть проповедей — подделки, что он списал их?

— Артуру скоро семь. Он у нас слабенький, помнишь? Ему сейчас пора спать. Я пойду к нему, но ненадолго. Миссис Чэт ушла.

— А что с ним? Ланс тоже был слабенький.

— В некоторых семьях астма — наследственная болезнь. В последнее время Артур чувствует себя лучше.

— Долго там не задерживайся. И не забудь про микстуру. — Не хнычь, не говори тоном приказа, не унижайся, моя дочь трудится из любви ко мне, не превращай любовь в обязанность. Ей и без меня переживаний хватает. Вспомнил — она вышла замуж за негодя, он изменил ей, оставил, бросил. Ее несчастье мне на пользу. Этого человека я и в глаза не видел. Мне стыдно за свой эгоцентризм. Со временем теряешь контроль над собой.

— Я никогда не забываю, Джи.

— Добавь туда чего-нибудь, добавь рому.

— Только капельку. Он плохо на тебя действует.

— С ним легче заснуть. Я все тревожусь... Мэрис, на что ты живешь? Тот, что ушел, помогает тебе?

— Нет.

— Мой внук... Артур, должно быть, одинок. Растет без отца, без мужского глаза?

— Его отец бросил нас. Да и какая польза от этих отцов. С тех пор как он исчез, я его ни разу не видела. Скоро Артуру в школу, тогда легче будет во всех отношениях. — Надо идти вниз, к сыну. Ты хотела девочку, а не мальчика. Любовь — это не крап, который можно открыть или закрыть, когда захочешь. Я знаю, до чего Джемма довела Ланса, я не сделаю этой ошибки, с девочкой было бы иначе. Я люблю отца, а к Артуру никогда не испытывала особых чувств. Он появился на свет помимо моего желания. «Неужели все кончено, и я должна любить этого горластого мальчишку, похожего на личинку? Я хотела девочку». Джемма привязала Ланса к себе, он не перенес ее смерти. Отцу нужен мой опыт, он меня знает, я знаю его. Он боится. Мне противна смерть, тем более смерть отца: ведь он понимает, что дни его сочтены. Я буду успокаивать его, буду мыть, ухаживать за ним. Он боится смерти.

— Разве не надо готовить его к школе? Умеет он читать?

— У него есть миссис Чэт. Она научила его. Он неглупый.

— Миссис Чэт? От такой жизни нет радости — ни тебе, ни сыну, ни кому другому.

— Я не жалуясь. Я медсестра, и мой долг — помогать тебе.

Он закрыл глаза. Ему хотелось снова увидеть ее волосы — длинные, темные, прямые. А от Коралл все-таки есть польза: она подарила ему Мэрис.

— Я долго не протяну. Сколько мне осталось жить, Мэрис? — Человек трудится, любит и превращается в прах.

— Этого никто не может знать, Джи. — Разве лишь тот, кто труслив, кто подобно моему единокровному брату уплывает в даль океана, но Джи не из таких. Мэрис взглянула на фотографию Джеммы. Прежде отец целовал этот портрет, она каждое утро стирала следы

его губ со стекла, но теперь старик уже не может до него дотянуться. Коралл сюда не заходит, здесь по-прежнему царствует дух Джеммы, хотя эта женщина с тонким выразительным лицом ни разу не переступала порога этого дома. Миссис Чэт говорит, что Джемма любила черное.

— Я все думаю о Лансе. Мог сделать для него больше. Не следовало мне жениться на твоей матери.

— Ланс был со странностями, ты это знаешь, так что не вини себя.

— Не выходи замуж без любви. Не путай любовь с...— Что это было? Похоть? Забыл.

— Теперь уж вряд ли выйду. Артуру совсем неплохо. Он обожает Коралл и ни в чем не нуждается. У него есть миссис Чэт.— Артур не обделен вниманием.

— Коралл помогает?

— Коралл живет для себя, всегда так жила. Ты же знаешь.

— Холодно. Я совсем замерз.

— Сейчас.— Укутай его в старую мягкую шерстяную шаль Джеммы, он похож на мумию, небритый, обросший, требует ласки, хочет, чтобы глаза его видели, а уши слышали, хочет пожить еще.

— Коралл должна помогать тебе.

— Она на работу ходит. Иногда.

— Разумеется.— Она всегда бежала из дому. Вела себя не как жена священника, и проповеди ее не интересовали.

— Вздремни пока. Я скоро вернусь.

— Прибой сильный?

— Здесь нет моря, Джи. Весной высокая вода. Здесь всего лишь река. Мы у реки теперь живем.

— Какая она?

— Темная. Холодная. Спи.

— Что это колокола не звонят? Что случилось?— Не слышно ни колоколов, ни птиц, ни музыки. Бывало, он слышал и ветер.

— Холодно, поэтому, наверно, и не звонят.

Звон стоял оглушительный, он сверлил ей уши, у нее саднило в горле, потому что приходилось кричать. Говори медленно, как можно громче, короткими фразами.

— Ты для меня больше чем дочь, Мэрис.— У него опять заслезилась глаза.

— Спи. Мне к Артуру надо.

— Я хочу подарить ему что-нибудь. Пресс-папье. На письменном столе, отдай ему.

— Он будет доволен. Когда вернусь, сменю тебе белье.

— Мне еще не...

— Потом, когда вернусь.— Не надо показывать виду, что ты знаешь. Притворяйся, облегчай ему последние дни, стаскивай мокрое белье, обтирай и присыпай тело.

— Подойди ближе, Мэрис...

— Нравится тебе это платье?

— Дай потрогать. Мягкое. Темное, да? Джемма любила темное.

— Это ее платье. Я отыскала его, перешила. Думала, тебе будет приятно.

— Ты такая же добрая, как она. И носишь ее платье. Хорошо, очень хорошо.— В голове у него снова начало путаться. А ведь когда-то было иначе. Как хочется взглянуть сейчас на Темзу, прислушаться к шуму, увидеть людей, огни надо льдом, тушу быка на вертеле. Озябшие, посиневшие лица. Когда это было?

2

Как жаль, что Джемма не ее мать,— ног Мэрис касается тот самый бархат, который касался ног Джеммы. Это успокаивает ее. Одежда обычно напоминает о тех, кто ее когда-то носил. Держись, не па-

дай духом, дай ему умереть спокойно; пусть он умрет любимым, умрет в собственной постели. Мэрис привыкла к смерти и знает, как все будет; недаром ее учили. Джемма умела долго носить вещи, война научила ее бережливости, в этом платье она прикасалась к Джи, прикасалась нежно, как сейчас прикасается Мэрис и как должна бы прикасаться Коралл. Высокий узкий дом, под кровлей которого собрались покинутая жена, больной астмой мальчик и умирающий старик, похож на игрушечный, — по комнате на каждом этаже.

Почему, Джемма, я восторгаюсь тобой? Ты слишком опекала своего сына, и он решила, что лучше утонуть в море, чем жить без тебя. Ты держалась с достоинством, грацией, благородством; любила сына без меры. Это странный дом, в нем живут странные люди. Коралл позорит семью. Но приходится с ней общаться, она моя мать; вот дверь ее комнаты.

— Ты уходишь, Коралл?

— Фу, как ты меня испугала! Почему не стучишься?

— Извини, у меня грелки в руках. Я иду к Артуру.

— Тоже мне мисс Найтингейл<sup>1</sup>. На побегушках. А я, по-твоему, должна умирать от стыда. — Нет уж, не станет Коралл рабыней — ни взрослого, ни ребенка. Человек сам себе хозяин. Если Мэрис взяла на себя роль мученицы — это ее дело. А Коралл не намерена жертвовать собой ради мужа — кто бы он ни был. Святой отец Джи отжил свой век; да и не нуждается он в ней, у него есть свои проповеди и есть любимица Мэрис, пускай она и преклоняет колена. Каждый стоит за себя как умеет. Ее совесть чиста.

— Ты была у Артура?

— Некогда мне. Бедный мальчишка. Только на меня не рассчитывай. — Он — сын Мэрис, пусть у нее и болит голова. Сошлась с прощельгой, да и влипла, хотя сама медсестра и знает, как отделаться от ребенка. Что и говорить, незавидная жизнь, но Мэрис сама виновата. Своя рубашка ближе к телу — вот девиз Коралл. Были и у нее тяжелые времена; нюни не надо распускать, тогда и просвет увидишь. Святой Джи держал ее на расстоянии, не испытывал к ней глубокого чувства, он хотел лишь забыть другую — свою первую жену. Жить надо с расчетом: будущее начинается сегодня.

— Артур обожает тебя, Коралл. Ему хочется... он капризничает.

— Мне жаль его, ей-богу. Он слишком подолгу остается один, а ты круглые сутки наверху. Куда это запропастилась моя губная помада? — Коралл села перед зеркалом и принялась мазать губы. Святого Джи скоро не будет. Старость убивает. От нее редуют волосы, отвисают груди, болят ноги, лопаются жилки на щеках. Ну и что, если Артур без ума от нее? Все равно ей некогда им заниматься. Семья тоже старит. Семья и годы — они хуже Гитлера во многих отношениях. Миссис Чэт — хитрюга, ночевать ходит в свою однокомнатную квартирку, а в этом доме ест, живет себе в тепле да ставит на собак по телефону, не утруждает себя работой. Коралл и миссис Чэт не очень-то в ладах, но понимают друг друга. У обеих с войной связаны приятные воспоминания, для них это были годы гремевшей музыки, любви и веселья. Коралл до сих пор вздыхает по тем временам: прогулки в джипах, янки, танцы под джаз. За Святого Джи Коралл вышла по расчету, она не любила его. Надо было позаботиться о себе, о завтрашнем дне; Мэрис, неотлучно ухаживающая за умирающим, старается вызвать у нее угрызения совести, упрекает в равнодушии. Даже бомбежки, затемнения, плохая еда в сравнение не идут с этой постылой жизнью. Когда Мэрис говорит: «Он долго не протянет», она спрашивает себя: «Сколько еще нести этот крест?» Хотя на душе у нее беспокойно. Старик взял ее в дом, она родила Мэрис — и это все. Есть

<sup>1</sup> Подразумевается Флоренс Найтингейл (1820—1910), английская медсестра. Организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны. Создала систему подготовки кадров медперсонала в Великобритании. В Лондоне в ее честь поставлен памятник. (Здесь и далее прим. перев.)

мужчины ненасытные, они могут замучить женщину до смерти, но не таков ее чистый, Святой Джи. Он предпочел спать один наверху; лучшая же спальня с синими стенами осталась за ней. Коралл не нравился этот дом с мрачной мебелью и скверным отоплением, но из-за денег она пошла замуж. Жаль, что Мэрис не оказалась такой же благоразумной, как мать, сошлась с неудачником, который бросил ее спустя две недели, а теперь вот взялась вывозить грязь за больным. Они никогда не были близки; Мэрис склонна к рабской жизни и мученичеству, как и ее отец. Видимо, у этой семейки какой-то врожденный порок, взять хотя бы Ланса — на военную службу его не взяли, жизни без матери он не представлял. Коралл видела его только раз — на похоронах. Хлюпик. Совсем не то что она. Веселись, не давай себя в обиду, клади на губы побольше помады, пусть они будут яркие, как у Джоан Кроуфорд<sup>1</sup>.

— Можно войти?

— Ты уже вошла, зачем спрашивать? Когда ты устаеть, веснушки у тебя становятся еще заметнее.

— Куда собираешься?

— К своему новому другу. Ма Чэт уже ушла? — Коралл отложила кисточку в сторону. К чему верить свои тайны? Это уж ее дело — куда ходить, с кем встречаться. Попудрила лицо. «Помни Кроуфорд», — любила она повторять, когда на душе было тяжело, и это не раз ее выручало. Она посмотрела на Мэрис, ее неподвижные глаза сузились. Трудно поверить, что у нее такая худая, веснушчатая, небрежно одетая дочь. Когда женщине за двадцать, она должна особенно следить за собой. Несчастное, замученное веснушчатое создание.

— Да, ушла. Принести тебе чего-нибудь?

— Спасибо, не надо. Бьюсь об заклад, Ма Чэт набила свою сумку продуктами.

— Она не воровка.

— Нет? У нее вся еда из нашей кухни.

— Не верю. Нравится тебе мое платье? — Не мешает иногда напоминать Коралл о ее предшественнице.

— Платье? Этот черный балахон? Старое, да? Фу, это платье я видела наверху, на фотографии. И у тебя хватило духу надеть его! — Посмеяться, что ли, захотела над ней Мэрис, напивив на себя старую тряпку из черного бархата, которую когда-то носила Джемма? Эту женщину Коралл видела всего один раз на побережье, когда служила в баре, — ей говорили, что та любит черное. Узнав о смерти Джеммы, она выждала, причесала свои длинные, обесцвеченные химией волосы и отправилась — веселая, улыбкавая — в дом священника предлагать свои услуги. «Время — лучший лекарь. Заходите когда захочется».

— Хватило. Тебе не нравится?

— А мне-то что? Тебе пошло бы зеленое, а не черное. — Коралл приладила к блузке жабо. Под жабо грудь не кажется такой обвислой. Она много тратит на корсеты.

— Обожаю бархат. Это было ее любимое платье.

Не делай слишком много ошибок. Таких, например, как еще один нелепый брак. Коралл зевнула, обнажив пломбированные зубы. Замурлыкала какую-то песенку. Ей нравится все синее. Теперь — туфли. В доме адский холод, от него большие пальцы ног только болят сильнее; а гут еще высокие каблуки. «Помни Кроуфорд», не показывай вида, что тебе плохо.

— Коралл, почему ты не носишь туфли на толстой подошве?

— Не люблю. Ты ведь знаешь, что мой отец был сапожником? Вот чем он занимался. Чинил обувь. Я нуждалась. Потом началась война. И домой я уже не вернулась.

— Расскажи мне про войну. Тебе тогда хорошо жилось?

<sup>1</sup> Знаменитая американская киноактриса.



— Еще бы. Работала на военном заводе. Рада была, что вырвалась. Ну а потом... встретила твоего отца.

— Расскажи про своего отца. Ты редко его вспоминаешь.

— Злой он был. И как только земля таких носит.— Ей и сейчас противно вспоминать, как он выплевывал гвозди и целыми днями стучал молотком. Летом в мастерской нестерпимо воняло старой кожей. Буйный нрав отца, гудение шлифовальной ленты, его черные руки, сжимавшие нож,— все это осточертело ей до невозможности. Война избавила ее от такой жизни. С отцом она больше уже не виделась, к известию о его смерти отнеслась безразлично. Из-за него теперь и не носит простой обуви на толстой подошве и вообще старается ходить только в новой. Военный завод открыл ей путь к другой жизни — по собственному выбору. Она любит крепкие духи и ненавидит драки. Коралл приподняла сзади волосы и попросила Мэрис застегнуть «молнию». Этот ужасный черный цвет. Надо же — надеть платье умершей женщины.

— Пойди пожелай Артуру спокойной ночи. Пожалуйста, Коралл.

— Некогда. Он же не мой сын. Так что сделай это за меня.

— Я хотела поговорить, Коралл. Мы никогда с тобой не беседуем.

— Разве это моя вина? Ты и днем и ночью наверху. Ну и дом у нас. Холодина. Брр...

— Он твой муж, ты вышла за него, любила же ты его когда-то. Неужели ты ничего не чувствуешь?

— Чувствую. Голод. Ну ладно, мисс Найтингейл. Я люблю лишь себя — ты довольна? Живу как знаю.— В этом доме все против нее кроме бедняги Артура.

— Как твоя новая работа?

— Обычная. Нудная. Целыми днями отсиживаю себе задницу.— Слово «задница» вырвалось у нее нечаянно. Секретарши выражаются деликатно. Это она при Мэрис становится вульгарной. Живя на Пью-Мьюс, надо все время быть начеку. Где только она не работала — и на военном заводе, и в продовольственном магазине, и на сборочном конвейере, и в баре, прежде чем стать женой священника, секретаршей в приемной фирмы с неполным рабочим днем. Образ Джоан Кроуфорд не перестает будить ее воображение. Она еще свое возмет, у нее есть перспектива, она, Коралл Мортисс, вправе гордиться собой.

— Коралл, почему ты нигде не училась? — Ее похожая на куклу мать легкомысленна, она гримасничает перед зеркалом.

— Зато ты училась. И вот чем стала. А я ничего не боюсь.— Никто не должен знать, что она боится. Боится того старика, что лежит наверху и все время напоминает о себе. Кто будет ухаживать за ней, когда она станет такой же немощной? Уж конечно не Мэрис, да и никто никогда не питал к ней нежной любви. Своей матери она не помнит, в памяти остался только отец с сапожными гвоздями во рту. Святой Джи вместо гвоздей выплевывал слова. Но уж лучше гвозди, чем проповеди. Когда они венчались, кто-то сказал, что в подвенечном платье она похожа на уличную девку. Джемма всегда одевалась постарушечьи. Пускай Мэрис будет сиделкой. После такого безрассудного брака ей надо было сделать аборт. Благодаря Ма Чэт она свободна, у этого бедняги есть Ма Чэт.

— Я тоже не боюсь.— На самом же деле она боится. Не допускай, чтобы Джи умер: пусть поживет еще. Я похожа на Коралл: я тоже плохая мать, люблю одного только Джи. Как я буду жить без него?

— Тебе не следовало выходить замуж, Мэрис.

— Если бы не я, Джи лежал бы в больнице.

— Разве мало того, что я работала на военном заводе? Черт возьми, оставь меня в покое. Вон твой детеныш тебя кличет. Слышишь?

— Слышу. Он не «детеныш» и не «бедняга». Почему ты не зовешь его по имени? Он твой единственный внук.

— Сама знаю. Я никогда не любила детей.— Дети лишают женщину молодости: обрекают на бессонные ночи. А еще хуже — вызывают у нее чувство вины. Когда-то она с радостью переложила на плечи Ма Чэт заботы о Мэрис. То же делает теперь ее дочь. Напрасно она не познакомилась с будущим мужем Мэрис, пока их отношения не зашли слишком далеко. Мэрис испортила себе жизнь.

— Я делаю все, что могу, Коралл. Джи требует ухода. Я нужна ему.

— Жизнь — что шило в... Я-то, по крайней мере, нарочно родила тебя, Мэрис.

— Я не хочу ссориться, Коралл. Артур тянется к тебе.

— А я разве ссорюсь? Не надевай черное. И не носи туфли на низком каблуке.

— Я к ним привыкла. Я высокая.

— Ну, мне пора.— Коралл окинула взглядом комнату—чемоданы, обувь, пальто с меховыми воротниками. Она ни в чем себе не отказывает. Комната сплошь синяя, затейливая обстановка по моде тридцатых годов радует глаз. Атласные подушки, абажуры с бахромой располагают к отдыху. Интересно, скучает ли Мэрис по мужчине.

— Ну что ж, иди веселись.— Ее расфуфыренная мамаша торопится уйти из высокого печального дома. Загулявшая кукла.

Коралл подошла к кровати и в раздумье остановилась у синего телефона. Вызвать такси? И так уже опаздываю.

— Этот паршивец опять подслушивал, снимал параллельную трубку. Я слышала щелчок. Он у меня дождется.

Мэрис отправилась к Артуру. Еще не дойдя до его комнаты, она услышала скрип: мальчик спешит обратно в постель.

— Опять ты подслушивал. Коралл знает. Нехорошо шпионить.

— Я только хотел узнать. Куда она идет?

— Куда-то со своим другом.

— Она вызвала такси. Ее друг должен был заехать за ней.

— А ты не должен подслушивать. И не беспокойся за Коралл.— Мальчик ведет странную жизнь, тревожится за старших вместо того, чтобы играть и ходить в школу. Он всегда был капризным ребенком; голова неправильной формы и оттопыренные уши придают ему выжидательно-настороженный вид, точно он все время прислушивается, не идет ли беда. У него не по летам высокий рост, слишком бледная веснушчатая кожа, упрямо сжатый рот. Глаза бесцветные, не сводить ли его к врачу? И эта его привычка блуждать босиком по дому, прятаться, как хорек, за дверьми, за шторами, под столами. С малых лет он ни за кого не держался, рано начал ходить и говорить. Когда слез Джи, он страстно привязался к Коралл. Он сидит на кровати, его щеки словно бы чем-то вымазаны, влажные. не совсем чистые. Перед ним на пуховом одеяле лежат частицы картинки-головоломки. Он никогда не складывает их так, чтобы получалась картинка, а предпочитает втискивать как попало, путая картонные и деревянные части, создавая непонятные фигуры, не обращая внимания на пустоты. Не признает чужой подсказки и, если какой-нибудь крупный кусок не входит, ломает его надвое. Он часто зовет мать, но когда она приходит, совсем не радуется. Любит валяться в кровати. Миссис Чэт его устраивает, у нее он научился читать спортивные новости. Усвоив азы грамоты по собачьим кличкам, которые вычитывал в газетах, Артур вскоре стал помогать ей выбирать фаворитов. У него есть книжка под названием «Знай свои калории», в которой он отметил галочкой такие блюда, как «кресс-салат», «боврил», «грибы», чтобы рекомендовать их Коралл, страдающей излишней полнотой. Он часто перечитывал предисловие и подчеркнул те места, где говорится о вреде ожирения.

— Что случилось, Артур? Что-нибудь не так, тебя что-то расстроило?

— Нет, у меня все в порядке. Вполне. Миссис Чэт ушла домой.— Теперь, когда Мэрис рядом, ему расхотелось ее видеть. Ему надо лишь знать, кто чем занят. Куда идет Коралл? С кем? Ей следует быть дома и есть то, что он отметил в своей книжке. Артур смотрит на Мэрис неподвижными старческими глазами — бесцветными, как полинялая тряпка. Он не находит ее привлекательной.

— Тебе теперь лучше, астмы нет. Скоро начнешь ходить в школу, как только я договорюсь.— Ее величайшая ошибка, ее сын-хорек, напоминание о несчастливом браке и бегстве мужа, нуждается в том, чего она не может ему дать. Она спросила, пил ли он чай.

— Я ничего не хочу. Пожалуйста, не трогай меня.— Он столкнул ее руку с постели.

— Может быть, выпьешь кофе?— Угождай ему, заставь улыбнуться. Она не хочет давать ему кофе: мальчик слишком раздражителен.

— Спасибо, не нужно. Коралл ужинает в другом месте?

— Обычно да.

— Она, наверно, вернется поздно. Можно мне того рома, что у Джи?

— Ром детям вреден. Есть немного печенья «Гарибальди», я видела его в твоем списке. Поешь.

— А ты проверь. Ничего нет.

— Ты все съел? Молодец.— Она надеялась, что он немножко ее разыгрывает.

— Миссис Чэт его и не покупала. Ты ведь знаешь, как она делает.— Он перевел взгляд на свою рассыпанную головоломку. Миссис Чэт составляет ложные списки покупок, чтобы выкроить деньги на возмещение своих проигрышей. Таким образом, некоторых продуктов нет, хотя они и значатся в списке, но Мэрис расплачивается, не проверяя. Ставки на своих фаворитов миссис Чэт делает по телефону из коридора, нашептывая в чье-то невидимое ухо клачки собак, выбранных вместе с Артуром. Он не хочет, чтобы Мэрис дотрагивалась до его вещей. Шарик из прозрачного стекла, книжка, частицы головоломки — все это его мальчишеские тайны; он играет не так, как все.

— Но хоть чего-нибудь ты поел?

— Наверно, ты обрадуешься, когда я буду старый. Тогда тебе не придется задавать мне такие вопросы.

— Артур...— Он знает, что она виновата, что не питает к нему настоящей любви. Но не знает другого: когда он спит, она заходит посмотреть на него и в эти минуты испытывает прилив нежности. Он вызывает умиление, как всякий ребенок,— лежит, свернувшись калачиком, посасывая большой палец и ничего в данный момент не требует. Временами он разговаривает, как взрослый. Она видит его влажные щеки, и ей хочется плакать.

Немного спустя они услышали стук каблуков и шуршание одежды Коралл, она спускалась по лестнице, усталой ковровой дорожкой. Артур надеется, что она зайдет к нему или хотя бы окликнет из коридора, но нет. Напевая себе под нос, она спускается ниже и хлопает парадной дверью. Садится в такси. Уезжает. Он смотрит в окно на темную улицу, на отблеск фар, на удаляющиеся огни машины. По-прежнему идет снег.

— Не дрожи так. Ложись. Я... Миссис Чэт будет скучать по тебе, когда ты начнешь ходить в школу.

— Она занята. У нее есть куда девать время.

— Занята?

— Она играет. Ну, ставит на гончих собак. А когда ты была маленькой, она играла?

— Не помню. Не знаю.— Не возводит ли он на нее напраслину? Неужели миссис Чэт ворует?

— Она играет. Я помогаю. Благодаря этому я и научился читать. Какой мотив напевала Коралл? Она часто это поет.

— Что-то из времен войны.

— Она говорит, что когда-то делала патроны, а потом сменила много мест. Я не упрекаю ее за то, что она часто уходит из дому. Джи слишком стар для нее.

— Поэтому я редко и вижу с тобой, Артур.

— Жаль, что у меня нет животных, хоть кого-нибудь.

— Миссис Чэт не терпит животных. Ты выкупался?

— Она помыла меня.— Он с вызовом посмотрел ей в глаза. Миссис Чэт, как и он, не любила купаться.

— Тогда почему ты до сих пор одет?

— У меня кровь стынет от холода.— Он глубоко вздохнул. Хорошо бы иметь шмеля или паука, кого-нибудь с пушистыми лапками.

— Да, чуть не забыла, Джи просил передать тебе вот это. В подарок.

— Его пресс-папье. Тяжелое, да?

Он лег и провел пальцами по вещице золотистого цвета. Особенно ему нравятся зубы Коралл, такие приятные и желтые.

### 3

— Привет, привет, красавчик! Шелл-стрит, пожалуйста.— Коралл изобразила на лице кокетливую улыбку. Профессиональная привычка. Помни Кроуфорд. Свой выбор она сделала давно, еще когда работала на военном заводе. Люби того, кто полюбился, а замуж выходи с расчетом на обеспеченную жизнь. Было время, когда шоферы такси сами останавливались и подбрасывали ее, не требуя платы, отказываясь от чаевых. Теперь красота ее увяла, а муж превратился в развалину. Коралл сняла туфли и размяла пальцы. Откинулась назад, вдыхая запах кожи. В такси пахнет всегда одинаково. Закурила сигарету и затаилась, с облегчением выпустив дым. Выбрось из головы старика и мисс Нэйтингейл, забудь несчастного дурачка, ожидающего твоей ласки, наплюй на Ма Чэт. Жена бывшего священника бежит из дому. Любит повеселиться. Пускай она вульгарная, себялюбивая — другой она не желает быть. Жизнь скоро переменится: когда он умрет, у нее будут деньги, а время — лучший лекарь. Пока ты жива, твоя наружность — все равно что витрина магазина. Уж ее-то не застанет мужчина в бигуди или без улыбки на лице — она похожа на Джоан Кроуфорд. Она повернулась в профиль к стеклянной перегородке, отделявшей ее от шофера, зная, что сбоку ее лицо смотрится лучше. От этого колокольного звона можно сойти с ума. Не замечать его может лишь тот, кто здесь родился. Вдруг у светофора шофер оглянется и увидит ее в выгодном свете. У него голова дыней, лоснящиеся волосы зачесаны назад. Мужчины могут не обращать внимания на свою внешность; островерхая голова, плешивость, косоглазие — все это не так важно. Коралл достала гребенку. Завитая челка прикрывает морщинки на лбу, привычная улыбка скрадывает помятые губы. Для женщины волосы, кожа, зубы, возраст решают все. Мэрис, ее собственная милая дочь, ходит в черном, даже и не пытается выглядеть лучше. Другу Коралл, конечно, приятно, когда она предстает перед ним в лучшем виде. Беда в том, что на улице Пью-Мьюс люди избегают друг друга. Все лгут. В этом нет для нее ничего нового, она и сама с детства привыкла лгать. Так и старый Святой Джи — он лгал, когда говорил, что любит ее, сам же не переставал думать о Джемме, целовал ее фотографию, лгал, что сочиняет свои проповеди, — она как-то заметила, что он списывает их из других книг. Каждому человеку иногда хочется излить душу. Ее отец был психопат, ужасно бранился, и она не оставалась в долгу. Воспитанные люди улыбаются, скрывают свои чувства. Надо же, тайком целовал фотографию,

даже в брачную ночь, она видела. Как будто главное — это хорошие манеры. Она постаралась забеременеть, на том их супружеские отношения и кончились. Хотела родить мальчика: с ним меньше хлопот; к Мэрис отнеслась равнодушно. Имя ей выбрал Святой Джи — она хотела назвать девочку Мэриголд. Ма Чэт была находкой — она развязала Коралл руки, дала возможность работать. Святой Джи все время проводил наверху, писал свои проповеди. Когда Мэрис закончила курсы и вернулась домой беременная, без мужа, с ним случился первый удар. Проповеди так и останутся незаконченными — потеря для человечества небольшая. Над этим домом проклятье: дочь в своем черном балахоне вызывает презрение, внук чокнутый, приходящая прислуга играет в азартные игры и ворует. Надо было ей познакомиться с женихом Мэрис — может, и удалось бы помешать их браку. Она умеет распознавать неудачников, знает мужчин, черт возьми, — кто тут с ней может соперничать? Она оказала этому роду услугу, добавила кровь простолюдинов, оздоровила семью. «Время — лучший лекарь. Будущее начинается сегодня».

— Симпатичный домик. Давно в нем живете?

— Слишком давно. А почему спрашиваешь, красавчик?

— Я не хотел вас обидеть. Мне показалось, что вы нездешняя. Просто интересуюсь. — Шофер продолжал смотреть прямо перед собой, не поворачивая остроконечной головы, вел себя так, будто спрашивает лишь для поддержания разговора.

— Я из Лондона, то есть родом оттуда. Из Ист-Энда. Мой отец сапожничал, делал обувь для хромых, утолщал подошвы и прочее. А я здесь, мистер Просто Интересуюсь, живу с военных лет.

— Я так и думал, что вы кокни<sup>1</sup>. Все со стариком живете?

— А ты и вправду нелюбопытный, а, мистер Просто Интересуюсь? Слушал бы лучше эти чертовы колокола, я так и не привыкла к ним.

— Понятно. Значит, вышла прогуляться?

— Вроде того. А ты женат? — Может, ей и эта поездка обойдется недорого.

— Зачем покупать корову, если молоко и так дешевое. — Наконец он оглянулся; сколько он перевидал и вдов, и разведенных, и одиноких, скучающих жен! Глаз у него наметанный, умеет сразу определить, кто есть кто. Все они чего-то ищут, чем-то недовольны: одним захотелось проехать на даровщинку, другие жаждут свободы, третьи рассчитывают на угощение. Эта вот боится старости.

— А ты парень что надо. Тоже, наверно, не промах.

— Что верно, то верно.

— Останови здесь. Дальше не надо.

— Это же не Шелл-стрит. Города не знаете, что ли? Довезу вас до места. Денег не возьму. — Лахудра несчастная, боится, что нечем будет расплатиться, заглядывает в кошелек, притворяясь, будто смотрит в зеркальце. Туфли на тонких подошвах, на веках столько туши, что хватило бы сапоги почистить, никого ведь не обманешь, жалкая ты потаскушка, дочь сапожника. Никто про него не скажет, что он сквальга.

— Спасибо, красавчик. Адрес мой ты знаешь, заходи в случае чего. — Вылезай живее, держись с достоинством, твое счастье, что есть еще порядочные люди. А может, она ему приглянулась? Ноги до смерти болят. Не те уже ноги. В детстве она танцевала, была первой ученицей в танцевальной школе благочестивой Тот. Все дело испортила ее ранняя зрелость, она слишком быстро росла. Мисс Тот уже не знала, что с ней делать. «Возвращайся, когда перестанешь расти. Тогда что-нибудь придумаем». Да, она переменилась. Война. Жизнь

<sup>1</sup> Прозвище уроженцев восточной части Лондона.

кое-чему научила. Умей использовать в своих интересах других, прежде чем они используют тебя. Когда-то она носила все красное, но время и тут внесло свою поправку. Теперь на ней — синее, все синее. Как только умрет Святой Джи, она уже не станет заискивать перед незнакомыми таксистами, у нее будет свой шофер. Никто не знает сколько у него денег. Наверно, много. Она будет путешествовать, прощай, Пью-Мьюс. Остальные пусть живут, как им нравится. Жизнь — хитрая штука. Деньги у людей есть, а тратят мало. Она знала многих мужчин; когда свое отлюбишь, то прежде всего думаешь о деньгах. Коралл ненавидит свое стареющее тело. Когда-то ее подвел отец, потом мисс Тот, а теперь вот — собственный организм. Занималась мелким воровством в магазинах: сначала конфеты, шоколадки, потом флакончики духов, блестящие безделушки, белье. Знала слишком много для своих лет; тело, которое она теперь проклинает, помогало ей добывать деньги. В двенадцать лет потеряла невинность и ничуть об этом не жалела. Мэрис возмущает ее: молодая женщина, а обрядилась в черное тряпье, обрекла себя на роль прислуги, сиделки при восьмидесятилетнем старике, и все ее развлечение — слушать колокольный звон да монотонный плеск реки. Коралл ненавидит воду, особенно море, озера, реки; да и ванну не очень-то жалует. Из жидкостей больше всего любит духи. Синие шторы на ее окнах не раздвигаются ни днем ни ночью. Снегопад, дождь, вид церкви на другой стороне реки вызывают у нее отвращение. Бывало, вспоминая Ланса, она задавала себе вопрос: сколько пройдет времени, прежде чем его тело сгниет и растворится в волнах? Когда у нее скверно на душе, она что-нибудь напевает. «Всякий раз, когда дождь, с неба падают пенни. В небесах, в облаках — всюду носятся пенни». Держись веселее, напевай, вылезая из машины.

И тут, задев каблуком за край тротуара, она на глазах у таксиста грохнулась на асфальт — уже не величественная, а жалкая среди разлетевшегося в разные стороны содержимого сумочки. Ползая на четвереньках, принялась шарить вокруг себя, искать монетки — они ведь не с неба упали, а высыпались из ее кошелька. О, господи, подумать только — он все видит. Но ничего, потерпи, скоро у тебя будет много денег, это лишь вопрос времени.

— Корри, что ты здесь делаешь?

— О, Перс. Почему ты на улице? Я шла к тебе и — упала.

— За выпивкой бегал. Как это тебя угораздило? — Перс погладил сзади ее синее пальто. Холодно, чего она тут ползает? А он взял коньяку.

— Споткнулась. — Только не злись. Хотя он и застал тебя барахтающейся в грязном снегу, не показывай вида, что ты раздражена. Ее зовут Корэлайн, он постоянно забывает, а она любит свое имя, такого ни у кого больше нет. «Коралл» — тоже хорошо, похоже на красивый камень в тропическом море. Она до сих пор помнит, как кто-то во время венчания назвал ее «кораллом», нечто вроде грубого известняка. Ну вот. На круглом лице Перса улыбка, он доволен, что она у порога его дома.

— Пойдем, пойдем в дом, Корри.

— Съездим потом куда-нибудь, а, Перси? Куда-нибудь. — Она умирает от голода. Он привык к теплу и духоте. Свежий воздух почти так же губит человека, как вода и старость.

— Ты слишком слаба, чтобы куда-нибудь ехать. Держись за мою руку.

— Ты золотко, Перси. — Он ниже ее ростом и толще, ее плечо вровень с его носом. Каким бы мужчина ни был — жирным, как селезень или тонким как бечевка, — с ним все равно хорошо. Она ничего ему не рассказывает о своих семейных делах; он думает, что она либо вдова, либо разведенная и вынуждена зарабатывать себе на жизнь. Она пробудила в нем отеческое чувство. Его любимая кинозвез-

да — Джоан Кроуфорд. Он заметил Коралл в пивной Годи Дака, и с тех пор они не сказали друг другу грубого слова. Кроме того, у него туго набитый кошелек.

— Какие малюсенькие холодные пальчики. Дай-ка я их поцелую.

— Соскучилась я по тебе, Перс. А ты? — Бедняга, как жаль, что вино он любит больше еды.

— В мыслях я всегда с тобой. Ну пойдем в тепло.

— Перс. О, Перс! — Вряд ли у него найдется что-нибудь поесть; в его квартире уютно от электрических обогревателей, включенных на полную мощность, здесь нет никакой старины. Ее возлюбленный не держит ни хрусталя, ни полированной мебели, он ценит удобства, но лишен вкуса. Да ей и самой претит хороший вкус.

— Выпей, Корри?

— Еще спрашиваешь. — Дай бог, чтобы он не слишком захмелел, а то и про еду забудет. В его шкафчике кроме спиртных напитков — земляные орешки, маслины, вишни. Ничего существенного. Жар, исходящий от искусственных углей, греет ее лодыжки, обтянутые синими чулками. Ей приятно смотреть на камин, отделанный под мрамор, и на часы, выкрашенные в цвет стоящих на полке эбеновых слоников. Со стены глядят морды рогатых животных. Кофейный столик обит искусственной кожей в тон его тройке. На журнальном столике разбросаны неразрезанные книги в ярких обложках. Лампы со стеклянными абажурами причудливой формы освещают множество летящих уток на облицовке камина. Перси ее вполне устраивает.

— Пью за тебя и за себя.

— За нас, Перс, за нас. Как прошел день?

— Средне. Средне. Телефон все время звонил. Устал я, устал от телефона. — Он приподнял стакан, приглашая ее выпить.

— Знаю, знаю. Измотался, должно быть. Не слишком много, Перси, ты меня знаешь, я не могу пить на голодный желудок. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя Корри опьянела. — Улыбайся, не груби. Мужчины любят командовать.

— Молчи. Выпей.

— Расскажи о своей работе. Давай стакан, я налью. — Делай вид, что тебя интересует его служба, его агентство, хотя бог знает чем он там занимается. Главное — деньги, ради них она готова принадлежать ему, пока не получит наследства. Придет время, и они поженятся. Его еженедельная получка тоже не помешает. «Время — лучший лекарь. Будущее начинается сегодня». Этот добродушный, солидный человек, связанный с каким-то агентством, вдали от жуткого колокольного звона вполне ей подходит. Он курит длинные коричневые сигары. Она аккуратно наполнила его стакан.

— О работе? Я не люблю работу, я люблю Корри.

— А я тебя. — Пользуйся тем, что есть, потягивай коньяк, в этой духоте приятно сидеть. Жизнь состоит не из одних только радостей, Коралл знает и ее обратную сторону. Перс — не бог весть какая находка, но может быть полезен, хоть и слюнявит сейчас кружева на ее воротничке. С его помощью она, возможно, переберется в Лондон, устроится где-нибудь. Затененные лампы, клуб с голыми до пояса официантками, она еще чувствует себя женщиной. Вкус к свету лампы привила ей мисс Тот. Перс скоро ей пригодится.

— Корри. Корри.

— Я тоже тебя люблю. Смотри, я промочила ноги. — Его губы, влажные от коньяка, щекотали ей шею. Она не ожидала, что он опустится на ковер и станет целовать ее мокрые синие ступни. Его губы коснулись как раз того места, которое она считала наименее подходящим для поцелуя, — большого пальца ноги. Он, должно быть, смеется над ней. Ноги у нее совсем некрасивые. Танцы на пуантах в школе мисс Тот и скаредность отца сделали свое дело. Он заставлял ее носить обувь, оставленную заказчиками, — старые, пропахшие потом

туфли всех размеров, иногда даже инвалидные. Пальцы на ногах у нее на всю жизнь изуродованы. У Мэрис они прямые, как у Святого Джи. Нищета и на ногах оставляет свой след. Что потеряно, того уж не воротишь. И над этими ногами Перс благоговейно склонил свою лысую голову, пестуя их точно бриллианты британской короны, увлажняя слюной и щекоча ступни. Распластался на полу, как собака, и лижет ее большие ноги.

— Перси, милый, нет ли чего поесть? — Он не слышит, как урчит у нее в животе. С каким удовольствием она съела бы сейчас кусочек кекса или пудинга. А еще лучше пойти в закусочную и заказать жареной рыбы с ломтиками картофеля. Иногда они ходят перекусить; сегодня же его интересуют только ее ноги и выпивка. Когда он заснет, она поищет чего-нибудь на кухне. Кроме как лизаться, этот бедняга ни на что сейчас не способен. Впрочем, мужчина ей не так уж и нужен, повидала она их достаточно в военные годы, то было славное время, но оно прошло. Золотой середины не бывает — либо они мучают тебя до полусмерти, либо ничего не могут. Святой Джи влюблен в покойную жену, Перс валяется у ее ног, омывает пальцы пьяными слезами, и выбора у нее, в сущности, нет.

— Корри, дорогая, бери что хочешь.

— Рубленый бифштекс? Кусок сладкого пирога?

Он не слышит, пытается встать, опершись на ее правую грудь, лицо расплылось в блаженной улыбке.

— Осторожно, жеребец. Легче. Ну и силища. Сиди, пока я поищу. Измотался ты за день. Отдохни.

В огромном холодильнике почти пусто. Половинка лимона, который как будто уже выжали, остатки кислого молока, заплесневелое печенье. Она с досадой лизнула бумагу от сливочного масла. Пожевала лимонную корку, печенье же не тронула. Чаю в коробке нет; ни банки кофе. Она с сожалением вспомнила про вечерние чаепития в скучной компании Ма Чэт — там хоть можно поживиться сыром, крепким кофе или яичком. Болит живот. В холодильнике Перса так же стыло и пусто, как в ее желудке и душе. На стене в стальных рамках изображения лошадей, на столе — еще один телефон. Этому гладкому толстяку нужна заботливая рука.

— Корри. Кор-ри. Налей еще. Птичка с одним крылом не может летать. — Он смотрел на своих летящих уток, покачиваясь, дожидаясь ее.

— Иду, иду, Перс. — Она проглотила лимонную корку. Будь обходительна, услужлива. Спешу. Доброта, покой, деньги — в них нуждаются все.

Он опять на ковре, рядом с ним — разбитый стакан.

— Я дам тебе другой. Осторожно, жеребец. — Не задирай его, не обращай внимания, пусть жалуется на одиночество. Он говорит, что умирает от любви к ней.

— Каждому хочется, Перси, чтобы с ним рядом была живая душа. Придет и наше время, я в это верю. — При мысли о постылой жизни она готова заплакать. С тех пор, как кончилась война, ей редко выпадали счастливые минуты. Наградой за обиды, которые она терпела от свирепого отца, принуждавшего ее носить дрянную обувь, и от мисс Тот, не пожелавшей держать ее в танцевальной школе из-за слишком пышной груди, были солдаты, дарившие ей ночи любви. Выйдя замуж за Святого Джи, она покатила вниз. Такой жизни и собаке не пожелаешь. Но Персу ничего не говори, пока не сможешь уйти из того проклятого дома на берегу реки, пока не получишь наследства. И тогда избавишься от колокольного звона. Перс не богат, но у него уютная, теплая квартирка, в его сердце есть место для нее. Этот человек — последняя роза на ее тернистом жизненном пути, и она будет заботиться о нем, давать ему выпить, делить с ним постель.



Если бы Джемма не умерла, Коралл была бы свободна. Черт побери, что за проклятая неразбериха.

— Ай-ай-ай, ковер коньяком залил!

— Я вытру. Легче ты, распалившийся жеребец, не будоражь меня. — Вот зверь, измял всю.

Он снова рухнул и растянулся на ковре. Она останется с ним до утра, ей страшно выходить опять в снег. Здесь тепло, она погреет свои больные ноги и, возможно, ляжет в его постель. Она слизнула кровь с указательного пальца, который порезала осколком стакана. «Когда гром раздастся весенний, не прячься под деревом, себя храня: то падают с неба пенни — для тебя и для меня».

## 4

Артур привык ждать. Ждать у телефона, чтобы узнать какую-нибудь новость, ждать прихода Коралл, ждать смерти Джи. Он любит Коралл, потому что она загадочная, никто точно не знает, где она сейчас. Она рассказывала ему про мисс Тот, она могла стать знаменитостью, но этому помешала слишком ранняя зрелость. Хорошо бы посмотреть, как у нее мелькают ноги во время танца. Ему нравится аромат ее одежды. Иногда он наблюдает, как она одевается, обесцвечивает волосы, красится, пудрится. Ни разу он не видел ее совсем голой. Она рассказывала ему о военных годах и о том, как теперь жалеет, что стала толстая. И все из-за возраста — возраст хуже Гитлера. Самому Артуру ее полнога нравится, но, сочувствуя ей, он выписал названия диетических блюд, только она этим списком не пользуется. Мэрис — костлявая и сухая, ее грудь не распирает кофточку, на руках нет жировых складок. Он не винит Коралл за то, что она часто уходит из дому. Считает, что во многом виновата мисс Тот.

Миссис Чэт — другая, ей он доверяет. Она простая, понятная, всегда на месте, никогда не опаздывает. Она ворует из сумочки Мэрис деньги. Сам он таскает не только деньги, но и всякие интересные вещи: ручки, духи Коралл, ее туфли на высоких каблуках, кухонные ножи — хотя они ему не так уж и нужны. Миссис Чэт не любит Коралл, осуждает ее за ветреность, легкомыслие. Жалеет всех детей, выросших на Пью-Мьюс, где никто не смеется, словно опасаясь, что от смеха рухнут стены, и не удивительно, что Артур предрасположен к астме. Что бы он делал без нее — ведь Коралл постоянно нет дома, а Мэрис день и ночь наверху. Он обожает Коралл. Доверяет миссис Чэт. Артур отодвинул от себя головоломку и проверил, на месте ли ингалятор. Мэрис хочет, чтобы ингалятор был всегда под рукой — так надежнее; она все равно придет, если услышит его хрип. Но от матери до него два этажа. Никого поблизости нет. Старый Джи глухой и умирает, Мэрис занята, Коралл куда-то ушла, миссис Чэт у себя дома. Как он дозволится кого-нибудь, если начнется приступ? Болезнь раздражает Мэрис. Лучше всего не спать, тогда легче следить за собой. Сны приходят сами по себе — как приступы астмы или желание обмочить постель. Когда Коралл дома, ему легче. Потому он и хотел бы иметь собачку, вообще что-нибудь живое. Ему часто снятся пауки, деловито ткущие свою паутину. Он закрыл глаза, вздрогнул, снова открыл. Никого нет, комната пуста. Скорее бы Джи умер. Какая польза от него, такого беспомощного, — он пахнет старыми пеленками и протягивает к Мэрис свои жилистые руки. Мэрис ведь его мама, а не Джи. Он прижал ладони к лицу. Почему она больше любит Джи? Почему Коралл до сих пор нет дома? Чье лицо она целует? Чьи щеки краснеют от ее крашенных губ? Нельзя забывать о своих близких. Когда-нибудь он станет ветеринаром — ветеринаром или врачом-диетологом. Сколько калорий требуется пауку? Миссис Чэт не любит готовить. Благодаря ей он бегло читает и сможет весной пойти в школу. Мэрис говорит, что как только потеплеет, он должен начать занятия.

Из-за астмы он и так уже потерял много времени. К весне Джи умрет. Весной Мэрис освободится и будет все время с ним. Дела пойдут лучше, а пока он должен стараться не заснуть.

Он сел, придвинул к себе кусочки головоломки, стал втискивать пятнышко неба на место собачьей лапы. Миссис Чэт говорит, что весной нужно сделать уборку, основательную весеннюю уборку всего дома. Занавеси в гостиной не стирали двадцать лет, серебро ни разу не чистили, с мебели не смахивали пыль. Сперва надо думать о порядке в доме, а уж потом о своих ногтях и лице. Миссис Чэт не нравится, как ведет себя Коралл. Она не молоденькая; у нее безобразная фигура. Миссис Чэт стряпает, а Коралл не мешало бы перестать толстеть да немного заняться домом, последить за чистотой, Коралл должно быть стыдно, что не она, а Мэрис готовит для старого джентльмена наверху. Этим должна заниматься жена. Каждый день миссис Чэт предается приятному развлечению — игре на собачьих бегах. Собака — лучший друг мужчины, а нередко и женщины. Миссис Чэт не часто выигрывает, но это ее не огорчает. В накладе она не остается, потому что всегда может сэкономить на продуктах. Первое слово, которое Артур научился читать, была кличка собаки — Дипломат. Миссис Чэт делает ставки каждое утро, она нащептывает их по телефону, склонившись вместе с Артуром над газетой. Тотализатор — неофициальный и ставки незаконные, если делаются не там, где проходят бега. Для заочных ставок надо иметь контакт с агентом. Лишь однажды Мэрис, проверяя продукты, спросила: «А где кексы, указанные в списке из лавки Шавваса?» Миссис Чэт возмутилась и заявила: «В таком случае я уйду, я не могу оставаться в доме, где мне не доверяют. Ты считаешь меня воровкой. Я служу здесь с твоего детства, вырастила тебя, теперь смотрю за твоим сыном. Я никогда не взяла ничего чужого». Артуру нравится действовать втихомолку, он берет деньги из кошелька Мэрис и перекладывает в кошелек экономки. Миссис Чэт вовсе не одобряет Мэрис, когда та настаивает, чтобы мальчику не давали белый хлеб, покупали молоко, проветривали комнату. Она любит белый хлеб в бумажной упаковке, нарезанный ломтиками, кофе фирмы «Кэмп» и непроветренные комнаты. Медсестры одержимы глупыми идеями, они забывают, что для здоровья полезнее всего то, что ты любишь. Она считает, что Коралл — вертихвостка и придурковатая, в ее возрасте пора бы перестать думать о мужчинах, но они, видно, доставляют ей радость. Сама миссис Чэт ими не интересуется. Мужчины исчезают как раз в тот момент, когда в них больше всего нуждаются, они только прибавляют работы, грязи и страданий. Дайте ей борзую, чтобы она гналась на беговой дорожке за электрическим зайцем, и бог с ними, с мужчинами. Об отце Артура в доме никогда не упоминают, мальчик о нем не спрашивает. Если они когда-нибудь встретятся, Артур знает, что сказать: «Ты бросил меня. Что плохого я сделал?» Пусть уж лучше такой отец умрет.

Хорошо, что оба они, и Артур и миссис Чэт, не любят мыться, не любят свежий воздух и надоедливую пищу. Они обманывают Мэрис, заверяя ее, что выходили на прогулку, купались в ванне, что Артур выпил молоко, а сами целыми днями пропадают в подвале, решают, на каких собак ставить, и составляют ложные счета на продукты. Он любит бродить в одних чулках на цыпочках по дому, прислушиваясь к голосам, подсматривая в щелочки. Звон колоколов не докучает ему, не было в его жизни дня, чтобы он не слышал всех этих арпеджио, гамм, трезвонов, перезвонов. Он погладил пресс-папье — подарок Джи — и положил рядом с собой на кровать. Когда-то им промокали свеженарисованные проповеди, а теперь оно в пещере из простыней и освещено зеленым светом его фонарика. Он нажал кнопку, и свет стал красный. Ему нравится искусственный свет, нравится привычная сырость. В душной, закрытой комнате он в безопасности. Миссис Чэт говорит, что в школе будет беспокойно, там заставляют мыться, на-

зывая это водными процедурами, а хуже всего — в пансионах. Бедный малыш, говорит она, это же преступление — посылать такого ребенка в пансион, там и детям из нормальных-то семей приходится худо. Коралл, наверно, будет скучать по нему, а может, и нет. Однажды она показала ему, как надо лечиться, когда болит живот, и потеряла ему там, внизу, сказав при этом, что таким маленьким дурачкам, как он, именно это и требуется. Растирание помогает. Мэрис любит, когда его голова на подушке и весь он, чистый, прибранный, лежит у нее на виду, дышит свежим воздухом. Мальчик должен быть простодушным, живым, веселым. Школа отучит его от дурных привычек. Миссис Чэт можно доверять. «Что, опять обмочился? Смотри, они купят тебе специальное одеяло со звонком — он зазвонит, как только обмочишься. Или пеленки. Я им ничего говорить не буду». Джи дают свежие простыни каждый день, а иногда и ночью — прокипяченные, отбеленные, выглаженные. А его простыня высохла сама по себе. Хочется видеть Коралл — сейчас. Весной его уже будет любить Мэрис. Косточки Джи будут лежать в земле. Вокруг его могилы посадят нарциссы, весело засияет солнце. Она скажет: «Зови меня мамой. Коралл ведь твоя бабушка». Что это? Такси подъехало? Он приподнял голову. Ничего. Поблескивает медный столбик кровати. Его годами не чистили, и он покрылся зеленоватым налетом; при свете фар проходящих машин он различает свое лицо. Несчастное лицо — что с ним будет? Оглушительно звенят колокола, не закрывай глаза, смотри на столбик кровати, будь настороже, не спи.

— Артур, что с тобой? Почему ты не в своей комнате?

— Я думал, что я в постели. Я видел свое лицо. Что случилось? Где... Я хочу видеть Коралл.

— Ты спал на ходу. У тебя был приступ астмы?

— Я думал, что не сплю. Хотел дождаться Коралл.

— Ее нет. Ты знаешь, что нет. Что тебя беспокоит?

— Я в порядке, Мэрис.

— По твоему виду не скажешь. Если бы ты был в порядке, то не бродил бы во сне. Я заходила к тебе, всегда захожу. Ты испугал меня. Очень. Станный ребенок, тебе нельзя оставаться в комнате Коралл. Ну?

— Я же сказал, что со мной все в порядке. — Он открыл глаза. Мэрис трясет его за плечо, они в синей комнате Коралл.

— А я уже подумала, что ты убежал. — Этот мальчик с головой гнома мстит ей, вызывая острое чувство вины, сверлит ее глазами хорька.

— Я совершенно здоров, спасибо.

— У меня от сердца отлегло, когда я тебя нашла. Неужели не понимаешь? — Больше всего она нужна Джи. Он недолго протянет. Она должна быть спокойной, деловитой, держать себя в руках. Он тихий мальчик в тихом доме, умный, слишком чувствительный, тоскует по бабушке. Школа все поставит на свои места.

— Можно мне побыть здесь еще немного? Пожалуйста, Мэрис!

— Ну, вот еще. Это не твоя комната. Я всегда к тебе захожу, ты меня испугал. Что за сны тебе снятся?

— Не знаю. Я хочу какого-нибудь зверька. Возможно, я буду ветеринаром.

— Ветеринаром? Ты слишком брезглив. Вот пойдешь в школу, тогда и о профессии думать будешь. Тебе еще учиться да учиться, сначала подрасти надо. Ну, пойдём к тебе.

Она сказала, что в его комнате душно; отчего здесь такой спертый воздух? В непроветренных комнатах противный запах. Она же велела миссис Чэт открывать окна; эта женщина ни за что не изменит своим привычкам. Мэрис распахнула окно. Джи совсем задыхается, побегу к нему.

Артур лег в постель. Привязать бы себя за палец ноги к столбику кровати. Он стал вслушиваться в тишину, надеясь уловить какой-нибудь звук. Какой-нибудь. Очнулся он внезапно, словно его что-то подбросило.

5

Кто-то толкает раму окна — слышен шорох, у него бешено колотится сердце. Он лежит не двигаясь, почти не дыша. Колокола не звонят, кругом тишина и вдруг — слабый скрежет. Мэрис — наверху, у Джи. Не может быть, что это миссис Чэт. И не Коралл — она дает о себе знать по-другому: напевает себе под нос, шуршит платьем, стучит каблуками. Воздух холодный, от учащенного дыхания Артура идет пар; он должен повернуться лицом к окну. Вот снова шорох, щелчок, скрежет. Окно, издав глухой стук, закрылось. Артур уже дышит со свистом. Приступ астмы пугает его не меньше, чем вторжение вора. Не надо труситься, обернись, посмотри на него. «Убирайтесь вон. Уходите. Это мой дом». Но он не из храбрых.

Другой звук: миссис Чэт, поворот ключа в замке, скрип двери внизу. Пришла раньше обычного, чтобы спасти его, стучит каблуками по кафелю, двигает стул. Она никогда не входит через парадную дверь, привыкла пользоваться той, что со стороны реки. Вот она идет в котельную, потом что-то кричит. Слышны ее тяжелые шаги по лестнице, скрип двери, ведущей в холл, и скрип двери его собственной комнаты.

— Что вы делаете? Вы, вы, на лестнице? Убирайтесь. Слезайте. Надо же — мыть окна в такую погоду. Кто вы такой?

— Я мойщик окон, мэм.

— Вижу, что мойщик. Зовут-то как? Снег ведь идет. Я вас не знаю.

Артур облегченно вздохнул. Все в порядке. Это мойщик окон, он занимается своим обычным делом, моет окна с наружной стороны. Артур быстро повернулся на другой бок. На приставной лестнице стоит мужчина в шерстяной шапке, он сметает с подоконника снег, приготовился вытирать стекла. На нем рыбацкая фуфайка, он смотрит сверху вниз на миссис Чэт.

— Извините, мэм. Извините за беспокойство. Искренне сожалею, что потревожил вас.

— Потревожил? Я не о спокойствии пекусь, а об окнах. Как можно их мыть в такой снег? Это просто глупо, нелепо. Вас и самого-то занесет с головой.

— Я не ожидал, что он повалит такими хлопьями. Прочел ваше объявление. Пробовал дозвониться. Люблю выходить на работу пораньше. Вот и начал.

— Сейчас же слезайте.

Заснеженная шапка скрылась за подоконником. Послышался шорох, потом Артур увидел, как лестница отодвигается в сторону. Мужчина шагает вдоль стены, поднимается по ступенькам парадного крыльца. Входит в холл, закрывает дверь. Теперь они оба в холле. Артур все ясно слышит.

— Это ужасный дом. Уж мне ли не знать за двадцать пять лет. Я еще не познакомилась с вами. Тут я всем распоряжаюсь.

— Я же извинился, мэм.

— Сама-то не могу уж мыть окна — спина болит, все тело ноет. На сегодня обещали снег, разве вы не знаете?

— Я уже сказал, что пробовал дозвониться.

— Может, пробовали, а может, нет. Я очень, очень удивлена.

Артур слышит, как они спускаются в подвал. Он поежился. Он ненавидит снег. За окном шуршат колеса автомобиля. Проехал мимо. Дома Коралл или нет? Обычно мальчишки любят снег. Делают из

него снеговиков, бегают по сугробам, играют в снежки, катают комья. Где же Коралл? На вид-то снег красивый, когда из него что-нибудь лепят. Но прикасаться к нему неприятно. Вчера миссис Чэт много времени провела у телефона, все набирала какой-то секретный номер. Туда же почему-то звонит и Коралл. А незнакомец удивительный. Надо пойти посмотреть на него. Пижама высохла прямо на Артуре. Когда миссис Чэт позвала его, он надевал халат. Шлепанцы у него девчоночьи, с помпонами. Да, интересно познакомиться с этим пришельцем.

Мойщик окон спокойно сидел за столом, положив ногу на ногу, и слушал болтовню миссис Чэт о погоде, о центральном отоплении.

— Газ вспыхивает. Я его не люблю и боюсь. Как только пришла, сразу поняла, что он горит не так, как надо. Посмотрите, что за снег. Старая у нас отопительная система, как и все в этом доме.

— Могу взглянуть. Если желаете, конечно. Я мастер на все руки.

— Увидев вашу лестницу, я глазам своим не поверила. Смешно и нелепо приходиться без предупреждения.

— Привет, сынок. Это ты за-за меня подскочил? Я не заметил тебя на кровати. Наверное, я вас обоих перепугал.

— Ничего, я вовсе не против.

— Кто здесь еще живет? Спасибо, крепкий. Я как раз такой и люблю. Вы его бабушка, мэм?

— Я? Бабушка? Нет. Вообще-то у него есть бабушка. Только ее, по-моему, сейчас нет дома. Она вообще дома почти не бывает. Приходит когда ей вздумается, а то и совсем не является. Его мать... Это большой дом. Высок для меня при моей-то спине и прочих хворях.

— А еще кто-нибудь здесь живет?

— На верхнем этаже — старый джентльмен. Владелец этого дома, дедушка Артура. А бабушке на все наплевать. Между нами, дни его сочтены.

— Жаль. Грустно, когда дело к концу идет, всем тяжело.

— За ним мать Артура ходит. Она медсестра и его единственная дочь. Жена им не занимается. Живет, как говорится, своей жизнью, вертихвостка. А лестница у вас длинная, раздвижная?

— У меня есть все, что нужно. Работаю на совесть. А вы, стало быть, не из этой семьи, мэм? Не близкая родственница?

— Моя фамилия Чэт. Миссис Чэт. Я здесь давно работаю. Ухаживала за матерью Артура, можно сказать, растила ее. А теперь вот за ним смотрю.

— Семьи часто живут недружно, распадаются. А эта семья, видимо, необычная.

— У этой — свои проблемы. Старому джентльмену не понравится, если он вдруг увидит, что на него смотрят, да еще в окно; он же на краю могилы. Так что держитесь от верхнего этажа подальше. Не в моих правилах нанимать людей, которых я не знаю. Я тут за хозяйку. Сама всем распоряжаюсь.

— Если хотите, я начну мыть изнутри.

— Еще кофе? Выпейте горячего.

— Благодарю, миссис Чэт. Значит, ты, Артур, здесь самый маленький?

Мальчик кивнул. Он совсем не маленький, он взрослый.

— Временами он смотрит букой. Крадет, подслушивает. Я научила его читать. На, выпей, Артур, сахар я положила.

Она дала ему кофе, запрещенный Мэрис, и ломтик поджаренного хлеба с маслом. Артур смотрел, как масло, просачиваясь сквозь хлеб, образует на тарелке золотистые лужицы. Как и миссис Чэт, он доволен, что нашелся собеседник, пришел новый человек, с которым можно поболтать о том о сем. Мойщик окон сочувственно слушал, когда миссис Чэт рассказывала про свою больную спину, согласно кивал. Приход чужого человека обрадовал Артура, отвлек от мыслей

о Коралл. Он ел свой тост, посыпанный сахаром, и не сводил с прищельца глаз. От его фуфайки, с которой он отряхнул снег, попахивало рыбой, веяло соленой свежестью. Теперь, когда он без шапки, уши у него заметно топырились. У него приятный голос. Артур привык прислушиваться к голосам, оборотам речи, словам, которые употребляют люди. У этого мужчины плотные, крупные зубы, они словно врезаются в тост. Он сказал, что Артур — рослый мальчик. В какую школу он ходит?

— Запоздал он с учением, очень запоздал. Из-за слабого здоровья. Мальчик со странностями, хотя я думаю, что он не очень и отстал. Школы не так хороши, как их представляют. А вы из здешних, мистер?

— Я родом из Лондона.

— Так я и думала. Дед Артура тоже оттуда. Конечно, это моя заслуга, что Артур научился читать. Благодаря мне он сделал первые шаги в обучении. Он быстро схватывает, очень быстро.

— По-моему, учение — это большое дело. А что с тобой, Артур? Чем ты болеешь?

— Да астмой. Скоро пойду в школу.

— У его матери есть свои соображения. Надеюсь, она не пошлет бедного мальчугана в пансион. Не считите за грубость, мистер, но почему вы моете окна? Если вы так цените ученость, то зачем вам эта грязная работа? — Чтобы он не обиделся, миссис Чэт улыбнулась приветливой и налила ему еще чашку кофе.

— Я тоже болел. Не у дел был... некоторое время. Случается с человеком... недомогание. Нелегко возвращаться к труду. Люблю работать на свежем воздухе. Мне многое приходилось делать. А на мойщиков окон всегда спрос. У меня есть планы на будущее, надежды.

— Можно узнать какие?

— Колоколами интересуюсь. Нравится мне город с кафедральным собором. Хочется изучить куранты. Люблю геологию, особенно все о минералах.

— Музыка и минералы. Очень интересно. А какие именно минералы? — Одно время миссис Чэт питала слабость к минеральным водам.

— Сотни веществ, горные породы — гранит, мел, кальцит, хрусталь, драгоценные и полудрагоценные камни. Все они нужны людям, все используются человеком. Мы зависим от того, что дает нам земля.

— А золото и серебро — вы и ими занимаетесь? Лично я неравнодушна к хрому. К тому же он недорогой.

— Да, хромокислый свинец. Золото я нахожу восхитительным. Оно существует во множестве видов. О нем пишут в книгах, рассказывают легенды.

— Я тоже его люблю, — быстро проговорил Артур, дожевывая корку поджаренного хлеба. Ему понравился этот человек — он любит раскапывать землю и находить там что-то новое. Важно не то, чем люди занимаются на службе, важна не их работа, а их увлечения. Артуру захотелось ему понравиться. — Хорошую музыку я люблю. Но церковные колокола немного надоедают.

Миссис Чэт задумчиво разглядывала палец — тот, что без кольца. Золото, колокола — не очень-то интересно, лично ее они мало занимают. Борзая — лучше, она тебя не предаст, не обманет. Никакие церковные колокола на свете не могут сравниться с колокольчиком, звон которого оповещает о начале забега. Женат ли этот человек или холост?

— Был женат. Теперь я одинокий. Так вот, хотелось бы мне заняться курантами. Мне никогда не бывает скучно, дело всегда находится.

— О да.

— А золотоискателем вы не думали стать? — спросил Артур. — Не хотели бы?

— Занятие для глупцов, сынок. Предпочитаю оставаться в своей стране. Вот в иле иногда копаюсь. У морского берега или на дне реки.

— Вы и в нашей реке копались? В каком месте?

— Здесь я еще не пробовал. Темза для такого дела — самая подходящая река.

— И вам удавалось что-нибудь найти? Что?

— Ничего особенного. Монетки, иногда часы. Ничего ценного.

— Говорите — ничего ценного? Тогда какой смысл? А я вот собак больше всего люблю.

— Породистых? Вы хотите сказать, что занимаетесь их разведением? У вас есть собственные собаки?

— Собственные? Я играю. Бегами увлекаюсь, мистер. Делаю небольшие ставки. Домашних животных не люблю, мне нравятся бега. А собак выбираем по газете вместе с этим вот советчиком, правда, Артур?

— Я и читать так научился.

— Вреда тут, конечно, нет. Если не втянешься. Я встречал людей, которые, войдя в азарт, становились преступниками.

— Все может быть. Надеюсь, меня вы не считаете преступницей. Если кто-нибудь назовет меня здесь воровкой, я сразу уйду.— Миссис Чэт надула губы и оттолкнула от себя тарелку.

— Это у нее всего лишь хобби, как музыка или домашние животные. Благодаря собакам я научился читать — разбирал по буквам их клички.— Артуру хотелось, чтобы этот человек приходил к ним, стал другом. Он сказал, что тоже любит и куранты и минералы, очень любит. Он покажет дяде пресс-папье, подаренное дедушкой, оно ему понравится. А бабушка любит петь. Ее любимая песенка называется «Пенни с неба». Знает он такую?

— Эту песенку знают все. Ее еще Бинг исполнял.— Для миссис Чэт тридцатые годы были связаны с приятными воспоминаниями. Жизнь приносит ей не так уж много огорчений. Ее устраивает и то, что у нее своя квартирка на другой стороне реки, и то, что от нее зависит эта семья. А вертихвостка всегда поет одно и то же. Но пенни с неба не падают, их надо либо заработать, либо украсть.

— И я ее знаю. Ну, а теперь за дело. Где моя тряпка?

— Куда вам спешить, мистер? Посмотрите, что на улице делается. Что-то невероятное. Господи, вы только прислушайтесь.

Снег сыпал в стекла уже не хлопьями, а крупой. Река почти скрылась из виду.

— Может, найдется еще какая-нибудь работа? В котельной, например? Я и в технике разбираюсь, могу посмотреть, если хотите.

— Пожалуйста. Бега, хозяйство — это моя забота. Тут я всем распоряжаюсь.— Миссис Чэт отрезала еще хлеба. Этого парня прямо бог послал — готов работать и на улице, и дома. Артур довольно улыбнулся. Наконец-то в их доме мужчина — все ему интересно, и за все он берется.

Первый удар в колокол — короткий, приглушенный, словно по жестяной банке, потом — перезвон.

— Миссис Чэт, скорее. Идите скорее, миссис Чэт. Пожалуйста!

— Я как чувствовала. Ждала этого. Боялась — потому и пришла рано. Бедный джентльмен, я так и думала.

— Что случилось? Ему стало хуже?

— Иду. Сейчас иду. Не бойся, идет миссис Чэт,— крикнула она, повернувшись лицом к лестнице, и сообщила шепотом мойщику окон, что в восемьдесят пять лет с человеком всякое может случиться. Он хворает всю зиму, никто ведь не вечен.

— Звоните доктору. Быстрее! — Голос Мэрис, доносившийся сверху, звучал странно, необычно, испуганно.

— Я позвоню, миссис Чэт. Артур мне покажет, где телефон. Идите наверх. Не беспокойтесь, я позвоню.

— Правда? Не знаю, как вас зовут. Телефон в холле, рядом с комнатой Артура.— Миссис Чэт взволнованно вздохнула, она так и не переобулась. Бедный джентльмен, настал его час, теперь он присоединится к своей милой супруге, память о которой хранил все эти годы. А вертихвостки все нет — и слава богу: кому она тут нужна? Видно, придется ей сегодня забыть про собачьи бега. Сегодня не до ее милых собачек. Сейчас она очень нужна Мэрис.

Артур провел мойщика окон к телефону за темной парадной дверью.

«Неужели Джи и вправду умирает?» Но ведь сейчас не конец мая, а февраль. Где нарциссы, где солнце? Вместо них — град, ветер, снег, хоронить придется в холоде. «Завздохали и заплакали птицы небесные, узнав о смерти бедного дрозда». Джи — не дрозд, а зануда. Ни воробьи, ни грачи, ни голуби не опустят в знак траура свои клювы. Его придется кремировать, никто не сможет вырыть в мерзлой земле могилу. Пока он размышлял о похоронах, мойщик окон быстро заговорил в трубку. Вызов на дом, пожалуйста, да, серьезно. Старый джентльмен на улице Пью-Мьюс, крайний дом. Извините, что побеспокоил в столь ранний час. После тяжелой ночи больному стало совсем плохо. Срочно. Он положил трубку.

«Значит, умирает?» Артур чувствовал себя потерянным, встревоженным, ему хотелось, чтобы сегодня все шло, как обычно, чтобы Мэрис спустилась с подносом Джи, чтобы миссис Чэт выбирала фаворитов, а Коралл попросила кофе. Вместо этого Мэрис кричит как безумная, Джи умер или умирает, Коралл куда-то уехала, миссис Чэт тащится, тяжело дыша, на верхний этаж, а не сидит, склонившись над газетой. Смерть вносит большой беспорядок, а он этого не любит.

— Никто не может точно сказать. Ведь он немолодой. Все рано или поздно умирают. Не слишком расстраивайся.

— Мы с ним редко виделись. У него там все время мама — не я.

— Люди всегда жалеют, что они не успели сделать большего. Мужайся. Доктор скажет, что с ним.

— Не уходите, ладно? Вы ведь еще побудете у нас?

— Не беспокойся, побуду. Как пройти в котельную? Пока нет доктора, я посмотрю.

— В подвале, рядом с кухней. Там пауки.

— Не обращай на них внимания. Пошли.

— Я покажу вам пресс-папье. Золотое. Наверное, золотое.

— Потом покажешь, а сейчас пойдем вниз.

Мойщик окон открыл доктору дверь и сказал, что это он его вызвал. Доктор пошел наверх один. Мойщик вернулся в подвал и стал проверять котел. Артур наблюдал за ним, сунув в рот большой палец. Простыни Джи будут сложены навсегда. Тело его оденут в саван, положат в ящик, прикроют крышкой. Мойщик окон насвистывал веселую мелодию, его пальцы что-то крутили, завинчивали, щупали. «Всякий раз, когда дождь, с неба падают пенни». Если заметить некоторые части, то бойлер еще послужит, его хватит на несколько лет. Открылась, потом закрылась парадная дверь. По лестнице, ведущей вниз, застучали каблук.

— Приветик! Это к нам, что ли, приехали? Легковушка и фургон? Что случилось?

— Коралл! Ты вернулась, Коралл.

— А это кто? Познакомь, пожалуйста.— Коралл смахнула с воротника жесткий снег, повела ресницами.

— Это... Коралл, моя бабушка.

— Не называй меня, пожалуйста, бабушкой. Друзья зовут меня Корэлайн.— Этот паршивец знает, как сконфузить человека. Корэлайн — звучит красиво, не то что бабуся.

— Здравствуйте. Вы, должно быть, удивлены, что встретили не-



знакомого человека в такой ранний час. Я пришел мыть окна. Боюсь, что... у этого джентльмена, вашего мужа, сердечный приступ. У него сейчас врач. Я остался здесь с Артуром. Он расстроился. Я проверил вашу котельную. Нашел пустяковую неисправность, теперь станет теплее. Прошу принять мои... А теперь я уйду.— Неужели эта женщина и впрямь здесь хозяйка? Что-то непохоже. Вид у нее не то что не расстроенный, а даже беспечный.

— Плох он, значит? Какая жалость. Ну и денек выбрал. Гляньте, я вся белая, как снежная королева.— Улыбнись, смочи языком губы, приоткрой рот, но не слишком широко. Помни Кроуфорд. Она почувствовала резь в глазах: в уголках скопилась краска. Когда Перс мертвецки заснул, она отдохнула немного, подремала на его кровати, перед тем как отправиться на Пью-Мьюс. На работу она не пойдет, не может идти в такую погоду. Весь день проведет в постели. У крыльца стоит лестница. Приятно увидеть в доме нового человека. Кофе еще горячий. А что старик — действительно отходит?

— Джи плохо, Коралл. Он, наверно, умрет.— Артур говорил громко: ему хотелось взбудоражить ее, подавить в себе страх. Ей, как жене, следует показать, что она опечалена. Она же повернулась лицом к мойщику и растянула в улыбке свои клейкие губы.

— А я вот постараюсь умереть летом. Июньские розы на моей могилке.— Только что рассвело. Хоть бы эти колокола умолкли. Голова разламывается, и в ушах...

— Сожалею. Весьма сожалею.

— Сожалеете? О чем, о ком? В чем проблема?

— Прошу прощения. Проблема?

— Покажите мне человека, у которого нет проблем. Уж я-то знаю. У кого не бывает тяжелых минут. Я всегда считала, что время — лучший лекарь. Не выношу этого звона.

Он снова объяснил, что пришел сюда только мыть окна по объявлению — что даже не думал влезать в чью-то жизнь. А задержался здесь потому, что хотел чем-нибудь помочь.

— Великолепно. Кажется, поджаренным хлебом пахнет? Обожаю свежие тосты.— Коралл плохо себя чувствовала. Головокружение, переутомление, тяжесть в теле. Хотя бы колокола замолчали. А тут еще идти наверх, притворяться, лить слезы. Ее уютная синяя кровать манила к себе. Задернутые шторы, полумрак, уединение — как это хорошо, не то что изображать убитую горем вдову. Мысль о деньгах не привлекает так, как тишина синей спальни, как крепкий, безмятежный сон. А этот незнакомец недурен собой, взялся приготовить ей свежий, румяный тост. Выбрал же день, когда умирать. Никому она, в сущности, не нужна, на душе кошки скребут, для всех она лишняя. Может быть, ей все-таки удастся уйти к себе и немного вздремнуть? Она нужна Персу.

На лестнице снова раздались шаги — стуча сапогами, спускалась миссис Чэт; через минуту, поникшая, растрепанная, она появилась в дверях.

— Ну, как он? Как мой... бедняга, лучше ему? Бывает, что и в таких случаях поправляются.— Колокольный звон стал громче, в окна по-прежнему барабанили крупинки снега.

— Скончался. Опоздал доктор. О, господи! — Миссис Чэт старалась говорить спокойно, она не хотела, чтобы эта вертикалка или мойщик окон, пусть он и добрый малый, видели, как она расстроена. Жена, которая может сидеть и есть тост, когда наверху умирает муж, не стоит и плевка. Другие могут вести себя как угодно, а ей, миссис Чэт, нужна выдержка, потому что без нее не обойтись, ее обязанности еще не кончились, отнюдь нет, она тут по-прежнему всем распоряжается, несмотря на ломоту в спине и прочие хвори.

— Вот незадача.— Душа у Коралл не на месте, да только она и виду не подает. Какое им до нее дело? Мэрис в ней не нуждается.

Несколько недель назад она видела Святого Джи, смотрела на него с порога его комнаты. Хорошо, что она не сказала ему тогда, как он выглядит,— сказать такое было бы все равно что заставить его взглянуть на себя в зеркало.

— Это что, точно? — Пришел конец томительному ожиданию. Артур с облегчением вздохнул. Старого Джи больше нет, он ушел к Джемме. Теперь его можно забыть. Мэрис освободилась. «Завздыхали и заплакали птицы небесные...» Артур поморгал глазами, но ни слезинки не выронил.

— Да, как ни прискорбно. Бедный старый джентльмен.— Миссис Чэт взглянула на Коралл поверх очков. Как есть вертихвостка бесчувственная. Если бы не видела своими глазами, ни за что бы не поверила, что бывают такие.

— Грустно, не правда ли? Бедный старикан. Что ж, чему быть, того не миновать. Время — лучший лекарь. Как вы думаете? — Коралл посмотрела на мойщика окон, снова повела ресницами. Временами она не так уж и сердилась на своего отца. Как-никак он платил за ее уроки в школе благочестивой Тот. Мисс Тот научила ее не только танцевать, но и делать глазки. Искривленные пальцы — не такая уж большая жертва, зато она умеет расположить к себе мужчин. Не обращай внимания на колокольный звон, играй ресницами, улыбайся. Смерть после тяжких страданий — большое облегчение. А он как думает?

— Я не знал этого джентльмена.— Он ответил уклончиво: ведь он же не вправе говорить прямо. Конечно, ситуация любопытная, но он тут посторонний. Вдова совсем без сердца. Ей следовало быть сейчас наверху. Что-то не так, это ясно. Конечно, люди по-разному относятся к смерти, и все же он был потрясен. Он посмотрел на снег за окном, на реку. Никак не предполагал, что в этом высоком узком доме через час после его прихода умрет человек, а он так и не вымыл ни одного окна. Но не показывай виду, что ты недоволен: в этой части города живут богатые люди, здесь хорошая клиентура. Если понравиться, в тебе появится потребность, тебя будут считать своим, постоянно давать работу. Видно, старик был добряком, если терпел у себя неблагодарных людей. А мальчик — трудный, взять хотя бы астму. Миссис Чэт ему понравилась. Коралл — женщина другого сорта. Да, необычно он начал свой день: звонил врачу, успокаивал ребенка, больного астмой, а час спустя поджаривал тосты. И лестница оказалась не нужна.

— Вот именно, облегчение. Вот вы какая, Коралл. Хороший он был человек, очень. Сделал вас своей женой. А вы чем ему отплатили? Хоть бы относились к нему по-человечески.— Миссис Чэт тяжело опустилась на стул и отодвинула от себя тарелку. Теперь уже поздно жалеть, что мало сделала для покойного, что должна была стирать его простыни, а не перекладывать это на плечи Мэрис. Поздно, его уже нет в живых. Ей стало не по себе. Поздно, поздно. Такое же чувство она испытывала, когда узнавала о победе фаворитки, на которую хотела сделать ставку, но раздумала. Теперь остается только горевать. Она рассеянно взяла газету, провела по ее краю ногтем. И со ставками опоздала.

— Помолчала бы лучше. А что ты делала? Думаешь, я не знаю, что ты за штучка? Распоряжаешься как хочешь бюджетом чужой семьи, поддельваешь счета, утаиваешь деньги для своих собак, пользуешься нашим телефоном.

— О, господи. Это вы со мной так разговариваете, Коралл? Со мной?

— Да, с тобой. Ведьма старая. Делаешь вид, что убита горем. Фальшивая скорбь хуже равнодушия.— В приступе дикой злобы Коралл забыла, чему ее учила мисс Тот, забыла про Кроуфорд.

Миссис Чэт сначала побледнела, потом лицо ее побагровело.

— Вы обзываете меня воровкой? Меня, которая столько лет вела здесь хозяйство? — Миссис Чэт сорвала с себя очки. Нет, Коралл — настоящая мерзавка, у нее нет ни капли совести. Разве не она работала, как лошадь, взвалив на себя все заботы о Мэрис, когда Коралл порхала, как бабочка, а потом на нее свалили еще и Артура? Обзывали ее по-всякому, плевать хотели на ее больную спину. Этой по-таскухе следовало сейчас быть наверху, возле умершего. Ни одна порядочная жена не позволила бы находиться там кому-то другому, сама убрала бы покойника.

— Воровка. Ведьма. Мошенница.

— Вы всегда вели себя подло, Коралл. Не думайте, что я этого не знала. Знала с первого дня нашего знакомства. Мерзавка вы, вот кто. Осрамили нашу семью.— Подластилась, как уличная девка, использовала доброго джентльмена в своих корыстных целях.

— Нашу семью? С каких это пор ты член нашей семьи? Ты прислуга. Уборщица. Не забывайся, воровка, скоро ведь все может перемениться.

— Не надо. Замолчите. Перестаньте.— Артур вынул изо рта палец, по подбородку потекла струйка слюны. Ему хотелось спрятаться под столом. Миссис Чэт сошла с ума, смерть лишила рассудка его няньку. Коралл стала похожа на волчицу.

— Извините, я пойду. Я здесь человек лишний. Так что оставайтесь с миром. Думаю, без меня вам будет лучше.

— С миром? Какой тут может быть мир? Вы свидетель. Меня оскорбили, обозвали последними словами в собственном доме. Думаете, мне приятно? Я знала, что не нужна, мой муж предпочитал быть с дочерью, а не со мной. А тут еще колокола выматывают душу.— Коралл хотелось, чтобы он остался, с ним как-то надежнее, к тому же он недурен собой. Нельзя без конца откладывать, все равно придется пойти наверх. Она ведь не чурбан, ей страшно взглянуть на старика. Ничего не поделаешь, такая уж у нее натура. Эти люди заставляют ее чувствовать себя последней дрянью. Нашел время, когда умирать, на улице сыплет крупа, и во всем теле тяжесть. Еще бы глоток кофе и чтобы никто не обзывал тебя мерзавкой. Хочется, чтобы этот симпатичный парень поддержал ее: он не должен уходить. Она попробовала улыбнуться. Губы у нее потрескались и дрожат. Придется все же подняться к покойнику. Джоан Кроуфорд, где ты?

— Не люблю ссориться. Я очень, очень расстроена.

— Ну, счастливо вам оставаться. Позвольте... прийти к вам в другой раз, в более подходящее время. Когда потеплеет.

— Вы правда придете? Правда? В самом деле? О, вы так добры!

— Проверил ваш котел, миссис Чэт. Там требуются новые детали, я могу приобрести.

— Не уходите. Оставайтесь. Вы должны остаться.

— Извини, сынок. Не могу.

— Зачем спешить? Пять минут, как познакомились, и уходите. Посидим спокойно, поговорим, хорошо? Где тут у меня губная помада? — Коралл почувствовала себя немного лучше. Она заставила Ма Чэт заплакать. Принялась шарить в сумочке. Забудь пока о покойнике. Время, время — лучший лекарь. Пусть парень протрет окна, она не против. Она примет ванну, надушится, подготовится, закутается в синее полотенце. Удачное будет начало, когда он доберется до ее окон. Куда он спешит?

— Извините. До свидания.

— Дайте мне ваш телефон. Тут я всем распоряжаюсь.— Пусть он не думает, что хозяйка в этом доме — вертихвостка. Поздно, поздно — названивают колокола. Миссис Чэт никогда не забывает тех, кто сделал ей добро. У этого парня доброе лицо. Поздно — в двена-

дцать тридцать собаки уже будут стоять в своих клетках, ждать звонка стартера. Поздно, поздно, он уходит, открывает дверь черного хода, отодвигает плотный слой снега. В кухню вместе с ветром залетели град и снег. Ушел.

Коралл убрала губную помаду обратно в сумку. Она теряет самообладание. Надо ли этому удивляться после всего того, что наговорила ей миссис Чэт? Никто не знает, что она чувствует. Тяжелый путь вверх по социальной лестнице губит человека, заставляет его задуматься: а стоит ли игра свеч? Мойщик окон отнесся к ней так же безразлично, как шофер с островерхой головой. Хотя тот и не взял с нее денег за проезд. Она содрогнулась всем телом. В этом подвале хуже, чем в склепе. Но ведь она как-никак вдова. Помни Кроуфорд. Не подводи мисс Тот.

Сошла вниз неслышными шагами Мэрис. Бледная, безмолвная, в черном платье, она стояла не двигаясь, словно ждала чего-то.

— Мэрис. Ну что? Бедная дочка. Скажи нам. Ну говори же.

— Удар.

— Знаем. Мы так и думали. А потом? — Черт возьми, умеет она тянуть канитель. Актерство, видно, у нее в крови, передалось через мать от мисс Тот.

— Оставьте Мэрис в покое, Коралл. Он скончался, его уже нет, время восемь часов. Вы ведь хотите подняться к нему, да? Пожалейте Мэрис.— Миссис Чэт понимает состояние Коралл. Вдова должна проститься с покойным, пока он еще не в гробу.

— Пожалеть? Знаю, что она по нему убивается. А я? Мне тоже нелегко. Рассказывай, Мэрис, облегчи душу.

— Оставьте же ее в покое, Коралл. Ей сейчас не до разговоров. Присядь, милая.— Миссис Чэт смахнула со стола крошки, очистила место для бедной осиротевшей Мэрис, которая, может быть, захочет выпить кофе. Бедняжка не знала покоя ни днем ни ночью. Беда в том, что у нее не было юности. Есть дети, которые рождаются старичками, как Артур. Вот что делает безрассудная любовь; она была слишком привязана к отцу, на сына же любви не хватало.

— Прости, что я называла тебя мисс Найтингейл.— Коралл произнесла эти слова извиняющимся тоном. Она снова порылась в сумочке. Губная помада размазалась по носовому платку, краска для ресниц исчезла. Ей хотелось дать что-нибудь Мэрис, чтобы та вытерла слезы. Если они думают, что она наденет вдовий траур, то пусть не ждут. Она им не Мэрис, в черное не облачится. Черная одежда старит, а что может быть хуже старости. Траурное платье, цветы, телеграммы, телефонные звонки — все это бросает ее в дрожь. Она вышла в люди, добилась положения и теперь не отступится. Борись с морщинами, борись с полнотой, борись с худой молвой, заявляй свои права на деньги. Она вдова, ничто ее теперь не связывает, она вернется к Персу. Нет причины для слез, по крайней мере сейчас.

Мэрис, худая, как щепка, сидела совершенно неподвижно. Артур потянул ее за рукав.

— Мэрис, ты можешь взять этот подарок себе. Я тебе его верну.

— Какой?

— Пресс-папье. Ты разве забыла? Вещица из пирита.

— Пирит. Так звали одного песика. Помню, это было давно.

— Старатели иногда находят его. Я об этом читал. Железный колчедан.

— Бог мой, откуда он все это знает?

— Этот подарок твой, Артур.

— Жаль, что оно не из настоящего золота. А то стал бы ты богатым, верно? Ну, друзья, я пошла.— Она вдова и материально теперь обеспечена. Бедность ей уже не грозит.

— Колокола перестали звонить. Слышите? — Мэрис подняла голову. Тишина и в доме, и на улице. Миссис Чэт взглянула на газету

и пожалела, что не сделала ставки. Там, наверно, уже начались приготовления. Коралл ушла наверх. Артур поплелся в свою комнату. Сел на край кровати. Опустил глаза в землю. «Кто видел, как он выпускал дух? Я,— сказала одна из мух,— одним своим глазом из двух». Жаль, что он не простился с Джи.

6

— Как хорошо, что вы снова объявились. Я не знала вашего телефона. А у нас тут с четверга траур.

— Когда похороны?

— Его увезли в тот же день, в самую пургу. Все хлопоты легли на меня. Его дочь, мать Артура, была не в силах этим заниматься. Ну, а что касается Коралл, то... надо ли вам объяснять? «Предоставьте это мне,— сказала я.— Я все беру на себя». Значит, вы насчет окон?

— Я в вашем распоряжении. Могу и окна помыть, если хотите. Пойти посмотреть котельную? Думаю, оттепель подействовала на термостат.

— Господи, солнце наконец проглянуло! Впрочем, ненадолго. Хотите кофе?

— Благодарю, миссис Чэт. Как мальчик, переживает, наверно? Я вспоминал о нем.

— Он-то ничего, а вот его мать, дочь покойного, плоха. Когда приехали за телом, ей сделалось дурно, она упала со стула. С тех пор не встает с постели. Сломилась.

— Значит, они были сильно привязаны друг к другу? Так бывает. Лучше переболеть сейчас, чем потом, на похоронах. Бедная девушка.

— Девушка? Вы бы видели ее; двадцать шесть лет, а выглядит как столетняя старуха. Молчит и даже не двигается. А я измоталась вся, не говоря уж о больной спине и прочих хворях.

— Когда похороны?

— Кремация завтра. Не по душе мне такие похороны. Все не как у людей. Вроде как мясо готовят. Зарыли бы лучше в землю.

— А вдова? Эта дама в синем? Помогает? Мне думается, она переживает, только виду не показывает.

— Вряд ли. Вертихвостка она. Все эти дни ее и дома-то почти не было. Счастье, что я здесь. Хорошо еще, что эта семья живет замкнуто, а то пошли бы разговоры. Смерть мужа ее больше всех касается, а она и слезинки не пролила. Говорит, что не выносит ни колокольного звона, ни этого дома, ни холода. У нее дружок есть, живет в другом конце города. Господи, и она еще считается женой бывшего пастора. Его первая жена была совсем другая, вела себя как подобает. Он проповедями занимался, хотел опубликовать свои писания. Но она не проявляла интереса. О-хо-хо. Стыдно, верно ведь? Она и в церкви-то никогда не показывалась, кроме как при венчании. Глухой, нелепый брак, разница в возрасте плюс ее происхождение. Вернее, никакого. Бедный Артур. У этого мальчугана и то чувства больше, он просит черную повязку на рукав. И не потому, что близко знал своего дедушку, его никто близко не знал, исключая дочь, которая помогала ему писать проповеди. На кого Артуру рассчитывать, если его бабуся где-то там гуляет, а мама не встает с постели? Хорошо, что я здесь.— Миссис Чэт замолчала, перевела дух и обратила взор на список борзых. Поскольку Мэрис почти невменяема, а Коралл отсутствует, ей приходится ночевать пока здесь. Не оставлять же бедного мальчугана одного. Впрочем, он молодец; помогает вытирать посуду, звонит по телефону. Дедушкин подарок пришелся ему по вкусу: пресс-папье постоянно оттягивает то один его карман, то другой. Значит, дедуля подумал о нем, перед тем как скончаться. Артур беспокоится о своей бабушке. а та ведет себя по-прежнему. Негодяйка. Вертихвостка. Истинное лицо человека в беде познается. А все-таки жалко, что она не поставила на своих фавориток.

— Вы, должно быть, измучились? Вам помочь чем-нибудь?  
— Взгляните на раковину. Где это видано — накопить столько посуды. Вот только посмотрю газету. Устала я.  
— А где Артур?  
— Спит. Одного поля ягоды, спят без задних ног. Сейчас карандаш отыщу, если и правда поможете.  
— Посуда не займет много времени. А вы сидите, не беспокойтесь.

Она не слышала, что он сказал; собачий мир, более реальный, чем любой другой, целиком поглотил ее. Воображаемые крики счастливых понтеров, мягкий топот собачьих лап, звонки стартера, бречание электрических зайцев радовали слух. Губы ее что-то беззвучно шептали. Мертвая Блестка, Хлыст, Длинный Гонг — все они приносили ей удачу. Пирит — этого пса она не забудет. Она не слышала звона посуды и не чувствовала запаха свежего кофе.

— Вы ведь крепкий любите? С сахаром?

— Да, дорогой. Премного благодарна. — Слишком долго она несла бремя забот одна. Наконец кто-то взял на себя часть ее работы; она с трудом сдерживала слезы. Она рассказала мойщику о приготовлениях к похоронам. Скромная церемония кремации. Выбора нет. Если бы Коралл вела себя как настоящая жена, то публика пришла бы на панихиду. Из жителей приморья, где он служил когда-то пастором и где трагически погиб его сын, о нем помнят лишь очень немногие. А по приезде в эти края он заболел и почти не выходил из дома. Из родственников у него никого больше нет, остались только вертихвостка, дочь да Артур. Бедный малыш, временами она спрашивает себя, нормальный ли он, хватает ли у него в голове винтиков. Как думает мойщик?

— Я бы сказал, что он неглуп, только слишком надолго его оставляют одного.

— Вы, кажется, сказали, что борзые вас совсем не интересуют? Моя любимица — Мертвая Блестка.

— Ни борзые, ни скакуны. Ни даже карты. Предпочитаю не полагаться на волю случая. А что именно беспокоит вас в Артуре?

— То, как он разговаривает. Он слишком взрослый. Иногда ходит во сне.

— Он нездоров. Ему всего шесть лет. Вам должно быть приятно, что вы научили его читать.

— Я рада, что он не мой внук. Это слишком большая ответственность. — Мысли ее снова вернулись к списку собак. Нечестное Обращение — странная кличка, на такую собаку ставить она бы не рискнула. Этот парень приготовил вкусный кофе и вообще выручает в беде. Вон как вымыл раковину, так и сверкает. Идеальная погода для мытья окон — ветреная, солнечная, как он думает?

— Сейчас начну.

— На третий этаж не поднимайтесь. Мама Артура до сих пор в постели. Мы и так уже напуганы.

— Вы прекрасная хозяйка, миссис Чэт. Этой семье повезло. Этажей-то здесь сколько! — Дом этот сразу же заинтересовал его. Характер здания накладывает отпечаток на характеры его обитателей. Нет ничего удивительного в том, что все в таком доме живут каждый сам по себе.

— Кто знает, может, они другого мнения на этот счет. Артур одинок, игр у него настоящих нет; одни обломки картины-загадки. Живет в воображаемом мире. Но я люблю его, очень.

— А он кого больше всех любит?

— Коралл. Не знаю почему. Берите булочку, мистер. Ради Артура купила, может, соблазнится. В последние дни капризный стал насчет еды. — Миссис Чэт сама любит сдобные булочки. А за фигурой пусть дуры следят.

— Я здесь, миссис Чэт. Я не сплю. Дайте мне, пожалуйста, булочку.

— Ты опять подслушиваешь, Артур? Когда-нибудь услышишь такое, что тебе не понравится. Прямо не знаю, что с тобой делать. Опять ты таскаешь эту штуку, вон карман-то как оттопырился.

— Принес вам показать. Подарок дедушки, помните? — Его разбудил их разговор. Удобный случай показать мойщику окон свое пресс-папье. Все-таки веселее, когда в доме есть еще человек. Надо бы навестить Мэрис, она там одна лежит. Но ему неохота. Он видел, как она упала, когда потеряла сознание. Потом его гроб испугал. С тех пор миссис Чэт только и знает, что говорит о кремации да о цветах. Он любит смотреть, как из булочки приготавливают тосты. Забудь про Коралл, здесь сидит мойщик окон. Горячая смородина имеет свой запах.

— Ну, показывай.

— Он оставил мне это, когда еще не умер.

— Не говори «умер», Арт. Скончался. Не забывай говорить о нем с уважением. — Миссис Чэт выбрала нужные продукты и начала составлять список для лавки Шавваса. После кончины Джи Мэрис совсем перестала интересоваться расходами, не проверила ни одного счета. Можно вписывать в заказ что угодно, чем дороже, тем лучше: икру, мятный ликер, всякую изысканную снедь. Артур, помогавший ей подсчитывать расходы, научился неплохо складывать.

— Прекрасная вещица. Большая какая! — Мойщик окон повертел пресс-папье в руках.

— Вы даже ни в пульку не играете, ни на тотализаторе ставок не делаете, мистер?

— Я же говорил, что в азартные игры не играю. Те, кто ими увлекается, всегда проигрывают. Я предпочитаю заработок гарантированный, который от меня самого зависит.

— Я тоже. Тут я всем распоряжаюсь. — У этой Коралл длинный язык. Вредная дрянь, всячески обзывает ее при людях. Этот парень — добрый, такие встречаются редко. Она предложила ему еще булочек, а также и Артуру: они оба очень худые.

— Вы тоже ешьте, миссис Чэт. Этот дом на ваших руках. Вам силы нужны.

— Благодарствую. Поем вместе с вами.

Все трое дружно принялись за еду.

— Ну, а теперь пойду мыть окна.

— Потом проверьте штепсельную вилку пылесоса. Будьте так добры. Гостиную надо привести в порядок. Мне Арт поможет.

— Я хочу пойти вместе с мойщиком. А что плохого в нашей гостиной?

— Стулья надо расставить, ковер почистить — на тот случай, если будет много народу. Я буду разносить херес. Тем, кто придет на похороны. Может, будет много цветов.

Артур хотел повести мойщика к себе в комнату, ему было лень убирать гостиную. Там много серебра, почерневшего от времени, много пыли и старых газет.

— Мы с Артуром все сделаем, миссис Чэт. А вы оставайтесь здесь. Отдыхайте.

Он спросил Артура про мать, страдающую в одиночестве наверху. Бывает ли он у нее?

— Миссис Чэт носит ей еду. Она и сама могла бы спуститься, если б захотела. Больше всех я люблю Коралл. Я рад, что вы к нам приходите.

— Обычно люди живут замкнуто не потому, что им это нравится. Сама жизнь заставляет их иногда прятаться. Я думаю, у нее сейчас жуткое настроение.

— О, возможно. Вы еще не уходите? Нет? Я хочу показать вам свои вещицы.

— Днем мне придется уйти. Есть работа в другом месте. Но мы еще увидимся. Когда я загляну снова, приведем в порядок гостиную.

Пока миссис Чэт отдыхала, они трудились в поте лица. Стоя в холле, Артур слышал, как отъезжает фургон. Скоро опять пойдет снег, по радио предсказывали ветер — последний каприз зимы. Миссис Чэт ушла. Он остался один с молчуньей матерью, поломанными игрушками и пресс-папье. Благодаря мойщику окон отопление работало хорошо, но Артура все равно знобило. Миссис Чэт решила отоспаться дома, подготовиться к утренним тяготам. Артур не смог заставить себя подняться к Мэрис и вернулся в постель. Во сне он видел пауков и скелеты, они танцевали, и Артуру хотелось к ним присоединиться. Проснулся он спозаранку — возбужденный и испуганный.

Миссис Чэт пришла рано, на ней была шляпа, перевязанная траурной лентой. С краев шляпы свисали на самые очки перья, похожие на паучьи лапы. Пальто из ворсистой ткани перепоясывал кожаный ремень. Прикрепляя к рукаву Артура траурную повязку, она прослезилась. Он громко чихнул.

— Уж не простыл ли ты опять, Артур? Это от сквозняков. После кончины Джи все окна открыты настежь. Вредно для здоровья, очень вредно выпускать на ветер столько тепла. Бедный мальш, одевайся теплее.

— Что мне надеть? — Ему было не по себе, он не знал, как держаться.

— Дождевик. Пальто, по-моему, у тебя нет. Надень вязанный шлем и перчатки из толстой шерсти. В десять тридцать они должны быть здесь, тогда и начнется церемония.

— У меня нет перчаток.

— А вот дедушкины, кожаные. Великоваты, но ничего.

Он натянул перчатки. Джи много лет не носил их, но они сохранили прежнюю форму и на руках мальчика казались клешнями.

— Нет других, обойдемся и этими. Боже праведный, смотри, Мэрис спускается.

Она, как и прежде, была в черном, только под платье надела вязаную кофту.

Артур, высунув лицо из выреза шлема, встретился с матерью взглядом. До сегодняшнего утра она не выходила из своей комнаты. В глазах все та же пустота, суровый взгляд сурового лица. Она не проронила ни слова.

— Ты видела Коралл, Мэрис? Странная кремация. Вдовы нет, друзей умершего — тоже, только нас трое. Двое взрослых, один ребенок. Вон машина пришла. Стыд-то какой.

— Цветы, мэм? Есть цветы?

— Вы имеете в виду, прислали ли цветы? Их мало. Цветы будут в крематории. Старый он был человек. Я... это легло на мои плечи. С моей-то спиной... — Миссис Чэт сдвинула шляпу на лоб, перья прикрыли ей глаза.

Служащие похоронного бюро что-то пробормотали. Миссис Чэт повернулась лицом к Мэрис. Конечно, о цветах она и сама могла бы позаботиться, заказать их по телефону. Позор. Миссис Чэт ведь собиралась купить розы. Длинный Гонг подвел. Она просчиталась, когда составляла список продуктов: у нее не оказалось наличных денег. Коварный пес, это из-за него она не купила роз. Но что за люди живут здесь? Она надрыдается, отдает им все силы, а они даже о цветах не подумают. Бедный джентльмен, сожгут его без цветов, без друзей, а снег все идет и идет. Она любит, чтобы гробы были украшены гербами, цветами и венками, а не такие вот голые коричневые ящики из досок. Служащие похоронного бюро настроены, кажется,



сочувственно, с пониманием отводят глаза, сметают с ботинок снег, стараются не топтать ногами, когда выходят к катафалку с лежащим там Джи.

— Иди вперед, Мэрис, ты здесь самая близкая, если не считать этой... сама знаешь кого.— Миссис Чэт высоко подняла голову. Она и виду не подаст, что расстроена. Хуже нищих — только одна машина, никаких цветов, никого из знакомых, снег. А ведь он был пастором. Просигналило такси. Из него вышла Коралл.

— Приве-тик! Вдову подождите. Опять снег, едва успела. Как вы тут — в порядке? — На ней был костюм из синего твида в лиловую крапинку. С меховой шапочки свисала сверкающая блестками вуаль, бросая на глаза синий отсвет, губы ярко накрашены. Мисс Кроуфорд в наилучшем виде, полная жизни и бодрости. От нее исходил аромат, которому мог бы позавидовать владелец цветочного магазина, к отвороту жакета был приколот букетик пластиковых фиалок. Она прищелкнула пальцами с острыми блестящими ногтями.

— В порядке? О, конечно.— Не часто миссис Чэт прибегает к язвительному тону. Таких вертихвосток сечь надо.

— Ты в порядке, Мэрис? Что говорит нотариус? Наверно, рано еще ждать вестей. У них все по правилам.— Коралл не могла стереть улыбки с лица. Тернистый путь пройден. Розы, розы, розы. Теперь никто уже не будет считать ее отверженной.

Мэрис молчала.

— Ну, а как мой несчастный сиротинка? А, Артур? — Простудился, бедняга. Она любит, когда хоронят. Только других, не ее. Похороны гораздо лучше, чем венчания. Если человек умер, то ты знаешь, что с ним все кончено, его уже нет. А браки нередко приносят разочарование — и довольно скоро. Плакать она не будет, от слез потечет краска. Несчастный дурачок, он чихает. Мэрис устраивает представление. На шляпу миссис Чэт лучше не смотреть. А вот собой она может гордиться.

Миссис Чэт отвернулась от Коралл. Конечно, служащим похоронного бюро всякое приходилось видеть, но такого, наверно, еще не было. Надо иметь куриное сердце, чтобы в такой момент прихрамиваться перед зеркалом, — правда, Артур, когда перестает чихать, бросает на вдову восхищенные взгляды. Мэрис похожа на помешанную. Только миссис Чэт и знает приличия — она в шляпе, в черных перчатках.

— Я рад, что ты приехала, Коралл.— Артур опять чихнул.

— Если ты простудился, то не подходи близко. А катафалки-то они делают, я бы сказала, уютные. Гляньте, как эти парни на нас уставились.— Несколько прохожих остановились посмотреть, не подъедет ли кто-нибудь проводить старого джентльмена с Пью-Мьюс. Он же был пастором — мог бы кто-нибудь из соборной церкви вспомнить о нем. Бедный Джи, духовное лицо, а вот забыт, смерть его прошла незамеченной. Коралл спросила, где цветы.

— Цветов нет.— Миссис Чэт стояла как пришибленная. Даже несмотря на великолепную шляпу, выглядела она удрученно.

— И хорошо, что нет. Пустая трата денег. Цветы не вернут его к жизни. Время — лучший лекарь.— Коралл передернула плечами, стараясь не поддаваться угрызениям совести. Ей еще долго жить, у нее хорошие перспективы, и очень правильно, что нет цветов. Она одета как надо. А Мэрис похожа на труп, надо обладать очень плохим вкусом, чтобы надеть на себя эту черную хламиду. Где Ма Чэт откопала такую шляпу? Она отшатнулась от беспрестанно чихавшего Артура — несчастный мальчишка. Сидел бы лучше дома.

— Что-то должно же быть, хоть какие-то цветы в знак уважения. Можно вас спросить, Коралл, где вы были?

— Да, Коралл, где? Я скучал по тебе. Жаль, что у нас совсем нет цветов.— Подснежники и то сошли бы. Старый Джи помнил про

него, подарил сияющее золотом пресс-папье. А они что подарили деду?

— Занята была. Ездилa по одному делу. Держись, Мэрис, ты пу- гаешь меня.

Мэрис продолжала смотреть прямо перед собой, не мигая. Гроб Джи казался совсем маленьким. Коралл подавила зевок, снова доста- ла из сумочки губную помаду, поправила вуаль. Когда катафалк въехал в ворота и остановился, она быстро выскочила и принялась разминать затекшие ноги, втиснутые в туфли на шпильках. Отломилa от букетика на отвороте жакета пластиковый цветок и положила на гроб. Пусть видят — не такая уж она бессердечная, тоже ведь пере- живает. Трогательный жест, мисс Тот одобрила бы его.

Она чуть было не присела в реверансе. Немножко чувства не помешает. Не надо говорить о завещании, это неприлично, еще не время. Хотя они, наверно, уже знают. К чему тогда притворяться? Джи отверг ее. Святой Джи, когда-то ты любил меня. И я любила, только по-своему. У меня была трудная жизнь, я мечтала о семье, об уюте. А у тебя не выходила из головы Джемма, я знаю, ты только о ней и думал. Я подарила тебе любимицу, Мэрис, теперь пришло вре- мя пожинать плоды. Цветок сорван с моей груди — вот как я умею сказать последнее «прости».

Артур не сводит с нее глаз. Коралл старается показать себя с наилучшей стороны. Никто не любит косых взглядов. «Кто самый скорбный? Я, — молвил голубь, — я скорблю о любви». Этот мальчик поддержит Коралл, он станет у гроба рядом с ней. Он высвободил руку из перчатки Джи. Вытащил из кармана и бросил на гроб, по- верх пластиковой фиалки, кусочки головолмки — уголок картинки и вместо цветов краешек зеленой лужайки: надо же что-то оставить дедушке на прощание. У него болела голова и кровоточила болячка на губе. Простуда, насморк и кровь на губе действовали угнетающе. Миссис Чэт высморкалась, издав легкие трубные звуки. Мэрис зары- дала. Священник явно удивился. Ему показалось странным, что один человек может произвести столько шума. Эта рыдающая худая жен- щина стоит целой толпы. Он слишком поздно заметил, что покой- ный был тоже священником: в эту зиму умерло так много людей, его рабочий день сегодня был заполнен до отказа.

— Перестань сморкаться в перчатку, паршивец, — громко про- шептала Коралл. Из-за того, что этот дурачок простудился, она не намерена рисковать здоровьем Перса. Перс ненавидит бактерии, бо- ится их. Говорит, что и спиртное-то употребляет для борьбы с ин- фекцией. Он купил ей букетик в петлицу, полагая, что фиалки на- стоящие, и флажку спиртного на случай, если станет плохо. Маль- чуган пришел на помощь Коралл, подарок Артура лежит рядом с ее цветком, он смысленный, она не совсем одна. Священник бубнит свою молитву, Артур стоит рядом с ней и чихает, Коралл охватила тоска и неодолимое желание выпить. Она пригнулась за спинкой скамьи, достала флажку, быстро отпила глоток и снова выпрямилась, почувствовав облегчение. На губах заиграла улыбка, она с интересом огляделась вокруг. Неплохая церквушка — маленькая, уютная. Толь- ко бы Мэрис перестала рыдать. Коралл ждала минуты расставания, когда нажмут на кнопку и гроб начнет плавно опускаться. Вот за- дергивается занавес, за ней скрывается Святой Джи. Он удаляется, он исчез. Ушел навсегда. Там, за занавесью, должно быть нечто вро- де фейерверка, только его никто не видит. Она вспомнила, как ее отец отправился в такой же огненный путь, чтобы больше уже ни- когда не чинить обувь. Бедный мальчишка перестал сморкаться, ему так же интересно смотреть, как и ей. Она достала носовой платок с синей каймой и поднесла к глазам под вуалью. Кусочки головолмки и цветок с гроба не сняли, и они тоже исчезли — получилось довольно милое расставание. Она держится хорошо. Жаль, что не

может сказать этого о Мэрис. А Артур опять за свое. Уж не его ли это перчатка?

На траурной церемонии кто чихал, кто плакал, а кто улыбался; после кремации быстро направились к выходу.

В открытую дверь ворвался ветер. Миссис Чэт придержала рукой перья на своей внушительной шляпе. Коралл прищурилась. Артур начал ковырять пальцем болячку на губе. Ему хотелось получить новую головоломку — правильно собранную, в коробке и чтобы она лежала на настоящих цветах. Мэрис по-прежнему рыдала, ее лицо сморщилось, стало похожим на мокрую древесную кору. Артур ощутил на себе чей-то взгляд, как и в то утро, когда умер Джи. Он обернулся и увидел у паперти мойщика окон. Он бросился назад, облизывая губы, чувствуя привкус крови.

— Вы пришли, какая приятная неожиданность! — У Артура болело горло, он говорил тонким, писклявым голосом. Он облизнул губы, чтобы мойщик не заметил крови и не увидел, что у него течет из носа. Но тот смотрел не на него, а на Мэрис.

— Мэрис. Вы Мэрис, не так ли?

Она не ответила, ее лицо оставалось неподвижным, окаменелым. Артур недоумевал. Почему мойщик окон смотрит на нее? Что он говорит? Он незнаком с Мэрис. Он — друг Артура и Коралл. И миссис Чэт к нему хорошо относится. У Коралл, которая выпила за старого Джи, как выпивают при спуске нового судна на воду, веселый, сияющий вид. А у Мэрис вид ужасный. Что ему от нее нужно?

— Мэрис, ты меня помнишь?

Ее глаза с набухшими веками смотрели в одну точку, она всхлипывала, душа Мэрис осталась с дорогим ей человеком, которого предали огню. Но тут громко заговорила миссис Чэт. Не стоит больше ждать, она обо всем договорилась, останки заберет потом. Нет смысла здесь околачиваться. Артур простужен. За золой она придет завтра. А мойщик поступил очень любезно. Жаль только, что опоздал. Но все равно приятная неожиданность. Нашлась-таки добрая душа.

— Я Бен, Мэрис. Помнишь?

— Что?

— Бен. Я изменился. Знаю. Ты ведь помнишь меня?

— Тебя? Ты же ушел. Давно. Бен бросил меня.— У нее усталый, тонкий, детский голос.

— Я здесь. Я Бен. Не могу поверить, что это ты, Мэрис. Какое удивительное совпадение.

Мэрис откинула со лба челку, провела рукой по лицу: На голове у нее какой-то уродливый берет. Она вытерла руку о бархат платья. Артур провел по губе перчаткой. О чем они говорят?

— Ты узнала меня, Мэрис, правда?

— Ты бросил меня. Ушел.

Артур быстро облизнул губу. До него доносились слова. Они казались каким-то вздором. Видимо, от насморка ему заложило уши, и он ослышался.

— Никак не думал, что это твои родственники. Ты же все время находилась в спальне, наверху. Я ведь помогал вам по дому. Удивительно. Я знал только, что ты из Кента.

— В чем дело? Привет. Что это. вы донимаете Мэрис? Ей и так не по себе.

— Я обо всем позаботилась. Пойдемте. Спасибо, что пришли, большое спасибо. Мэрис надо домой. И Арту.— Опять этот звон, бум, бум — никогда не кончается.

— Не мог не прийти. Считал своим долгом. Я не был знаком со старым джентльменом, но думал, что должен отдать ему дань уважения. Меньше всего я ожидал встретить здесь Мэрис.

— Ожидал? Как ожидал? Черт возьми, о чем речь? Оставьте мою дочь в покое. Разве вы знакомы?

Мэрис взглянула на Коралл. Мать ничего не сделала для семьи, она бесчувственная, бросила на гроб мужа искусственный цветок, прикладывалась во время молитвы к фляжке, интересуется только завещанием. Впрочем, Мэрис все безразлично, ничто не имеет значения, ничто уже не будет иметь значения. Джи нет в живых. Ей совсем неинтересно знать, почему этот человек, который был ее мужем, появился здесь именно сейчас. Он чужой, бросил ее много лет назад. Куда же девались его усики?

— Коралл, это Бен, мой бывший муж. Я не знаю, зачем он здесь, да и не хочу знать. Меня это совершенно не касается.

— Неужели это он? Боже милостивый! Не знаю, что и сказать. Ну и ну.

Миссис Чэт вытерла нос. Так вот он, беглец, принесший столько горя. Робким движением она надвинула на лоб свою внушительную шляпу. Она широко открыла от изумления рот, забыв даже про больную спину и прочие недуги. От таких новостей можно в обморок упасть.

— Вот это да! И цветы принесли. По-моему, это здорово. Жаль, что я не знала, а то вела бы себя дружелюбнее. Судя по тому, что мне давно рассказывала Мэрис, вы немногого стоите. Подумать только, вы — отец Артура! — Вот и пойми этих мужчин. Может, у него и есть какая-нибудь подлая мысль — мужчины на все способны, но, с другой стороны, он принес цветы да еще в такой красивой бумаге, хотя и не знал, что покойник — его бывший тесть. Правда, на кремацию он опоздал, но все-таки пришел. Почему он раньше ничего не говорил? Почему, когда мыл окна, не увидал Мэрис? Неужели не знал, что она живет в этом доме? В самом деле? — И все же я рада. Бедному старому джентльмену принесли-таки цветы, нашелся один настоящий человек.

— Я попытаюсь объяснить. Я ничего не знал до этой минуты не видел Мэрис. Говори же, Мэрис, скажи что-нибудь.

— Уже сказала. Ты слышал. И Коралл слышала. О том, что ты приходил мыть окна, я не знала. Артур, это твой отец. Он бросил меня до того, как ты родился. Оставьте меня в покое.

— Мэрис. Это же твой муж, он нашелся. — Бедная доченька. Надо же такому случиться! Человек, которого она готова была задуть, — вот он, она познакомилась с ним, любезничала с ним внизу в день смерти Джи.

— Оставьте меня в покое. Я ничего не хочу слушать.

— Я попытаюсь объяснить. Я ничего не знал, ничего. Не знал, что у тебя ребенок, Мэрис.

— Я хочу побыть одна.

— И правильно, тем более сейчас, сразу после кремации. Я понимаю Мэрис... — Миссис Чэт была в восторге. Сказка сделалась былью. Мэрис достаточно натерпелась. Как это она раньше не заметила, что у этого парня такие же глаза, как у Артура, такой же необычайно серьезный взгляд. Мэрис должна хорошенько подумать. Все-таки с отцом, каким бы он ни был, бедняге Артуру лучше, чем без отца. Сцена в стиле Греты Гарбо, которую разыграла Мэрис, — лишь первая реакция. Бен вошел в ее жизнь слишком неожиданно, нужно время, чтобы свыкнуться с новым положением. Она упрекнула себя в том, что еще тогда не узнала его имени: все было недосуг. Если он разумный малый, то должен сейчас уйти, выждать, когда Мэрис успокоится, а потом вернуться. Мастер на все руки, общительный — бросаться такими мужьями грешно. И одет прилично, делает честь любой церемонии.

Артур слизнул кровь с губы. Мойщик окон — его отец, он бросил Мэрис, предал ее. «Я твой сын. Ты ушел. Что плохого я тебе сде-

лал?» Дрозд мертв. Из пламени, точно феникс, возник отец. Воздух с легким щелчком вырвался из его ноздри.

— Фу, черт. Ну, пошли. В конце концов, я ведь пока вдова. Как ты чувствуешь себя, Мэрис, что ты думаешь делать?

Коралл чувствовала себя одинокой; сегодня у нее траур, пусть они не забывают. Мэрис — прирожденная актриса, да еще в этом ужасном черном платье. Уж она-то была бы первой ученицей у мисс Тот. А этому парню за многое придется ответить, он искалечил жизнь ее дочери. Мужчины поступают как хотят, а за все расплачивается женщина. Бедная Мэрис, от этого и концы можно отдать вслед за Джи.

— Не мучайте ее, Коралл. Пусть решает сама. — Миссис Чэт почувствовала, что почва ускользает у нее из-под ног. Так пусть же знают, кто здесь хозяйка. А то, чего доброго, все переменится. Бен, может, и правда неплохой парень, хотя кто знает. Работник он хороший, собеседник тоже, дружелюбный. В подвале она хозяйка по праву, сначала надо подумать о себе.

— Останьтесь. Я так хочу. — Артур говорил громко, четко и ясно. У него тоже свои права. Все беспокоятся только о Мэрис, боятся, как бы она не упала в обморок или не умерла. А никто не подумал, что они оба его родители. Он хочет, чтобы мойщик окон остался, хочет называть его папой. Артур должен решать, не она.

— Я вас всегда поминала недобрый словом. Бедная моя доченька. Это из-за вас она осталась у меня на руках. И мальчика на меня свалили. Скажете — вру?

— Бросьте, Коралл. Не вы, а я вырастила Мэрис. И Артура вырастила. А вы ничегошеньки не сделали и пальцем даже не пошевелили — я вам не раз говорила. Боже милостивый, ну и денек сегодня.

— Замолчите. Я хочу побыть одна.

— Останьтесь. Вы должны остаться.

— Ты мне не нужен, Бен. Ты слишком долго пропадал. Я хочу...

— Не заводитесь вы опять. — Коралл считала, что из Мэрис, повидимому, вышла никудышная жена и незачем ей было рожать ребенка, раз ей не повезло с мужем.

— Я пришел только затем, чтобы отдать дань уважения. Я ни о чем не прошу.

— Правильно. Глупо это все. Пошли к машине. И Бен может поехать с нами, у меня там херес и закуски. Пусть зайдет погреться — не как свой, а как гость. Эта кремация измотала меня.

Хлопоты миссис Чэт не пропадут даром, все ее закуски — сосиски на палочках, сэндвичи с мясом — съедят в комнате, убранной мойщиком. Но потом ему придется уйти.

— Мне все равно. Делайте что хотите.

— Тогда садитесь здесь. Рядом со мной, пожалуйста. — Артуру уже нужна не Коралл, а отец. У него настоящий папа, живой, вот он втиснулся в машину.

Мэрис оглянулась на ворота, на цветочные клумбы. Джи уже нет и никогда не будет. Сейчас она казалась еще некрасивее, была похожа на девочку-подростка, берет съехал ей на щеку.

— Не мучай себя, Мэрис. Время — лучший лекарь. Будущее начинается сегодня. Вот повидаемся с нотариусом. Не думай о Бене, подумай о себе. Возможно, и тебе что-нибудь перепадет, я вовсе не удивляюсь.

— И не беспокойся об урне, я сама о ней позабочусь.

— Я, пожалуй, выпью рюмку хереса. Спасибо. А потом уйду.

— Пойдемте. Я так хочу.

— Этот шофер, надеюсь, отвезет меня потом на Шелл-стрит. Перестань чихать, паршивец. — Коралл улыбнулась, скосив глаза на фиалки. Кажется, не так уж и важно быть похожей на Джоан Кроуфорд. Вдовство само по себе придает человеку солидность.

Она на глазах у всех вынула из сумки фляжку и поднесла ко рту. Скоро она станет единственной хозяйкой, будет всем распоряжаться. Этот высокий дом теперь ее — хочешь живи в нем, хочешь продай. Поднимаясь по лестнице, она тихо напевала. Выпьет сейчас хереса и отправится к Персу.

Артур посмотрел Коралл вслед, взял Бена за руку. «Завздыхали и заплакали птицы небесные, узнав о смерти бедного дрозда».

7

Ему снова снятся пауки, украшенные белыми цветами, поющие печальную песнь в колумбарии. «Помни, помни, помни». Он попробовал тоже запеть. Стало больно горлу, что-то удерживало его.

Мэрис опять трясет его за плечи.

— Снова фокусы, Артур? Если ты не бродишь по дому, то либо плачешь, либо задыхаешься. Что с тобой на этот раз?

— Больно ногу.

— Отчего? Зачем ты привязал ее к столбику кровати? Ах, Артур, не думала я, что с тобой будет так трудно. Ты боишься меня? — Когда его ругаешь, он становится хуже, будит в ней чувство еще большего недовольства собой. Его пристальный взгляд пугает Мэрис, у него полусонные, как у Джи, глаза.

— У меня все в порядке. Мне только сон приснился.

— Дай я отвяжу твою ногу.

— Горло дерет. — Миссис Чэт сказала, что Мэрис нельзя расстраивать, ей надо угождать. А он разбудил ее, не дал отдохнуть после такого напряженного дня.

— Открой рот, я посмотрю. Прими аспирин. Ты переутомился. Выпей вот это. У тебя сильная простуда.

К утру грудь его словно окаменела, он шумно дышал. Мэрис склонилась над ним, у Артура слиплись ресницы, ее лицо расплывается. Он чувствует на лбу ее руку. Миссис Чэт рядом, у обеих озабоченные лица — он их видит словно в тумане. Болят глаза, уши, голова и грудь. Он слышит шепот. В глазах дремотный туман, пауки, дрозд, «мой лук и стрела», «я, — молвил голубь, — я скорблю о любви».

— Артур, проснись. Открой рот. Мне нужно измерить тебе температуру. Не прокуси градусник.

У тебя под языком холодное стекло. Не прокуси, ртуť ядовита. Безвкусная. Спирт обжигает.

— Его трясет. Боже правый, он совсем расклеился, Мэрис.

Доктор прослушал его, осветил зеркальцем воспаленное горло, положил на грудь свои большие холодные ладони, ощущал привычными пальцами тело. «Дыши глубоко. Покашляй. Больно? Еще раз покашляй». Стетоскопа уже нет, из холла доносятся приглушенные голоса. Он напряг слух. Пот, в глазах стоит туман. Пришла его очередь, теперь о нем беспокоятся, за ним ухаживают. Они говорят о его груди. Инфекция. Запущенная простуда плюс реакция на нервное потрясение. Дети переживают по-своему. Чрезмерное переутомление, мальчик нуждается в особом внимании. С астматиками всегда сложнее. Мэрис заговорила громче:

— В последнее время он не болел. Я уже думала, что астма у него прошла. Он не жаловался. Только вот кошмары его иногда мучают. Видите ли, я была... у меня... я находилась неотлучно наверху, при отце.

— Понятно. Знаю. Ну, а его бабушка?

— Господи, и не спрашивайте о ней. Я ночую не в этом доме, но делала все, что могла. Бедный мальчуган. Что нам делать?

— Ему потребуются антибиотики, да?

— И микстура. Аспирин. Больше жидкости. Есть у вас комната

попросторней? Повеселее, и чтобы света было много? Для ребенка обстановка так же важна, как лекарство. Побалуйте его немного.

— Я тут закрутилась совсем, да и спина болит. Ох, доктор!

— Переселим его наверх, Там теперь тепло. Надо его перенести.— Мэрис заставила себя успокоиться. Она будет добрая, благоразумная, расторопная. Даст сыну то, в чем так давно отказывала ему, исполнит материнский долг.

С помощью миссис Чэт она сняла с кровати белье. Свернула и убрала грязные простыни. Наконец-то он видит, что Мэрис встревожена, вытирает губкой ему руки и лицо, расчесывает волосы.

— Почему я не могу остаться здесь? Где Бен? Наверху же никого нет. Никто меня не услышит, там нет людей.

— Так сказал доктор. Ты болен. Больному нужен воздух. Ты будешь лежать на южной стороне, комната обращена окнами к реке. Я не оставляю тебя одного.

— Я хочу в комнату Коралл. В синюю.

— Нет. Будешь жить наверху. Мы не можем выселить Коралл из ее комнаты. Это было бы нехорошо.— В душе Мэрис согласна с Артуром. Но сейчас не время отбирать синюю комнату. Доктор велел перебраться наверх.

— Мэрис, ты не сказала доктору, что он бродит во сне.— Миссис Чэт считала неразумным переводить Артура так высоко. А что, если он опять станет ходить ночью и упадет? Когда человек спит, он не управляет своим телом, мальчика тянет к бабушке. Она рассчитывала, что комната на верхнем этаже останется незанятой. Эти крутые лестницы не шутка. После похорон вертикалки почти не бывает дома. Но Бен, наверно, будет их навещать.

— Отнесите туда и пресс-папье, ладно? Головоломка под кроватью. И стеклянные шарики.— Он снова закашлялся, его кашель похож на собачий лай. Этот кашель и помог ему превратить их в своих рабов.

— Не всё сразу. Мы же не грузчики. Подожди, Мэрис, ему нужна помощь. Он не сможет подняться.

— От жара у него кружится голова. Ну, вот и дедушкина кровать.

Матрац мягкий, широкий, чистые простыни приятно пахнут. И хорошо, что здесь нет бронзовых столбиков на спинках, от них его лицо казалось зеленым. У этой кровати обе спинки деревянные, резные. Здесь простор, солнечный свет, хороший уход, колокола желают ему крепкого здоровья. Теперь он и сам убедился, что эта комната — лучшая в доме.

— Миссис Чэт, вы любили колокольный звон, когда были девочкой?

— О тех временах я не вспоминаю. У нас была куча детей. В больших семьях все по-другому. Двое старше меня, двое младше, жили мы бедно. Без любви, без ласки. Сейчас тебе надо пить больше жидкости, сказал доктор. Я купила лимонад.— Она закажет целый ящик. Ничего, все войдет в норму.

— Тебе нравится здесь, Артур? — Этот мальчик с лицом хорька, с бесцветными глазами, худыми руками, которые перебирают простыню, оценит ее опыт и умение.

— Дайте мне апельсинового сока, пожалуйста. Прямо из соковыжималки.— Пусть теперь поняшут. Его лихорадка творит чудеса, и кашляет он мастерски. Они спешат вниз, стараются угодить ему, вот возвращаются с апельсиновым соком. Позже ему, полусонному, дают еще таблеток, сладкой микстуры и снова хлопчут. Он дышит ровнее. Удалось кашлянуть еще несколько раз. Ему перестелили постель, сменили простыни и пижаму, снова обмыли. «Спокойной ночи, приятных снов. Звони в этот колокольчик, если что будет нужно,

мы услышим». Они вовремя приняли меры, теперь обойдется без воспаления легких.

Когда он снова проснулся, было темно. Часы старого Джи в деревянном футляре показывали десять. Постельное белье сухое, воспользовался ночным горшком Джи, расписанным цветами,— он, как и прежде, стоял под кроватью. Ему захотелось осмотреть комнату. Ключ в замке деревянного сундука никак не поворачивался, ему пришлось взяться на него обеими руками. В сундуке лежали вещи Джи, пропахшие старой мешковиной,— изношенное облачение из серой ткани, пожелтевшие от времени жесткие воротнички. Фетровые шляпы в коробке. Странная одежда странного человека в странной комнате, в которой нет ни картин, ни креста, ни даже Библии. Кровать, сундук, письменный стол, кресло у окна, ночной горшок в цветочек, ночной столик. Над изголовьем кровати — вышитые Джеммой слова: «Бог есть любовь». Дом принадлежит теперь Коралл, но здесь ничто не напоминает о ней. Артур достал воротничок, надел на тонкую шею. Примерил шляпу, посмотрел на себя в дедушкино зеркало. Одежда меняет человека, делает непохожим на себя. Может, он будет не ветеринаром, а актером. Объедет все страны, будет выступать, веселить людей. Он улыбнулся. Бог есть любовь. Актер подобен богу. Его зрители — носки, галстуки, носовые платки. Новые ботинки смотрят его спектакль. Он потрогал пальцем вышивку. «Подождите, вот я начну распоряжаться. И вы мне больше не будете нужны». Он вылил микстуру в раковину. Запер сундук и ключ выбросил в окно. Прикосновение к одежде деда придало ему уверенности; теперь он будет приказывать. Он позвонил в колокольчик. Никто не отозвался. Ему захотелось пирога с лимонным вареньем. Позвонил снова: должен же кто-то прийти. До подвала отсюда слишком далеко. Он выбросил колокольчик в окно. Он закажет электрические звонки, заведет новые порядки, прежде чем это сделает Коралл. Теперь они под его дудку должны плясать, потому что он больной. А пока что он поспит еще.

Когда он снова проснулся, было уже утро, он чувствовал себя хорошо. Он сойдет вниз, расскажет отцу о своих планах, ему хочется установить телефоны, по одному на каждом этаже. Он по привычке шагал неслышно, на верхней площадке, ведущей в подвал, остановился, облокотился на перила. До его слуха донесся грубый смех Коралл. Вовремя пришла — пусть она тоже знает. На кухне сидели также миссис Чэт и Мэрис. Кучка бездельников, занимаются пустой болтовней.

— Поймите, Коралл, он нездоров. Нам пришлось переселить его наверх. Вам нужно навестить его, неужели вы этого не сделаете? Он всегда тянулся к вам, очень. Вы же бабушка. Пора бы перестать думать только о себе.

— А зачем? Не я его родила. Пускай Мэрис о нем заботится. Это же черт знает что такое — мальчишка получает все. А я, вдова, что получу? Не верю своим ушам. В награду за все, что мне пришлось пережить.

— Тогда опротестуй, Коралл. Только, я думаю, трудно тебе придется.— У Мэрис странное выражение лица. Так Коралл и надо.

— В последнее время я мало общалась с Джи. Охотно признаю, Мэрис. Старик предпочитал тебя, а ты его. Я позволила тебе ухаживать за ним. Ты хочешь сказать, что мне и дом этот тоже не принадлежит? А какое право имеет на него мальчишка? Я спрашиваю: какое право?

— Это право дано ему завещанием. Мистер Тайлер выполнил указания Джи. Такова его воля, *bona fide*<sup>1</sup>, и никаких лазеек.

— Если Мэрис не возражает, то почему вы, Коралл, против? Она же ничего не говорит, хотя и везла весь воз. Если кому и жаловаться, так только ей.— Миссис Чэт опротивела эта грызня,

<sup>1</sup> Вполне чистосердечно (лат.).



эти укоры. Самой ей ничего, кроме собачьих бегов, не надо. Там, по крайней мере, знаешь, на кого ставишь, отвечаешь только за себя. Она надеялась, что и ей что-нибудь перепадет. Впрочем, бог с ним, с наследством, хорошо и то, что у нее есть место.

— Это были его деньги, и он имел право ими распорядиться, он содержал нас. Он сам так решил.

— Хотела бы я знать, кто подал ему эту мысль. Держу пари, что это ты на него повлияла, Мэрис. Но почему мальчишке?

— Почему? Он меня не спрашивал, Коралл. Он оставил мне доверенность на то время, пока Артуру не исполнится двадцать один год. Опекун должен вести финансовые дела. Джи сделал это намеренно, чтобы избежать налога на наследство, если наследник не вступает в права много лет.

— О, теперь поняла. Это дело твоих рук, Мэрис. Вот уж ты порадовалась, когда он написал завещание. Мальчишка будет разорен, увидишь.

— Я же сказала, что всем распоряжаться буду я. Артуру об этом не надо знать, пока не подрастет. Все останется по-старому.

— Не жалеете о том, чего вы никогда не имели, Коралл.— Миссис Чэт успокоилась: ее положение в доме остается прочным.

— Бьюсь об заклад, наша мисс Найтингейл устала свое гнездышко перьями, кое-что прилипло и к ее медсестринским лапкам.

— Нет, Коралл. И дом и капитал отданы под опеку. Джи хотел, чтобы Артур получил хорошее образование. Ты можешь снова выйти замуж, он считал, что так оно и будет.

— Ха. Вот это уже ближе к истине. Он исключил меня из игры.— С неба падают пени. Черта с два падают.

— Он хотел помочь Артуру сделать приличную карьеру. Ничто, в сущности, не изменится.

— По-моему, это разумно. Не люблю перемен, особенно когда со спиной маешься. Я уже привыкла вести хозяйство.— Все обошлось как нельзя лучше. Заниматься покупками для дома — дело очень выгодное. Если бы наследство получила Коралл, то она бы мигом спустила денежки, продала бы дом и оставила всех без крова.

— Черт побери, кто ты такая, что вмешиваешься в разговор? Не ты ведь была его женой? Я думала, что эти богатенькие порядочны! Тоже мне, служитель церкви. Если бы не я, то ни Мэрис не было бы, ни мальчишки. Кто поддержал Джи, когда умерла его первая жена? Я лишь надеюсь, что астма задушит этого дурачка.— Лицо у Коралл побагровело, голос охрип, она не могла сдержать ярость. Теперь уже было ясно, что она не станет добрее, вежливее, ласковее. Она перешла все границы.

— Замолчи, Коралл. Ты несносный человек. И не обзывай моего сына. Его имя Артур. А ты была неверной женой. Так что замолчи.

— Что? Это ты замолчи. По-своему я была хорошей женой. Мы были разные люди. Разве ты способна понять? Он относился ко мне как к монашке...

— По-своему? То есть как это «по-своему», Коралл? Он совершенно вас не интересовал. Мне это известно лучше, чем Мэрис. Я это знала, когда она была еще ребенком. А на похоронах? Стыдно было перед людьми.

— Да заткнись ты, ведьма.

— Не надо, Коралл. Не надо, миссис Чэт. Я понимаю, Коралл считает, что ее обошли. Но она не должна так думать.

— Спасибо и на том, Мэрис. Теперь только и жди, что тебя выгонят из дома. И кто? Моя кровная дочь.

— Когда выгодно, вы зовете ее дочерью. Не вы, а я вырастила Мэрис. А где вы были все эти дни после похорон?

— Не твое дело. Черт возьми, Мэрис, ты-то что думаешь? Ты ведь тоже не самая примерная мать.

— Кто сказал, что тебя выгонят? Все останется как было. Перестань кричать, а то Артур услышит. Он болен, у него высокая температура. Я не хочу, чтобы ему стало хуже.

Артур выпрямился и начал спускаться по лестнице. Он шагал осторожно, держась за перила. Только бы опять не закружилась голова. Он все слышал. Значит, сбилось. Он прикоснулся к одежде Джи, и весь мир переменялся. Деньги, власть — все это теперь в его руках. Артур посмотрел на взрослых, он увидел Мэрис — мать, которую не любил, но хотел бы полюбить. Увидел алчные, злые глаза Коралл, ее желтые, теперь уже некрасивые зубы, зубы человека, который страшится старости, боится одиночества. Увидел доброе лицо обманщицы миссис Чэт в очках, сползающих на нос.

— Ну вот. Опять шпионишь, да? Значит, все слышал?

— Артур, что ты слышал? Твое место в постели.

— Слышал все. Я получаю деньги. Сколько? — Почему они ссорятся? Деньги-то его, а не их. У него теперь блестящее будущее.

— Сколько? Все. Я лишь вдова, мне ничего не досталось. Как вам это нравится? «Сколько»!

— Не беспокойся, Коралл. Я о тебе позабочусь. — Эти женщины жили как могли, на большее они не способны. Ему казалось, что голова у него раздулась, словно воздушный шар. Он осторожно сел, стараясь держаться прямо. Теперь он чувствовал себя королем, королем подвала. Может делать все, что захочет, может стать ветеринаром. Он богатый. Артур тяжело перевел дух. Роль повелителя изнуряет.

— Не задавайся, Арт.

— Вы подумайте. Маленький, а какой корыстный. Это твоя вина, Мэрис. — Даже ребенком она была хитрюгой. Скрытная, никогда не делилась своими тайнами, никогда не ласкалась. Все делала по-своему. Теперь маленькая хитрюга превратилась в большую. Не удивительно, что Бен сбежал от нее через две недели после свадьбы. Вероятно, Мэрис лишена полового чувства, да и вообще особа непривлекательная. И сын у нее такой же расчетливый. «Сколько» — подумать только.

— Я только спросил. Я практичный — вот и все.

— Практичный? Ты должен лежать в постели. У тебя воспаленное лицо. Ты выпил свою микстуру? Пора принимать пенициллин. — Мэрис говорила решительным тоном. Она должна обращаться с ним по-прежнему строго. Коралл надо утихомирить. Миссис Чэт — поставить на место. Артур пусть не зазнается. Никто не должен забываться.

— А этого Бена мы еще увидим. Вот помотришь, скоро он учует деньги. Твой законный муженек заявит свои права.

— Не слушай ее, Мэрис. Это вовсе не обязательно. — Миссис Чэт заметила на шее у Мэрис жемчужное ожерелье. Да, она не любит дешевые побрякушки. Когда-то этот жемчуг украшал шею Джеммы. Интересно, что еще взяла себе Мэрис. Все-таки Коралл тоже должна что-то получить, хоть она и вертихвостка.

— Я хочу видеть отца. Когда он придет? — Они встречались всего три раза. Артуру захотелось увидеть его тотчас же.

— Сейчас ты отправишься в постель. А там посмотрим. Я не... ничего еще не решено. — Она старалась гнать от себя мысли о Бене; и без того есть о чем подумать.

— Я хочу позвать гостей. Отметить завешание. Похороны прошли нехорошо, так давайте скорее устроим поминки. — На него столько свалилось, он здесь законный хозяин, хотя ему и нет двадцати одного года. Примерил одежду деда, и — готово. Он поинтересовался жалованьем миссис Чэт. Коралл должна иметь автомобиль. Бену надо дать ключ, чтобы он мог приходить и уходить когда захочет. С пресспапе начался поворот в его судьбе, одеяние деда завершило этот

поворот. Взрослые умолкли. Они не верили своим ушам. Даже звонок у парадной двери едва слышали. Ну и нахальство же у этого Артура.

У входа стоял Бен; дверь ему отворила еще не опомнившаяся миссис Чэт. Когда он сказал, что пробовал дозвониться, но их телефон все время был занят, она сконфузилась. На телефоне почти непрерывно висела она сама — наверстывала то, что потеряла, пока не играла на бегах. Встряски укрепляют нервы; чем больше неприятностей, тем выше ставки. Так что разговор о телефоне мойщик завел совсем некстати. Пускать его или нет? Захотят ли хозяева, занятые своими делами, видеть его? Можно ли считать его здесь своим?

— Разрешите, я хочу видеть Мэрис.

Он снова пришел с живыми цветами в круглом деревянном горшке. И с книжкой для Артура. Коралл торжествующе улыбнулась. Она была права: он времени не теряет. И хитер, не с пустыми руками пожаловал. Пронюхал про завещание и примчался с подарками. Был на похоронах, держался чинно-благородно, теперь хочет влезть в дом. Она здесь, конечно, не в счет, хотя и самая близкая покойному, ее-то оставили без гроша. Между прочим, от коробки шоколадных конфет она бы не отказалась. Но бесцветной мисс Найтингейл с ее неказистой внешностью следует все же хорошенько подумать. Пусть попробует найти себе кого получше. А мужчина он все-таки интересный и умеет себя держать.

— Я пришел не затем, чтобы докучать вам. Хотел только спросить, не нужно ли чего-нибудь. — Дела-то все равно не ждут, несмотря на смерти, горе, болезни. Он взглянул на миссис Чэт. У Артура раскрасневшееся лицо, расширенные зрачки. Мэрис выглядит уже лучше. Но он не должен говорить, что Артура надо уложить в постель, пока он не имеет на это права.

— Раз уж пришли, примите участие в нашем разговоре. — Коралл начала рыться в сумочке. Она не покажет виду, что обиделась. Эти розовато-лиловые цветы идут к ее новой губной помаде. А книжка «Земля и полезные ископаемые» — дурацкая. Голова мальчишки и без того забита всякой ерундой.

— Спасибо, Коралл. Как... дела? — Он и не надеялся, что Мэрис поблагодарит его за цветы. Он нарочно выбирал неяркие.

— Ваш милый сынок — наследник. Вот какие дела. Ему завещано все. Верите? А ведь я — законная вдова.

— Вас это, наверно, потрясло. Недоумеваете, наверно.

— Недоумеваю? Негодую. Фамилию-то покойного ношу я, а не он. Я, миссис Мортисс, осталась ни с чем. Ваша мисс Найтингейл прекрасно все подстроила. — При упоминании этого имени у нее вдруг занял большой палец на ноге.

— Тебе это было известно, Мэрис? Или ты только сейчас узнала? — У Бена и мысли не было о завещании. Он здесь человек чужой. Что бы он ни сказал, как бы ни поступил, к нему отнесутся с подозрением. Подумают, что он объявился в расчете на свою долю, поэтому гость он сейчас нежеланный. И рад ему только Артур, лицо которого расплылось в довольной улыбке.

Мэрис гордо вскинула голову. Посмотрела на мать — густо накрашенную, лживую, на миссис Чэт, волнующуюся по поводу своих собак, на раскрасневшегося сына и на человека, который когда-то был ее мужем.

— Возможно, вы все удивитесь. У Артура моя фамилия. Он тоже Мортисс. Два года назад, когда Джи слег, я подала на развод. Теперь я не замужем. И фамилию переменяла.

— Да неужели, Мэрис? Не замужем. Ну и ну!

— Да, это так.

— Ну, Мэрис, удивила. Господи, почему же ты раньше-то молчала? Глупость какая-то.

— Вот так всегда: хитришь, выкидываешь разные фортели. Скверно это, Мэрис.

— Что ты говоришь, Мэрис? — Бен сжал руки в кулаки. Каким бы плохим мужем он ни был, он думал, что брак их не расторгнут. Во всяком случае, могла хотя бы ему сообщить, поставить в известность. Почему она промолчала?

— Я удивлена, очень удивлена. Развод — это важный шаг. Важнее, чем бракосочетание. Бедный малыш, значит, он не знает своей настоящей фамилии? — Миссис Чэт жалела детей, к которым относятся как к щенятам. Никто не принимает их в расчет.

— Где же все-таки правда, а где неправда? Может, ты и замуж-то не выходила? Ты ведь и тогда все скрыла. — От Мэрис можно ждать чего угодно. Может быть, Бен и отец этого мальчишки, но не обязательно муж Мэрис. На цветы, которые он принес, она даже не взглянула.

— Выходить-то она выходила. Я проверяла.

— Ты, Ма Чэт? Проверяла? Ведь я же ее законная мать, а тебе то что за дело?

— Потому что вы сами никогда ничем не интересовались. Только сами собой да своими любовями, а Мэрис никогда не интересовались, вам было все равно, пошла ли она в медицинские сестры или вышла замуж, вы не хотели, чтобы она вернулась в дом. А я растила Арта. Это было мое дело. Мне обо всем в Сомерсет-Хаус<sup>1</sup> сказали. — Миссис Чэт поджала губы. Мэрис могла и не оформить развод, это тоже надо еще проверить.

— Я расторгла брак. Мы с Артуром носим фамилию Мортисс. Я собиралась сказать ему перед школой, а сейчас и без того волнений у него много.

— Расторгла? То есть аннулировала? На каком основании? Уж не девственница ли ты случайно? Я теперь всему готова поверить.

— Объясни, пожалуйста, Мэрис. Я знаю, что подвел тебя. Я действительно думал, что мы еще женаты. Думал, ты жена мне, как бы несправедлив я к тебе ни был. Даже надеялся, что мы...

— Об этом забудь, Бен. Ничего не выйдет. Ты бросил нас. Исчез. Основание законное: ты нарушил супружеский долг, прошло пять лет. Разве ты забыл, что не подавал о себе никаких вестей?

— Ты в церкви венчалась, Мэрис? — Миссис Чэт полагала, что светский брак легче расторгнуть.

— Да. В Марилебоне.

— Джи об этом знал? О разводе?

— Нет. Потому я никому и не говорила. Не хотела, чтобы кто-либо знал.

— Он был бы недоволен. Бывшему пастору едва ли было бы приятно, чтобы его проповеди переписывала помощница, которая развелась с мужем. Я и сама потрясена. Что бы сказала его первая жена — миссис Мортисс?

— При чем тут она? Старая ведьма, опять ты суешь свой нос куда не следует. — Коралл снова начала злиться.

— Я вернулась домой. Родился Артур. Джи не задавал никаких вопросов. Перед смертью спросил, помогает ли мне кто-нибудь. Он никогда не приставал с расспросами. А наследством распорядился сам. — Лицо Мэрис снова исказила страдальческая гримаса. Зачем тут опять Бен, зачем эта комедия с его лиловыми цветами? Они смотрят на нее так, будто она приговорена к виселице.

— Но ты могла бы сказать когда мы вышли из крематория.

— Зачем? Мне было трудно говорить. И тебя я не хотела видеть, да и теперь не хочу.

<sup>1</sup> Административное здание на берегу Темзы в Лондоне, где хранятся, в частности, записи актов гражданского состояния.

— Я бы предпочел знать заранее, что женщина, на которой я женился, уже не моя жена. Неужели я требую слишком многого? Или хотя бы что у меня есть сын?

— Если он действительно ваш сын. Да что там, бесполезно говорить.

— Да, Бен. Вы предпочли уйти. И вот вам возмездие.— Миссис Чэт была склонна принять сторону Мэрис. В нем что-то подозрительное — в нем и в его подарках.

— Неплохо бы выпить. Все это ужасно. У нас есть херес? — Коралл так торопилась услышать про завещание, что забыла взять свою фляжку.

— Нет,— резко ответила миссис Чэт. Продукты, напитки — это ее дело.

— Не могу поверить, что вы жили под одной крышей и не знали, у кого какая фамилия.

— Это вы *нас* считаете скрытными, Бен? А кто, ни слова не сказав, бросил мою родную дочь, оставил у меня на руках, не говоря уже о мальчишке? Неудивительно, что он странный и любопытный. Все время живет в каком-то страхе.

— Что ж, я здесь нежелателен — это совершенно ясно. А ваша фамилия не Мортисс, нет? Вы сказали — Чэт, верно?

— Белл Чэт. С этой семьей я живу с тех пор, как Мортиссы перебрались в Кент. Я вырастила Мэрис и Арта.

— Раньше я никак не мог появиться. Даже если бы знал адрес.

— Почему же? Мое положение было не из приятных. Куда бы я пошла, если бы не Джи? — Мэрис подняла голову, веснушки на ее лице потемнели.

— А я — я же мать все-таки, я тоже страдала.

— Ты меня не любила, Коралл. Я знала это с детства. Потому и пошла в медсестры.

— Любила, Мэрис, да разные мы люди. Мы с твоим отцом не понимали друг друга. Интересно узнать, Бен, где вы были все эти годы. Где пропадали?

— В заключении.

— В заключении? В тюрьме? Ты мог бы меня известить.

— Это правда? Господи, час от часу не легче.

— Ну, Мэрис, и докатилась же ты. Хуже не придумаешь.— Высокомерная мисс Найтингейл получает по заслугам. Острые ногти Коралл впились в сумочку.

— Кхе.

— Смотри, что ты натворила. Несчастный мальчишка, мой внучек, он такой болезненный. Стоит ли этому удивляться?

— Слушай, что я скажу, Мэрис. Слушайте все. Я не преступник, не вор. Я не сделал ничего ужасного.

— А все-таки? Не зря же вас посадили. Сколько вам дали? Пять лет? Шесть? — Коралл торжествовала, она отомстила за свои несбывшиеся мечты, за завещание.

— Меня посадили за мошенничество. Четыре с половиной года назад амнистировали.

— Уж конечно за мошенничество. Все так говорят. Звучит безобиднее, благопристойнее.

— В данном случае это было мошенничество.

— Рассказывайте дальше, Бен.— Миссис Чэт оперлась локтем на свою газету. Вот к чему приводит обман. Нет, уж лучше быть честной.

— Вы ни разу не дали о себе знать. Мэрис уехала домой. Почему?

— Стыдно мне было. Властям я ничего не сказал. Меня считали неженатым. Брак у нас был чересчур поспешный, необдуманый, Мэрис, наверно, согласится. Я служил в фирме, выпускающей счет-

ные машины. Мы с одним парнем начали ловчить, дальше — больше, дело зашло слишком далеко. Все обнаружилось, нас посадили в тюрьму. Это случилось сразу после ссоры с Мэрис.

— Сколько же вы украли? А дочь мою оставили на бобах.

— Об Артуре я ничего не знал. Тут моя главная вина.

— Ах, мужчины, мужчины.— Коралл открыла сумочку. Без Перса ей не обойтись. Жизнь ее пошла кувырком. Лишилась наследства, дочь тайно развелась, отказалась от фамилии мужа, бывший зять — мошенник. Кто бы мог подумать?

— Мне безразлично, где ты был. Все прошло, все кончилось.— На лице Мэрис появился легкий румянец. Она взглянула на Артура: надо действовать.

— Я никогда тебя не подведу, Мэрис, ни тебя, ни маленького Арта.— Миссис Чэт не сбежит.

— Но я стала теперь другая. Я изменилась.

— Кхе.— Артура начало тошнить. Пол поплыл перед его глазами, он соскользнул со стула.

— Вот несчастье. На мой чистый пол. Господи!

— Меня и саму вот-вот стошнит. Попомните, вам с Мэрис за многое ответить придется.— Зная дочь, Коралл вполне допускала, что и она могла попасть в тюрьму. Коралл не видела ее документов. Неестественно это — любить так отца. А смерть-то его была естественной?

— Я пришел сюда, думал, что так будет лучше. А теперь я ухожу. Не суди меня слишком строго, Артур.

— Да. Иди. И не возвращайся, пока я не позову.— Мэрис была потрясена не меньше других. Человек, которого она, казалось, любила, ее бывший муж, носил серую арестантскую одежду, жил среди уголовников, был осужден за мошенничество.

— Ну-ка поднимайся, малыш. Сколько беды наделал. Я всегда была за мир и согласие, чтоб без скандалов и все такое прочее. У меня и у самой бывали неприятности, но чтоб такое...— Миссис Чэт отправилась за шваброй. Подделка бумаг фирмы счетных машин — совсем не пустяк.

— Дай я отнесу его. Пожалуйста.

— Позволь ему, Мэрис. Он ведь законный отец.— Коралл хотелось, чтобы все они поскорее ушли, тогда она поищет херес, оставшийся от похорон, а потом уйдет к себе и заляжет в синюю постель.

— Ну-ка вставай. Оп-ля.

— Я не думаю, что...

— Ах, Мэрис, не упорствуй.— Боже праведный, имеет же этот человек какие-то права. Втайне миссис Чэт сочувствовала ему. Ну, смошенничал, ну, провернул одно-два нечистых дельца — жизнь-то нелегкая. К тому же она умела распознать негодяя. Бен не похож на подлеца. Лучше бы Мэрис не задиралась с этим своим опекуном. Что это, телефон звонит?

— Я подойду. Подойду, не беспокойтесь.— Наверно, в буфете, в одном из тех старых графинов, осталось что-нибудь выпить. Недобрые здесь люди, никому она не нужна. Только Персу нужна. Коралл чувствовала каждый свой крашеный седой волосок, снимая трубку. Она выжидала.

— Перс? Это ты, Перс? Почему из автомата? Сломался домашний? Что? Это Перс, да? Какие деньги?.. Я ничего не получила, ни пенса... Завешание? Лучше и не говори. Мэрис все подстроила. Она знала и держала язык за зубами... Мэрис? Моя дочь, ты же знаешь... Я говорила тебе, Перси, я... Деньги переходят к ее сыну. Наследство переходит к Артуру... Ну, конечно, у меня есть дочь, а у нее — сын. Я говорила тебе, конечно, говорила. Мой муженек все оставил внуку, ему нет еще и семи. Мне ничего не досталось, ни гроша... Что? Тебе

нужны деньги? Зачем? Ты же обычно при деньгах. Наличные — для чего? Повестка? За что?.. Вызвали в суд? За что, за ограбление магазина? Неужели на этом свете нет ни одного честного человека? Судебные исполнители? От тебя ли я это слышу, Перс?.. Ты же сам мне говорил, что дела твои идут хорошо. Что ты преуспеваешь при любой погоде. Но у меня ничего нет. Ничего, слышишь?.. Ох, Перс. Перс. Перс.— Наступила пауза, Коралл слушала.— О, черт! Скоро буду.

Она вернулась в подвал, губы ее сделались дряблыми, сухими, жалкими. Никогда уже не быть ей похожей на Кроуфорд.

— Что случилось, Коралл? Скажи.

— Перс попал в беду. У него нет денег, чтобы расплатиться. Ему срочно нужна помощь. Большая. К тому же его шантажируют. Кто-то подставил ему ножку.

— Подставил ножку — за что? Что он сделал? Господи, да чем же он занимается, этот ваш дружок?

— Он букмекер, регистрирует ставки. Зарабатывает на бегах, принимает ставки по телефону. Он попал в серьезный переplet.

— Букмекер? Какой у него номер? Букмекеры не часто разоряются.— Миссис Чэт не знала, что и думать. Значит, ее собаки вчера выиграли, это был день удачной игры? А какой прок от выигрыша, если его не выплачивают? Она полагала, что сожитель Коралл — человек более солидный, какой-нибудь агент по продаже недвижимости или управляющий магазином. А впрочем, что тут переживать? Займет денег, и все обойдется.

— Но это не все. Он давал собакам допинг, и его на этом поймали. Кто-то настучал. Теперь нужны деньги.

— Допинг собакам. Боже милостивый. Как это можно, Коралл? Это же мерзкий обман. Бедные собачки, какое преступление, а они-то изо всех сил стараются победить. О чем этот парень думает?

— Сейчас я за него думаю. Ну как, Мэрис, можешь ты выручить? Дашь сколько-нибудь?

— Деньги эти не мои, а Джи, и раздавать их я не могу. Да и в любом случае не стала бы.— Мэрис сделала презрительную гримасу. Коралл не любила Джи. А теперь хочет, чтобы ей дали денег для какого-то прохвоста, с которым она изменяла мужу.

— Ах ты, замужняя одиночка, воображала — мисс Найтингейл. Какой же надо быть злой и жестокой, чтобы спокойно смотреть на несчастную мать. И у вас, Бен, тоже души нет.

— Я тут ни при чем. Мы теперь не женаты, слышали? Азартные игры и без того приносят достаточно бед, а тут еще жульничество. Наркотики запрещено давать. Зачем он это делал?

— Почему я знаю? Я вообще не знала, что он букмекер. А сейчас ему надо помочь.

— Пусть попросит у кого-нибудь еще, Коралл. Мы его не знаем и не хотим знать. Артура опять тошнит.— Мэрис ловко подставила тазик.

— Кто знает, может, это он моих фавориток начинал наркотиками.

— И вы еще называете себя родственниками, друзьями? Мой Перс в ужасном положении.

Артур поднял от пустого тазика красное от напряжения лицо, голос его хрипел:

— Пусть приезжает к нам. Я согласен. В этом доме найдется место для Перса. Он может жить в моей бывшей комнате или вместе с Коралл.

— Можно, Мэрис? Мне такое и в голову не пришло. Это ему поможет. Мы ведь вроде бы помолвлены. Мэрис, я беру назад все резкие слова, которые сказала тебе.

— Он может. Он должен. Я так сказал. В этом доме найдется

для Перса место.— Собственный голос резко отдается в ушах Артура, комната плывет куда-то, люди, предметы кружатся, корона сползает с головы.

— А я говорю — нет.— Сейчас не время для перемен. Не надо давать Коралл спуску.

— Ты права. Мы этого человека не знаем, Мэрис. Если кого и пускать, то Бена. Знаешь что? Я сама могла бы к вам перебраться. Тебе надо отдохнуть, Артур нуждается в уходе. А от своей однокомнатной квартиры я откажусь. Спать могу в котельной. Мне там будет хорошо. Подвал — это мой второй дом.

— Мэрис! Перс должен к нам переехать. Коралл будет счастливее. Каждому человеку нужно иметь кого-нибудь. Пожалуйста. Тогда и я скорее поправлюсь.

— Хорошо. Хорошо. Хорошо.— Мэрис хотелось плакать. Пусть делают что хотят. Ее мать связалась с отравителем собак. Ее бывший муж, мойщик окон, отбывал заключение. Артур ведет себя как римский папа. Миссис Чэт хочет спать в котельной. Она должна поставить Артура на ноги. Потом подумает о себе.

— Значит, договорились. Я еду к Персу. Ты, Ма Чэт, перебираешься в котельную. Там твоей спине будет хорошо. Я не думала, Артур, что ты такой благоразумный. Извини, что я звала тебя дуррачком.

— Слава богу, все уладилось. Вот только позвоню по телефону и пойду собирать вещи.— Миссис Чэт набрала какой-то номер — один раз, потом другой, третий. Номер был отключен.

8

Миссис Чэт привезла складную кровать, едва поместившуюся в котельной; тесновато, но она не против: уютнее и спине лучше. Готовясь ко сну, она немного взгрустнула: зубная щетка и сберегательная книжка с одним шиллингом на счету — вот и все ее достояние. Приехал и Перс. Он вошел в синюю комнату Коралл и оттуда уже не выходил. Коралл перестала ездить на работу. Она и Перс жили как попугайчики: синяя комната была для них уютной клеткой.

— Предоставь все заботам Ма Чэт,— сказала служанка Артуру.— Я знала тяжелые времена, и здесь мне хорошо. Ты стал другим с тех пор, как начал выздоравливать. Только больно уж форсишь.

Артур подышал на пресс-папье, потом тщательно вытер его. Ему пришлось по душе просторная светлая комната, он чувствовал себя хозяином. По ночам часто облачался в одежду деда.

— Что вы хотите этим сказать? Я изменился?

— Лучше бы тебе быть чуточку поскромнее. Ты не замечаешь, что стал разговаривать другим тоном? Отдаешь приказания, требуешь электрических звонков, просишь ночью поесть. В два часа подавай тебе куриную печенку. Это ненормально. Чересчур уж долго болеешь.

— Мне надо поправляться. В этом доме живут трое толстяков и двое тощих. Мэрис и я чересчур худые. Вы умеете готовить цыплят по-мэрилендски?

— Цыплят — как? Знаю я твои фантазии.— Перс почти не ест, Коралл — тоже довольно мало.

— Какое-то время вы сможете прожить за счет своего жира.

Перс прибыл вечером, в день, когда произошел его крах, с кожаными чемоданами, в новеньком пальто, отделанном черным каракулем. Из-под полей его шляпы выглядывали золотистые кудри. Велюр наивысшего качества, сказала миссис Чэт. Он был одет во все дорогое. Внешность может быть обманчива. Он вошел, низко поклонился миссис Чэт и проследовал прямо в синюю комнату. Раньше она надеялась, что когда-нибудь они поженятся и освободят эту комнату.



Комната удобна в летнее время и очень бы подошла миссис Чэт, очень. Теперь, увидев Перса, она испытывала скорее жалость, чем негодование. Бедняга прячется, за ним охотятся, он рассчитывает на милосердие людей. Похож скорее на свинью, чем на злодея.

— Я не ахти какая повариха, на выдумки не хитра.— Да и в любом случае еда должна быть простая, чтобы оставались свободные деньги после закупки продуктов в лавке Шаввлса.

— Ну, я выпью немного чая марки «Граф Грей» с медом, миссис Чэт.

— «Граф Грей»? Пожалуйста. Когда ваша светлость изволите вставать?

— Спасибо, я предпочитаю завтракать в постели. Мне еще нужно время, чтобы восстановить силы. Перс там, у Коралл?— Впрочем, все равно где. Главное то, что Коралл теперь успокоилась.

— Боже милостивый, да, наверно, там. Расплачивается за свои деяния, хотя здесь ему, по-моему, нравится.

— Они пьют, не так ли? Иногда я слышу, как они шумят, будят меня.

— Сегодня ты меня разбудил. Просил куриной печенки.

— Бен не приходил?

— Завтра придет, принесет запасные части для котельной. Зимой с бойлером творилось что-то странное, а весной и того хуже.

— А вам в котельной удобно?

— Тепло и уютно.

— Рад это слышать.

— Да? Не думай, что я не знаю про твои планы. Ты не можешь без конца уваливать от школы. Надо же когда-то начинать. Вот тогда запоешь по-другому.

Миссис Чэт посмотрела на реку, на кафедральный собор — серую скалу на фоне пасмурного неба. Все кругом мертво, серо и тоскливо, мальчугана можно понять. Лучше постели ничего нет. Не верится, что уже конец мая. Мокрый снег, заморозки, опять снег с градом, и этому не видно конца, деревья стоят голые. Реже стали проводиться собачьи бега. Так что Перс может и дальше прятаться, он мало чего потеряет. У нее не было возможности поговорить с ним о собаках. Она не думает, что может ему довериться: слишком уж у него свинячьи, узко поставленные глазки. О людях она судит по физиономиям. Молочник готов услужить, поставить за нее, она заплатит. В таком сверхреспектабельном районе очень трудно найти людей, которые берут ставки. Если ее букмекером был Перс, то сколько он ей теперь задолжал? Так или иначе, Коралл с ним счастлива — двое толстых мошенников в жестоком мире. Она забыла про обиду и снова напеваает себе под нос. Бен — добрый друг, всегда бескорыстный, она его жалеет, что бы он там ни натворил. Он беспокоится за Арта. Мэрис оказалась на высоте, выходила сына. Она проявила твердость и не уступила, когда он потребовал домашнего учителя; старый джентльмен хотел, чтобы Артур пошел в школу, причем не в театральную. И правильно, одобрила миссис Чэт. Мир и так достаточно похож на театр, а что дали занятия танцами Коралл? Мэрис настаивает на самом лучшем, на частной школе с академическими традициями, но тут миссис Чэт не согласна. Человек живет среди разных людей, так почему бы не начать с обычной школы? Сама она училась мало, считала лишним. Артуру важно подружиться с детьми, обрести уверенность, а не думать о театре или о фешенебельной школе. Она его понимает. Он боится детей, боится, что не сможет найти себе товарищей. Актер привлекает людей, а на деньги можно купить приятелей. Вот еще почему Артур мечтает работать с животными. Ветеринары лечат не людей, они лучше всего ладят с домашними животными. Бедный мальчик, узнав, что ему изменили фамилию, не мог понять, зачем это сделали. Он прав: Перс и Коралл пьют; зато

никому не мешают. Вертихвостку ни за что не заставить жить так, как ей не хочется.

— Я подыскала наконец школу,— сказала Мэрис.— Небольшое заведение, пользуется солидной репутацией.

— А они носят форму?

— Да. Форма строгая, за ней надо ехать в Лондон. Школа в другом конце города.

— Я поеду с ним в Лондон. Приятно будет прокатиться.— Миссис Чэт могла бы снова зайти в Сомерсет-Хаус и попутно разузнать, где еще проводятся собачьи бега, поскольку в здешних местах играют очень мало. Развод Мэрис не давал ей покоя.

— Сообщите им мои размеры в письме. Я еще слабый, да и холодно.— Артур поковырял свой пирог. Проще воспользоваться почтой. Он предпочитал оставаться наверху, в своей кровати.

Почтальон доставил посылку. Еще ни разу в жизни Артур не получал ничего по почте. Одежда на имя господина А. Мортисса, а не на прежнее имя Артура Джердера. Фланелевое белье, хлопчатобумажные рубашки, теплые пуловеры, носки из толстой шерсти и шарф. На серой фуражке — малиновый значок с вышитой на нем золотой геральдикой. Артур не спеша примерил каждую вещь, он им покажет — школа-то с уклоном в культуру. Он поглядел на себя в зеркало. Фуражка оказалась впору его большой голове, шелковая подкладка ласкала неровно подстриженные волосы. Бравый вид придал ему уверенности; в новой форме он чувствовал себя как в броне. Он уже может действовать, его не надо много учить. Он прославится, потому что богат. Теперь понятно, почему ему снятся пауки — пауки означают богатство. Он спросил Мэрис, собирается ли она выходить замуж во второй раз. Она ответила, что хочет работать. Ее интересует работа, а не замужество. В работе — смысл жизни.

— А как же я, Мэрис? С кем я останусь? Кто за мной смотреть будет?

— Я буду, глупыш. Я же тебя не бросаю. Я и миссис Чэт. Не задавай глупых вопросов. Со школой все улажено. Потом пансион. Эта школа только для начала.

— Я не хочу уходить из дома. Можно мне завести собачку?

— Никаких животных, я уже говорила тебе. Подумай о бедной миссис Чэт. Она плохо выглядит, учись быть внимательным.

Мэрис старалась избегать резкого тона. Она ухаживает за ним, исполняет свой долг, пройдет не так уж много времени, и он сможет обходиться без нее. Пусть привыкает справляться сам. Беспомощность, слишком большая привязанность оборачиваются болью, скорбью, уходом из жизни. Она никогда не будет такой, как Джемма. Она не станет сидеть дома, подыщет себе работу. Похороны Джи означали конец целого отрезка жизни в доме печальных воспоминаний. Артур должен завоевать мир. Он мило выглядит в своей форме — нормальный счастливый мальчик. Он научится спокойно приспособляться к новой среде, даст ей возможность работать. Она еще молодая и сильная. В последнее время она часто с ужасом думает о собственной смерти. Пора с этим кончать.

— На первый раз я тебя провожу. Дорога туда запутанная, найдешь не сразу. Но домой вернешься один.— Она станет ухаживать за больными. Мэрис мысленно представляет себе, как они ее ждут, эти старые люди — слепые, глухие, увечные. Они нуждаются в ее профессиональной выучке, ее заботах. Миссис Чэт, воображающая себя хозяйкой, обрадуется, когда она уйдет. Высокий узкий дом будет процветать. Но удалится она не сразу, ночевать первое время будет дома. Артура ей не жалко. Больше всего она любит бывать среди старых людей. У Артура есть миссис Чэт, Коралл и Перс, да и отец будет его навещать. В некотором смысле Бен — это дар божий, он развязывает ей руки.

— Почему ты не хочешь прийти за мной в школу?

— Старайся сам о себе заботиться. Я поступаю на работу, буду ухаживать за престарелыми больными, неподалеку от Пью-Мьюс.

— А Бен не может меня встретить? Он ведь будет нас навещать?

— Конечно, будет. Но завтра с тобой пойду я. Учебный год уже начался. Я договорилась с директором. Нет смысла тянуть время. Ты ведь выздоровел. Погода тебе не повредит.

Наутро он встал вовремя и аккуратно оделся.

— Пойду попрощаюсь с Коралл и Персом.

— Если хочешь. Только ты ведь не в межпланетное путешествие отправляешься, а в школу, всего на несколько коротких часов.

Перс лежал в зашторенной синей комнате, стакан под рукой, рядом — букмекерский реестр. Коралл мылась в ванной, напевая свою излюбленную песенку.

— Артур? Уже в школу? Возьми вот это. На счастье. В обиду себя не давай. Жизнь за порогом дома — суровая штука. Бери, бери, это мой подарок. — Он дал мальчику шестипенсовую монетку. Он так долго лежал на мягких подушках, что его золотистые кудри смялись, на голове, в голубом свете ламп, блестели пролысины.

— Благодарю, Перс. Я... волнуюсь. — С чужими людьми легче делиться своими чувствами.

— И хорошо, что волнуешься. Волнение никогда не мешает побеждать в гонке. Моя жизнь была такой, уж я-то знаю. Старайся не дышать бактериями, особенно азотом.

Перс давал мудрые советы, сам же боялся высунуть нос из дома. Из-за своих кредиторов он потерял уверенность в себе, ее сменил страх.

— Это тебе, Артур, бедняжка, поступай как твоя бабушка.

— Не понимаю, Коралл, что это значит. Благодарю. — В руке у него был шиллинг.

Миссис Чэт едва не прослезилась.

— Милый мальчик. Возьми это — на счастье. Вот.

Начало дня счастливое — он разбогател. В небе по-прежнему кружил густой снег. Миссис Чэт сказала, что кремации противны природе — вот погода и мстит. Надо было закопать старого джентльмена в землю. Но миссис Чэт исполнила завещание, собрала золу в горшок. Никто из родных останками не поинтересовался, поэтому она хранит их сама в подвале около своих часов. Покойного в доме уже не вспоминают. Она же думает о нем с добрым чувством, когда в дни уборки вытирает горшок тряпкой. Ей жаль, что Артур уходит.

Его ноги вязнут в снегу. Мэрис шагает быстро, торопит сына. Он должен принаравливаться к людям, а не ждать, что все будет принаравливаться к нему. Раньше его баловали, теперь он должен быть послушным.

Школа оказалась не такой, как он ожидал. Белое здание в стороне от дороги, не больше обычного дома. Не слышно ни голосов детей, ни вообще какого-либо шума. Директор, рослый мужчина, общил, что молитва кончилась и уже начались занятия. Потом посмотрел на Мэрис, добавил, что на этот раз их извиняет, поскольку погода ненастная, а автобусы к школе не ходят. На Артура он не взглянул. Заметил, что мальчикам нравится твердая дисциплина, они должны понимать, что позволено, а что нет. Мэрис согласно кивнула; она и сама так считает. Если мальчик нарушил порядок, то он знает, что его ждет. Артур поступил в школу позже других, но директор надеется, что он не слишком отстал. О пении, театре, искусстве и речи не было — он говорил только о дисциплине, его тонкие розовато-лиловые губы ни разу не скривились в улыбке.

Мэрис ушла. Наступила тишина; в этой части здания звонка не слышно. Директор провел Артура в класс, где сидели мальчики, склонившись над тетрадами, и что-то писали. Ему велели списать с доски

арифметический пример. Он уставился на него. Таких цифр он не знал. Задача на сложение денег. Он привык складывать неправильно, с ошибками: в одном месте приписать пенни, в другом — шиллинг; это было важно, чтобы сумма равнялась проигрышу миссис Чэт. Ответ-то ведь он знал заранее. А тут ответ не указан, никто его не назвал. У всех учеников, кроме Артура, сумма получилась одинаковой. Ответы должны совпадать с теми, что указаны в директорской тетради, а не зависеть от скорости ног гончих. Он попробовал спить у соседа. Директор нахмурился.

— За это обычно полагается палка. Ты не усвоил простого сложения. Прискорбно. Еще прискорбнее твоя нечестность.

Мел с его пальцев посыпался на тетрадь Артура.

— Вот, напиши десять раз: «Обманывать — значит лгать. Лгуны позорят школу. Их будут бить палкой». — Он посмотрел, как Артур выводит буквы. — У нас пишут прописью. Тебе много надо навестать. Ты был болен, но это не оправдывает лжи. У каждого примера свой ответ, без обмана. Пиши прописью.

Артур вонзил карандаш в бумагу. Опять потекло из носа. Он стал энергично вытирать страницу, и на месте капли образовалось грязное пятно. Ученикам велели написать сочинение на любую тему. Он написал: «Земля полна полезных ископаемых, неисчерпаемы запасы минералов. Меня интересует геология». Директор опять нахмурился.

— Ты хочешь произвести на меня впечатление? Напиши что-нибудь о скромности. — Артур подумал о Коралл и пожалел, что ему не хватает смелости написать: «Моей бабушке не дано излишней скромностью страдать, когда захочет в ванну, не хочет цитору опускать». Зазвенел звонок, а он так ничего и не написал на тему о скромности.

В тетради по арифметике у него все перечеркнуто, в тетради по письму — те самые десять раз повторенные фразы. Страничку, на которой Артур пробовал писать сочинение о минералах, директор выдрал. Единственный мальчик, который с ним заговорил, спросил: «Эй, тебя Минерал зовут?» Самое же скверное было то, что он не мог найти уборную. Ему было очень не по себе. Никто не знал его имени. Он отказался пить молоко из бутылочки через соломинку. Во время обеда он не стал есть тушеное мясо в коричневом соусе с морковным гарниром. Еще было яблочное пюре. Ему не показали, где сесть. Потом, уже на площадке для игр, ученики разбились на группы. Если хочешь обратнo в помещение, надо спросить разрешение у старосты. Он незаметно следил за одним рослым мальчиком и вместе с ним проскользнул в дверь, надеясь, что тому нужно в уборную. Как они ее называют — «туалетом», как миссис Чэт, «ванной комнатой», как Мэрис, или «уборной», как Коралл? С этими названиями такая же путаница, как с именами людей. Директор зовет его Мортисс. Нет, рослый мальчик направился не в уборную, а в директорскую. Когда он оттуда вышел, Артур молча протянул ему шиллинг. Тот выхватил монетку и пошел к своим товарищам на площадку, где гоняли по снегу обледеневший мяч. Артур сделал вид, будто любит гулять один, будто игры его не интересуют. С напускной важностью подходил то к одной группе, то к другой. Играть в мяч скучно. Не все ли равно, куда он полетит — в «ворота», сделанные из двух скомканных свитеров, или через забор? Он стоял в стороне и смотрел, как мальчишки с криками носятся по площадке, борются за мяч. Боясь напустить в брюки, он скакал на одной ноге, потирал руки, кривил лицо, хлопал себя кулаками по бедрам. На уроке истории директор читал стихи Киплинга, потом ученики, попросившись с ним за руку у парадной двери, разошлись по домам. Ладонь у директора была вялая, сухая, выпачканная в мелу.

— Старайся, Мортисс, иначе ты у нас не останешься. Научись правильно складывать, писать прописью, будь честным.

Его новой фуражки в раздевалке не оказалось, но он не обратил на это внимания, думая лишь о том, как бы помочиться. Дождавшись, когда на дороге не осталось ни машин, ни людей, высмотрел у стены недалеко от школы куст, за которым виднелась калитка, ведущая в чей-то сад. Деревья под тяжестью снега склонили свои ветви, их контуры выделялись на заснеженном небе. Он расстегнул пуговицы, от светлой струи закрутился пар. Подтаявший снег быстро замерзнет, на этом месте останется пожелтевшая дырка. Ему казалось, что с утра прошло много лет, и вот он возвращается, наконец, домой, где его ждут покой и уют. Но сначала он купит сладостей, отпразднует свое освобождение. У него есть деньги, подаренные ему на счастье, вот только бы найти кондитерскую. В желудке у него урчало, эта часть города ему незнакома. Он пожалел, что в свое время не ходил с миссис Чэт на прогулки и теперь чувствует себя в родном городе чужаком. Они предпочитали обманывать Мэрис и вместо гуляния отсиживались в подвале. Но должны же быть какие-то магазины — за следующим углом, например, или еще дальше. Он заблудился и забыл, где школа и та стена, у которой оставил след. Дома, машины, почтовые ящики на углах казались ему одинаковыми, он их не узнавал из-за крутящихся в небе снежинок. Мэрис шла тогда очень быстро, улицы петляли, как в лабиринте, хуже картины-головоломки. Похолодало. К вечеру снег, падавший рыхлыми хлопьями, затвердевает. Ты улавливаешь его запах, вкус, он пропитывает поры тела. Проникает в волосы до самых корней, в каждом волоске ощущается колющая боль.

Он надел на голову толстый шарф, завязал его под подбородком узлом, пожалел, что не взял шлем. Натянул гольфы на колени. Разогнувшись, увидел перед собой вывеску «Мороженое». Вошел в помещение, показал рукой на шоколад, сложенный в серебристый штабель. Шоколадные квадратики шелкали на безмолвной улице, когда он разламывал их, перед тем как положить в рот. Шоколад придаст ему бодрости, согреет, в Арктике он поддерживает людей, дарует жизнь. Надо было долго жевать, чтобы ощутить вкус шоколада. Щеки его надулись, в глазах стояли слезы, но он продолжал есть, квадратика издавали звуки, похожие на выстрелы. Где он? Куда вообще девались люди? Не надо терять благоразумие, не надо нервничать. Завтра утром он объяснит директору, что не любит спортивных игр, особенно в мяч, его привлекают стеклянные шарики, картины-головоломки или книжки про минералы. Он, пожалуй, станет актером, если не удастся выучиться на хирурга-ветеринара. Команды, состязания, победы — все это для людей обыкновенных.

Он отбросил ногой комок снега, стараясь казаться беспечным: пусть никто не думает, что он заблудился. Стены домов рядом с освещенными окнами постепенно темнели. Задерживались шторы, оставляя по краям узкие рамки света. За этими стенами — люди, они едят, беседуют, смеются, решают семейные дела. Снегом заносит проходы, он забивается в щели, намечает сугробы, сползает вниз. Кругом тишина. В стенах зданий видны проломы, сюда во время войны попали бомбы; он шагает по бедной части города, здесь еще не начали восстановительных работ. Район этот заброшен, его обитатели забыты. А за углом и того хуже: двери мотаются на петлях, оконные проемы забиты листами железа — обреченные дома на улицах отчаяния. Вот здесь, видимо, когда-то были пивная, универсальный магазин, молитвенный дом под железной крышей, но они обезлюдели. Некого спросить, надо продолжать идти. Он передвигался короткими перебежками и насвистывал, пытаясь вывести мелодию. Вот улица, а вот, за поворотом, — другая. Он постоял, покусывая палец перчатки. Взобрался на сугроб, попробовал сориентироваться, отыскать глазами

уличный фонарь. Должны же быть где-то люди, хоть какая-нибудь жизнь. Он ступал по мерзлой и белой от снега траве, по битому стеклу и жести. От удара его ноги взлетела, вместе с хлопьями снега, консервная банка и, описав дугу, упала. Старая банка фирмы «Хайнц» из-под фасоли. Сейчас он поиграет этой банкой — нет, не в футбол, — целясь в обрушившуюся кирпичную стену. Здорово получилось, Мортисс, удар сильнее, удар по стене, еще, разбей ее. Сильнее! Гол. Ты открыл счет. Неплохо сыграно, бей опять, сильнее. Пусть сыплется снег, а кирпич превращается в щебень и пыль. Вот сдвинулся с места большой камень, расшатывай его и тащи. Образовалась дыра, рой дальше, исследуй, разглядывай, что там, внутри. Что-то твердое, белое, круглое. Не мяч — похоже на мел, тучей взлетает пыль. Кость. Еще кости, кости животного. Берцовая кость какого-то крупного существа, погребенного на долгие годы под кирпичами. Он присел на корточки. Он думал, дыхание из его рта выходило белым паром. Он устал, слишком устал, чтобы искать еще. Его раскопки закончились, в первый день школьных занятий он нашел среди развалин кости. Общие знаменатели, перечеркнутые красным цифрой, прописи, игра в мяч, поиски уборной — все это теперь не имеет значения. Он первооткрыватель, самостоятельно обнаруживший сокровище. Он оставит свои находки здесь. Когда-нибудь мир узнает о них.

— Послушайте, господин офицер, послушайте. — Не болтай много, держись с достоинством, не щебечи, разговаривая с полицейским, одетым в форму.

— В чем дело, сынок? Заблудился?

— Не можете ли вы показать мне дорогу на Пью-Мьюс? Боюсь, что я немного сбился с пути. И... послушайте... там, за углом, кости. Возможно, лошадь или большая собака. Так где же точно находится Пью-Мьюс?

Дорога домой была утомительна. Едва волоча ноги, он шел в направлении, указанном полицейским. Он не назвал своего имени, полицейский же хотел знать все. Почему он до сих пор на улице? Разве он не был сегодня в школе? В какой школе учится? Где его фуражка? Он далеко от дома. Артур ничего не сказал и поспешил прочь. Пусть полицейский ломает себе голову, а он пойдет своей дорогой. Он слишком устал, чтобы о чем-нибудь думать.

— Как поздно ты пришел, очень поздно. Что случилось? В школе все хорошо? Я беспокоилась. — Миссис Чэт лежала на своей складной кровати, грела спину, ждала. Бедный Артур, он такой одинокий. Она не знает адреса школы, а то пошла бы, встретила его. Мэрис нет дома. Мальчик похож на привидение.

— Все в порядке. Я не особенно торопился. Свернул не на том углу. Заблудился. Мальчики довольно дружелюбные, отнеслись ко мне хорошо.

— Мэрис должна была сходить за тобой. Где твоя великолепная фуражка, ты потерял ее?

— Не беспокойтесь. Я благополучно добрался сам.

— Ну, вряд ли. Надо было тебя встретить — первый раз все-таки.

Пришла Мэрис. Ее приняли на работу в дом для престарелых. Она с тревогой посмотрела на сына. Надо уложить его пораньше в постель, нельзя, чтобы у него снова поднялась температура. В первый день всегда трудно, нервное напряжение дает себя знать. Он не должен внушать себе, что болен.

«Хорошо бы больше не снились по ночам пауки», — с надеждой подумал Артур.

Во время завтрака миссис Чэт прочла вслух сообщение, помещенное в газете. В одном разбомбленном здании обнаружен скелет женщины. Двадцать лет назад в нем находилось бюро похоронных процессий, тело оттуда так и не увезли. Когда упала бомба, покойница ждала, чтобы ее предали земле. Миссис Чэт прикрыла очки

руками. Боже мой, и это еще не все: скелет оказался без черепа. Бедная леди, какой ужасный конец. И каково ее родным, если они еще живы. Представляю себе обезглавленную женщину, после стольких лет увидевшую свет божий. В такую непогоду, несчастные родственники, запоздалые похороны. Ее имя не указано.

Коралл подняла глаза от ногтя большого пальца, с которого нервно счищала темно-лиловый лак. Откашлялась. Что-то пробормотала.

— Что вы сказали, Коралл?

— Сказала, что похороны были.

— Откуда вы знаете? Что вы такое говорите? Вы что-то знаете, о чем до сих пор молчали. Бог мой, ну и семейка.

— Это была... Джемма, моя предшественница. Труп миссис Мортисс, первой жены Джи. Черт возьми, я знала, знала.

— Это просто отвратительно, Коралл. Вы не в своем уме. Я знаю, что ее похоронили как подобает. Старый джентльмен хотел, чтобы ее предали земле здесь, поблизости от собора и от дома, который он себе выбрал. Чтобы жить в нем после ухода в отставку. Вы же говорите непонятно что. Объясните.

— Мы были знакомы со Святым Джи, так? Я помогала ему в устройстве похорон. После смерти Джеммы я сказала ему: «Обращайтесь ко мне в любое время». И он обратился. Я сидела на телефоне и взяла трубку, когда позвонили из похоронного бюро. На помещенье бюро упала бомба «Фау-два». «Готовьте гроб к похоронам,— сказала я.— Делайте вид, будто ничего не произошло, понятно?» В те дни бомбы наводили на всех ужас, помнишь, Ма Чэт? «Действуйте, будто ничего не случилось». Они и рады были, потому что людей у них не хватало, а народу много погибло. Все графики были нарушены. А сказано там, кто об этом узнал?

— Кто нашел кости, не говорится. Коралл, вы мерзкая. Врете вы все. Это глупая басня.

— Я не вру. Ты знаешь, что не вру. Да и зачем мне выдумывать? С тех пор прошло много лет.

— И вы заняли ее место, зная, что ее даже не похоронили как следует.

— Мы со стариком Джи были вроде как бы помолвлены. Мы понимали друг друга. Он нуждался в помощи. Я помогала ему. А тут вскоре его сын покончил с собой, и он совсем потерял голову. Все-му виной эта «Фау-два», я сделала все, что было в моих силах. Теперь ты можешь осуждать меня за те похороны?

— Не говорите ничего Мэрис. Эта фотография, это черное бархатное платье. Она бы в ужас пришла, представив себе Джемму без головы.

— Я сделала то, что должна была сделать, не упрекай меня.

— Вы обвенчались с ним, зная, что произошло, и ничего ему не сказали. А потом гуляли с другими мужчинами. Как жаль, что Артуру приходится это слушать.

— Перестань, Ма Чэт, я не хочу ссориться. Служащие бюро пострадали от взрывов. Они обрадовались, когда им велели поступать так, будто ничего не случилось. В те дни каждый управлялся как мог.

— Посмотрите, у Артура опять приступ астмы.

Миссис Чэт велела ему дышать глубже, не волноваться, она нальет ему горячего кофе. Куда Мэрис девала его ингалятор? Забудь про то, что напечатано в газете, все это может быть выдумка, забудь. Бог знает как они поступят с этими костями. Свалят в кучу и увезут; им-то что, им нечего волноваться. Он должен глубже дышать и пить горячее.

Пришел Бен, принес запасные части для котла, взглянул на Артура, разыскал ингалятор. Он осторожно поднял мальчика. Он не

знает и не хочет знать, о чем они тут спорят. Артуру в таком состоянии не до школы. Он договорится с Мэрис, они могут теперь опереться на него. Он вступает в свои отцовские права, берет на себя ответственность. Отнес Артура наверх, снял с него школьную форму. Потом, когда ему станет легче, они смогут вместе гулять. Он нашел книгу по кампанологии<sup>1</sup>, они могут посетить кафедральный собор или побродить по берегу реки. Свежий воздух пойдет Артуру на пользу.

Артур рассказал Бену про школу, про уборную, о том, как его назвали обманщиком, как ему хочется чем-нибудь заняться. Ему кажется, что больше всего он любит животных. Может он стать ветеринаром?

Бен ответил, что об этом еще говорить рано. Сначала надо научиться тому, чему его не учили дома. Общаться с людьми, приспособившись в незнакомой среде — хотя бы попробовать. Быть храбрым — значит делать то, чего ты боишься. Школы ему не избежать. Они полистали книгу о колоколах, книжку Артура о полезных ископаемых. Поиграли в головоломку. Бен показал Артуру, как интересно составлять картинки из частей головоломки, играть в стеклянные шарики, а не просто разбрасывать их по постели. Утро прошло в разговорах и играх под звон церковных колоколов.

9

— Я не горжусь своим прошлым, миссис Чэт. Помню, я вам уже говорил. Теперь заживу по-другому; это в моей власти. Я договорился с Мэрис. Ее не интересуют домашние дела, она не будет возражать, если Артур уедет. Попробуем. Мы подробно все обсудили. Артур будет жить у меня. Он не против.

— Ну, уж не знаю. На что вы будете жить? Куда поедете? Когда? А как же я? Я буду скучать по малышу.

— В Лондон. Устроюсь там, найду работу. Я не лодырь — вы ведь знаете. Я приеду за ним, как только получу место. Это не займет много времени.

— Верно, Мэрис интересуется только ее работа. До вчерашнего дня я ни разу не слышала, чтобы Арт смеялся, с вами ему хорошо, я это вижу. — Миссис Чэт лишилась одного из удовольствий: теперь ей не нужно составлять липовые списки продуктов из лавки Шавваса. Мэрис дала ей свою чековую книжку и не утруждает себя проверкой. Миссис Чэт развлекалась, придумывая названия кушаний: «опилки в сахаре», «заливное из науков», «консервированные хорьки». Могла бы и не ломать себе голову. Еда оставалась все та же — простая: хлеб, дешевый сыр, иногда яйца. Без Артура жизнь потечет еще спокойнее, хотя жаль мальчика, ему нужна ласка. О статье в газете больше ни разу не упоминалось.

— Я уезжаю на будущей неделе. Артура возьму, как только обсохну.

— Мне будет вас не хватать. А особенно Арта. Он мне все равно что сын.

Бен нашел работу, снял квартиру, приехал за Артуром.

Мэрис уходила на службу рано, расставание было коротким. Прощаясь, она коснулась волосами щеки Арта: свой долг она выполнила, пусть ее место займет теперь Бен.

— Пиши, Артур, а то я буду волноваться. Попробуем. Если в Лондоне тебе не понравится, дай мне знать.

Попугайчики в синей комнате подарили ему несколько платочков с вышитыми на уголках синими вензелями. Миссис Чэт стояла на парадном крыльце с мокрыми от слез глазами и протирала очки.

<sup>1</sup> Искусство игры на колоколах.



Кто теперь будет помогать ей выбирать фаворитов? Кто будет слушать ее жалобы на больную спину?

— Прощай, милый мальчик.

Сейчас он отправится в путь, вот он покинул дом, уехал. Кафедральный собор остался позади, не слышно больше колокольного звона. Прощай, смерть, прощайте, похороны и уныние. Его руки и ноги вздрагивали вместе с покачивающимся вагоном. «В Лондон, в Лондон, в Лондон». Он перебегал от одного окна к другому. Кончились тоскливые дни. Он не станет больше воровать, не станет подслушивать, капризничать, он будет есть то, что даст ему Бен. Ур-ра! Бен, с благословения миссис Чэт и к облегчению Мэрис, взял на себя все заботы о нем. «Если тебе понадобится друг, вспомни про Белл Чэт»,— шепнула ему миссис Чэт, размазывая слезу на стеклышке очков. Мэрис отвернулась и торопливо ушла на работу; у нее был вид полицейского, закончившего дежурство.

— Ты любишь ездить в поезде, Артур?

— Я никогда раньше не ездил.

— Ах да, конечно. Тебя ждет много нового. Лондон совсем другой. Но не надо его бояться.

— А что там другое?

— Темп жизни другой. Толкотня. Люди много работают. Но ты привыкнешь. У тебя будут друзья, вот увидишь.

— Мне хочется скорее все посмотреть.

— Будем ездить на экскурсии. В зоопарк, в музей восковых фигур, в другие музеи. Что ты ищешь?

— Пресс-папье. Которое у меня было.

— Поищи в пальто.

Вещи укладывали Бен и миссис Чэт. У него был только один чемодан.

— А форма для новой школы у нас есть?

— В этой школе форму носить необязательно. Не так, как в твоей прежней. Это государственная начальная школа для девочек и мальчиков разных сословий. Тебе там понравится, она недалеко от нашей квартиры.

— У меня нет знакомых девочек.— Да и мальчиков тоже. Он вспомнил лишь того долговязого мальчишку, которому дал около кабинета директора шиллинг.

— Все будет хорошо. Мы отлично заживем. Будем бродить по берегу реки, помнишь, я тебе обещал?

— Вдоль Темзы?

— Да. Там много сокровищ. У Темзы дно илистое—там их и ищут.— Бен улыбнулся, на душе у него было легко: Артур меняется, лицо у него порозовело от возбуждения, он, видимо, представил себе, как будет копать в иле Темзы, где вещи, даже самые обычные, кажутся сокровищами. Печальные дни постепенно забудутся, наступят дни радостные. Бен с удовольствием думал о том, как будет жить с сыном, он сделает все, чтобы мальчику было хорошо. Он сознавал, что нужен, что наконец есть к чему приложить усилия. Снег кончился, день выдался туманный. Чем ближе к Лондону, тем туман гуще; города Артур почти не увидит. Он провел пальцем по стеклу окна: стекло не грязное, оно запотело.

— Это смог? Я слышал про лондонский смог.

— Не совсем. Но все равно из-за него ничего не видно.

— Ну и пускай. Мне нравится.— Ему нравилось все. Песенка Коралл «С неба падают пенни» — правильная. Над туманом солнце, синее небо — золотые лучи только и ждут, чтобы озарить Лондон. Лицо Коралл, как и лицо Мэрис, начало стираться из памяти. Но лицо миссис Чэт и то, как она протирала запотевшие очки, он помнит отчетливо. У Бена доброе лицо, большой нос и умный лоб.

— Жаль, что из-за тумана ничего не видно. Хочешь почитать газету?

Газеты Артуру ни к чему. Теперь о нем заботится Бен. Обойдет-ся он и без «Миррор», которую давала ему миссис Чэт; гончие собаки его больше не интересуют.

— Я хотел бы вернуть себе фамилию Джердер. Мортисс мне не нравится.

— Ты не можешь зваться то так, то этак. Каждый раз привыкать трудно. Подожди немного. Вот подрастешь, тогда и решишь. В новой школе, школе святого Ансельма, ты записан под фамилией Мортисс. Ах, жаль, что туман.

Дома вдоль железной дороги закопченные. В тусклых окнах видны люди, похожие на птиц в маленьких клетках, они сидят за столами перед газовыми плитками и едят; на сушилках висит белье.

— Сколько в Лондоне жителей?

— Более пяти миллионов. Население увеличивается из-за потока иммигрантов.

Артур с гордостью подумал, что с его приездом в городе станет на одного иммигранта больше.

Поезд подошел к станции. Бен с чемоданом сошел первым. В туманном воздухе стоял странный запах, несло сточными водами и се-ледкой. Под стеклянной крышей вокзала слабо светились расплыв-шиеся кляксы фонарей. Пассажиры прикрывали рот шарфами, муж-чины покашливали в поднятый воротник. Люди в Лондоне серьезные, они спешат домой. У контрольного барьера стояла девочка и махала кому-то рукой. Она была в белых носках и черных туфлях с блестящими ремешками. В темноте светлым пятном выделялись ее во-лосы, они были такие вьющиеся, что казались пушком. Ровные зубы и миленькая, как у котенка, мордашка. Она заметила, что Артур на нее смотрит, и скорчила рожицу, вращая глазами, выставив вперед нижнюю челюсть. Артур оробел и не стал передразнивать ее. Он должен еще научиться делать рожи, как лондонцы. Кожа у местных жителей кажется бледнее, и выглядят они старше, серьезнее. Стены домов черные от копоти. Они ехали мимо зданий городского само-управления, почтовых отделений, банков, государственных учреж-дений. Шум уличного движения заглушал даже звон колоколов.

— Теперь уж недалеко, — сказал Бен, — вон за тем углом. Здесь. Приехали.

Их новый дом представлял собою широкое здание из красного кирпича с двустворчатой дверью. На ней металлическое кольцо и ниже — ряд звонков. Внутри — широкая темная лестница из хорошо отполированного дерева. Бен открыл темную дверь на первом эта-же. Два стекла над ящиком для писем придавали ей сходство с человеческим лицом. В квартире Артура ждал сюрприз. На коврик сидел пес, его морда выражала неудовольствие. Длинная спина от-лого спускалась к подогнутым задним лапам. Пес смотрел не мигая, его конусообразная фигура не двигалась, хвост тоже не шевелился. Он был темной масти, его темные глаза глядели с недоверием.

— Чья это собака? Я не знал, что у тебя собака.

— Она твоя. Это сюрприз. Я знал, что тебе хочется иметь жи-вотное. Ее зовут Стоун.

— Стоун? У него неприветливый взгляд. А будет он со мной дружить?

— Да, стоит вам только познакомиться, вот увидишь. Будете лучшими друзьями. Водой не разольешь.

— Ты уверен?

— Конечно. Ты станешь с ним гулять. Стоун — охотничья со-бака. Будешь кормить его.

— Гм. Я, кажется, не взял с собой головоломку и книжку с кало-риями.

— У тебя теперь будут другие занятия. Уроки будешь делать, товарищей заведешь. И потом, у тебя есть Стоун.

Артур огляделся вокруг, ему вдруг стало не по себе. Квартира была какая-то мрачная. Воздух пропах политугой. Книжечка о калориях ему уже не нужна; здесь нет толстяков, которым надо худеть.

— А что он ест, этот Стоун?

— Галеты и теплое тушеное мясо. Ты можешь покормить его сейчас. Животное любит тех, кто его кормит.

Артур взял ложку, наложил в жестяную тарелку корм, помешал и подлил воды. Стоун нагнул свою большую голову к тарелке и принялся жадно есть, подрагивая ушами и увиливая от протянутой руки Артура. Шерсть на его шее была жесткая, не похожая на собачью, прямо рогожа, а не шерсть. Затем пес зарычал, вскочил на кухонное окно и протиснулся между железными прутьями. Слышно было, как он застучал когтями по асфальту, потом все стихло.

— А почему на окнах железные прутья? Ему надо было выйти?

— В больших городах окна первых этажей обычно зарешечены. А Стоуна ты не бойся. Он будет охранять тебя, станет твоим другом, особенно когда я на работе.

— У нас есть что-нибудь к чаю? Скоро будет чай, Бен?

— Мы приготовим ужин вместе. Хочешь жареной картошки? Есть рыба с зеленым горошком. Тебя это устроит?

— Да, конечно.— Он никогда еще не ел жареной картошки. Жареную рыбу один раз пробовал, но Бен готовит ее иначе. Артур помог почистить и нарезать ломтиками картофель; затем, потряхивая дуршлаг, слушал, как шипит жир. Окунал кусочки рыбы в яичный желток, потом обваливал их в толченых сухарях. Он до сих пор не знал вкуса зеленого горошка. В жизни своей не ел ничего аппетитнее. Посуда у Бена была фаянсовая, темно-серого цвета. Он сказал, что любит керамику, любит спокойные цвета и предпочитает есть не спеша, как бы священнодействуя, за аккуратно накрытым столом. По радио передавали старинные песни. На сладкое у них были тушеные сливы с кремом. Потом они перешли в комнату Артура, смежную с кухней, и распаковали его чемодан. Артур разложил свои стеклянные шарики рядом с пресс-папье.

— Ну что ж, скоро мне на работу.

— На работу? Так ведь уже вечер.

— Я работаю ночью. Рядом с нашим домом — разве я не говорил тебе? Конечно, говорил.

— Какая же это работа ночью? Ничего ты мне не говорил.

— Я работаю управляющим. В соседней гостинице. Нарочно так устроился, чтобы быть поблизости. Смотри, как хорошо: я буду рядом, тебе нечего бояться. Сейчас вернется Стоун.

— Но со мной никого не будет.

— А я на что? Всего в двух шагах отсюда. И Стоун, твоя собака, будет стеречь тебя. А утром я вернусь. Еще до того, как ты отправишься в школу, и буду дома, когда ты оттуда вернешься. Лучше не придумай.

— Но я его не...— Артуру не хотелось обижать Бена. Не по душе ему эта собака.

— Возможно, мне даже удастся заглянуть и вечером. В том и вся прелесть, что я работаю рядом.

— А что ты там делаешь?

— Все. Дежурю в гостинице. Она небольшая. Слежу за тем, чтобы постояльцам было удобно, регистрирую приезжающих и выезжающих. Утром приходят другие служащие. Обычно постояльцы у нас только завтракают.

— А можно и мне с тобой?

— Сейчас нет. Когда-нибудь я свожу тебя туда. А сегодня ты должен пораньше лечь спать.

— А можешь ты остаться дома? — Ему нужен Бен, а не Стоун.

— Я купил тебе радио. Чтоб веселее было. Со временем и телевизор куплю. Тебе некогда будет скучать или чувствовать себя одиноким, особенно когда начнешь ходить в школу. Пойдем к парадной двери, посмотрим Стоуна. Это ученый пес, он должен приходить по твоему зову.

На улице все еще стоял туман. Стоуна нигде не было видно. Бен сказал, что собаки — не то что кошки, они не бродяжничают, Стоуна надо ждать с минуты на минуту. А теперь ему пора на работу. Костюм для работы у него был темный, брюки — с красными лампасами. И темный галстук. Он сказал, что форма имеет большое значение, она указывает, что человек занимает определенное положение и имеет вес. Форма нужна и служителям церкви, и полицейским, и солдатам, и даже школьникам; она объединяет их между собой. Артура нечего бояться, его отец — рядом, он обслуживает приезжих, домой вернется, когда Артур будет еще спать, и они вместе позавтракают. На обед Артур сможет приходить домой, если школьная еда ему не понравится.

Артур боялся школы. Но когда он во второй раз встретил Трикси Брик, жизнь стала казаться ему совсем не такой, как прежде.

## 10

Он увидел ее, когда они входили в школьные ворота. Ночь прошла спокойно. Он спал, хотя оставался в квартире один. Стоун появился только утром, вместе с Беном. На завтрак Бен приготовил яичницу, но сначала дал Артуру чернослив из компота: он считал его очень полезным. Потом они отправились в школу, которая находилась в двух минутах ходьбы от дома. Перед школой Артур увидел девочку, которую заметил на вокзале; она вела группу детишек поменьше. Он где угодно узнал бы эти волосы, ниспадавшие пушистыми прядями из-под бирюзовой шерстяной шапочки, эти черные туфли с ремешком. Руками в бирюзовых перчатках она то тянула за собой, то подталкивала своих подопечных. У всех у них были такие же вьющиеся, пушистые волосы. Самый маленький мальчик отпнул дверь, и она чуть не ударила Артура по лицу. Он вздохнул с облегчением, обнаружив, что в лондонской школе у него есть знакомая. И не надо нервничать: девочка, корчившая на вокзале рожицы, учится в старшем классе. Расставание с Беном не огорчило его. Он вбежал в школу следом за Трикс Брик и уже не слышал, как Бен сказал:

— До свидания, увидимся в три тридцать.

Бен рассчитывал поговорить с учительницей Артура, предупредить ее, что с его сыном не все благополучно. Надо радоваться, подумал он, что Артур не выказал страха, легко с ним расстался и побежал в школу вместе с другими детьми.

Мисс Граутинг терпеливо ждала своих учеников, готовясь обратиться к ним с краткой приветственной речью. Каждого нового ребенка она встречала лучезарной улыбкой. Пусть знает, что ему здесь рады, что он вступает в ее семью. Она преподавала все предметы, кроме гимнастики. Ее лицо понравилось Артуру с первого взгляда. Мисс Граутинг довершила то, что начала Трикс: помогла ему избавиться от страха перед школой. Он чувствовал, что поймет ее объяснения, поверит всему, что она скажет. А она оценит его жажду деятельности, его желание стать ветеринаром, поймет, что он сам еще толком не знает, чего хочет. Почувствует, как непривычно ему жить в новой квартире наедине со Стоуном. Ему не хочется

туда возвращаться, не хватает звона колоколов, реки, дома в несколько этажей. И он немножко скучает по миссис Чэт.

— Так вот, Артур Мортисс, я поручаю тебя Бернарду Брику. Бернард, позаботься об Артуре. Помоги ему освоиться.

В раздевалке Артур повесил свое пальто рядом с крючком Бернарда. Бернард с ним не разговаривал. На школьном сборе, который провела мисс Граутинг, они сидели вместе. Учителя по очереди занимались с ними пением, чтением молитв, рассказывали о школе. Мисс Граутинг говорила, что надо выполнять добросовестно все задания, даже самые незначительные, надо быть хорошим товарищем, любить родителей и друзей. Артуру казалось, что она обращается именно к нему, и лицо у нее светилось. Туман рассеялся. Стоял ясный, солнечный день.

— Ну вот, дети, и весна пришла. Давайте споем «Кругом все ярко и красиво».

Когда пропели «аминь», Трикси обернулась и опять состроила Артуру рожу. Он попробовал подмигнуть ей. Поскольку к началу года он опоздал, его зачислили в младшую группу. Благодаря Берну Брику он сразу нашел уборную. Мисс Граутинг считала, что ее ученики должны «облегчаться» когда захотят, только надо поднять руку и вежливо попросить разрешения выйти. Сидя в классе рядом с Берном, Артур любовался лицом учительницы. В нее были влюблены все ученики третьего «Б». Кроме Берна, который был к ней равнодушен. Мисс Граутинг вызывала у них желание отличиться. Они не сводили с нее глаз, влюбленно смотрели на нее, восхищались ее ногами, скромно прикрытыми твидовой юбкой, ее белой блузкой и вязаной кофтой. Восхищались ее туфлями с широкими шнурками, ее крепкими пальцами, уверенно сжимавшими мел. Берна же любил только Трикс, свою старшую сестру. Он нарочно ронял карандаш, норовя заглянуть мисс Граутинг под юбку, и смеялся, когда у той крошился в руке мел. Артур забыл и про миссис Чэт, и про Коралл: теперь у него есть мисс Граутинг. Она умеет находить радость во всем, для нее труд — удовольствие, а не обуза. Она взяла классный журнал и назвала фамилию Артура. Он весело взмахнул рукой:

— Здесь!

Она попросила его отнести журнал секретарю школы. Артур сам нашел нужную комнату.

— А теперь, третий «Б», давайте, как положено, приветствовать Артура — он из графства Кент. Надеемся, что Артур пробудет здесь долго-долго. Покажем же, как мы ему рады.

Она придумала бесшумный способ изъявления доброжелательства: учащиеся не хлопают в ладоши, а согнув пальцы, стучат костяшками одной руки по костяшкам другой. Так сделали все, кроме Берна — он сидел, держа руки на коленях.

— Ну, Артур, чем ты предпочитаешь заняться на первом уроке? Арифметикой? Рисованием? Письмом? Что тебе больше всего нравится?

— Мы можем заняться чтением?

— У нас есть интересная книжка для чтения: «Мальчик, девочка и их собака».

В книжке рассказывалось о брате и сестре, которые жили с мамой и папой в большом загородном доме, и у них было два автомобиля. А в саду был плавательный бассейн. Большинству детей такая жизнь представлялась сказкой. Книжка им нравилась. Артур читал первым.

— Молодец, Артур, хорошо читаешь. Теперь расскажи нам, о чем ты думаешь. Здесь, в этом классе, принято делиться своими мыслями.— Мисс Граутинг испытывала опасения за Артура. Но не показывала вида. Мальчик был слишком худенький, слишком молчали-

вый, слишком серьезный — обычно такие дети вырастают в суровой, замкнутой среде.

— Я думаю о своей собаке.

— Как ее зовут? Скажи.— Ее обрадовало, что у него есть животное, которое он может ласкать. Она не возражала, когда дети приносили с собой кузнечиков, палочников, иногда мышей. Ребята слишком увлеченно ухаживали за ними, и они всегда погибали. Но сознание, что у тебя есть насекомое или животное, о котором — пусть недолго — ты должен заботиться, способствует воспитанию добрых чувств. Учительница нарочно предоставила Артура заботам Бернарда. Бернард Брик — трудный, завистливый мальчик. Она надеялась, что этот высокий, худой, грустный новичок, у которого такая равнодушная мать, поможет Бернарду стать лучше.

— Стоун.— Артур посмотрел на изображенную в книге коричневую в белых пятнах собаку со стоячими ушами и поднятым хвостом: пес, дружелюбно ощерясь, ждал, когда его приласкают. Стоун, возвратившись утром домой, быстро сожрал свое тушеное мясо и, перед тем как убежать, укусил Артура за ногу. Артур посмотрел в окно классной, потом снова перевел взгляд на кофту мисс Граунтинг; он любил яркие, светлые тона.

— Необычное имя для собаки. Расскажи нам про нее.— Мисс Граунтинг продолжала улыбаться. Веселая улыбка заразительна, как и насыпленный вид. Ученики ее уважают, а она старается не обмануть их ожиданий. Она так и думала, что собаку зовут Стоун<sup>1</sup> — сразу приходит на ум что-то жесткое и мрачное. А почему не Пятнашка? Мисс Граунтинг подошла к Бернарду и положила его руку на стол. У Бриков есть кошки. Эти Брики — счастливчики. А вот у Бернарда развиваются дурные наклонности. Такие семьи — соль Англии. Старшая, Трикси (мисс Граунтинг терпеть не может уменьшительных имен, но сомневается, что Трикси ответит, если назвать ее полным именем), — умная девочка. Мисс Граунтинг настойчиво добивается, чтобы Артур разговорился. Он сказал присутствующим, что его собака — коричневая в белых пятнах, с торчащими ушами и поднятым хвостом. Иногда она улыбается, показывая зубы.

— Хорошо рассказал, Артур. Теперь очередь Бернарда. Расскажи нам что-нибудь — что угодно.

Берн молчал.

Во время перерыва на обед прибежала Трикси, обхватила Берна за шею, похлопала по спине, потом прижала к себе. Ее туфли блестящие, как копыта.

— Ты за этим дурачком присматривал, как велела мисс Граунтинг? Не делай этого, Берн.

— Он помог мне, все мне показал.— Артур хотел понравиться Трикси. Он должен привлечь Берна на свою сторону.

— Меня зовут Трикс Брик. А тебя?

— Артур.

— А где твоя мама? Она умерла? Я видела тебя с папой.

— Нет, не умерла, конечно. Она живет в Кенте.

— Поругались, значит? Разошлись? А где твоя прежняя школа?

— Моя настоящая школа — вот эта. Прежде я жил у Мэрис. Потом... они решили по-другому. Теперь я у Бена. А я видел тебя на вокзале. Помнишь?

— Дурачок. Видела я, как ты висел у него на руке. «Мэрис», «Бен». Они кто — твои родители? Чокнутые, что ли, живут в этом Кенте? А у них овцы есть?

— Это же не Новая Зеландия.

Трикс вытерла нос прядью волос. Проверила, не разбрелись ли ее братья и сестра. Когда у Артура день рождения? Сколько он весит? Какой у него рост? Она весит почти сорок восемь фунтов.

<sup>1</sup> Стоун по-английски: камень.

— Сколько же человек у вас в семье?

— Вместе с мамой и папой — восемь. Ты — сачок?

— А что это? — Ему не понравилось это слово. Сачком ведь ловят насекомых. С этим словом связано представление об одиночестве, опасности, страхе. Что имеет в виду Трикс?

— Это когда убегают с уроков. Ну, не идут в школу, дурачок. Смотри не говори «Мэрис» при других детях. А то подумают, что ты воображала. Так что же это была за школа?

— Я проучился там всего один день.

— Значит, сбежал? Вот ты и есть сачок. Прекрати это, Берн.

Берн презрительно усмехнулся. Он уже составил себе мнение об Артуре. Воображала, каких еще свет не видел. Форсун, новичок — вот мисс Граутинг и хочет, чтобы он таскал для нее угли из огня.

— Берн в вашей семье самый младший? — Вопрос был обращен к Берну, но ответа не последовало.

— Я старшая. Потом идут Джюл, Рег, Уилф и Берн. Есть еще маленькая Поуз. Она еще в коляске. Наша любимица. А что, эта Мэрис бросила тебя насовсем?

— Она ухаживала за моим дедушкой. Он умер. А теперь работает в доме для престарелых.

— Вот как. Скучаешь по ней?

— По бабушке Коралл скучал. И по миссис Чэт тоже. Мне нравится Лондон. Нравится у Бена. Он купил мне собаку, которую зовут Стоун.

— Ну и ну. Еще одно дурацкое имя. А у нас дома кошки. Приходи к нам пить чай, я приглашаю. Значит, эта собака твоя?

— Да.— На самом деле Стоун не считает его своим хозяином. Стоун — это враг.

— А тебе нравится мисс Граутинг? Ее здесь все любят. Знаешь, что такое девственность? Кого ты больше любишь — мальчиков или девочек? Да прекрати ты, Берн, а то я маме пожалуюсь.

— Трудно сказать.— Ему было приятно, что Трикси его расспрашивает. Ей хотелось знать все, только не хватало терпения дожидаться ответа. Впервые в жизни он завел себе друга, и этот друг — девочка. Он сказал, что мисс Граутинг — чудесная леди. Она не злится, если ты чего-то не умеешь. Он плохо решает задачки по арифметике. Признался, что у него астма и поэтому он пропустил так много уроков.

— Ассма. А что это такое?

— Такая болезнь на нервной почве, когда трудно дышать. Ты задыхаешься и думаешь, что умираешь.

— Вот оно что! Наша мама тоже задыхается. Это из-за большой семьи. Приходи к нам пить чай. Правда.

— Я спрошу Бена, когда он за мной придет.— Ему хотелось пригласить Трикс к себе, показать пресс-папье и стеклянные шарик. Она вдруг нагнулась низко, до самой земли. Вынув из кармана кусочек мела, начала вычерчивать клетки, которые назвала классиками. В Кенте играют в классики? Артур никогда про такое не слышал. Только в эту игру Брики и играли, ко всем другим играм они относились с презрением. В классики может играть всякий, независимо от возраста. Взяв Артура за руку, Трикси показала, как надо делать. Сначала по первому ряду клеток, потом назад по второму и чтоб не менять ноги внутри клетки. Если же поменял, то выбываешь из игры. Проскакав без единой ошибки по всем клеткам, получаешь собственный «дом», где можешь встать на обе ноги, причем другие игроки должны перепрыгивать через него. Обычно Трикси никому из посторонних не позволяла играть на своей площадке. Артур почувствовал, что Брики приняли его в свою компанию, стали опекать. Первый день прошел для него удачно: он проскакал на

одной ногой. Он решил во что бы то ни стало добиться расположения Берна. Правая нога у Артура устала и подрагивала. Он с завистью смотрел на быстроногих Бриков, ловко перескакивавших с одной клетки на другую. В большинстве случаев победительницей оказывалась Трикс, ее черные туфли с ремешком на пуговке словно летали над землей.

— Смотри на меня, дурачок. Прыгай, не задумываясь. Скок. Скок. Тут надо быстро, понимаешь? Делай, как я.

Их обступили другие детишки: всем хотелось участвовать в игре.

— Начертите свои клетки. А эти — наши. Отойдите.

— А почему этот новенький играет? Эй, ты, новенький, где это ты научился так разговаривать? Воображала.

— Отстаньте от него. Убирайся, Пэдди, а то пожалеешь. У него ассма, оставь его.

Трикс толкнула рыжего мальчугана. У Бирнсов детей много, больше, чем у Бриков, и все они рыжие. Трикс посоветовала Артуру смотреть всем Бирнсам прямо в глаза и не бояться: им бы только приставать к новичкам. Не объясняй никому из них, что такое ассма.

— Смотри, Трикс, мисс Граутинг зовет.

Мисс Граутинг собирала детей по-своему, не полагаясь на звонок; она добивалась их послушания лаской. Поманит пальцем, и они идут. Можно съест школьный обед, а можно — домашние бутерброды. Артур хотел бы обедать с Бриками, которые жевали хлеб в другой половине зала. Вместо этого он сидел рядом с Бирнсами и ел горячее пюре с сосисками. Он с тоской смотрел на Бриков, на их зубы, весело вгрызавшиеся в твердую корочку, на их светлые и пышные, как головки одуванчиков, волосы. Трикс скорчила рожицу. На сладкое детям, обедающим в школе, дали пудинг на сале с джемом. Бирнсы ели жадно, их прямые рыжие волосы свисали над тарелками. На столах стояли кувшины с водой и большие солонки. Излюбленная игра за столом — ударять стаканом о кувшин и разбрасывать соль. Артур улыбнулся и сделал вид, что тоже ударяет стаканом о кувшин и сыплет в свой пудинг соль. Не надо восстанавливать Бриков против себя. Те, кто ел бутерброды, кончили первыми. Завтра он тоже принесет еду с собой. Расстроенная мисс Граутинг, дежурившая в этот день в столовой, убирала солонки. Она еще ни разу не наказывала детей, как другие учителя, никого не заставляла сидеть сцепив руки на затылке. Она добивалась порядка ласковым словом, не унижая достоинства ребенка. Один из Бирнсов выпустил изо рта струю воды на Артура.

— Несчастливая старая дева, хоть и добрая. От чего умер твой дедушка?

— От старости. Скончался. А пудинг на сале мне не понравился.

— Тебе надо было завернуть его в носовой платок. Дурачок.

Брики недоедали, а Бирнсы — еще больше. Бирнсы, в отличие от других детей, перед едой крестились, но в остальном вели себя хуже всех.

— Завтра я принесу бутерброды. Бен разрешит.

Они снова вышли на площадку и играли в «классики» до конца перемены. Артур скакал уже немного лучше, ему удалось выиграть два «дома». Артуру хотелось, чтобы мисс Граутинг видела его сейчас и похвалила. Она опять поманила детей пальцем. Они вернулись в помещение. Брики учились в разных классах, кроме близнецов Рега и Уилфа. Очень Артуру не нравилось сидеть рядом с Берном.

— Нарисуйте что-нибудь, дети. Что угодно. Выберите сами.

Берн уставился на кончик своего носа, выкатив глаза, похожие на блестящие гольши. Артур посасывал карандаш. Он никогда пре-



жде не рисовал. Изобразил кучу кирпичей, потом собаку. Собака смотрела пристальным взглядом и улыбалась, высунув язык. Среди кирпичей Артур поместил кости. Потом стал наносить на рисунок черные штрихи. Все гуще и гуще, пока не получилось сплошное темное пятно. В одном углу листка он написал инициалы «А. М.», а в другом «А. Д.». Хорошо бы спросить мисс Граутинг про минералы, про азот и отраву. Он почувствовал над собой запах антисептического мыла.

— Молодец, славно нарисовал. Очень славно. Только почему затемнил? Что это должно означать? У тебя богатое воображение.— Она скрыла свою тревогу, ее глаза продолжали смотреть спокойно. Мерзкие сюжеты так же огорчали ее, как и дурные манеры детей за столом. Она достаточно хорошо рассмотрела рисунок. Собака — мерзкая, похожая на волка, охраняющего свою добычу. Мисс Граутинг одернула на себе кофту. Слишком уж остро она все воспринимает, что тут особенного — мальчик нарисовал свою собаку, приготовившуюся есть! Слишком он высокий, слишком худой и бледный — только и всего; свою возрастную группу он догонит быстро. Хорошо читает. Арифметика, рисование, общие познания — все это придет в свое время. Истинное лицо ребенка проявляется в искусстве. Да и так ли ужасна эта картинка? Мисс Граутинг рада, что у нее в классе есть мальчик воспитаннее других, владеющий грамотной речью. Жаль, что у него так вышло с родителями. Его дружбой с Бриками она довольна. Хотя они дурно себя ведут и плохо посещают занятия, эта большая веселая ватага поможет Артуру, как и он поможет им. Слушать хорошую английскую речь приятно. Артур смущает ее, она не должна об этом думать. Класс у нее здоровый, все дети один к одному, как яблоки в ящике.

— Давайте, дети, что-нибудь разыграем? Кто начнет? — Разыгрывание сценок — еще одна отдушина, облегчение для смятенной души.

Бледные лондонцы, рыжеволосые Бирнсы, несколько ямайских детей устремили взгляд на новичка. Застыли головки с курчавыми и волнистыми волосами, белокурые, рыжие и черные: дети ждали представления.

Артур подошел к стене, взял палку, которой открывали окна, и тяжело опираясь на нее, заковылял к учительскому столу. Потом снял фуфайку и, обмотав голову, пошатнулся; потом упал, ударившись о стул мисс Граутинг, и растянулся на полу — фуфайка сползла ему на лицо.

— Интересно, что это может значить, Артур! Постучите костяшками пальцев, дети, поздравьте его со смелой попыткой. Кто-нибудь догадывается, что он изобразил?

Все молчали, никто не мог угадать. А Берн даже не смотрел.

— Это был старик, он заблудился, упал и умер, так и не зная, где находится.

— Боже мой. Что-то вроде «Короля Лира». Ты и в самом деле не лишен воображения. Но мы не слышали твоего голоса. Нужны слова, чтобы помочь зрителям. Когда играешь на сцене, надо и говорить.

— Это была пантомима, мисс Граутинг.

— Если бы мне нужна была пантомима, я так бы и сказала. Я хотела услышать твою речь. Прекрати, Бернارد, может, выступишь вторым?

Берн встал, надул щеки, выпятил живот.

— Клоун я, и повар я, попробуйте свалить меня. Прыгаю я, и скачу, и насос вам покажу.

— М-м... хорошо, Бернارد. Не уверена, что мы тебя поняли. Постучите, дети, поблагодарите за попытку. Нужно мужество, чтобы стать перед классом. Этому все мы должны учиться — стоять перед

жизнью и с отвагой смотреть ей в лицо. Ну, а теперь сложите ладони для молитвы. До свидания, детки, до завтра.

Она наблюдала, как дети — ее большая, разноликая, милая семья — разбирают свою одежду. Обратила внимание на аккуратную курточку Артура, ее чистого, ухоженного ребенка. У Бриков одежда поношенная. У Берна — просто рваная. Бедные Бирнсы живут еще хуже: им, как детям малообеспеченных родителей, дают бесплатные обеды. Без этих обедов Бирнсам пришлось бы туго. Она заметила Трикси, свою любимицу, которая помогала братьям-близнецам надеть курточки. Трикси рано приучилась смотреть на жизнь с отвагой — нужда заставляла. Мисс Граутинг старалась относиться ко всем одинаково, делала вид, что для нее дети с Ямайки — все равно что белые, хоть у них и толстые красные губы. Светлые волосы Бриков оживляют любую картину. Она надеется, что Бирнсам удастся зацепиться в жизни. Она проследила за тем, как дети выбежали на улицу, где их встречали матери в шарфах поверх бигуди и — увьи! — с сигаретами, уныло прилепившимися в уголках говорливых ртов. О родителях мисс Граутинг тревожится так же, как и об их детях, — она опекает их всех. Проверила, кого из детишек встретили, а кто пошел домой один. Большим семьям — вроде Бриков и Бирнсов — и детям с Ямайки ничто не угрожает: они ходят группами. А вон отец Артура — его голова возвышается над головами женщин. Мисс Граутинг вздохнула. Она устала и казалась себе похожей на начальника тюрьмы.

Бен пришел в своем рыбацком свитере. Артуру приятно было, что он единственный, кого встречает не мать, а отец.

— Трикси... Трикс... и-и. До завтра.— Артур хотел показать Бену, что у него уже появился друг, что день прошел благополучно, он не чурался других детей. Школа приняла его. Но Трикси не отозвалась. Брики побежали по боковой улице, их ноги стучали по тротуару вразнобой: малыши, переступавшие короткими, легкими шажками, едва успевали за старшими. Артуру хотелось побегать за ними, увидеть их дом. У Бриков — три рыжие кошки. Трикс приглашала его пить чай. Теперь она про него забыла.

— Трикс-и! Вернись.

Он сказал Бену, что Трикс — его друг. Теперь у Артура есть закадычный друг.

— Это ваша учительница? У входа? Симпатичная дама в белой кофте?

— Мисс Граутинг. Мы зовем ее «мисс». — Он теперь может говорить «мы», а не просто «я»; он числится в третьем «Б», где учатся Бирнсы, один Брик, несколько детей с Ямайки и дети из северных графств.

— Какая она?

— Она приняла меня в свою компанию. Мы играли в «классики». Я один раз выиграл. Брики никому не позволяют играть с ними на площадке. Но мне она позволяет.

— Я спрашивал про мисс Граутинг.

— Она чудесная дама. Я сижу с Берном. Он самый младший из Бриков у нас в школе. Трикс приглашала меня пить чай. Можно?

— Посмотрим. У меня на обед сосиски с картофельным пюре.

— Я ел их в школе. А можно мне завтра взять с собой бутерброды, как Брики? — Дома он научится делать рожки и будет дразнить Трикс, когда снова пропойт «аминь». Интересно, какой у них дом.

— Я не возражаю. Тебе нужно разнообразное питание. Как прошли уроки?

— Я изобразил спенку. Мисс Граутинг сказала, что я хорошо рисую. Мы читали книгу про одну семью.

— А игры? Футбол?

— Я уже сказал. Мы играли в «классики». — Он объяснил: это такие клеточки, которые чертят мелом, и он в этой игре преуспел.

— Я очень доволен и горжусь тобой, Артур.— Его сын превзошел все ожидания, он занимался, играл с детьми, сдружился с ними. Он уже не смотрел настороженно. Сейчас они придут и будут вместе готовить обед.

— Смотри, Бен. Вон они, у кондитерского магазина.— Перед витриной стояли Брики вместе с Бирнсами. Из магазина вышли, ритмично двигая челюстями, Трикси и Пэдди. Трикс жевала, не закрывая рта, наслаждаясь фруктовой жвачкой. Заметив Артура, она выпустила розовый пузырь и то выдувала его изо рта, то втягивала обратно. Потом скорчила рожицу. Младшие Брики потянулись к ней за своей долей. Через минуту все принялись жевать, они выдували пузыри, гримасничали, пускали слюни. Нет ничего лучше, как, выйдя из школы, вонзить зубы в палочку свежей жвачки.

— Тебе чего, Арт? Жвачки? Это... Бен?

— Здравствуй, Трикс. Я слышал, ты подружилась с Артуром, учишь его играть в «классики».

— Точно. Он с нами идет? Пить чай? — Артур бросил на отца умоляющий взгляд. Он никогда не жевал жвачки и не бывал ни у кого в гостях.

— В другой раз как-нибудь, Трикси, не сегодня. Ты тоже должна нас навестить.

Пока по закону отвечает за сына Мэрис, Бен обязан быть осмотрительным, стараться делать лишь то, что полезно мальчику. Друзья у Артура должны быть подходящие. Брики, кажется, детишки неплохие, но надо узнать их поближе. В дальнейшем Бен надеется отобрать у Мэрис право на опеку и взять воспитание Артура в свои руки. Он сейчас проходит испытательный срок. Артуру не следует шляться где попало, он нуждается в разумном наставнике. Бен любит Артура, для него этот мальчик — неожиданный подарок; не верится, что ему выпало такое счастье. Он станет достойным отцом. Приятно сознавать, что мальчик во всем, кроме веснушчатой кожи, похож на него. Когда-нибудь Бен законно усыновит Артура и он снова будет Артуром Джердером.

Брики с криками и топотом удалились, оставив Бена и Артура одних.

— Мне так хотелось пойти. Они тебе понравились, Бен, правда? У них есть кошки. Я бы купил что-нибудь для их ребеночка.

— Хорошая мысль. Как ты знаешь, деньги — это моя забота, я имею в виду повседневные расходы. Ты должен получать карманные деньги, определенную сумму на неделю. Сколько давала тебе Мэрис?

— Ничего не давала.

— У тебя должны быть собственные деньги, которые ты мог бы тратить по своему усмотрению, а также немного откладывать. Заведи себе сберегательную книжку.

— У миссис Чэт есть книжка. На ней лежит один шиллинг. Я очень хочу иметь такую же.

Скоро и он заведет серую книжку, его имя будет написано прописью, она ему пригодится, когда он разбогатеет.

## 11

— Хочешь возвращаться домой один? По-моему, ты теперь сумеешь обойтись без меня, верно? — Бен все продумал. Надо, чтобы Артур обрел уверенность, стал находчив.

— Да.— Он большой мальчик, его не нужно встречать. Это других учеников из третьего «Б» ждут у ворот матери, он надеется перейти в другой класс, где учатся его одноклассники. Он хочет, как Брики и Бирнсы, бегать один, без провожатых.

— Значит, решено.— Бен доволен: Артур осваивается, хорошо ест, болтает, улыбается, никаких признаков астмы.

— Я так еще и не был в гостях у Трикс. Она опять приглашала. Можно?

— Не сегодня. Возвращайся прямо домой, Артур. Обещай.

— Хорошо. Она хочет посмотреть мои игрушки, сберегательную книжку и шарики.

— Что? Только не сберегательную книжку, Артур. Деньги — личное дело каждого. Сегодня приходи без Трикс. — Откровенность — хорошая черта, но надо, чтобы Артур был хитрее. Что он уже рассказал Трикс?

— Я ей все рассказываю. Она знает про завещание. А что, нельзя? — Трикс не поверила, хочет увидеть доказательства. Она не знает, что такое состояние, деньги существуют для того, чтобы их тратить, а не копить, — зачем беречь их до самой смерти? Его дедушка, должно быть, рехнулся; почему он не тратил деньги на кругосветные путешествия или на «роллс-ройсы», зачем их мариновать? Она ни разу не видела сберегательной книжки. Зачем беречь карманные деньги, если он все равно когда-нибудь станет богатым? Артур не рассказал ей только о находке в развалинах, оставшихся после войны. Об этом он старался не вспоминать.

— Есть вещи, которые касаются тебя одного. Например, деньги. Сегодня возвращайся прямо домой, один.

— У Трикс есть дома сестренка. Ее зовут Поуз.

— Прямо домой, слышишь? До каникул осталось всего две-три недели.

Берн Брик по-прежнему с ним не разговаривал. Впрочем, Артур больше не нуждался в его дружбе, он уже освоился в школе. После летних каникул Трикс перейдет в среднюю школу, разлучится со своими братьями и сестрами. Ее это не радует. В той школе учатся другие Бирнсы, а из семьи Бриков будет она одна. Ей хотелось остаться с младшими.

Этим вечером Артур возвратился домой один. Трикси переменялась, стала чаще огрызаться, то и дело роняла мел. Не так проворно скакала.

— Что случилось, Трикс? Ты больна?

— Мама больна. Ее должны положить в больницу. Мне не следовало приходить в школу. Надо было остаться с Поуз.

— Мне хочется посмотреть на Поуз. Можно? Когда?

— Сразу после уроков. Только быстро, не канителься. Мне надо спешить. Я не должна была оставлять Поуз одну.

— В дни каникул Бен возьмет меня с собой за город. Ты можешь поехать с нами, Трикс.

— Я хочу посмотреть твою сберегательную книжку. И золотое пресс-папье, о котором ты все говоришь. А стеклянные шарики принес? Ты сказал, что у тебя их много.

— Сегодня — нет.

— Почему же не принес? Все ребята говорят, что ты скряга. Чего ты боишься принести их в школу?

В эти дни все играли в «шарики». Площадка оглашалась звуками их ударов. Шарики стучали по асфальту, передавались из рук в руки, их складывали в мешочки для обуви, ими стреляли с помощью указательного и большого пальцев по неподвижной цели. Артур хотел, чтобы его шарики оставались у него, ему было бы неприятно обменивать или одалживать их. Он предпочитал хранить это богатство дома. Бирнсы увлекались «шариками» круглый год, подобно тому как Брики — «классиками». Остальные ученики любили разные игры. Играли в «файвз»<sup>1</sup>, в «раундерс»<sup>2</sup>, прыгали через скакалку, перебрасывались

<sup>1</sup> Разновидность игры в мяч, в которой принимают участие два или четыре игрока; играют на специальных кортах, закрытых с трех сторон.

<sup>2</sup> Упрощенный вид бейсбола, напоминающий русскую лапту.

двумя мячами, но были дети, которые ни во что не играли, их вполне устраивала роль зрителей.

— Ладно, принесу несколько штук.

— Жадюга-шотландец. А еще говоришь, что богатый.

— Мне не разрешают тратить деньги.

— Я позволю тебе взглянуть на Поуз, если ты покажешь мне свою сберегательную книжку.

— Я не должен... Я обещал Бену...

Берн насупился. Артуру Трикси уделяет больше внимания, чем ему. Мало того, что в школе с ним носит мисс Граутинг, одаряя своими милыми улыбками, он еще вознамерился прийти к ним домой. Надоел на уроках, надоел во время игры в «классики», а теперь хочет добраться до Поуз. Жадюга-шотландец, воображала, везде сует свой нос.

— Выходи сразу же после уроков. Я тороплюсь, ладно, Арт?

Трикс помогла Берну одеться и побежала через дорогу, за ней — остальные. Артур тяжело дышал. Он боялся, что Бен рассердится. Но он надолго не задержится, только взглянет на Поуз и уйдет. Трикс была какая-то странная. Стекланные шарики самой-то ей вовсе и не нужны, это для Бирнсов, которых она хотела задобрить. А этих Бирнсов было более десяти. У Трикс много забот. Артур плелся, тяжело отдуваясь, за Бриками, он надеялся, что их мама выздоровела.

Их дом удивил его яркостью красок, преимущественно розовых. Снаружи на подоконниках выстроились ящики с красной геранью и Гордостью Лондона<sup>1</sup>. В комнатах повсюду искусственные цветы. Стены, стенная обшивка и двери выкрашены в красные и розовые тона. Все жилище Бриков напоминало набор красок, поскольку мистер Брик был маляром. До этого Артур знал только темные дома — тот высокий дом у реки и свою темную квартиру в Лондоне. Кроватей у Бриков не было — только матрацы. Да и вся обстановка скудная — раскрашенные отцом табуреты, оранжевые тумбы, полки. Ели они за столом, напоминавшим козлы.

— Почему у вас все розовое, Трикс? Я спрашиваю не потому, что мне не нравится. Наоборот.

— Это папин любимый цвет. Нам нравятся веселые тона.

В коридоре у них было пусто и тихо; мама из больницы еще не вернулась. В кухне стояла старая коляска темно-лилового цвета; в ней спала Поуз. Ее румяное личико розовым пятном выделялось на украшенной оборками подушке. На столе — ломти хлеба с маслом и кетчуп — закуска к чаю. Сетки на окнах выкрашены в розовый цвет.

— Не разбуди ее, а то она начнет плакать. Не надо, Берн. Прекрати.

Берн ударил ногой по колесу коляски, потрогал Поуз, поцеловал ее в ушко. Теперь к ней полезет воображала. Рег и Уилф навалились на еду. Джюл нашла нож и нарезала еще хлеба.

— Поуз мне очень нравится. Таких маленьких я еще никогда не видел. А что она ест?

— В основном то же, что все. Значит, тебе у нас нравится?

— Да.

— Ну что пишет тебе Мэрис? Или еще кто-нибудь из Кента?

— Я получил открытку.

— Да ну! Какую открытку? От кого?

— От миссис Чэт. Мэрис слишком занята. Она же медицинская сестра. Письма идут к Бену. Обо мне... наверное.

Трикс интересовали все подробности. И то, что он прежде был Джердером, и то, как он сменил фамилию и местожительство. Она еще не встречала человека, у которого была прислуга. Этот Перс представлялся ей таким же чокнутым, как и все остальные. Ее отец тоже любит делать ставки на собак.

<sup>1</sup> Саксифрага умброза (многолетнее декоративное растение).

— Я знаю, что миссис Чэт скучает по мне. Я помогал ей выбирать собак. Перс хороший, он по-прежнему живет с Коралл в синей комнате.

— А мы свою бабушку зовем Нэн.

— Когда-то я беспокоился о Коралл. А потом появился Бен.

— Она что, больная?

— Она толстая. И всегда уходила из дома. Теперь я почти забыл ее.— Он не мог объяснить, что у него за семья. Брики совсем не такие, они делают все сообща, знают, кто где находится, что с кем происходит. Трикс не поймет его.

— Наша мама тоже толстая. Интересно... Надеюсь, это не...

— Жир укорачивает жизнь. Нагрузка на сердце. Коралл тоже ничего мне не пишет. Мне надо идти, Трикс.

— Тебе ночью не страшно? — Трикс быстро отправила в рот кусочек хлеба с соусом.

— У нас есть Стоун. Если я опоздаю, Бен рассердится. Летом он возьмет меня в поход. В разные места. Поедем, наверно, и на море.

— Я пойду с тобой. Слушайте, ребята, я провожу Артура домой. Это недалеко. Присмотри за Пууз, Джюл, меня не будет минут десять. Прекрати это, Берн.

Артур испугался, что по сравнению со светлым домом Трикс его квартира может показаться ей безобразной. Джюл, Рег и Уилф продолжали есть. Берн взял книжку комиксов. Они не ответили Трикс. В их семье многословие считалось излишним.

— А что с твоей мамой, Трикс?

— Никто не знает. Она говорит, что... Когда я перейду в среднюю школу, то стану возвращаться домой позднее. Пууз — славная малышка.

Ее туфли с пуговками замелькали быстрее. Она взглянет на сберегательную книжку Артура, на этого пса Стоуна, на пресс-папье и сразу же отправится назад. Джюл молодчина, Джюл справится, но Берну доверить Пууз надолго нельзя. А чем Бен занимается в той его гостинице?

— Работает. Не иди так быстро, Трикси.

— А ты не валандайся. У меня нет времени.

— Я и так стараюсь. Ты всегда бежишь. Я не валандаюсь.

— Мой папа всю жизнь работает маляром. В больших домах. Хорошие деньги зарабатывает. А Бен всегда был гостиничным служащим?

— Он поступил туда ради меня. Чтобы быть рядом. Ночью. Сейчас он, наверно, дома, ждет меня.

— А мой папа работает днем. Мама говорит, что он трудится и ночью — с ней. Ты не против, что Мэрис и Бен разошлись?

— Бывает, что люди расходятся.— Он запыхался и вспотел. пышная головка Трикси все время была впереди. Что делать, если у него такая странная семья. Он ничего от Трикси не скроет, кроме того, что Бен сидел в тюрьме. Об этом никто не должен знать.

— Без мамы плохо. Мы свою маму любим. И Пууз ее любит. И наши мурлыки. Почему вашего пса зовут Стоун?

— Бен так назвал. Я еще не привык к нему. Он не очень дружелюбный.— Не такой, как кошки Брикков; те требуют к себе внимания, слизывают с розовых ножек стола хлебные крошки, ласкаются, и их ласкают в ответ.

— Скорее всего он от одиночества такой. Поиграй с ним, разве сели чем-нибудь. Некоторые собаки не любят, когда их трогают. Это твой дом? Темный, правда? А это темное здание — гостиница?

— Да.

— Никогда не бывала в гостиницах.

— Я тоже. У Бена там много работы.

— Еще чего сказал! — Втайне Трикси не очень-то высоко ставила

Бена, который все ночи проводит в темном здании, мало заботясь о своей собаке и о сыне. Еще один чокнутый.

— Без него там не могут обойтись. Иначе, я думаю, им пришлось бы закрыть гостиницу.

— Темные стены часто такие жуткие. Темные здания, я имею в виду. Господи.

Артур открыл дверь своей темной квартиры. И опять этот Стоун, в пасти у него какой-то предмет. Что-то грызет и рычит. Теперь сомнения нет — Стоун не тоскует по людям и ничего не боится, он просто ненавидит его, Артура. Не хочет, чтобы мальчик жил в этом доме. Припав на передние лапы, издавая противные звуки, рвет кривыми клыками скомканную бумагу.

— Я пришел, Бен. Совсем не поздно. Я бежал. Привел сюда Трикс, всего на минутку, она пришла посмотреть наш дом.

Никто не отозвался. Бена нет. В кухне, на столе, накрытом светло-коричневой скатертью, керамическая посуда: тарелки, кувшин с молоком, сахар, — не то что у грубоватых, непритязательных Бриков. Бена нет, в доме тихо, слышно только, как рвется бумага.

— Отними, Арт. Это, наверно, письмо. Конверт. Посмотри. От Мэрис или от миссис Чэт. А может, Коралл что-нибудь написала. Хватай его за хвост, быстро. — Стоун разжал зубы, и они вырвали у него листок.

— Так и есть. Мне — от Бена. Ему пришлось уйти раньше. Спрашивает, почему меня до сих пор нет. Я не слишком опоздал, а, Трикси? Некоторые слова расплылись от слюны.

— Дай посмотреть. Неважно, что он там написал, важно знать почерк. Сохрани эту записку. Она пригодится. Где твоя комната? Господи. Темная, а? У тебя тут окон, что ли, нет?

— Мне так нравится. В кухне есть окно. С решеткой. Через него Стоун входит и выходит. В комнате Бена тоже окно.

— А сберегательная книжка где?

— Она у Бена. А это — книга о минералах. Вот пресс-папье. Кусочек кварца и раковины — красивые, правда? Их Бен нашел.

— О, да. А где стеклянные шарики? Здесь, наверно, ужасно тоскливо, только ты да Стоун. Нравится тебе играть в головоломку?

— Теперь нет. Раньше нравилось. Я ее и оставил в Кенте. Вот стеклянные шарики.

Трикс села на его кровать. Считала шарики, не переставая расспрашивала. О Бене и его дурной собаке, о том, любит ли Артур мать. Наверно, он немножко ненавидит Мэрис за то, что она бросила его? Поедет ли он в Кент? Ее мама ни за что бы так не поступила. У него сто двадцать один шарик, он паршивый жадога. Предоставь это ей, она добьется, чтобы Бирнсы получили по заслугам, знает, как заставить их вести себя смирно. Она должна думать, как жить дальше — ей и младшим братьям и сестрам. Дружбу Бирнсов можно купить за стеклянные шарики. В следующий четверг она уже перейдет в другую школу, он должен это помнить. Она отделила бесцветные шарики от цветных, они стукались друг о друга — в полутемной комнате, словно выстрелы, раздавались щелчки. Как он терпит такую тишину?

— У меня есть радио. Я слушаю спектакли. Со временем Бен купит мне телевизор.

— Спектакли? Мы любим музыку. Нравятся тебе занятия в школе?

— Я люблю уроки чтения.

— Так что это за книга? «Земля и полезные ископаемые». Господи. — Она положила книгу на место.

— Она мне нравится. Первый подарок Бена.

— Не забудь сохранить записку. Я пошла.

— А зачем, Трикс, ее надо хранить? — Он чувствовал себя обиженным, жалким. Бен не должен был уходить. Встретив Трикс еще

раз, взглянув на чудесные волосы девочки, он понял бы все, попросил бы ее навещать их. Не так уж поздно Артур и пришел. Зачем может понадобиться эта записка?

— Чтобы убегать с уроков. Нужна будет записка в школу. А для этого надо знать почерк Бена. Я объясню тебе, что написать. Этот кафель на полу в кухне мне нравится. На нем можно играть в «классики». Я пошла.

— Можно мне причесать тебя, Трикс? Пожалуйста.

— Зачем? Меня мама причесывает или я сама. Вот дурень. Не люблю телячьих нежностей. Слушай, мама будет волноваться. Да и Берну я не доверяю. Ну, так уж и быть. Только недолго.

Она достала из сумки носовой платок с розовой вышивкой, развернула его и протянула Артуру большую гребенку. «Подарок из Саут-Энда». Кроме гребенки в сумке лежали пустой флакон из-под духов и спичечный коробок с монетками — и все. Дома Трикс никогда уроков не делала. Артур притронулся к волосам. Мягче ваты, а гребень застревает. Ни разу в жизни он не испытывал такого волнения, как сейчас, прикоснувшись к волосам Трикс, — даже в прежние унылые времена, когда в ожидании новых открытий перекатывался к краю постели.

— Ты не прилаживай, а чеши. У нас волосы постоянно путаются. Люблю, когда они у меня дыбом стоят. Мои — самые светлые.

— А у меня прямые, как у Бена.

— Расчесывай, не бойся. Они не кусаются, чеши. Боже мой, поздно уже. Ухожу.

— Останься, Трикс, а? Побудь еще. У меня уже получается. Смотри, как легко.

— Ладно, оставь, давай гребенку. Увидимся завтра. Не забудь про записку.

— Останься. Не уходи. Останься.

— Пока. И шарики взять не забудь. Не жадничай, у тебя их сто двадцать один.

Стоуна уже и след простыл. Артур в одиночестве сел ужинать. В холодильнике — салат с ветчиной в накрытом тарелкой блюде. Бен придавал еде и режиму питания большое значение. Плохо, что в Кенте Артур ел в подвале. Надо же придерживаться каких-то норм. Бен считал, что Коралл тоже виновата. Миссис Чэт делала что могла, но ведь домашний уют, столовые скатерти, графинчики для соуса скрашивают жизнь. Он надеялся со временем подыскать более просторную квартиру со столовой, научить Артура жить, как живут настоящие джентльмены, как хотел его дедушка. А пока что старался накрывать на стол по всем правилам, предварительно умывшись и приводя себя в порядок. В записке он упрекал Артура в непослушании. Уходя на работу, он не знал, почему сын еще не вернулся домой. Артур взглянул на темные строчки, написанные твердой рукой, похожей на руку мисс Граутинг. Этот почерк он копирует без труда. Трикс подскажет, что написать. Записка очень нужна, ее надо приносить, когда убегаешь с уроков, иначе придет кто-нибудь из школы. Записка же все упрощает. Он любит и Бена, и мисс Граутинг, обманывать их нехорошо. Однако Трикс для него прежде всего. Лживые слова легче написать, чем знал, почему сын еще не вернулся домой. Артур взглянул на темные строчки, написанные твердой рукой, похожей на руку мисс Граутинг. Этот почерк он копирует без труда. Трикс подскажет, что написать. Записка очень нужна, ее надо приносить, когда убегаешь с уроков, иначе придет кто-нибудь из школы. Записка же все упрощает. Он любит и Бена, и мисс Граутинг, обманывать их нехорошо. Однако Трикс для него прежде всего. Лживые слова легче написать, чем произнести. Он опять вспомнил ее волосы, вспомнил, какие они мягкие, как взволновали его. Если он не будет актером или ветеринаром, то станет парикмахером. По вечерам и по утрам будет причесывать ее, аккуратно укладывать волосы. Если он женится на Трикс, то они возьмут Поуз к себе, но это будет еще очень не скоро. Квартира казалась темнее и тише, чем когда-либо, он уже не видел волос Трикс и не слышал ее приятного говорка кокни. Он не станет хандрить только из-за того, что дома темно и тихо. Мисс Граутинг говорила, что надо на жизнь смотреть с отвагой, и он не будет хандрить, будет бодрым и не ляжет рано спать. Бен рассердился, Ар-



тур сходит к нему в гостиницу — это же по соседству. Он вспомнил о Трикс, в ушах его все еще раздавался стук ее каблуков по тротуару, когда она шла домой к Поуз, спящей в темно-лиловой коляске, к миссис Брик, к отцу, протягивающему выпачканные краской руки к чашке с чаем. Он тоже имеет право навестить своего отца в гостинице — это же совсем рядом с их домом. А Трикс он никогда не забудет — она ему дороже всех на свете. Как хорошо было бы поцеловать ее, почувствовать ее жесткие тонкие губы. Он любит Трикс. С ней он точно ожил.

Он удивился, увидев Стоуна у входа в гостиницу, пес поднялся по ступенькам и ждал, когда откроется дверь. Из двери вышла какая-то женщина, Стоун проскользнул внутрь. Артур поспешил следом; ему хотелось увидеть Бена. Он надеялся, что ему разрешат побыть здесь, помочь отцу, что лицо Бена просияет, как сияло у школьных ворот, когда он выходил к нему после уроков.

Он представлял себе длинный письменный стол, доску с переключателями, самописки, блокноты, ценник для постояльцев. Увидел же он узкий коридорчик с треугольной конторкой в конце. За конторкой стоял Бен, он старательно водил пером по бумаге. Артур думал, что отец встретит его улыбкой, приветственным возгласом и познакомит его с другими служащими: «Это мой сын, он теперь у меня живет». Ожидал увидеть их почтительные взгляды, знаки внимания к сыну начальника. Но Бен смотрел из своего угла хмуро. Сверху доносился чей-то смех. Тускло светились лампы. Зазвонил телефон. Бен взял трубку, заговорил тихим голосом, без улыбки, записал в книгу чью-то фамилию. Потом снова заговорил, брови его сошлись почти в одну линию.

— Чего тебе здесь нужно? Поздно пришел из школы, я не мог тебя дожидаться. Почему не явился вовремя? Зачем пришел сюда? Я же не велел приходить.

— Я думал, ты будешь рад. Разве ты не хочешь меня видеть?

— Я оставил тебе записку. Ты прочитал ее?

— Не успел, ее схватил Стоун. Я думал, тебе будет приятно. Я благополучно вернулся домой, а Стоун — знаешь что? — оказался здесь раньше меня. — На собаку Бен не сердится, не отругал ее. Стоун с видом хозяина обнюхивает конторку, а сын управляющего не удостоился даже приветствия.

— Стоун — бродяга, сам о себе заботится. Он здесь часто бывает. Я же велел тебе ложиться спать.

— Тебя не было. Я беспокоился. Мне было... одиноко. Я вернулся не поздно, задержался всего на несколько минут. У нас рано кончились занятия. Со мной приходила Трикси, но пробыла недолго.

— Ты привел ее без моего разрешения. А я велел подождать, без спроса не приглашают гостей.

— Она пробыла недолго. Я скучал.

— Ты ослушался меня дважды. Я огорчен. Не ожидал, что у тебя такой характер.

Лицо Бена оставалось жестким, недовольным. Гостиница — это учреждение, здесь детям не место. Стоун — другое дело, против собаки никто не возражает. Этот пес у него уже довольно давно, и они неплохо уживаются. Он сказал Артуру, что это его собака, чтобы мальчик чувствовал себя в безопасности, заботился о животном. Баловать Артура ни к чему. Артур дерзок и неблагодарен.

— Я ведь только повидать тебя пришел, Бен.

— Я сказал, что ты должен делать. Иди сейчас же домой. Извини. — Бен взял трубку, его брови стали похожи на железный прут. Он снова записал что-то в книгу.

— Кто это звонил, Бен?

— Клиент, кто же еще. Заказал номер. Теперь ты видишь, что я занят, не так ли?

— Я думал, ты здесь распоряжаешься.  
— Я и распоряжаюсь.  
— В таком случае можно мне посмотреть гостиницу? Стоун здесь как дома, а мне нельзя?

— Уйди, Артур. Уйди, прошу тебя.

— Не уйду. Почему я должен уходить? Вот останусь и все. Поднимусь вместе со Стоуном наверх. Он же мой, вот я с ним и пойду.— Он не узнавал собственного голоса, который сделался тонким и визгливым. Он совсем не капризный. Бен требует, чтобы он ему не мешал. Здесь то же, что в Кенте, никому он не нужен, всем помеха, у всех путается под ногами. Сейчас он поднимется наверх, в гостиницу Бена, где смеются какие-то люди.

— Наверх ты не пойдешь. Слышишь?

— Нет, пойду.

Но едва Артур занес ногу на ступеньку лестницы, как к нему подскочил Стоун.

— Вот дьяволенок! Стой! Я проучу тебя. Делай, что я сказал.

Артур почувствовал, как рука Бена схватила его за ворот, а зубы Стоуна сжали щиколотку. Он вскрикнул. Сзади хлопнула дверь.

— Приве-етик! Что тут происходит? Черт побери, Бен! Артур! Что вы тут делаете?

— Коралл? Какими судьбами? Я вас не ждал.

— Еще бы вы ждали. Оно и видно. Я так и думала, что найду вас здесь. Мэрис дала мне адрес, и я решила заехать. Должен же кто-то наведаться, узнать, что и как. Судя по всему, правильно сделала.

С ней пришел какой-то мужчина, он тоже был свидетелем скандала. Стоял позади с пиджаком на руке. Таксист. Голова дыней. Коралл, одетая по-дорожному, выглядела толще прежнего, от нее пахло вином. Артур замер на месте. Она видела, как Бен схватил его, точно щенка, за шиворот, видела, как Стоун лязгнул зубами у его щиколотки, слышала крики. Она расскажет Мэрис.

— Это сюрприз, Коралл. По правде говоря, я удивился, что приехали именно вы, а не миссис Чэт.

— Ма Чэт нездорова. Все на спину жалуется, разыгрывает из себя больную.

— А вы, сэр, кто будете? — Бен перевел взгляд на ее спутника, с виду скромного человека, смущенно перекидывавшего пиджак с руки на руку.

— Не обращай на меня внимания, приятель. Что тут у вас происходит? — Не хватало ему еще семейных сцен. Только сердечная доброта заставила его везти Коралл в Лондон. Он познакомился с ней в начале января и с тех пор не забыл. Погода теплая, вот они и приехали поразвлечься, он ничего не имеет против. Ночью-то все бабы одинаковы, к тому же ему было жаль ее. А когда потом разговорились, то понял, что зря так разжалобился. Эта стерва не такая уж одинокая. В том шикарном доме у нее остался мужик, а здесь, как видно, родственники живут. Так что из увеселительной поездки один конфуз получился. И поделом ему.

— Не приставайте к моему другу с вопросами. Это я пришла задавать вам вопросы, Бен. Что здесь происходит? У вас была драка, вы издевались над мальчиком, избивали моего родного внука. Ты видел, да?

— Я тут не в счет. Мое дело сторона. Я ухожу.

— Мы не подрались, Коралл, а только разошлись во мнениях. Артур не хотел меня слушаться.

— Мэрис обо мне беспокоилась, Коралл? Есть от нее письмо?

— Воображаю, что будет, когда она узнает. Мне это совсем не нравится. Не Мэрис, а я беспокоилась. Мэрис занята своими больными. Бен колотит тебя? Издевается?

— Нет. Нет. Вот это — Стоун, Коралл. Мне его Бен подарил.

— Хорош подарочек. Я не люблю собак. Если этот пес твой, то почему он тебя кусает? И что это за заведение? Я позвонила в соседний подъезд, но никто не отозвался.

— Я тут работаю. Это моя служба. В ночные часы. А живем мы рядом.

— Ну и ну. Что за дыра. Я знала, что вы служите где-то рядом с домом, однако не представляла себе, что в таком месте. Бедный Артур, его колотят, и где? Прямо на работе. Сомнительная служба, сомнительное заведение. Я видела, как вы его били...

— Он не слушался. Он избалован. Когда он жил в Кенте, вы, женщины, распустили его до невозможности. Так что наказывать его иногда не мешает.

— Вы еще учите меня обращаться с детьми? А сами и глаз не показывали, пока не прослышали о завещании. Еще посмотрим, что скажет Мэрис.

— Я вполне могу воспитать Артура без вашего вмешательства.

— Разве я ему не бабушка? Все расскажу своей милой доченьке. Вы хвастались, что нашли прекрасное место. Да это же вертеп какой-то. Можете говорить что угодно.

— Это респектабельная гостиница, Коралл, уверяю вас.

Снова раздался смех. Сверху, размахивая ключами, спустились две женщины. Такие же туфли, узкие юбки, меха, духи, как у Коралл. Увидев людей в холле, они повернули к ним ярко нарумяненные лица.

— Что-нибудь не так, приятель? — Одна из них сделала Бену глазки, другая подмигнула таксисту.

— Респектабельная? Знаю я заведения такого сорта. И людей вроде вас, Бен. Вы способны на все, не очень-то разборчивы. Вот погодите, я расскажу...

— Извините, Коралл. Я пошел. — Таксист вышел, хлопнув дверью, вслед за двумя женщинами. Подальше от этой семейки. Баб и так хватает, зачем ему взваливать на себя обузу. Семья — она тянет из тебя все соки, пока не сдохнешь.

— Подожди. Подожди меня.

— А где Перс, Коралл? Почему он с тобой не приехал? — Артуру хотелось повидать беднягу Перса. Неужели он все еще трясется в постели, боясь бактерий и азота, боясь, что его вызовут в суд? Он все еще в Кенте? Кто этот человек с головой яйцом?

— Хватит вопросов, Артур. Дай мне поговорить с Коралл. Отправься домой. Я приду позже. Проверю, все ли у тебя в порядке.

— Приказываете ему таким тоном, словно он собака. Он внук мне, а не бродячий щенок, дурачок несчастный, жаль мне его.

— Вот тут вы заблуждаетесь. Он мой сын. Мы живем счастливо в соседнем доме. Я честно тружусь здесь в ночное время. Он капризничал.

— Я не капризничал. Неправда.

— Нигде нет покоя. Пришла навестить внука, а вы его бьете до синяков.

— Мне не было больно, Коралл. Правда. Не говори Мэрис. Мне в Лондоне нравится. Здесь у меня друзья. И школа нравится.

Жизнь без Трикси, без мисс Граутинг или Бена была бы невыносима. Трикс говорила, что ее отец, мистер Брик, бьет своих детей, однако никто не жалуется. Семьи бывают разные.

— Об этом нельзя молчать. В Кенте тебя никогда не били. Случалось, что не уделяли тебе внимания, это верно, но ни разу не ударили. А тут еще этот огромный рычащий зверюга. Бен, вы жестокий человек.

— Позвольте сказать вам, Коралл, что вы не так часто бывали дома, чтобы судить о его воспитании. Слишком заняты были собой и своими развлечениями.

— И вы туда же? Заодно с ними. Все против меня. А сами-то оставили мою дочь на бобах. Бывший арестант, собственного сына колотите. Вон посмотрите, до слез довели несчастного мальчика.

— Я не плачу, Коралл. Ты должна была прислать нам сначала письмо. У меня здесь друзья и собака.

— Совсем не одобряю. Тут не место для ребенка из порядочной семьи. Грязная лавочка. Не спорьте, я знаю, что говорю.

— Что бы вы об этой гостинице ни думали, Коралл, она имеет хорошую репутацию. Я здесь служу, зарабатываю себе на жизнь. Мне нечего стыдиться.

— Докатались вы, Бен Джердер. Конечно, вам хочется удержать ребенка. Достаточно мне сказать слово Мэрис, и все у вас переменится.

Артур засунул большой палец в рот, он сделал это невольно. Трикс рассуждает, как взрослая, запрещает сосать палец, кусать ногти, тереть волосы: ведь ты уже не младенец, веди себя прилично; из-за этого она и одергивает Берна. Артур же предоставлен сам себе, как в Кенте. У взрослых свои тайны, они что-то скрывают, не доверяют друг другу. Что плохого в этой гостинице? Кто этот таксист? Ему захотелось увидеть сейчас мисс Граутинг, которая с отвагой смотрит на жизнь, миссис Чэт, не одобряющую нытиков. От Бена он не уедет.

— Ступай, Артур, не бойся. Я провожу Коралл.— Бен чувствовал себя беспомощным, униженным. Злился на Стоуна. Эта малопочтенная женщина и какой-то таксист презирают его службу и его образ жизни. Он и сам терпеть не может телесных наказаний. Делает все, чтобы создать счастливую семейную жизнь.

— Позовите сюда управляющего.

— Управляющий — это я, мэм.

— Вы? Как это — вы? Вы же обыкновенный портье. Ночной дежурный. Ночной дежурный в грязной лавочке.

Сверху сошла еще одна женщина в шубке из искусственного меха «под леопард». Она протянула Бену ключ.

— Что случилось, дружок? Помочь чем-нибудь?

— Спасибо, Дот, обойдусь.

— Еду в Кент. Прощайте.— Гулящие девки, притон — вот его служба, она готова держать пари на что угодно, это так же верно, как то, что ее зовут Коралл Мортисс. И деньги зашибает. Она тяжело зашагала к выходу, больше чем когда-либо чувствуя себя уродливой и усталой. Выйдя замуж за старика, она обрела респектабельность, но многое потеряла. Бедный мальчишка, он рано узнает, какой поганой может быть жизнь. У этого неудачника хватило духа бить своего единственного сына. Она даже забыла вспомнить про Кроуфорд.

Вернувшись домой, Артур уселся один на кухне. Взглянул на салатницу. Снова стало трудно дышать. В мире царил мрак, в квартире было холодно. Почему они не такие, как Брики? Когда вошел Бен в сопровождении Стоуна, на щеках Артура видны были следы слез.

— Ты сказал, что ты управляющий. Это правда?

— Да. В ночное время я управляю гостиницей.

— Что такое «грязная лавка»? Магазин?

— Это Коралл так выражается. Она имела в виду дешевую гостиницу. Я пошел туда ради тебя. Почему ты поздно вернулся домой? Ты же знал, что я буду беспокоиться. И не следовало приводить домой Трикси.

— Я не думал, что ты будешь против. Коралл была такая злая.

— Не будем волноваться на этот счет. Я о ней невысокого мнения.

— Почему ты бросил Мэрис? Почему вы разошлись?

— Это была ошибка с самого начала. Ей хотелось найти хоть кого-то. И встретился я. Вскоре нам стало ясно, что мы ошиблись. Я попал в беду, сбился с пути, за это и поплатился. Думал, что лучше

всего мне исчезнуть. О тебе я и понятия не имел. Поверь мне, Арт. Когда-нибудь ты поймешь. Я хочу, чтобы мы были друзьями, хочу быть хорошим отцом. Жизнь сама собой не складывается — ее надо делать. Лучшего места я не смог найти. А сейчас мне пора туда.

— Стоун от меня убегает. Ночью я остаюсь один.

— Почему же ты раньше мне не сказал? Я привяжу его на кухне. К ножке стола. Вот.

— Я не люблю его. Он не любит меня. Разве ты не можешь работать днем, как другие отцы?

— Скоро начнутся каникулы. Днем мы сможем быть вместе. А если бы я работал с утра, такой возможности мы бы не имели. Может, ты хочешь поехать в Кент?

— У меня здесь друзья. Жаль, что наша семья не такая, как у Бриков.

— Нас с тобой только двое. Это совсем другое дело. Не идеал, конечно. Извини, что я не сдержался. Но ведь ты знаешь, я о тебе забочусь. И впредь буду заботиться.

— А кто твои родители, Бен?

— Отец был коммивояжером. Мы его почти не видели. Я дал себе зарок никогда не забывать о своем долге перед детьми, если они когда-нибудь у меня будут. Мне надо идти, Арт.

Стоун, привязанный к ножке стола, лизал свою шерсть. Артур лежал на кровати и думал о Трикс, о мисс Граутинг и о Бене. Снова вспомнил Поуз. Он знал, что Бен не будет ругаться, если его пижама наутро окажется мокрой.

Он поделился своей бедой с Трикс. Она сказала, что Берн тоже еще не избавился от этой дурной привычки. Он рассказал ей о Коралл, о ссоре и о Стоуне.

— А он не прокусил тебе ногу? Давай посмотрим. Твоя Коралл тоже вроде полоумная, только ты не хочешь замечать. Ты еще не выбросил ту бумажку? Завтра будь готов. Приноси бутерброды. Убежим с уроков.

— Куда, Трикс? Куда убежим?

— В Уоппинг<sup>1</sup>. Там ил. Надо идти быстро и не валандаться. Побродим по реке. Так не забудь про записку. А в школу записку напишем позже.

12

— Мы поедем разными автобусами. Берн, Рег и Уилф сядут в первый. Я, Джол и Арт — в следующий.

— А как же Поуз?

— Понесем ее по очереди. На руках, конечно. Как всегда.

— А не лучше ли оставить ее дома в коляске? Может, не надо таскать ее по грязи — разве это не опасно?

— Она всегда путешествует с нами. Слушай, недотепа, не суй нос, куда тебя не просят. — Трикс укутывала Поуз. Как бы жарко ни было, девочку всегда одевали тепло. Поуз была похожа на розовый кокон.

Артур прибежал к Брикам рано, он боялся и одновременно был возбужден, карман его оттопыривался от бутербродов. На кухне у Бриков царило веселое оживление. Готовясь в дорогу, они намазывали на ломтики хлеба селедочный паштет. Берн с хрустом ел бутерброд с рыбой и бросал на Артура злые взгляды. Поуз продолжала спать.

— Где твоя мама, Трикс?

— Что?.. В Уэст-Энде, покупки делает. До Уоппинга порядочно ехать. Готовы?

Набив рты едой, они вышли и с силой захлопнули за собой красную дверь. Трикс, вставшая раньше всех, успела вычистить всю обувь.

<sup>1</sup> Район Лондона близ крепости Тауэр.

На губах у нее виднелись следы маминой помады. Пушистые волосы блестящие.

— Но ведь она слишком маленькая, чтобы ехать с нами, а, Трикс?

— Поуз славная девочка, она ездит туда же, куда и мы.— Трикс потрогала губки Поуз.

— А твоя мама не будет беспокоиться, когда вернется из Уэст-Энда?— Артуру очень хотелось поддержать девочку, он позаботится о том, чтобы ей не снились страшные сны, чтоб она не задохнулась и не озябла.

— Не будет, она знает, что иногда мы убегаем с уроков. Слишком много заниматься вредно.

— Можно мне понести ее? Первому?

Берн был вне себя от ярости. Если этот зазнайка Артур едет вместе с ними, то пусть Трикс разрешит ему, Берну, первому нести малышку.

— Ладно, Берн. До автобусной остановки.— Трикс отдала Поуз Берну. Пригладила волосы. В сумке у нее лежали гребешок, флакон из-под духов и носовой платок. Флакон она наполнила водой, чтобы потом вымыть руки. Берн ужасный надоеда, пускай будет первым.

— А можно потом мне, Трикс? Я еще никогда не держал на руках ребенка.

Без коляски Поуз казалась совсем крошечной, всего лишь розовым шерстяным комочком с личиком. Артуру хотелось посмотреть ее пальчики. Посмотреть, как она открывает глазки. Увидеть животик. Он никогда еще не видел девочки. Даже Коралл, перед тем как выйти из ванной, завертывалась в полотенце. Щеки у Поуз были под цвет одеяльца.

— Потом Джюл понесет. Ребенок-то не твой, а наш. Зайдем в кондитерскую. Джюл, после Берна — ты.

— Можно я куплю шипучки, Трикс? Для Поуз?— Артуру хотелось опустить в жидкость соломинку, коснуться ею язычка девочки, увидеть, как она облизывает губки, научить ее любить его, будто она — его дочка.

— Она еще маленькая. Ей нельзя шипучки. Сколько ты взял денег с собой?

— Один шиллинг.

— Только? Мало. Скрыга, а еще говорил, что богатый.

— Скрыга! Скрыга! — подхватил Берн.

Артур обиделся. Он не скрыга и не зазнайка. Их голоса дребезжат, как надтреснутые колокольчики.

— Все мои деньги в банке. Вот вам мой шиллинг.— У Мэрис он таскал деньги, а у Бена — нет. Он хотел, чтобы Бен доверял ему. Жаль, что Брики о нем так плохо думают.

— Да оставь ты этого шотландца в покое. Он же не виноват, что он такой.— Трикс как всегда заспешила вперед. У них-то есть деньги, много денег, об этом позаботился папа. Газировку выпьют все, кроме Поуз. Трикс ручается, что ее папа зарабатывает больше Бена. А шоколад Поуз можно. Надо проехать две остановки в автобусе, потом пройти пешком, прежде чем они доберутся до Уоппинга.

— Отломи шоколада, Трикс.

— Замолчи Будешь есть то, что я дам. И не хныкать. Вот наш автобус Рег, возьми Поуз. Быстрее. Уилф, помоги Берну.

— Почему мы едем отдельно? Разве нельзя всем в одном автобусе?

— Кондуктора съются с вопросами, хотят знать, почему мы не в школе. Осторожно, Рег, не ушиби ей голову.

Джюл надулась. Очередь была ее, а не Рега, после Трикс она — старшая. Когда Трикс перейдет в другую школу, Джюл будет главная. Все переменится. Артур старался не думать о школе. Там, в третьем «Б», недоумевают мисс Граутинг. Бриков нет, а где А. Мортисс?

Она пометит в журнале, что они отсутствуют, будет озадачена, ей и в голову не придет, что они едут в красных лондонских автобусах к порту. Автобус, в который сели Трикс, Джюл и он, был почти пустой. Горячие плюшевые сиденья кололи им ноги. Они дышали автобусным чадом, за стеклами впереди идущего автобуса белели головы Берна, Рега с Поуз на руках и Уилфа.

— Жаль, что у меня нет своего ребеночка.

Трикс пренебрежительно посмотрела на него. Да как же такой шотландский скряга сумеет справиться с ребеночком? Хотел напоить девочку газировкой, что с ним разговаривать, если он не знает, где у нее ножки, а где голова? Она открыла сумочку, вынула из спичечного коробка окурки, с удовольствием закурила. С малышами хорошо. Когда умеешь с ними обращаться.

— Ты куришь? Я не знал.— Артур засмотрелся на красивое облачко дыма, повисшее над ее головой. Она выпустила дым ему в лицо и щелчком отбросила обгоревшую спичку. Посмотрела с опаской на ехавшую впереди компанию. За Берном надо смотреть да смотреть.

— Сбежали с уроков? Куда это вы направляетесь? А не рано ли ты закурила? — Кондуктор скучал. Меньше пассажиров — меньше работы. Хоть с детьми поболтать.

— А вам-то что, мистер? Мы едем по делу, если хотите знать. И не такая уж я маленькая.— Трикс снова пригладила волосы. Если вести себя по-взрослому, то можно выглядеть старше своих лет. Во всяком случае, забот у нее не меньше, чем у взрослых. Если так пойдет и дальше, то она сделается старухой еще до того, как поступит в среднюю школу. Ее братья и сестра этого не понимают. Джюл еще узнает, почем фунт лиха, когда станет за старшую. Один Берна чего стоит.

— Что ж, ладно. Куда путь держите, мэм?

— В Уоппинг.

— На Олдгейт пересядете. На шестьдесят седьмой.

— Знаем, мистер, знаем.— С важным, независимым видом она снова выпустила дым из ноздрей. За Берном нужен глаз да глаз, у него слишком скверный характер. Особенно плохо он стал вести себя, когда появилась Поуз. Трикс знает людей, понимает их чувства, знает, что Артур боится всего. Боялся подойти к автобусу, стать на подножку, испугался кондуктора и боится задохнуться от дыма. У него и асма от страха. А вот начнет убежать с уроков и станет увереннее, это пойдет ему на пользу. Если бы она могла, то всех бы в школе приучила убежать с уроков. Кроме Бирнсов.

— На, покури, шотландский скряга.

— Я еще не пробовал. Возможно, скоро тоже начну.— Первая поездка в автобусе, первый побег из школы, первое предложение покурить. Скоро ему дадут подержать малышку. Грудь Артура распирало от радости. От счастья астмы не бывает.

— Тебе плохо? Почему ты так смешно дышишь? — Самой Джюл болеть некогда, поэтому вид этого скряги кажется ей странным.

— Совсем нет. Это от дыма. Мне нравится запах. Только, может, открытым окном? — Он не должен их обижать. Брики здоровые, им ничего не делается.

Трикс с раздражением бросила окурки.

— Вы только посмотрите на это дурачье. Берна вылезает из автобуса. Вот зануда полоумный. Это же не та остановка. Теперь и нам придется сойти.

Открыв переднее окно, она стала кричать. Берна, не обращая внимания, соскочил с подножки. Рег с Поуз на руках — за ним. Уилф — тоже.

— Что с тобой? Неужели ничего не можешь сделать как надо? Это же не наша остановка.

Берн и ухом не повел. Он для того и сошел, чтобы избавиться от воображалы, незаметно ускользнуть от него.

— Теперь, Трикс, мне можно подержать Поуз? Сейчас моя очередь?

— Я же сказала, что Поуз не твоя, она наша. У тебя нет ребенка. Сейчас очередь Уилфа — до остановки автобуса. Пойдем пешком. Дурачье.

Пока они шли быстрым шагом по унылой грязной улице, солнце скрылось за облаками. Берн с угрюмым видом плелся вместе с ними. Шествие замыкал Артур.

— Не доверяй никаким кондукторам, они вечно суются в чужие дела. Остерегайся людей в форме. Они думают, что могут всем приказывать.

— Бен тоже носит форму, у него на брюках красные полосы. Он не думает, что может всем приказывать.

— Все равно я не доверяю людям в форме. — Трикс, склонившись над Поуз, тихо запела.

— Почему ты запела эту песню? Поуз любит что-нибудь веселое. — Джюл считала, что она лучше Трикс знает, что Поуз любит, а что нет. Трикс только приказывает, она хуже любого кондуктора.

— Не знаю. «Кто понесет колечко? Я, сказала птичка, я понесу колечко». Эту песенку мы пели в школе. А Поуз все равно, правда? Малюточка Поуз.

— Когда же моя очередь? Когда я понесу Поуз?

— Молчи, скряга. Ты последний, я же сказала. Следующая будет Джюл. Поуз ведь не твоя. Ты — посторонний.

Трикс толкнула Артура. Джюл скорчила ему рожу. Они насмеялись над ним, заставляя чувствовать себя вором, посягающим на их драгоценное дитя.

Подожел шестьдесят седьмой, они забрались в него все вместе, уселись внизу на передних сиденьях. Артуру пришлось устроиться сзади — рядом с остальными Бриками места для постороннего не нашлось.

— Скоро будем в Уоппинге. Смотрите, вон река мелькнула.

— Она грязная, да? Это Темза? Ты уверена, Трикс? Тут сплошная тина. — Вдали от школы, от их светлого дома Брики стали другими, враждебными. Здесь он не может им доверять.

— Конечно, Темза, наша Темза, хорошая, чистая река. Поддерживай ей голову, Джюл, ладно?

— Знаю без тебя.

— Без меня вы бы пропали. Все.

— Я умею обращаться с маленькими. Правда, Трикс.

— Последний раз говорю: заткнись. Ничего ты не умеешь. Автобуса испугался, тебя и мать бросила, и эта полоумная бабка. И этот твой проклятый пес. Ни за что на свете не согласилась бы быть на твоём месте. Не верю, что у тебя есть деньги. Знаешь что? Я думаю, ты врун, воображала и жадина. — Трикс сощурилась. Скоро она найдет золото для мамы, золото в Темзе. Возможно, маме придется лечь в больницу. Она не велела Трикс говорить другим детям, пока не будет знать точно. Что-то неладно у нее внутри. Вот почему Трикс сбежала сегодня с уроков. Она умрет, если... Она найдет для мамы колечко, часы, брошь — да мало ли что можно найти в Уоппинге.

— Я не врун, Трикси. Когда же?

— Что «когда же»?

— Когда мне дадут Поуз? — Артур настроился добиться своего; он может быть и упрямым.

— Я же сказала. Девочка наша. Ты сможешь подержать ее, когда мы отправимся на поиски сокровищ. Такой чистюля, как ты, не захочет пачкаться.



— Я тоже приехал искать сокровища. Мне очень хотелось. Поэтому мы и сбежали с уроков. Может, найду золото. Поуз мне не помещает.— Артур не уступит: ведь ему обещали. Трикс обманщица.

— Что-о? С нашей Поуз — в Темзу? Ты шутишь. Нельзя.

Берн ухмыльнулся, остальные засмеялись. Вот и хорошо: они пойдут, а этот воображала пускай сторожит на берегу.

— Так мы и сделаем, решено.

Артур ожидал увидеть в порту яркие краски, шум, суету. Увидел же он серые здания и запустение, грязь, ветхие причалы, заброшенные пакгаузы. Тишину лишь изредка нарушали отдаленные гудки буксиров. Вода в этот час отлива была темнее дамбы, темнее свинца. На фоне пасмурного неба торчали стрелы подъемных кранов. Уоппинг — это мертвый район с заброшенными, полусгнившими строениями, с каменными осклизлыми берегами. Трикс сказала, что здесь водятся крысы. К воде вели ступени — по ним было трудно спускаться. Каменные тумбы на причале, где когда-то приставали суда, разрушились. На обмелевшей реке вдоль берега чернели островки липкой грязи. Брики радовались, что пришли в этот час, теперь самое время искать сокровища. Они разулись, сняли носки и оставили все наверху лестницы вместе с сумкой Трикс.

— На, бери. — Джюл протянула ему Поуз.

Вот и настал его черед. Он забыл о своих бедах, забыл о своих обидах, забыл, что к нему относились как к постороннему, — теперь у него есть Поуз. Она лежала неподвижно, как куколка, тонкие паутинки ее ресниц были опущены. Артур сдвинул чепец: вылитая Брик. И такой же светлый пушок на головке. Берна, Рега и Уилфа недавно постригли, причем довольно коротко, так что сквозь волосы проглядывала кожа; у Поуз волосы были короче всех. Он приподнял край одеяльца и посмотрел на ножку: ногти на ее маленьких, как лепестки, пальчиках казались крапинками. Она его. Девочка открыла глаза — не карие, как у других Бриков, а нежно-голубые. Он сжал ее, поцеловал в носик, прижался щекой, а она смотрела на него. Он сел на оставленные ребятами носки. Наконец-то он с Поуз. Он забыл обо всем: о Бене, о Мэрис, о мисс Граутинг, о школе, об остальных Бриках, сбывшая его страстная мечта. Он дышал спокойно и гордо, девочка, предоставленная его заботам, дороже бриллиантов английской короны. Он ей нужен — должен проследить, чтобы она не замочила пеленку. В небе слабо светило солнце.

Трикс и Джюл взвизгнули. Забава началась. Они подоткнули платя.

— Ух ты-ы. Ну и грязь.

— Даже ног не вижу. Здесь глубже. Солнце бьет прямо в глаза. Осторожно. — Трикс пошла первая, под ногами у нее зачавкало. Она наклонилась, ее волосы свесились почти до колен, руки нащупывали добычу. Джюл, Рег и Уилф увлеченно копались в иле и молчали. Берн остался возле лестницы, он то и дело озирался на Артура.

— Смотри, Трикс. Я на что-то наткнулась.— Джюл вытащила палку и замахала ею над головой.

— А я деньги нашел. — Рег протянул мокрую руку.

— А у меня вот что. — Уилф помахал какой-то зазубренной штукой, с его черной по локоть руки стекала грязь.

Берн вытащил ботинок без подошвы. Все ждали, что Трикс их похвалит.

— Брось палку, Джюл. У тебя, Рег, всего лишь фартинг. У тебя, Уилф, половинка ножниц. Выкинь, ничего ты ею не разрежешь. Выбросьте всё. Нам надо было взять с собой сумку.

— Посмотрите на этого подлого скрягу Артура.

— Эй, Артур! Не забывай, что Поуз не твоя. Мы ее на время тебе дали. Не урони, слышишь?

Артур не ответил. Если с Бриками что-нибудь случится, он возьмет Поуз с собой, вырастит ее. Посвятит ей свою жизнь. Розовая, мягкая, влажная, она нуждается в нем, она дороже любого сокровища. Пусть Брики шлепают по грязи в поисках добычи. У него есть Поуз.

— Ой, на что-то острое наступила! Ой!

— Наверное, это золото, Трикс. — Джюл явно начала скучать. Солнце снова спряталось.

— Булавка. Ой! Надо нам было взять ведро.

Всей компании надоело копаться в грязи: ведь самое интересное — подготовка к побегу с уроков, а не побег. Радость тускнеет по мере того, как осуществляется твой план. Приезжаешь на место, начинаешь искать сокровища, и вот тебе уже скучно. Втайне это понимали все Брики. Ямка на месте найденного Берном ботинка медленно заполнялась водой. Один лишь Артур по-прежнему сиял от радости. Может ли мальчик стать акушером?

— Ладно, пошли. — Мечта Трикс о колечке оказалась мифом, ее потянуло обратно к маме. Они еще ни разу ничего не находили. Оставалось довольствоваться лишь полураздавленными сэндвичами с селедкой, которые лежали у них в карманах. И сладостями. Лучше было перейти на другую сторону реки, здесь слишком много бывает искателей.

— Давай перейдем, Трикс? Я хочу.

— Тебе, Артур, сокровища не нужны. Ты ведь, кажется, и так богатый.

— Пошли.

— Я согласен.

— Давайте возвращаться.

— Поехали.

Еле заметно прибывала вода. Издалека снова донесся гудок. Изредка по реке проплывали баржи с бумагой, чугунными чушками, глиной. На мели, ожидая прилива, сидела барка. Артур предпочел бы остаться: ему не хотелось отдавать Поуз.

— Можно мне еще немножко ее подержать? Я же не искал сокровищ. Пожалуйста.

— Отстань. Нельзя.

— Я хочу. Не отдам. Пусть побудет у меня. — Прижимая к себе Поуз, он шагнул на ступеньку ниже. Девочка издала звук, похожий на мяуканье.

— Наша Поуз плачет, Трикс. Это из-за него. — Берн, не выпустивший из рук своей находки, решил, что теперь, наконец, может расщелкаться с этим сквалыгой. Он ударил Артура ботинком и начал толкать его, заставляя подняться наверх.

— Прекрати, Берн. Отдайте мне ребенка. Оба вы ничего не умеете. Бедная Поуз, моя крошка Поуз. — Трикс замурлыкала песенку, укутывая девочку одеяльцем.

— Я же ничего ей не сделал. Не обижал ее.

— Значит, обижал, если плачет. Она ведь не глупая, все понимает, а, Поуз?

— Давай купим мороженого в стаканчиках, хорошо, Трикс? — Джюл надоел этот зазнайка. Без него они, может, и нашли бы что-нибудь ценное — кинжал, пистолет, слиток золота. Это он во всем виноват, несчастный сквалыга.

— Помоги мне надеть туфли, Артур, а то руки заняты. — Трикс, продолжая напевать, вытянула измазанные илом ноги. — «Кто самый скорбный? — Я, молвил голубь, я скорблю о любви, я самый скорбный». — Она принялась тихо укачивать сестренку. Все они безрукие.

Артур надел ей туфли, но ремешки не застегнул. Они зашагали в обратный путь, оставляя на земле грязные следы. Чем ближе они

подходили к автобусной остановке, тем незаметнее становились их следы, пока не исчезли почти совсем. Нельзя сказать, чтобы день не удался, но он нагнал скуку, никаких приключений.

Водитель автобуса нехотя притормозил. Детишки кучу грязи с собой притащат. Им учиться надо, а они в автобусах разъезжают, мороженое едят, пикники устраивают. Сейчас он им покажет. Машина сделала рывок.

— Все наверх. Осторожно. Оп-ля! Не наступи мне на туфлю, Берн. Возьми на минутку Поуз. Держи!

Кондуктор дал три звонка, Берн принял у Трикси Поуз. Потом потерял равновесие, навалился спиной на Артура. Артур подхватил Поуз, она снова стала его, это ангел, для нее он не пощадит жизни. Последнее, что осталось в памяти Артура, был звук, похожий на мяуканье,— такой же, какой он уже раз слышал на каменной лестнице.

## 13

Страх и кровать всегда рядом друг с другом, он к этому привык. Это не та большая кровать с деревянной спинкой, на которой он спал в Кенте. И не его лондонская кровать. Эта — другая, жесткая, он силится вспомнить что-то, потом забывает, потом почти вспоминает. Что он хочет вспомнить? Что забывает? Кругом люди, светло. Он не в темноте, не один. Здесь люди, свет и какой-то звон.

— Колокол?

— Большой Бен. Ты недалеко от Большого Бена, он отбивает время. Ты в... из-за ноги. Ты потерял ступню. Пришлось удалить правую ступню. — Чем раньше он узнает, тем лучше, он еще так молод, что нет нужды смягчать удар. Его жизнь переменялась навсегда. Выше голову, смотри правде в лицо, начинай все заново. Он должен понять: выживает тот, кто умеет переносить несчастья.

Но он не понимает. Почему он должен оставаться в постели? Ступня? Правая ступня? Он все забыл. Помнит шум, стук каблучков бегущего Берна, мелькание ботинок, спешащих за автобусом. Они насмеялись над ним, обгоняли, заставляя плестись в хвосте. Он старался не отстать, ухватиться за поручни движущегося автобуса. Помнит ил, ил Темзы, чавканье грязи, помнит, как бежал вдогонку, прыгнул, ухватился, но автобус все равно ушел. Одна ступня? У него их было две. Правую ногу больно. Что они пытаются ему втолковать?

— Сначала так бывает. Ноги нет, а ты ее чувствуешь. Ступню ампутировали. Повреждены нервы. Нужно время, чтобы они зажили. — Умение приспособиться, мужество, терпение. Суровые слова правды, произносившиеся ласково, снова и снова, но твердо и без обиняков. Правой ступни уже нет, на ее месте бинт. Правая нога теперь немного короче. Счастье, что сохранилась хотя бы левая. Он упал в Уоппинге. Поймал маленького ребенка, выскользнувшего из рук сестры, другой рукой ухватился за поручень, потом упал. Машина, шедшая сзади...

— Поуз?

— Так зовут ребенка? Цела. Благодаря тебе она осталась невредима. Никто, слава богу, не погиб, пострадала только твоя нога. — Бедные водители, оба до смерти испугались, но никто не виноват. Детям место в школе, а не на улице. Жизнь полна неожиданностей, никогда не знаешь, что тебя ждет, на то и существуют врачи, чтобы иметь дело со всякого рода случайностями. Нашему мальчику повезло, он остался жив, жива и маленькая девочка. Жалобы еще никому не помогали, нет смысла горевать, начинай жизнь заново. Он должен научиться улыбаться, ему сделают прекрасную новую ступню. Пройдет немного времени, и он почувствует себя лучше. Культя заживет, его пошлют в специальный центр. Искусственные конечности почти

как настоящие. На его стороне молодость и энергия. Он будет тренироваться, снова начнет бегать, со временем сможет водить машину, плавать. Даже в футбол сможет играть и вообще заниматься всем, что любят мальчишки. Но сперва он должен набраться сил, принимать лекарства. Бедный мальчик, он слишком серьезный. Слишком маленький. Слишком взрослый.

— Папа.

— Отец скоро придет. Он сидел здесь сутками.

Бен склонил к нему осунувшееся лицо, выдавил измученную улыбку. Но, как бы ни улыбались губы, глаза оставались грустными: они выдавали его. Почему Артур ничего не сказал? Он разрешил бы ему поехать и сам бы поехал с ним. Дети есть дети, с мисс Граутинг он бы договорился, он и сам когда-то убегал с уроков. Он был слишком строг и деспотичен, запугал своего единственного мальчика. Ему показывали культу, но он не мог на нее смотреть. Из-за глупых Бриков Артур лишился ступни. Но Бен восполнит потерю. Ничего он не восполнит, разве вернешь мальчику здоровую ногу? Бывают потери невозможные.

— Может, тебе принести чего-нибудь? Чего-нибудь особенного?

Артур покрутил головой. Ему здесь не нравится, здесь все белое, светлое и яркое, и люди слишком уж старательно улыбаются. Он хочет домой. А где теперь его дом? Видел ли кто-нибудь Поуз? Она в самом деле жива и здорова?

Из Кента приехала Мэрис. Почему Артур ничего не писал? Она же мать все-таки и должна бы знать, как и что. У него, наверно, была адская жизнь, если он убегал на Темзу. Коралл говорила, что он счастлив и желает остаться в Лондоне. Теперь же ему придется уехать в Кент, она же сама медицинская сестра, в Кенте он родился, она будет за ним ухаживать. Не следовало отпускать его в Лондон, за эту ее ошибку он будет теперь расплачиваться всю жизнь. Аккуратно причесанные волосы под шапочкой медицинской сестры не вяжутся с ее взволнованным состоянием. Похудевшая, с виноватым лицом, Мэрис беседует с доктором. Хладнокровная, деловитая, она ведет с коллегами профессиональный разговор. Односложные ответы Артура естественны, он и всегда был немногословен в выражении чувств. Он наблюдал за ней, что-то припоминал, понимал, но оставался ко всему безразличным. Книжки, фрукты, подарки не вызывали у него интереса, ничто его не трогало. Мэрис уехала. Оставила ему записку: «Помни, что твой дом — в Кенте. Там все по-прежнему. Коралл и Перси шлют привет. Миссис Чэт по тебе скучает. Поправляйся скорее». Но ему все равно. Он хочет маленькую Поуз.

Однажды днем пришли Брики. Вечерние часы отведены родственникам. Шествие возглавляла Трикс, слышен был стук ее каблучков, туфли блестели как обычно. Она держала Берна за шиворот. Джюл, Рег и Уилф, красные от смущения, стали по другую сторону кровати.

— Давай, Берн. Говори.

— Мы жалеем, что ты пострадал. Извини, что обзывали тебя плохими словами.

Потом они начали болтать. Они снова включили его в свою компанию, он чувствовал себя одним из них, как тогда, во время игры в «классики». Трикс достала жвачку, они начали выдувать пузыри прямо Артуру в лицо. Сам он от жвачки отказался. Ему больше нравилось смотреть.

— Почему ты один? Ты заразный?— Трикс не любит запаха лекарств, ей не по душе улыбочивые лица медицинских сестер. Их ласковость кажется ей притворной. Она не хочет, чтобы ее мама или вообще кто-либо из родственников попал в такое заведение. А ведь в больнице могла бы оказаться и Поуз. Поуз обязана своей жизнью

Артуру. Теперь Трикс не будет над ним смеяться, не будет обзывать жадюгой, скрягой и полоумным; ведь он их спаситель. Ей пришлось поколотить Берна, чтобы заставить говорить. И вот он извинился, заговорил с Артуром. Они обошли комнату, потрогали койку, краны умывальника, заглянули в шкаф, в мусорную корзину, подергали штору, повертели рукояткой, с помощью которой можно поднимать и опускать изголовье койки. Старались не замечать контуров его разных теперь ног. Он угостил Бриков фруктами, и это помогло им окончательно избавиться от смущения. Появилась сестра с таблетками и питьем и сказала, что им пора уходить. Покидая Артура, каждый из Бриков оставил на его постели подарок. Трикс положила пластмассовое колечко, Джол — черную самописку, Рег — два шиллинга, Уилф — перочинный нож. Берна, смущенно опустив голову, повесил на рукоятку койки один носок.

— Почему ты плачешь, Артур? Твои друзья придут еще. Не надо расстраиваться. А ступню тебе новую сделают. Счастье, что все так обошлось. — Сестра обрадовалась его слезам; слезы приносят облегчение. Хорошо, что он не любит спортивных игр, что не слишком подвижный. Они узнавали в школе. Учительница, женщина редкой доброты, написала подробное письмо. Она сообщила, что Артур прилежный ученик, хотя и отстал из-за астмы, которой страдает с раннего детства, интересуется геологией, любит играть в спектаклях и рисовать; из-за разлада в семье он чувствовал себя одиноким. Немного спустя сестра принесла Артуру записку — ее оставили его друзья: Артуру будет приятно прочитать.

«Милый Арт. Я правда жалею. Я знаю, ты берег Поуз. Не болеей, пожалуйста, асмой и чтоб прошла нога. Наша мама тоже больна, и весь дом на мне. Привезу Поуз показать тебе, ты меня простишь?

Трикс».

Пришел Бен, он был настроен решительно. Артур может выписываться, ответственность он берет на себя. Культя почти зажила, перевязки теперь может делать медицинская сестра из местной клиники. Артуру здесь надоело, кто угодно скажет, что ему нужна домашняя обстановка. Бен все уладит, бросит работу, станет ухаживать за Артуром, пока его не отправят в центр протезирования. Уход, которым окружит его отец в домашних условиях, несомненно ускорит выздоровление.

— Когда ты вернешься домой, Артур, твои друзья смогут приходить к нам в гости. — Костыли мальчику уже заказали. Вдали от больничных служащих ему будет спокойнее учиться ходить.

— Поуз я увижу?

— Конечно. Малышка подбодрит тебя, а это как раз и нужно. — Младенцы действуют на людей, как весенний воздух. Бен воспрянул духом. Скоро они созовут гостей. Артур должен написать Брикам письмо.

«Милая Трикс. Я еду домой. Мы с Беном приглашаем тебя на чашку чая. Принеси Поуз. Целую, Арт. P. S. Сожалею насчет твоей мамы».

О костылях он не упомянул. А вдруг она испугается или, чего доброго, станет смеяться. Артур и сам боялся этих костылей. Он учился пользоваться ими сначала в своей комнате, потом стал добираться до уборной, прохаживаться по общему холлу на глазах у взрослых больных. Те желали ему успеха, понимая, как трудно упорядочиваться с костылями, когда надо поворачивать за угол. Все говорили, что он очень быстро осваивается. Чтобы не болели подмышки, деревянные поперечины были обшиты кожей. Впоследствии у него будут стальные шины точно по размерам рук. Молодец мальчик,

все будет отлично, когда вернешься к отцу домой. Не вешай носа, сынок. Чао. Пока. Будь здоров. Настоящий британец. Сочувствием тут не pomoжешь. Жизнь — суровая штука. Его койку быстро займет другой.

— Теперь, когда ты дома и мы снова вместе, нам будет веселее. — Бен сделает все возможное, чтобы Артур скорее поправился. Он поменялся с сыном комнатами. Теперь у Артура спальня с окном, выходящим на улицу. Он может видеть, что делается на белом свете. Сильно ли расстроила его Коралл? Хочет ли он, чтобы она приехала? Пришла весточка от миссис Чэт. Мэрис прислала письмо с разными советами. Артуру надо восстановить силы. Пройдет время — и все станет на свои места.

— Миссис Брик предстоит пройти проверку желудка. Его, возможно, удалят. Уж лучше остаться без ноги, чем без желудка.

— Ты отважный мальчик. Я горжусь тобой. — Уж лучше бы Бен сам потерял ногу, чем Артур, оставшийся инвалидом на всю жизнь. Почему Уоппинг? Он же обещал в каникулы отправиться с сыном на дамбу, взять с собой резиновые сапоги, все необходимое, еду и горячий кофе в термосе. Ему сказали, что бутерброды в кармане Артура ослабили силу удара при падении. Чего уж там страшиться будущего — достаточно мрачно и настоящее. Он постарается развлечь Артура, неплохо бы научить его играть в шахматы. Устроит чаепитие. Брики и сын, возможно, предпочтут остаться одни. Пусть так, он будет в другой комнате, на тот случай, если им что-нибудь понадобится. Дети любят свою компанию. Он купит вкусных кексов, пирожных, свежего молока. Любят ли они джем? Артур смежные принять гостей, не вставая с кровати. Костыли Бен убрал подальше от глаз. Артур все еще стыдится их. Когда-нибудь, много лет спустя, все пережитое будет вспоминаться как сон, как кошмар. Артур стал разговорчивее, но пока не читает и не играет. Много спит. Смотрит в окно. Как-то вечером заговорил с Беном о том, что боится напугать в постель, боится показаться дурачком, шутом. Страшится ночных грабителей. Бен спокойно слушал. На окнах у них железные прутья. Он круглые сутки дома, так что сменить простыни — совсем не проблема. И есть у него Стоун. После того как случилось несчастье, Стоун затосковал, надо показать его ветеринару. Смотри, Стоун завилял хвостом, ему хочется, чтобы Артур приласкал его. И пусть Артур не забывает, что, хотя родители его разошлись, они оба любят своего сынишку, желают ему добра. Не так страшен черт, как его малюют. И года не пройдет, как Артур начнет ходить и бегать.

У Бена сердце разрывалось, когда он смотрел, как Арт учится ходить на костылях; «тук-топ, тук-топ» — выстукивал он, перемещаясь из спальни на кухню, из кухни в ванную. Он должен как следует подготовиться к лечению в центре протезирования. Надо радоваться тому, что есть. Конечно, потеря ступни — большое горе. Артур как-то съезжился, уменьшился наполовину — исхудалый, головастый мальчик с большими глазами и постаревшим лицом. Встреча с Трикс, его подругой, и с малышкой доставит ему радость. Бен страстно желал услышать, как он смеется. От сбитых сливок дети, пожалуй, не откажутся.

Трикс в знак приветствия приподняла Поуз, загородив свое лицо и волосы. Поуз по обыкновению спала, ее головка поникла, розовое одеяльце казалось особенно ярким. Трикс слегка подбросила ее — головка опустилась еще ниже, чепчик надвинулся на самый носик. Поуз — соня, сказала Трикс, с раннего утра ни разу еще не пискнула. Она строго за всем следит; с домашними делами управляется не хуже мамы. Ей было приятно получить от Артура записку — по крайней мере можно отдохнуть от работы и напряжения. Где накрыт стол, на кухне? Она пойдет проверить, что там приго-

товлено. Бедный Артур, у него, наверно, и гостей-то раньше никогда не было, даже не знает, что такое гости. А где Бен, дома?

— Он у себя в комнате. Не хочет мешать нам разговаривать. Ну, дай мне Поуз. — Артур протянул руки. Наконец-то Поуз здесь, в его комнате, она его ребеночек.

— Разве я могу положить ее на твою кровать? У тебя же только одна ступня. Которую из них у тебя отняли?

— Правую. Положи рядом со мной, я посмотрю за ней. Мне очень хочется. Пожалуйста.

— А пес твой где?

— На улице. Он часто убегает. А угощение тебе понравится. Бен накупил много вкусного. Положи ее вот здесь.

— Я должна быть осторожна. Она же не твоя. Ну, да ладно, бери. Пойду погляжу, что там на столе.

— Я не все время в постели. Иногда встаю.

Трикс кивнула.

— Держи ее подальше от края. Мы будем есть на кухне? — Бедный, бедный воображала, теперь уже он не такой трусишка. Его новая спальня лучше, только надо бы стены светлой краской выкрасить. Она спросила, где у него сберегательная книжка.

— Вон там. Папа нарочно выложил, чтобы ты могла посмотреть.

— Папа? Ты уже не зовешь его Беном?

— Нет. — С тех пор как отец ударил его, когда в гостинице появилась Коралл, Артур ни разу не назвал его Беном.

Трикс взяла книжку, прочла на ней имя, Артура, фамилию и адрес. С благоговением раскрыла ее — это даже интереснее, чем заглянуть в чужой сейф; вот оно, свидетельство богатства, подтверждение благородного происхождения. У Бриков принято тратить заработанные деньги. У тех, кто имеет большие дома и прислугу, принято их копить. И доказательство тому — вот эта книжка.

— Восемь шиллингов шесть пенсов? Всего лишь? Ты же говорил, что богатый?

— Я богат. У меня наследство. Я говорил, что мне выдают два шиллинга в неделю.

— А где оно, твое наследство?

— Я получу его, когда буду взрослый. Папа говорит, что я должен научиться копить. А мой опекун — Мэрис.

— Мы за один день тратим больше. — Денег у него нет, нет и одной ступни. Уж не обманывает ли он ее?

— Когда-нибудь у меня будет много денег. — Артур перевел взгляд на Поуз. Он и так уже богат. Пусть Трикс сходит за чаем, а его оставит одного с Поуз. Возможно, после еды Трикс разрешит ему причесать ей волосы. Когда-нибудь он и Поуз причешет. Сдвинув чепец, он потрогал волосики на головке малютки.

— Укутай ее скорее. И надвинь чепец, а то она озябнет.

— Мне хотелось посмотреть на ее волосики. А тебя можно будет потом причесать?

— Вот уж нет. — Ей стыдно отказывать. Но все равно никто не прикоснется к ее волосам, пока не вернется мама. Нехорошо огрызаться — ведь он спас сестренке жизнь, сам сделался калекой. Она не верит, что он богат, он, должно быть, ужасный врун. Все дело в том, что она боится за маму. Трикс спросила, можно ли позвать пса, он, наверно, придет, если она погремит погремушкой Поуз у кухонного окна.

— Не придет. Давай поедим. Хорошо бы поднос сюда. Принеси, Трикс. Потом можешь рассказать мне про свою маму. Папа купил трюфели.

— Трюфели? Это такой бисквит? Бисквит я люблю. Пойду поставлю чайник.

— Будем пить молоко. Папа оставил нам молоко.

— Мы с Поуз чай любим. Я принесла ей бутылочку. А молоко мы пьем, только которое в банках. — Она понимала, что ведет себя невоспитанно, но ради Поуз она многое стерпит. Она возьмет девочку на руки, а потом снова даст ему подержать, пока приготовит чай. Поуз никому нельзя оставлять. Малышка так скучает без мамы.

Артур опустил голову на подушку и стал ждать. Когда-нибудь он женится на Трикс. Ему не терпелось снова вдохнуть запах шерстяного одеяльца, потрогать щечки Поуз. Посмотреть бы, как она улыбается.

Вдруг в кухне зарычал Стоун, послышалось звяканье чайника.

— Минутку, Трикс, я сейчас. — Он не допустит, чтобы Поуз упала, он уже спас ее однажды и спасет опять. «Тук-топ, тук-топ, тук-топ» — застучали по полу костыли. Бен выглянул из своей комнаты в тот самый миг, когда Трикс заметила Артура.

— Костыли? Ты не сказал, что ходишь на костылях. Это у тебя такая нога? Какой ты страшный!

Все произошло в одно мгновение: свалился чайник, спрыгнул с подоконника Стоун, поскользнулась и упала с Поуз на руках Трикси. Запахло газом, раздались крики Трикс. И дети, и костыли лежали на полу. Стоуна уже не было. Бен прикладывал к ожогам Поуз салфетки. Когда прибыла «скорая помощь», врач сказал, что при ожогах третьей степени на столь обширной площади смертельный исход неизбежен.

#### 14

— Я старалась изо всех сил, Бен. Все перепробовала. Бедный малыш, он не перестает плакать. Раньше он любил шоколад. О, господи.

— Шоколад напоминает ему о несчастье. В тот день, когда это случилось, я купил ему трюфелей. — Бен разговаривал с миссис Чэт вежливым тоном. Он всегда к ней хорошо относился. Она здесь — надежная опора. Да, он виноват перед сыном, хотя миссис Чэт другого мнения. Мэрис настояла на том, чтобы мальчик вернулся в Пью-Мьюс и жил здесь, пока его не поместят в центр протезирования. Новые потрясения, новые опасности могут, конечно, помешать ему выздороветь. Он многое пережил, не говоря уже о потере ступни. На миссис Чэт Артур может положиться. Она понимает его горе, понимает, что вид кухни и каждый звук, доносящийся оттуда, будут постоянно преследовать его. Вода, чайник, руки и ноги детей, розовое шерстяное одеяльце и поверх всего — костыли. Лицо ребенка — единственная необожженная часть тела. На остальных кипятках не попал. Бен сделал все, что мог. Лондонский эксперимент не удался. Мэрис приказала ему вернуться; губы ее плотно сжаты, глаза смотрят холодно и сурово. Отныне она сама будет делать все для сына.

— Одна ступня, что с ним теперь будет?

— Привыкнет к протезу, научится ходить. Вы ведь рады, что он здесь. Ему ласка нужнее кексов.

— Ты хочешь, чтобы Бен здесь остался?

— Да, на это время. Он хочет быть со мной. И нужен мне.

Артур одной рукой вцепился в Бена, другой — в Мэрис. Стоя по обе стороны его кровати, они чувствовали, что необходимы ему.

— Нужно что-то предпринять. Из него не вытянешь ни слова, он отворачивается от костылей, не расстается с постелью. — Пускай погорюет, помолчит, полежит в кровати, в этом доме для него есть все условия. Присутствие Бена действует на него как кислород. Гибель Поуз — ужасающая, глупая, бессмысленная, она потрясла несчастного мальчика. Миссис Чэт дала ему свою газету, но и она Артура не заинтересовала. Поднялись к нему Коралл и Перс. Они уже не



пили так много, больше увлекались игрой в «монополию»<sup>1</sup>. Спросили, не хочет ли Артур поучиться этой игре. Он не ответил. Кости, обнаруженные в снегу, исчезнувшая ступня, мертвый ребенок — есть ли конец всему этому? Сколько жертв понадобилось, чтобы Мэрис осознала наконец, что она мать. Она уже не работает и отдает свое время сыну. Миссис Чэт всегда относилась к нему с любовью, думала о нем прежде всего — прежде большой спины и «всего такого прочего» и прежде собак. У нее жизнь идет по-старому: она покупает продукты, подает на подносах еду, греется у котла. Теперь, когда Бен и Мэрис помогают другу другу, в доме стало чуть больше сердечности. Коралл живет с Персом и уже не порхает, как раньше, считает, что пора остепениться. Колокола звонят по-прежнему, и нет силы, которая заставила бы их замолчать.

— Дайте ему время, миссис Чэт. Что он любил у вас раньше? У меня в Лондоне он ел с аппетитом.

— Сыр, хлеб. Что придется. Точно не помню.

— Скоро ночь Гая Фокса<sup>2</sup>. Мы могли бы устроить празднество, чтобы развлечь его.

— Отличная мысль — очень даже.

Коралл поддержала их.

— Как насчет бисквитов? Бисквиты все любят, если их сделать хорошенько — с вишнями, добавить туда хереса, подать со свежим кремом. Черт побери, дорого бы я дала, чтобы снова увидеть, как улыбается этот несчастный дурачок.

— Ребенку херес нельзя, Коралл.— На этот раз миссис Чэт не пойдет на обман, купит все, что будет значиться в списке. Кто знает, может, такая перемена и принесет им счастье.

— Я помогу, Ма Чэт, мне хочется помочь. Дело не в том, что я не любила его, он просто действовал мне на нервы. Я молодая и не люблю, когда меня называют бабушкой, понимаешь? — Будут, наверно, еще и счастливые времена, хотя она редко теперь вспоминает Кроуфорд, не возится с корсетами и не малюет лицо. Жир выпирает везде, где ему хочется.

— Понимать — понимаю. Но не одобряю. С возрастом шутить нельзя. Это надо же, мальчик без ступни. Господи. Разведем костер, испечем вкусный бисквит и заварим хорошего чая.

Бен загорелся, его план увлек и других, поднял у них настроение.

— Я позабочусь о костре. И Перс, наверное, не откажется помочь. Я спрошу его, можно, Коралл?

— Да. Обожаю огненные колеса и ракеты разноцветные. Ты могла бы добавить к списку сигареты, Ма? А сейчас у нас покурить не найдется? Что в этом горшке?

— Что? В этом? Ничего. — Вот и видно, что Коралл на мужа наплевать. Этот горшок должен был бы стоять у нее, в синей комнате. Но не надо напоминать, держи язык за зубами. Во имя дружбы можно и помолчать. Коралл и Перс приглашают ее играть с ними в «монополию» — это такая игра, где покупают и продают. Но дома, гостиницы и улицы, районы и вокзалы Лондона миссис Чэт совсем не интересуют. Хорошо бы Артур отвернул бледное, печальное личико от окна и перестал смотреть на реку, помогал бы ей, как прежде, выбирать фаворитов. Разве что потрогает иногда пальцем стеклянный шарик — и все. Замечательная идея — отпраздновать ночь Гая Фокса.

— Жизнь, черт побери, суровая штука, а?

— Я не отдавала себе в этом отчета, Коралл, но вы мне полюбились. Жаль, что при жизни старого джентльмена мы не ладили друг

<sup>1</sup> Настольная игра, имитирующая финансовые операции.

<sup>2</sup> Вечер 5 ноября, когда по традиции отмечают раскрытие «порохового заговора» сожжением пугала и фейерверком. Гай Фокс — глава «порохового заговора».

с другом. Вы стали отзывчивей. И Перс мне нравится. Что бы он там ни натворил — дело прошлое.

— Полиция его уже не ищет, так что он снова мог бы стать букмекером. Только он не хочет. Мы все переменялись, а особенно Мэрис. Хорошо, что мы устраиваем мальчику праздник, хоть какой-то просвет, нам всем он нужен — просвет. Мы с Персом «монополией» увлекаемся, этой игре легко научиться.

— Я приготовлю имбирное вино.

— Чутьочку спиртного добавь, Ма, для крепости.

— От этой крепости все и беды. Насколько я понимаю, ваша тогдашняя поездка в Лондон с дружкой-таксистом добавила хлопот. Глупо и нелепо было бы давать сейчас Артуру спиртное.

— Я тогда скверно поступила, виновата. Время — лучший лекарь, будущее начинается сегодня.

— Не знаю, не знаю. Одно верно: я изо всех сил постараюсь, чтобы мальчик встал на ноги, пусть даже с искусственной ступней. Вот повеселимся пятого ноября, может, это и подбодрит его.

— У меня такое чувство, Ма Чэт, что ты во всем винишь нас, его родных. Но я не могу отвечать за несчастья всех и каждого. Я делала что могла. Старалась.

— Что было, то прошло. А что Мэрис думает о празднике?

— Это уж ты ее спроси. Родная дочь, а до сих пор чужая, хотя вроде добрее стала, паршивица несчастная. — Коралл с сочувствием взглянула на миссис Чэт, доброго гения, не оставляющего их в беде. Плохо, когда у человека нет родных. — Что сегодня на ужин?

— Чего бы вы хотели? Мэрис ничего не спрашивает, она только об Артуре печется, как пекалась о старом джентльмене. Хлеб с сыром?

— Хорошо. Перс есть не будет. Он спит.

Перс до сих пор боится бактерий и азота. Наедине с миссис Чэт Коралл, не стесняясь, переходила на беспорядочную, сбивчивую речь, к которой привыкла с юных лет. Обе чувствовали родство душ. Если они с Персом поженятся — что, видимо, не исключено, — то Коралл постарается сохранить добрые отношения с ней. Хорошо, когда не нужно притворяться.

— Что теперь будет делать Бен? Обидно бросать такое хорошее место в Лондоне.

— Не такое уж оно хорошее. Удобное — да, но ничего особенного. Я же была там, ты помнишь.

— И все же мытье окон — это шаг вниз. Бен мне нравится.

— Мне тоже. — Ее бывший зять в трудном положении. Потерял место, лишился надежды на лучшее будущее, не сумел справиться с сыном. Мэрис здесь по-прежнему главная, как того и хотел Святой Джи. Артур с его веснушками и слабым здоровьем стал похож на Джи. Когда Коралл и миссис Чэт вспоминали о ребенке, погибшем от ожогов, обе чувствовали, как к горлу подступает комок.

— Тебе здесь не противно, Ма Чэт? Среди пауков и труб?

— Здесь тепло, да и свыклась я. — К тому же она все еще нужна, не менее нужна, чем все эти своды и фундамент. Как-никак она тут за хозяйку. Люди ведут замкнутую жизнь. А конец у всех один — земля и зола, и колокола звонят по всем одинаково.

Они обсудили планы на пятое ноября. Мужчины займутся костром, а они нажарят картофеля. Хорошо, что Коралл такая дружелюбная. После праздника Бен, возможно, не будет выглядеть таким пришибленным. Бедняга, ему опять придется протирать окна, разъезжать на фургоне по всему городу.

Бен решил не останавливаться перед расходами. Ракеты, огромные огненные колеса вокруг костра на самом берегу реки, перед окном Артура. И, конечно, чучело.

— Чучело я сошью, с удовольствием. Подумать только, ведь я

шила себе целый комплект костюмов у Мопси, когда училась у мисс Тот.— И Коралл пошла наверх, напевая песенку, которой давно в этом доме не слышали. «Когда гром раздастся весенний, не прячься, себя храня. То падают с неба пенни, для тебя и для меня».

Бен собрался в Лондон за покупками. Они с Персом задумали огромное огненное празднество. Что будет, они не говорили.

Наутро миссис Чэт со страхом обнаружила в подвале Бена с собакой. Собираясь прилечь, она вдруг услышала грохот, потом увидела большого черного зверя.

— О, господи, черный дьявол, что он наделал! О, господи. Вы только посмотрите.

— Извините, миссис Чэт. Это собака Артура. Хотел оставить его в старом сарае. А он прошмыгнул сюда прежде меня. Вреда от него нет, он ничего не разбил.

— Но вы взгляните, что он рассыпал.

— Соберем. Сахарный песок, да? Позвольте, я помогу.

— Нет, нет. Я сама. Я лучше умею. Предоставьте это мне, люблю все делать по-своему. — Зола цела, ничего не говори, собери молча, держи язык за зубами. Вот сюда, в бумажный пакет, зачем осложнять отношения? Никому не говори. Память о покойном они носят в душе. Мэрис и так расстроится, увидев пса, черного зверюгу, уж его-то она наверх не пустит.

— Извините, что причинил вам хлопоты, миссис Чэт. Он воспитанный пес, только возбужден.

— Да ладно уж. Вы все купили для фейерверка?

— Три ящика; есть там такие штуки, о каких я и не слышал.

Коралл, увидев Стоуна, раскричалась. Это и есть та тварь, из-за которой случилась беда, из-за нее погиб ребенок? Разумно ли было приводить ее в дом?

— Думаю, да, Коралл. От прошлого не убежишь. Стоун пригодится Артуру, не сейчас, но скоро, скоро. Я держу его на улице.

— Ух ты! Большой, а?

— Он и здесь уже успел навредить, вот опрокинул... — Миссис Чэт осеклась. Ничего не говори. Ужасно.

— Что в этом свертке, Бен?

— Ракеты. Мы с Персом уже начали готовиться к празднику.

— Обожаю такие зрелища. Больше всего люблю золотой дождь. Я делаю бисквит, Ма Чэт. — Коралл снова тихо запела. Горе горем, а счастье все же проглядывает сквозь мрачные тучи. И большие пальцы ног не так сильно болят. А чучело она сошьет отличное.

Бен и Перс трудились весь день, укладывая поленья, привезенные в фургоне, готовя растопку. Костер они задумали внушительный, громадный. Женщины занялись стиркой.

— Уже вечереет. Где Бен? Где Перс? Пора садиться за стол.

Мэрис и Коралл спустили Артура вниз. Его лицо — впервые за многие недели — оживилось.

— Торт я украсила свечками. Выключи свет, Мэрис. Режь торт, Артур. Что же Перси и Бен опаздывают? Ну, Коралл, как мой торт?

— Замечательный, Ма. Обожаю торты. Сначала чай, потом фейерверк, потом все вместе можем поиграть в «монополию», что вы на это скажете?

— Мне маленький ломтик, миссис Чэт. Артур, милый, это же твой любимый бисквит.

— Потом шутихи, и картошку на костре печь будем. Куда же пропали эти мужчины?

— Станный вкус у этого бисквита, похоже на рыбу. — Артур положил ложку на стол.

— Правда, странный. Что вы туда положили, Коралл?

— Крем-концентрат, который ты купила. И немного кукурузной муки из пакета: крема не хватило.

— Из пакета, из того пакета, что на камине стоял? — Да когда же этому конец-то будет? Только ничего не говори, ни звука, держи язык за зубами. О, господи.

— Больше не могу. Спасибо, Коралл. Правда, привкус рыбы. — Мэрис взглянула на мать; ей хотелось полюбить ее, измениться.

— Пожалуйста, мне еще торта, миссис Чэт, а то вкус у этого бисквита довольно странный.

— Правильно, Арт, ешь фруктовый торт. Скоро мы опять займемся собачками. — Хоть бы они не умерли. Но ничего не говори.

— А вот и фургон Бена. Я слышу гул мотора. И Перс приехал.

— Как вы там справляетесь, Перс? А Бен идет? У вас все в порядке?

— Конечно, Корри. Уж мы с Беном не подведем. Все наверх. Не зря же фейерверк доверяют устраивать мужчинам.

— Черт возьми, я волнуюсь. Пошли.

Мэрис и Коралл понесли Артура наверх, миссис Чэт пошла следом. Наверху мальчика усадили в кресло, укутали пледом, подоодвинули ближе к окну. Коралл села на один подлокотник, Мэрис — на другой. Миссис Чэт встала сзади, опираясь на спинку кресла.

— Вон Бен, с фонарем. Смотри, Артур, он разжигает костер. Погоди, погоди, кого же он с собой привел? Детей каких-то. Кто это?

— Это Брики. Это Брики, мама, посмотри на Бриков. О, Трикс, ты приехала, приехала!

Дети бегут к нему — вот они топают по ступенькам крыльца, спешат обнять его, улыбаются, щеки у них синие от холода. Вбежали в дом, заглядывают в комнаты, стучат каблуками. Вошла Трикс. Опустилась на колени возле кресла Артура. Прошептала:

— Мама выздоровела. Она родила ребеночка. Он и твой тоже.

Свистят, стреляют ракеты, крутятся огненные колеса. Горят красные, зеленые, синие гроздьи огня.

— Смотрите, золотой град, — мечтательно произнесла Трикс.

— Золотой дождь, Трикс.

— Это как снег, золотой снег.

— Фу, народу-то сколько набралось, вот уж нашему мальчику праздник. Молодец Бен. А вон Перс машет рукой.

— Миляга, он не такой уж плохой, хотя и давал собачкам допинг. Вон какое огнище с Беном соорудили. Мужчины — все равно что дети. — Ничего не надо говорить. На ужин у них картофель, детей-то надо чем-нибудь кормить. Сегодня уже поздно им возвращаться в Лондон, надо уложить их где-нибудь на ночь, в подвале, наверно, как-нибудь она с этим управится. А лучше всех Бен.

— Смотрите — Стоун! Откуда он явился? Это все для меня папа устроил?

— Да, Артур. Твой отец всем нам доставил радость.

— Это больше похоже на день рождения. — Артур коснулся волос Трикс.

— А чучело я сшила. На нем твое старое платье, Мэрис, — то черное, что ты носила. Ты только посмотри на этого малого и на огромного пса. — Коралл приподняла оконную раму.

— Ну и пусть. Мне это платье уже не нужно.

— Не бойся, Коралл. О Стоуне папа позаботится. — Артур поднял глаза на бабушку. Ее великолепные желтые зубы блестели при свете горящего чучела.

— Тебе холодно, милый Артур? Дать тебе что-нибудь теплое? На, покройся вот этим. Тебе видно?

— Да. Мне хорошо, мама. Теперь уже все хорошо, правда?

— Совершенно верно. Я же тебе говорила, помнишь?

Артур знает, что, как бы ему ни было холодно и одиноко в прошлом, теперь все будет иначе. Стреляют ракеты, смеются, бегая вокруг огня, Брики, звонят колокола.



## ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ

### Из книги «Динарская бабочка»

Перевод с итальянского и вступление  
ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

С поэзией Эудженио Монтале читатели «Иностранной литературы» знакомы по нескольким публикациям. Монтале-прозаика журнал представляет своим читателям впервые.

Проза Монтале похожа и не похожа на его стихи. Ее место в творчестве поэта верно определено итальянским критиком Ч. Сегре — «между поэзией Монтале и самим Монтале». Это значит, что автобиографические мотивы в прозе Монтале согреты поэтическим воображением и тогда, когда не послужили материалом для стихов. Это значит, что в новеллах «Динарской бабочки» — этюдных, приближающихся к зарисовкам, к фрагментам, порой к стихотворениям в прозе, — напоминают о себе темы, фигуры, пейзажи, близкие Монтале-поэту, напоминают то отчетливым, то почти невнятным отзвуком.

От этой прозы веет домашним теплом, юмором, она нетороплива и непритязательна, она — в отличие от большей части стихотворений Монтале — сюжетна, но и в ней, как в стихах Монтале, нередко недосказанность, придающая улыбке автора загадочность, смутность.

Прозу Монтале больше всего роднит с его стихами память. Но если в лирике память поэта, обращаясь к минувшему, проецирует прошлое в настоящее, реже в будущее, то для тех страниц «Динарской бабочки», которые можно назвать воспоминательными, важен ее преимущественно мемуарно-ностальгический характер.

Когда говорят о прозе большого поэта, ей обычно отводится второй план. О «Динарской бабочке» итальянская критика долгое время упоминала в лучшем случае снисходительно, однако постепенно внимание к прозаической книге Монтале открывало в ней все новые параллели с его стихами и, что не менее важно, отличия от стихов, исключавших, к примеру, такие образы, как Неугомонная в одноименной новелле или супружеская чета с вагнеровскими именами из новеллы «Тебе бы хотелось поменяться с...?».

«Динарская бабочка» как бы отделила один от другого два периода в поэтическом творчестве Монтале, во многом предопределив повествовательную интонацию ряда поздних стихотворений поэта. А Монтале двадцатых — сороковых годов дал «Динарской бабочке» то, что осталось «за кадром», на полях стихотворных сборников, сделав ситуацию, случай, обстоятельство таким же творческим стимулом, каким они служили ему в лирике.

Эпиграфом к «Динарской бабочке» могли бы стать слова из нее: «Часто я спрашиваю себя не о том, какие книги, а о том, кого из живущих или умерших смог бы я молниеносно, невольно увидеть, если бы меня вывели (не дай бог) на расстрел или если бы я тонул и мне неоткуда было ждать спасения. Любимых людей или животных? Мужчин или женщин, что были дороги мне, или проходных людей, с которыми едва соприкоснулся и которые никогда не подозревали, сколько места они заняли в моем сознании?»

### Визит Аластофа

На пустынной, холодной улице пригорода «линкольн» Патрика О'К. выглядел внушительно. Человек, который вышел из машины, — высокого роста грузный мужчина, молодой, но еще крепкий, волосы редкие, рыжевато-седые, — заглянув в книжечку с адресами, обратился к бакалейщику, и тот указал ему нужный дом: виа Стринге, 117-бис, правая лестница. Дом был убогий, со двора доносились крики детворы и голодный собачий вой.

Неужели там живет Понцио Макки, самый неутомимый и, быть может, самый тонкий из его иностранных пропагандистов? Никаких сомнений, все сходилось — и улица, и номер дома, — и Патрик О'К. смущенно подумал, что не имел права удивляться. В расселении возвышенных душ есть свои тайны, и порой трудно в жизни тем, кому не по пути с огромными стадами двуногих. Опрокидывая рюмочку граппы — виноградной водки, Патрик О'К., известный во всем мире под псевдонимом Аластор, убедил себя, что надо бы исходить из этой истины. Щедро вознаградив бакалейщика и скорее знаками, чем словами, поручив тому присмотреть за машиной, он направился к лестнице, на вершине которой его ждала медная дощечка с именем господина Понцио Макки.

Он долго стучал (звонок не работал), ему открыла угрюмого вида женщина с сопливым ребенком на руках — вероятно, жена переводчика, бесцветное, неряшливо одетое существо неопределенного возраста. Это квартира господина, то есть профессора Макки? Да, нет, да — трудно сказать, ибо Патрик не говорил ни слова по-итальянски, а предполагаемая миссис Макки не устраивал ни один из известных ему языков. Но вот наконец американский ирландец исхитрился вручить ей визитную карточку, на которой значилось его имя, за коим следовал длинный ряд заглавных букв (M. A., Ph. D. и еще других) — свидетельство изрядного культурного багажа и положения в обществе, а также приписанное в скобках карандашом: *Аластор*.

Аластора провели в тесную нетопленую гостиную, где в книжном шкафу на видном месте красовались по меньшей мере четыре его книги, и оставили на какое-то время одного. Когда он входил, в соседней комнате смолк стук пишущей машинки. Может, «профессор» работал? Аластор передернул плечами — замерз ждать.

Прошло несколько минут, из комнаты рядом донеслись голоса — казалось, там оживленно беседуют. Потом послышался шум закрываемого окна, и опять стало тихо. Чуть погодя вернулась предполагаемая синьора Макки, и Аластор был допущен без новых проволок в кабинет своего достохвального переводчика. В комнате было темно, ставни плотно закрыты, и когда зажгли электрический свет, Аластор увидел мужчину в постели. Голова была обмотана ветхим шерстяным шарфом, из-под груды драных одеял высовывалось блеклое лицо. На мраморном столике бросалась в глаза сложенная кипой рукопись — возможно, перевод очередной аласторовской вещи, над которым шла работа.

Жена больного осталась, чтобы присутствовать при разговоре, и Аластор, поклонившись, взял инициативу на себя. Спросив, профессор ли Макки перед ним (yes — было ответом) и уж не застал ли он его, увы, хворающим (yes), Аластор выразил сожаление по поводу своего несвоевременного визита (yes) и признательность за переводы, коим Понцио Макки (yes, yes), пропагандируя его творчество, посвятил драгоценное время, которое мог употребить лучшим образом (yes, oh yes). Монолог длился минуты две, больной, должно быть, очень страдал. Посидеть с ним, ему будет приятно? Или профессор Макки предпочитает, чтобы его оставили в покое? Ему нужны лекарства, помощь, совет? У него хороший врач? Может, имеет смысл еще раз показаться доктору? Или лучше вообще не слушать эскулапов? Ответы на все вопросы сводились к соответствующим yes, и после очередного из них Аластор объявил, что не станет больше утомлять больного, и, поклонившись, покинул комнату своего переводчика.

С той, что не выглядела польщенной, когда ее называли миссис Макки, американец распрощался на верхней площадке лестницы и вскоре, вышив в бакалейной лавочке вторую рюмку граппы, уже заводил бесшумный двигатель своего огромного «линкольна».

Из дома 117-бис по ул. Стринге, правая лестница, его отъезд наблюдали в щелочку прикрытых по-прежнему ставней Понцио Макки, одетый, обутый и уже на ногах, жена и троица возбужденных детей.

— Свалился как снег на голову, — приговаривал Понцио, потирая лоб. — Этот сиволапый ни бум-бум по-итальянски не знает. Чего ему там еще взбредет? Он говорил, что вернется?

— Ну так опять заболеешь, — язвительно хихикнула жена.

— Лучше скажи ему, что меня нет: уехал, мол, и будет месяца через два. Это проще простого — пяток слов надо запомнить, я тебя научу.

— Научишь? Да если б ты пяток слов мог наскрести, зачем бы тебе, остолопу, комедию ломать?

— Дубина, а то я не разговаривал все время! Справился на отлично с плюсом.

— Садился бы ты лучше работать, осел! Коли он вернется, я с ним без тебя разберусь. Наверно, спокойнее было глухонемым прикинуться...

Тем временем «линкольн» Патрика О'К. приближался к гостинице. Назавтра предстоял отъезд, и американец больше не думал о своем переводчике. Если бы он угадал невероятную правду, если бы почувствовал, что в этом человеке скрывается персонаж, достойный его пера, он, столь падкий на такого рода добычу, возможно, повернул бы назад, чтобы ринуться в наступление — любой ценой.

## Неугомонная

Весть, что Джампаоло женился на госпоже Дирче Ф., дважды вдове, да к тому же и много старше его, не вызвала в городе недоброжелательных толков. Жилось ему трудно, и теперь, когда он в които веки устроился (пусть даже ценой неизбежного отказа от свободы распоряжаться собой), многочисленные друзья порадовались за него, и ни один не позволил себе съехидничать, будто Джампаоло просто-напросто «женился на деньгах». За свадьбой последовали пышные приемы с банкетам, после чего жизнь супругов немного отодвинулась в тень. О них еще говорили — правда, довольно расплывчато. Говорили, что Джампаоло «работает» — над чем и в какой области, было покрыто неизвестностью — и что его Дирче создала мужу земной рай. Так или иначе, становилось очевидным, что супружеская чета живет несколько обособленно. Люди, которые рассказывали про них, признавали, что виделись с ними скорее давно, чем недавно, и, хотя восхваляли изысканность яств, собственноручно приготовленных синьорой, и редкую широту ее гостеприимства, явно не торопились с проверкой этого своего впечатления, готовые отложить *sine die*<sup>1</sup> повторный визит. Слова, произносимые осторожными устами, не были открытым порицанием, как не были и откровенным одобрением, и все же зачастую на лице говорившего: «Синьора Дирче... Джампаоло... обворожительная пара...» — читались тоска и нежелание вдаваться в подробности.

Об этих одобрениях и недомолвках Федерико вспомнил в то утро, когда, прогуливаясь рассеянно по далекой от центра улице Фorno, оказавшись перед особняком, значившимся под номером 15,образил, что здесь обитает его старый приятель Джампаоло, который покинул дружескую братию после удачной женитьбы. Федерико был беден и к тому же застенчив — ему ли гоняться за Джампаоло в его новой жизни, подбирая крошки на роскошном пиру? Разве дружба Федерико не бескорыстна, разве у него душа прихлебателя и попрошайки? Скромность и чувство гордости держали его в отдалении от

<sup>1</sup> На неопределенный день (лат.).

более удачливого приятеля, пока лед не разбился сам по себе, и вот уже Федерико, подчиняясь внезапному порыву, нажимал на кнопку звонка в надежде провести с Джампаоло полчаса за одной из тех дружеских бесед, что в иные времена сроднили его, Федерико, с городом А...

На Федерико, встреченного рычанием собаки и проведенного в living room<sup>1</sup> — именно так он привык вскоре величать зал, полный картин, статуй, гобеленов, оловянных ваз и серебряных орлов, — обрушился шквал возгласов, едва скверно выбритый слуга получил от него и доставил в подобающее место анкетные сведения.

Федерико Беццика? Какая неожиданная честь! Да ведь она, синьора Дирче, была насыщена о нем и восхищалась его жизнью и характером вон еще когда — года два назад, в начале своего béguin<sup>2</sup> Джампаоло, еще при покойном супруге, втором покойном супруге (поднятый палец указал на большой портрет маслом, изображавший лысого господина). Федерико Беццика? Познакомься она с ним раньше... Кто знает, кто знает... Самый дорогой, самый достойный, самый замкнутый из друзей Джампаоло. Нехорошо столько времени скрываться, ай-ай-ай! Застенчивость? Любовь к тихой жизни? Она понимает (и как!) его вкус к *beata solitudo*<sup>3</sup>, у них столько общего, и она верит, что это станет основой доброй и крепкой дружбы. Джампаоло? Да, Джампаоло работает, но он скоро покажется. А пока можно воспользоваться ожиданием и поболтать для лучшего знакомства. Гость предпочитает португальский портвейн, сухой мартини, негрони? Фабрицио, где прячется этот бездельник Фабрицио? Портвейн для господина, да поживей!

Федерико еще ни разу на нее не взглянул: в полутемной гостиной женщина сидела слишком близко, чтобы он осмелился повернуть голову. Но огромное зеркало — трюмо, произносила она, — отражало ему странный образ нахохлившейся птицы с дрожащими крыльями носа (клюва), серо-буро-малиновыми волосами и подведенными глазами, горевшими неестественным светом. Глаза вспыхивали, как зажигалка, которой чиркают, давая прикурить гостям, и госпожа Дирче тут же их гасила, закрывая в черепаховую оправу.

Через некоторое время появился Джампаоло в рубашке, без пиджака и поцеловал руку супруге. Быть многословным он не решился. Когда настала их очередь, вперед выступили тощие, желтые, неуверенные в себе Антенор и Гонтран, сыновья первого покойного супруга (палец поднялся, указывая на портрет усатого офицера), и Розмари, дочка второго. Был уже час. Госпожа Дирче решила, что Федерико останется разделить с ними трапезу. Все перешли в столовую, где под бронзовой статуей ныряльщика, приготовившейся нырнуть в их сторону, был застелен вышитой скатертью стеклянный стол, и Фабрицио, выждав, пока хозяин наденет пиджак, подал бульон в чашках, суфле из сыра, раков, жареные кабачки и корзиночку сушеных фруктов. Пить кофе вернулись в living room; он долго стекал через фильтр, и все это время тщательно выбирался ликер под кофе.

Когда Антенор, Гонтран и Розмари попросили разрешения уйти, Федерико попытался было откланяться, неосмотрительно сославшись на желание отдохнуть (послеобеденная привычка, каковую одобряла и разделяла синьора Дирче), но был силой помещен тут же, в гостиной, на софу с просьбой не разводить церемоний и соснуть. Два часа он оставался в темноте, взвинченный донельзя. Не слышно было ни звука: похоже, все спали.

Что делать? Время тянулось бесконечно. Ему придали смелости часы на стене, пробив четыре раза. Федерико поднялся, открыл ставню, привел в порядок ненавистный диван и на цыпочках вышел

<sup>1</sup> Гостиную (англ.).

<sup>2</sup> Увлечения (франц.).

<sup>3</sup> Блаженному одиночеству (лат.).



из гостиной, намереваясь проскользнуть в прихожую. Однако Фабрицио оказался начеку и поднял тревогу, в результате чего на Федериго обрушилась из глубины гостиной новая лавина уговоров.

Скоро чай. Так быстро уйти, но почему? Неотложные дела? Полноте. Нездоровится? Общеукрепляющее лечение — вот что ему нужно. Скажем, небольшой курс *riques*<sup>1</sup> «Бескапе» внутримышечно. Тот же препарат, что она колет Джампаоло. Ах, ему уже советовали? Тем лучше. Нет, нет, вот откладывать-то как раз и не следует. И ничего другого пока — никаких таблеток. Она все сделает сама, она прекрасно умеет, как-никак закончила курсы медсестер. Помилуй бог, чего тут стесняться, свои люди! Сейчас, одну минутку.

Она вернулась, вооруженная шприцем, и Федериго пришлось улечься на гору подушек, подставив часть себя — несколько квадратных сантиметров — жалу хозяйки дома. Подавленный, он счел обязанностью задержаться еще немного, и в это время в гостиную вступил Фабрицио, толкая перед собой чайный столик на колесиках. Допущенный к церемонии, вновь появился Джампаоло, который сообщил, что погода испортилась. Шел дождь. А Федериго был без зонта.

Синьора Дирче моментально приняла решение. Федериго останется ужинать. Какое там надоел — все будут очень рады! Он отказывается? Уму непостижимо! Или он их знать не желает? (В глазах у нее сверкнула угроза. И Федериго ответил вялым протестующим жестом.)

Да нет же, никто не отказывается, черт возьми, он остается. Шумел дождь, опять появились Антенор и Гонтран с собакой, был подан вермут, и после часа приятной беседы на пороге вырос Фабрицио в белых нитяных перчатках и объявил, что можно ужинать. Хозяйка, взяв Федериго под руку, проводила гостя на его место, где уже ждал райский суп с клецками, заливной кролик и персики в сиропе. Фабрицио стоял наготове с теркой и пармезаном, посыпая тарелки сыром. Разговор коснулся любви и после ухода мальчиков оживился. Часов в десять несколько ударов грома сотрясли дом.

Отправляться в такую погоду было немыслимо. Фабрицио мог бы отвезти его на машине, но, к несчастью, ее не успели починить: задний мост не в порядке. Ну, да ничего страшного, в доме есть комната для гостей — прелесть какая уютная. Она сама ее обставила. Заварить ему ромашку или мяту? Может, он примет таблетку бромурала? Они увидятся утром, за завтраком. А до этого, часиков в восемь, Фабрицио — он уже предупрежден — принесет ему в комнату чашечку черного кофе. Она ничего не забыла? Ванная направо, выключатель слева. И спасибо, что он зашел, лиха беда начало, она надеется видеть его частым гостем. Спасибо, еще раз спасибо, *good bye*<sup>2</sup>, спокойной ночи.

Дождя уже не было. Подойдя к окну в своей комнате, Федериго прикинул, что для прыжка вниз это слишком высоко. И к тому же все равно пришлось бы еще перелезть через решетку сада. А злоющая собака Томболо? А другие возможные препятствия? Не дай бог, примут за вора.

Федериго неуверенно затворил окно и увидел аккуратно разложенную для него на постели пижаму второго покойного супруга (а может, и первого). Он взял ее двумя пальцами, но тут же выронил, услышав стук в дверь. Это был Джампаоло, который принес старые комнатные туфли.

— До завтра, — сказал Джампаоло. — Увидимся днем, с утра я должен работать. Ну а ты-то когда женишься?

<sup>1</sup> Уколов (франц.).

<sup>2</sup> До свидания (англ.).

## Тебе бы хотелось поменяться с...?

С первых утренних часов (первых для купающихся, то есть часов с десяти-одиннадцати) они бродят в пиниевых рощицах и по пляжу. Они смотрят, приглядываются, слушают и время от времени делают пометки в записных книжках. Но самые урожайные часы начинаются ближе к вечеру, когда люди толпятся группами, беседуют, открываютничают — одним словом, могут проговориться, выдав собственную тайну (если она у них есть).

— Тебе бы хотелось поменяться с ним? — спрашивает Фрика у Альберико, показывая на волосатого адвоката в шортах, склонившегося над картами. Ее внимание привлек уверенный, громкий голос, который не удастся заглушить ветерку («Чертова канаста!.. Выбросить джокера!..»).

— Мне? Я готов, — отвечает Альберико и делает пометку в записной книжечке.

Мимо проходит женщина в узеньких трусиках, лифчике и золотых сандалиях. Эта красивая золотисто-рыжая статуя каждый год приезжает из Бусто в огромном автомобиле с ребенком и бонной.

— Тебе бы хотелось поменяться с ней? — спрашивает Альберико. И Фрика отвечает:

— Что за вопрос! Хоть сейчас. — И делает пометку.

На песок ступает старуха, крашеная блондинка, она тащит за собой белого пуделя, до середины туловища — мохнатого, а от середины к хвосту — стриженного, клубок, наполовину лысый, наполовину пушистый и, судя по просвечивающим розовым пятнам, блохастый; пудель смотрит черными испуганными глазками.

— Иди, Чип, иди, золотко, — приговаривает старуха и, повторяясь, рассказывает, будто Чип для нее все равно как сын, но сейчас бы она его уже не взяла — столько с ним хлопот, да что поделаешь? Теперь, когда он есть, она ему ни в чем не отказывает, без нее он скулит и тоскует, бедный Чип, он лучше людей, у него большая печень, но он может прожить еще десять лет, бедный Чип. — Иди, мой хороший, иди к своей мамочке.

— Тебе бы хотелось поменяться... — начинает Фрика.

— С ней? — в ужасе спрашивает Альберико.

— Нет, с Чипом.

— Я готов, — соглашается Альберико и делает пометку в книжке.

— А я бы и с ней поменялась, — говорит Фрика. — У нее хоть Чип есть. — И она делает свою пометку. Вернее, сразу две.

Они подошли к сапожнику, работающему на углу улицы в тени густых пыльных дубов. Она подает ему сандалию, и он, склонившись над столиком, действует дротвой и сапожным ножом. Сверху льется протяжная песня, нежная, пронзительная, то грустная, то радостная. Замысловатый узор света в темноте.

— Это синица, — объясняет сапожник. — Она поет уже много лет. Из того, что было хорошего в мире, только она и осталась.

Они зачарованно слушают. Альберико делает пометку в книжечке.

— С сапожником? — спрашивает она шепотом.

— С синицей, — отвечает он, — хотя если подумать, то почему бы и нет? — И прибавляет еще пометку.

Она кивает и в свою очередь делает пометку — всего одну, относящуюся к синице.

Прошло столько лет с тех пор, как они поженились, быть может, их соединили лишь вагнеровские имена, но теперь уже ничего не изменишь. И это продолжается часами, в воде и на суше, за столом и на улице, в постели или когда они лежат в пезлонгах; а вечером они подводят итоги, чтобы узнать, кто набрал больше очков, кто из двоих несчастнее, кому больше хотелось бы поменяться с другими...



## ДЖЕЙМС ДЖОЙС

### Лирика

При первом знакомстве с поэзией Джеймса Джойса (1882—1941) может создаться впечатление, что это страница творчества какого-то другого писателя. Мимолетные впечатления, застывшие мгновения, прихотливый узор образов, лирические зарисовки природы, звуки рояля и арфы, игра светотени — словом, все эти атрибуты имажистской поэтики плохо согласуются с суровым бытописанием рассказов сборника «Дублинцы» (1914), «потоком сознания» в «Улиссе» (1922), словесной заумью «Поминок по Финнегану» (1939). И все же эту неожиданную и малоизвестную страницу стоит прочитать.

Писатель, оказавший существенное, но при этом весьма противоречивое влияние на развитие зарубежной прозы XX столетия, мэтр европейского модернизма, Джойс начинал как поэт. Свое первое, к сожалению, не сохранившееся стихотворение «И ты, Хили» он написал в четырнадцать лет, потрясенный гибелью вождя ирландских революционеров Чарльза Стюарта Парнелла, подло выданного национальной буржуазией английским властям. В восемнадцать лет у Джойса составил сборник «Свет и тьма». Несмотря на явно подражательный, ученический характер стихов, вошедших в него (легко угадывается влияние лирики Байрона, Суинберна, европейского символизма), эта книжка, так и оставшаяся в архиве писателя, заслужила одобрительную оценку У. Б. Йитса. «Должен заметить,— писал Йитс,— что ни у одного молодого дублинца, пробующего свои силы в поэзии, мне не довелось встретить столь высокую технику стиха».

Даже став известным прозаиком, Джойс продолжал писать стихи. Как показывает его биография, он обращался к поэзии в периоды особого эмоционального и духовного напряжения.

Поэтическое наследие Джойса составляют лирические стихотворения, многочисленные лирики, которые он сочинял, буквально «не сходя с места», сатирические поэмы-инквизитивы, а также стихотворения с сильно выраженным бурлескно-фарсовым началом в «Улиссе» и «Поминок по Финнегану»<sup>1</sup>.

Первым опубликованным произведением стал сборник стихов «Камерная музыка» (1907). Первоначально он назывался «Тридцать песен для влюбленного». Самая сильная сторона этих стихов — музыкальность. Джойс сознательно добивался ее, взяв за образец Поля Верлена с его теорией музыкального искусства («Сначала — музыку!»), а также песни поэтов-елизаветинцев, их простые и бесхитростные напевы, в которых «волной бьется чувство». Когда сборник был готов, Джойс обратился с просьбой к ирланд-

<sup>1</sup> См. Дж. Джойс. Баллада о Хухо О'Вьюртке. Перевод А. Сергеева.— В кн. «Западноевропейская поэзия XX в.», М., 1977 (БВЛ).

скому композитору Джеффри Палмеру, знатоку старинной английской песни, положить стихи на музыку. У Джойса была даже дерзкая мечта, уподобившись певцам эпохи Возрождения, странствовать с лютней по Ирландии и Англии и исполнять свои изящные стилизации. Лютню, правда, раздобыть не удалось — странствия так и остались проектом. Тем не менее Джойс, который обладал прекрасным тенором, нередко аккомпанировал себе на гитаре, пел в кругу друзей эти песни.

Сам Джойс двойственно относился к своему первому поэтическому сборнику, в какой-то момент он было решил вообще не печатать его: «Это вовсе не любовная лирика. Никого, кроме бога, я никогда не любил». Правда, Джойс изменил свое намерение, неожиданно для себя открыв в этой поэзии второй, иронический план. Вот тогда-то, добавив еще шесть стихотворений, он переименовал сборник в «Chamber music», обыграв двойное значение этих слов. Ведь «Chamber music» не только «камерная музыка», но и «непристойное журчание», если вспомнить, что «chamber pot» — «ночной горшок». То, что у стихов был секрет, доставляло особое удовольствие Джойсу. Все же истины ради стоит заметить, что этот иронический план угадывается далеко не сразу.

Стихотворения создавались в трудное для Джойса время. Выпускник иезуитского колледжа, собиравшийся принять сан, он порывает с официальной ирландской католической церковью, открывает для себя «новое божество» — Искусство — и отдает ему весь свой нерастроченный религиозный пыл. Всем своим поведением, в котором было немало юношеской поэзы, он пытается убедить близких, друзей и в первую очередь самого себя, что решение его окончательно. Однако до конца дней этот писатель, создавший в «Дублинцах» и «Улиссе» драматические, сокрушительные в своем сарказме образы церковнослужителей, остался христианином, «исковерканным священником», как назвал его однажды Ф. Скотт Фицджеральд.

Постепенно в душе Джойса зреет еще одно решение — уехать из Ирландии. Только такой шаг мог, по его убеждению, разрубить узел противоречий: личных (родители отказывались признать его взгляды, стыдились выбранного им в жизни пути писателя), общественных (конфликт с церковью, запрещавшей уже тогда рассказы Джойса; с официальной ирландской политикой, трусливо-лицемерной, с его точки зрения); с ирландским искусством — во многом, по его понятиям, провинциальным).

Стихотворения в «Камерной музыке», как, впрочем, большинство произведений Джойса, автобиографичны. «Если бы я решился взять эпиграф к сборнику, — писал Джойс, — то выбрал бы строчку Малларме: «Он идет, читая книгу о самом себе». А еще как-то заметил, что хотел бы подле каждого стихотворения пометить место, время, событие и ощущение, вызвавшие его к жизни. В поэтическом зеркале этой книги отразились не только «веселые дни юности», но и «история странствий души» — мятущейся, одинокой, жаждущей сочувствия, тепла, понимания.

Элегической задумчивости, меланхоличности первых стихотворений («Есть воздуха струны и струны земные...», «Вечерний сумрак — аметист — все глубже и синей...») противостоит драматизм последних. Он нарастает постепенно: уходит любовь, стынет мир, покойные «мглистые сумерки», «вечер в россыпах огня», пламя, пляшущее в камине, сменяет «голодный вихрь», «бездомной бури свист и вой», дикие вопли, пронизывающие ночь. Драматизм достигает накала в стихотворении «Мне кажется, я слышу стоны и грохот вод...», написанном, когда Джойс принял решение покинуть родину:

И днем, и ночью монотонный  
Я слышу рев,  
Рыдания бури, ветра стоны  
И шум валов —  
Как чайна, что стремится в море  
От берегов.

Разрыв Джойса с Ирландией — самую трагическую страницу в его жизни — отразили и сатирические поэмы. Знаменательно, что писались они в годы, ставшие рубежом в судьбе Джойса: «Святая святых» помечена 1904 годом — годом первого отъезда из Ирландии, «Глетворный дух» — 1912 годом, когда из-за скандала при публикации «Дублинцев» — дублинский издатель, собиравшийся напечатать сборник, в последний момент испугался резкости джойсовских суждений и сжег гранки — Джойс уехал навсегда.

Но и в изгнании, когда он в течение тридцати семи лет кочевал по Европе в поисках работы, жилья, издателя, который дерзнул бы опубликовать его книги («глумливый взгляд череда ведет меня сквозь города»), Джойс оставался ирландским писателем. Его живо волновало все происходившее на родине. Он был ирландцем по духу, темпераменту, по истокам своего творчества. Наконец, все его книги — об Ирландии. И потому совершенно закономерно, что, по решению ЮНЕСКО, столетие со дня рождения Джойса отмечалось в истекшем году как юбилей прежде всего ирландского писателя.

Второй поэтический сборник Джойса «Пенни за штуку» объединил стихотворения, созданные в 1912—1918 годах. В то время писатель жил в Триесте. Здесь он работал над романом «Портрет художника в юности»,<sup>1</sup> пьесой «Изгнанники», обдумывал «Улисса», здесь зарабатывал на жизнь, давая уроки английского языка, и влюбился в свою молоденькую ученицу, дочь итальянского негодяя Амалию Поппер. Это чувство вновь сделало Джойса лирическим поэтом.

Джойс не предназначал эти стихи для печати. Но после того как в конце 20-х годов на суд читателей были представлены первые главы его самого герметического

<sup>1</sup> См. «ИЛ», 1976, № 10—12.

романа «Поминки по Финнегану» и в адрес писателя все чаще стали раздаваться упреки в непомерной усложненности его искусства, он решил опубликовать произведение, ясное по мысли и простое по форме, для которого не без умысла придумал ироническое, многозначное название — «Pomes peny each».

Если воспринимать заглавие на слух, его можно перевести «Стихотворение по пенни за штуку». Если же прочитать, откроется еще один план значения. Сознательно искаженные написания слов: вместо «роеш» — «роше», вместо «реппу» — «репу», вызывают ассоциации, на которые намеренно толкал своих читателей Джойс. «Pomes» похоже на французское «pommes» — «яблоки» или же «pommes de terre» — «картошка», «репу» — на английское «rep» — «перо», «ручка». Вот и получается: то ли стихи написаны грошовым пером, то ли стихи, как яблоки или картошка, ценятся не больше чем пенни за штуку. По настоянию Джойса, книжка продавалась за шиллинг: «стоимость» каждого стихотворения и впрямь получалась пенни.

Иными словами, та же любимая Джойсом словесная игра, что и в заглавии его первого сборника. Она обнажает иронию, порождает остраненность в восприятии лирического текста.

Открывает сборник стихотворение с неожиданным названием — «Тринадцатое». В шиллинге двенадцать пенсов, и в сборнике, по замыслу Джойса, должно было быть двенадцать стихотворений. Но дюжина Джойса — «чертова», и потому в ней есть тринадцатое стихотворение, лишнее, несчастливое. Написанное в 1903 году, в драматическую для Джойса пору, когда не только большой, но и малый мир вдруг стал ему чужим (смерть матери, запои отца, уход из дома), оно из-за своего мрачного колорита не вошло в «Камерную музыку», хотя и было написано для того сборника. «Тринадцатое» стихотворение стало своеобразным поэтическим мостом, соединившим раннюю лирику Джойса со зрелой.

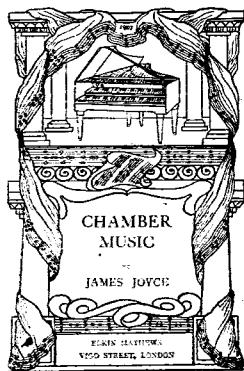
Кочуя за зимним солнцем вослед,  
Он ведет коров по холодной тропе.  
Привычным голосом торопя,  
Он гонит стадо свое над Кабррой.

Весь образный строй стихотворения передает ощущение покинутости, ненужности, одиночества, отчаяния: «зимнее солнце», «холодная тропя», пригород Дублина Кабра, где умерла мать Джойса, название которого не случайно перекликается со словом «макабр». Погонщик, этот «рыжий детина», которому покорно подчиняется стадо — вариант пушкинской черни, — не понимающее поэта. Стихотворение — и пример того, как в поэтике Джойса реальный план смыкается с мифологическим. Цветущая ветвь, символ Благовещения, надежды, — это красота, которой погонщик и толпа могут или распорядиться утилитарно («Он их погоняет цветущей ветвью...»), или растоптать («сломана ветвь моя»). Черная река, видимо мрачный Стикс, лишь усиливает ощущение драмы («Я кровью истек у черной реки...»).

Особое место в поэтическом наследии Джойса занимает последнее стихотворение «Esse riueg» («Се младенец»), написанное в 1932 году одновременно на рождение внука и смерть отца. Уже само латинское заглавие, вызывающее евангелические ассоциации «Esse homo» — «Се человек», указывает на необходимость многозначного восприятия текста, на присутствие в нем метафизического плана. Младенец — это и Христос, лежащий в яслях для овец, кому, как высшей мудрости мира, пришли поклониться волхвы. Наверное, им и принадлежит этот изумленно-почтительный возглас, вынесенный в заглавие. С другой стороны, младенец, восставший «из бездны веков», — это и символ искусства, кругооборота природы, вечного обновления мира.

Лирик и скептик, романтик и сатирик — таковы две ипостаси личности Джойса, причудливо слившиеся в его творчестве. В прозе он суровый обличитель, жестоко высмеявший косность, тупость, национализм. В «Улиссе» и «Поминках по Финнегану» он еще и модернист, дерзкий экспериментатор слова. Но в прозе он и лирик, поэтически воссоздавший на страницах своих произведений Дублин, ирландскую природу, описавший пробуждение чувства, борение страстей. В поэзии же лирическая сторона его художественного дарования, неутоленная жажда гармонической простоты, прозрачности выразились с особенной очевидностью

Е. ГЕНИЕВА



ИЗ СБОРНИКА «КАМЕРНАЯ МУЗЫКА» (1907)

I

Есть воздуха струны  
И струны земные,  
Певучие струи,  
Где ивы густые.

Там бродит Любовь  
Среди сумерек мгlistых,  
На мантии темной —  
Поблекшие листья.

Играет, играет,  
Томясь и тоскуя,  
И пальцы блуждают  
По струнам вслепую.

II

Вечерний сумрак — аметист —  
Все глубже и синей,  
Окно мерцает как светляк  
В густой листве аллеи.

Старинный слышится рояль,  
Звучит мажорный лад;  
Над желтизною клавиш вдаль  
Ее глаза скользят.

Небрежны взмахи рук, а взгляд  
Распахнут и лучист;  
И вечер в россыпи огней  
Горит, как аметист.

V

Слышу: запела ты,  
Златовласка!  
Песня твоя —  
Это старая сказка.

Книгу оставил я  
На половине,  
Глядя, как пламя  
Пляшет в камине.

Книгу захлопнул я,  
Вышел из дома,  
Властно влекомый  
Песней знакомой,

Песней знакомой,  
Старую сказкой.  
Где же окно твое,  
Златовласка?

XXVIII

О госпожа моя, не пой  
О том, что любовь ушла;  
Но прогони печаль и спой  
О том, что любовь была;

О тех, что отлюбили,  
Кого укрыла ночь  
Глубоким сном в могиле, —  
Любви любить невмочь.

XXX

Все, помню, начиналось так:  
Играла девочка впотьмах,  
А я боялся сделать шаг —  
Такой меня опутал страх.

Клянусь, любили мы всерьез,  
Нам есть что в жизни помянуть.  
Прощай! Идти нам дальше врозь.  
И новый путь — желанный путь.

XXXV

Мне кажется, я слышу стоны  
И грохот вод:  
Так чайка над кипящим морем  
Стремит полет,  
Когда внизу ревет взъяренный  
Водоворот.

И днем, и ночью монотонный  
Я слышу рев,  
Рыдания бури, ветра стоны  
И шум валов —  
Как чайка, что стремится в море  
От берегов.

*Тринадцатое*

Кочуя за зимним солнцем вослед,  
Он ведет коров по холодной тропе.  
Привычным голосом торопя,  
Он гонит стадо свое над Каброй.

Знакомый голос сулит им тепло и кров.  
Они мычат и топчутся вразнобой.  
Он их погоняет цветущей ветвью,  
Качается пар над рогами коров.

Рыжий детина, вожатый стад,  
Ты ночью растянешься у костра...  
Я кровью истек у черной реки,  
Ибо сломана ветвь моя!

1903

*Цветок, подаренный моей дочери*

Как роза белая, нежна  
Дарящая рука  
Той, чья душа, как боль, бледна  
И, как любовь, хрупка.

Но безрассудней, чем цветы,  
Нежней, чем забытье,  
Глаза, какими смотришь ты,  
Дитя мое.

1913

*Tutto è sciolto*<sup>1</sup>

Ни птицы в небе, ни огня в тумане —  
Морская мгла;  
Лишь вдалеке звезда-воспоминанье  
Туман прожгла.

Я вспомнил ясное чело, и очи,  
И мрак волос,  
Все затопивших вдруг, как волны ночи,—  
И бурю слез!

О, для чего так пылко и бесплодно  
Скорбеть о той,  
Чье сердце было где угодно,  
Но не с тобой?

1914

<sup>1</sup> Все кончено (итал.).

## Лунная трава

O bella bionda,  
Sei come l'onda!<sup>1</sup>

Узором зыбких звездных блесток  
Украшит ночь свою канву  
В саду, где девочка-подросток  
Сбирает лунную траву.  
Она, собирая, напевает:  
*О, ты прекрасна, как волна!*

Как залепить мне воском уши,  
Чтоб этот голос в сердце стих,  
Чтобы не слушать мне, не слушать  
Ее напевов колдовских!

1916

## Банхофштрассе

Глумливых взглядов череда  
Ведет меня сквозь города.

Сквозь сумрак дня, сквозь ночи синь  
Мерцает мне звезда-польнь.

О светоч ада! светоч зла!  
И молодость моя прошла,

И старой мудрости оплот  
Не защитит и не спасет.

1918

Перевод Г. КРУЖКОВА

## Esse puer (1932)

Из бездны веков  
Младенец восстал,  
Отрадой и горем  
Мне сердце разъял.

Ему в колыбели  
Покойно лежать.  
Пусть снизойдет  
На него благодать.

Дыханием нежным  
Теплится рот —  
Тот мир, что был мраком,  
Начал отсчет.

Старик не проснется,  
Дитя крепко спит.  
Покинутый сыном  
Отец да простит!

Перевод А. ЛИВЕРГАНТА

<sup>1</sup> О белокурой красавице,  
Ты как волна (итал.).



А. ПЕТРИКОВСКАЯ

## ГОВОРИТ АБОРИГЕН

**П**ожалуй, только в Австралии слово «абориген» приравнено к наименованию национальности, этноса и, согласно правилам английского языка, пишется с большой буквы. Так называют тех, чьи предки заселили эту часть света сорок тысяч лет назад, если не раньше. Сейчас число чернокожих австралийцев, включая метисов, постепенно приближается к двумстам тысячам, принадлежат они к различным племенам и разговаривают, помимо английского, примерно на ста пятидесяти языках. В 1960—70-е годы аборигены сделали первые шаги на литературном поприще — сдвиг, который можно оценить, лишь зная, какой тернистый путь прошел древний народ.

Когда в конце XVIII и в XIX веках вернулось географическое исследование Австралийского материка и англичане приступили к его колонизации, путешественники и переселенцы воочию увидели каменный век. Тысячелетиями живя в изоляции, в суровых природных условиях, аборигены сохранили культуру, экономическую и социальную организацию первобытного общества — они жили охотой, рыбной ловлей, собирательством. Казалось, время остановило здесь свой бег.

Разрушая первобытный уклад, колонизация отнюдь не ставила своей целью быстрое и безболезненное преодоление отсталости коренного населения. Она принесла ему неисчислимые бедствия — потерю земель и источников пропитания, изгнание, неведомые прежде болезни, вымирание и физическое истребление. Буржуазная общественная мысль рассматривает эту трагедию как неизбежное следствие столкновения двух культур — низшей и высшей, архаичной и современной. Однако характер взаимодействия культур, хотя бы и стадийно различных, зависит от социально обусловленных форм, в которых оно происходит. Колониализм как политика, система хозяйствования и управления все-

гда строился на безудержной эксплуатации природных и человеческих ресурсов захваченных территорий и беспощадном устранении всего, что препятствовало этому. «Теоретическим» обоснованием грабежа был взгляд на аборигенов как на расу, нуждающуюся в опеке или вообще нежизнеспособную. Он казался убедительным даже кое-кому из просвещенных людей XIX века. Так, Энтони Троллоп в книге очерков «Австралия и Новая Зеландия» (1873) утверждал, что скорейшее исчезновение аборигенов — в интересах цивилизации. Абориген не был даже гражданином «второго сорта» — до 1967 года действие конституции Австралийского Союза на него не распространялось. Нищета, бесправие, массовая неграмотность, забитость, разобщенность этнических групп, разбросанных по стране, — благоприятная ли это почва для культурного прогресса?

Тем не менее при счастливых стечении обстоятельств аборигены доказывали свою художественную талантливость не только в сфере традиционного искусства — настенных росписей, рисунков на коре, резьбы по дереву. Уже в 30—40-е годы Альберт Наматжиря из племени аранда и его сыновья и земляки продемонстрировали блестящие способности к акварельной живописи. В акварелях Наматжиря, украшающих многие музеи, запечатлено суровое величие и загадочная древность австралийского пейзажа: голубые, красновато-коричневые, фиолетовые изломы гор, опалово-белосое небо, мощные стволы эвкалиптов.

Но в целом предпосылки для перехода аборигенов от фольклорно-традиционных к современным видам творчества возникли сравнительно недавно, после второй мировой войны, в результате постепенного расширения круга их трудовых занятий и повышения образовательного уровня, урбанизации, формирования прослойки интеллигенции, пока очень малочисленной. Важнейшим же творческим стимулом явился рост общезнающего и политического сознания аборигенов, их пробуждение к активной борьбе против угнетения и дискриминации. Горизонт аборигена, подчеркивает этнограф-австраловец Ф. Роуз, уже не ограничен племенем, он охватывает всю Австралию<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ф. Роуз. Аборигены Австралии. Их прошлое и настоящее. М., «Наука», 1981, с. 94.

Референдум, проведенный в 1967 году, устранил из конституции статьи, дискриминирующие аборигенов. Однако это означало лишь формальное равенство. Несмотря на ряд реформ, аборигены и поныне остаются самым обездоленным слоем австралийского общества, с самыми низкими показателями доходов, с самыми высокими показателями безработицы, распространения болезней, детской смертности, преступности несовершеннолетних.

В 1973 году во время торжественной церемонии долгожданного открытия Сиднейской оперы на крыше грандиозного здания стоял абориген, изображавший жившего некогда на этом мысу Беннелонга, которого губернатор колонии Филипп возил в Лондон представляться ко двору короля Георга III. «Скорее иронический жест, — отозвалась газета «Острэлиан», — поскольку во всем остальном аборигены находятся на самом дне». Рост государственных ассигнований на нужды аборигенов в 70-е годы далеко не был адекватным этим нуждам. К тому же, как сказала Джудит Райт, одна из звезд первой величины в австралийской поэзии, у белых австралийцев есть человеческий долг перед аборигенами, который «бюджетными выплатами не погасить»<sup>1</sup>.

Подъем творчества аборигенов совпал с новым этапом их борьбы — за улучшение экономического и социального положения, за признание исконных земель обитания племен, вместе с богатством недр, их неотчуждаемой собственностью, за самоопределение в рамках австралийского государства, возможность сохранять и развивать свою культуру. В короткий промежуток лейбористского правления (1972—1975) в центральном государственном аппарате была создана Комиссия по искусству аборигенов и специальный фонд, который рассматривает вопросы издания книг, написанных ими или для них.

Итак, есть теперь среди аборигенов и писатели, и художники, и актеры. В Сиднее работают Театр черных и Театр танца аборигенов и островитян<sup>2</sup>. Киноартиста Дэвида Гулпилила наши зрители видели в фильме для детей «Мальчик и океан», удостоенном высшей награды Московского международного кинофестиваля.

Было бы, однако, ошибочным и преждевременным делать вывод о расцвете культуры коренных австралийцев. Реализовать свои творческие потенции им чрезвычайно трудно — аборигенам доступна, как правило, только низшая ступень образования, они выполняют преимущественно малоквалифицированную, низкооплачиваемую работу, их окружает среда, зараженная расизмом. Не следует забывать также, что вхождение аборигенов в более высокие культурные слои совершается в условиях государственно-монополистическо-

го капитализма, который разными путями регулирует духовное производство, с одной стороны, нейтрализуя, приглушая социально-критический пафос нового творчества, отвояя его в безопасное русло культурной автономии, с другой — акцентируя ноты черного национализма. Австралийский историк Ханна Миддлтон, автор книги об аборигенах, отмечает также, что «средства массовой информации обходят полным молчанием успехи ленинской национальной политики в Советском Союзе»<sup>1</sup>.

В 1964 году читающая Австралия узнала имя Кэт Уокер. Сборник ее стихов «Мы уходим» был первым литературным детищем аборигенов. Он раскупался, побивая рекорды читательского спроса на австралийскую поэзию: в течение шести месяцев допечатывался шесть раз. Поражал сам факт — книга, написанная аборигенкой. Сегодня литературным произведениям аборигенов уже не делятся — струйка обещает со временем стать потоком<sup>2</sup>.

Пишут аборигены на английском языке — местные языки и диалекты не развиты, не имеют письменности или письменной традиции, число их носителей и ареалы относительно невелики. Правда, в последнее десятилетие в младших классах школ для аборигенов в отдаленных районах введено преподавание на родном языке — как переходная ступень, и в качестве учебного материала понадобились сказки, стихи и рассказы. Но в городах австралийские языки фактически не служат средством общения и мало кто знает их. Поэтому в англоязычный литературный текст обычно вводятся лишь отдельные слова и выражения на этих языках. Для речевой характеристики часто используется Aboriginal English — английский с типичными для аборигенов устойчивыми искажениями.

Если обозреть произведения, написанные аборигенами за два десятка лет, то мы увидим, что преобладает поэзия, а в поэзии — малые лирические жанры. Романы и повести единичны. В 70-е годы, с появлением театральных коллективов, зародилась драматургия. Аборигены включились в собирание своего фольклора — особенно интересны сборники легенд, пересказанные для детей и проиллюстрированные художниками-аборигенами: «Гигантский дьявол-динго» (1973) и «Змея-Радуга» (1975) Дика Рафси, «Милби» (1979) Туло Гордона. Вышел целый ряд автобиографических книг — в том числе воспоминания художника Д. Рафси «Луна и радуга» (1971), знакомые советским читателям. Эти книги важны главным образом как исторический и этнографический источник, как публицистическое выступление, но лепту в литературное развитие вносят и они.

Кто же такие первые писатели-аборигены? На портрете, который сделал совет-

<sup>1</sup> H. Middleton. But Now We Want Our Lands Back. Sydney, New Age, 1977, p. 169.

<sup>2</sup> В 1977 году австралийский литературный журнал «Мизэнджин» посвятил творчеству аборигенов специальный номер.

<sup>1</sup> J. Wright. Foreword — J. Davis. Jargardoo. Methuen of Australia, 1978, p. VII.

<sup>2</sup> Под островитянами подразумеваются жители островов Торресова пролива, отделяющего Австралию от Новой Гвинеи, и потомки «канаков» — жителей Новых Гебрид и других островов Южных морей обманом и силой привезенных в прошлом веке на плантации сахарного тростника в Квинсленд.

ский художник Леонид Владимирский, побывавший в Австралии, у Кэт Уокер — пристальный и строгий взгляд больших черных глаз, в облике — сосредоточенность, целеустремленность. Уокер родилась в 1920 году на острове Страдброк, что у квинслендского побережья, живет там по сей день. В тринадцать лет оставила школу, работала прислугой. В годы войны — телефонистка Австралийского женского вспомогательного корпуса. В 1961 году — секретарь Федерального совета прогресса аборигенов. В следующем десятилетии, когда был учрежден Департамент по делам аборигенов, а при нем — Национальный консультативный комитет аборигенов, Уокер избрали в состав и этого органа. Свою первую книгу она открыла «Хартией прав аборигенов»:

Товарищество нужно нам,  
не милостыня,  
советы нам нужны, а не запреты,  
дома, а не лачуги черных гетто,  
любовь, а не господская пята,  
пожатие руки — не свист кнута!

Уокер писала, по собственному признанию, «вслушиваясь в голоса аборигенов, в их крик о помощи»<sup>2</sup>. Сборники стихов — «Мы уходим», «Близок рассвет» (1966) и «Мой народ» (1970) положили начало поэзии протеста аборигенов. Книгу прозы «Время сновидений на острове Страдброк» (1972) составили рассказы о детстве, обработки легенд, которые содержат морально-дидактический элемент и приближаются к жанру литературной сказки-аллегории.

Джек Дэвис также принадлежит к старшему поколению — ему исполняется шестьдесят пять лет. Родом он из Западной Австралии. Рано оставшись без отца, вынужден был сам заботиться о себе в лихолетье экономического кризиса. Механик на лесопилке, гуртовщик в больших скотоводческих хозяйствах Северо-Запада, он видел, как жестоко эксплуатируют аборигенов, в особенности чистокровных (сам он, как и Уокер и другие писатели-аборигены, метис), и, защищая их, заработал репутацию смутьяна. «...С ними обращались почти как с черными рабами. Эта несправедливость запала мне в душу, я стал писать об этом»<sup>3</sup>.

Дэвис был главным редактором журнала аборигенов «Айденгити» (издается с 1971 года). В сравнении с Уокер, у которой мысль часто политизирована, выражена энергично, как бы под напором чувства, Дэвис мягче, лиричнее, безыскуснее, подчас сентиментален. Но и он, подобно Уокер, в сборнике стихов «Первенцы» (1970) и «Джагарду. Стихотворения исконной Австралии» (1978) берет на себя миссию выступать от имени своего народа, и он — заступник и обличитель.

У Кевина Гилберта (родился он в 1933 году) жизнь складывалась особенно трудно. Семи лет он лишился обоих родителей. Голодал и воровал еду, дрался с обид-

чиками, рвался сбегать из сиротского приюта в буш, жил в резервациях и лачужных поселках за городской чертой. «Помню, сколько я натерпелся из-за своей бедности: не мог оторвать глаз от витрин лавок, а их белые хозяева не спускали глаз с меня, подбирали окурки на дороге, собирал старую мешковину и разрезал жестянки из-под керосина — пригодится для крыши, для стен, рылся на свалке в поисках одежки или обуви, а уж пакеты из-под конфет или чего-нибудь другого съедобного чуть ли не вылизывал»<sup>1</sup>. В двадцать четыре года Гилберт был осужден за тяжкое преступление (он считает, что суд не был беспристрастным) и провел четырнадцать лет за тюремной решеткой, из них пять — в одиночном заключении. Гилберт испытал на себе всю жестокость тюремного режима, но ему повезло: нашлись люди, которые помогли ему «выстоять, когда больше уже не было сил, и вселяли надежду, когда не на что было надеяться». Стихотворения сборника «Конец времени сновидений» (1971) были написаны еще в заключении. Интонация обвинителя, гневного, саркастичного и ожесточившегося, усилилась во втором сборнике — «Люди — это легенды» (1978). Гилберт является также автором пьес, первых, выпешших из-под пера аборигена, и публицистики.

«Большинство белых, вероятно, будет поражено рассказами о несправедливости, предвзвешанности, непонимании и невежестве, проявленных людьми их расы...» — писал журнал «Острэлиан бук ревью» по поводу книги «Какое быть чернокожим» (1977) — сборника интервью, взятых Гилбертом у аборигенов различных профессий и общественного положения. — Аборигены же, прочитав эти страницы, те же картины увидят другими глазами. Их не ужаснут и не удивят несправедливость, предвзвешанности и невежество, потому что большая часть рассказов похожа на их собственную жизнь или на жизнь их близких. Кевин Гилберт мог бы завтра возобновить расспросы и издать новую серию интервью, в которых было бы перечислено еще больше фактов угнетения аборигенов и непонимания их белыми австралийцами»<sup>2</sup>.

Сорокалетний драматург и поэт Джеральд Босток — выходец из глубинки. Был сборщиком хлопка, фруктов, служил в армии. Прослушав общедоступный курс при Австралийской школе кино и телевидения, пришел в кинематограф. Документальный фильм «Земля — мать моя» и игровой «Красное солнце — черная луна», о борьбе аборигенов за землю, сняты при его участии в качестве помощника режиссера и сценариста. Театр черных поставил пьесу Бостока «Вот идет черномазый» (1974). А в 1980 году вышла книжка стихов «Грядет черный».

Колин Джонсон, пионер прозы аборигенов, родился в 1938 году в Западной Австралии и воспитывался в сиротском прию-

<sup>1</sup> Здесь и далее стихи цитируются в переводе автора статьи.

<sup>2</sup> Kath Walker. Interview. "Meanjin", 1977, № 4, p. 429.

<sup>3</sup> J. Davis. The First-Born and Other Poems. Sydney, Angus and Robertson, 1970, p. VII.

<sup>1</sup> Living Black. Blacks Talk to Kevin Gilbert. Ringwood, Allen Lane, The Penguin Press, 1977, p. 242.

<sup>2</sup> C. J. Bourk. Discovering the Aborigine. "Australian Book Review", 1978, June, p. II.

те. Клерк, безработный, битник, слушатель вечерней школы и пожиратель книг по философии, религии, литературе, посетитель собраний буддистов и участник кампаний за отмену дискриминационных законов, он отказывался принимать на веру навязшие в зубах идеологические формулы истеблишмента. Его привлек буддизм: после выхода в свет первого романа — «Падение дикого кота» (1965), Джонсон уехал за границу, долго жил в Индии, где сотрудничал в буддийском журнале, и лишь в середине 70-х вновь появился на австралийском горизонте, подтвердив свое возвращение романом «Да здравствует Сандавара!». Новые имена зазвучали в конце минувшего — начале нынешнего десятилетия. В неделю писателей, входившей в программу Аделаидского фестиваля искусств 1982 года, приняли участие Морин Уотсон, Лейла Рэнкин, Клифф Коултхард. Они читали с эстрады свои рассказы, стихи, фольклорные легенды.

Типологически творчество аборигенов стоит в одном ряду с творчеством маори Новой Зеландии и индейцев США — народов, оказавшихся в положении национальных меньшинств на земле предков, не имеющих своей государственности и в общественных сферах пользующихся языком господствующей культуры. В то же время оно зародилось как часть общего процесса духовной деколонизации народов австрало-океанического региона, и ему свойственны те же черты, что и новогвинейской, самоанской и другим новорожденным литературам.

Когда-то, в конце 30-х годов, в австралийской поэзии возникло течение «джиндиурабаков» (от слова «присоединяться» на одном из языков аборигенов), к которому примкнуло довольно много поэтов. Его идейный лидер Рекс Ингамелс утверждал, что путь австралийской литературы и вообще культуры к подлинной самобытности — в приобщении к культуре аборигенов, возвращенной землей, все еще чужой для пришельцев из Старого Света. В последней трети века аборигены, со своей стороны, осуществляют синтез разнородных традиций в литературе — привнесенных, трансформированных и оригинальных. Так, всем поэтам-аборигенам близок жанр австралийской фольклорно-литературной баллады с ее народными типажам, сюжетной завершенностью, четкими, забористыми ритмами. В традиции баллад о сельскохозяйственных рабочих Уокер рассказывает об аборигенке-гуртовщице, которая повела за собой рабочих скотоводческой станции, потребовавших улучшить условия их труда («Дейзи Бинди»). Но легенду о сирене-погубительнице («Женщина-Вуур») она интерпретирует средствами европейской романтической поэтики XIX века.

Абориген — давний персонаж австралийской литературы. Лучшие писатели Австралии выступали в защиту коренных австралийцев — жертв расового и социального угнетения. Все мы имели возможность убедиться в этом, читая роман «Кунарду» и трилогию о золотых приисках

К. С. Причард, «Мираж» Берта Виккерса, очерки Алана Маршалла «Мы такие же люди», рассказы Вэнса Палмера и Джуды Уотена. В 60—70-е годы жизнь аборигенов получила новое отражение в романах Патрика Уайта и Дональда Стюарта, Причарда Билби и Роберта Дру, в монументальной эпопее Зевье Херберта «Несчастливая страна моя». Но несмотря на обширность этого коллективного полотна, богатство деталей и красок, писатели-аборигены обогащают его собственным видением. «Теперь у нас есть книги о жизни, чувствах и настроениях австралийских аборигенов, написанные ими самими, — констатировал Дж. Уотен, — а не только «посторонними», как было прежде, с какой бы симпатией эти «посторонние», то есть австралийцы европейского происхождения, к ним ни относились»<sup>1</sup>.

Голоса, с которых началась поэзия аборигенов, — разной силы и тембра, но их объединяет несомненная общность мотивов. Все они удостоверяют свою уходящую в глубь тысячелетий принадлежность австралийской земле.

Здесь души предков моих.  
Земля под ногами, деревья и скалы,  
Птицы и облака и ветер,  
Солнце и луна и звезды —  
Все говорит со мной, живет во мне,  
Все это — часть меня самого...

(К. Гилберт. «Мистер»)

Истоки этого чувства в привязанности члена племени к его территории, обусловленной не только экономическими, но и духовными, религиозно-культурными факторами, в бытийной близости к природе, которая не нуждается в «персонализациях» — они непрозволены, как в обращении Кэт Уокер к дереву:

Здравствуй, дерево,  
Поговори со мной,  
Точно мне,  
Так плохо быть одной.  
Ты состарилось?  
Руки леденишь.  
Сколько тайн, должно быть,  
Ты хранишь.  
Говори же, дерево!  
Видишь, у меня  
Вез забот и горя  
Не проходит дня...

Но ощущение «самой жгучей, самой смертной связи» с родной, большой и малой, питает поэзию всех времен и народов, и когда Джек Дэвис, глядя на родные просторы, проплывающие под крылом самолета, жаждет сделать из «клочка пустыни, бесплодной и красной», подушку под сонную голову и плащ, чтобы накрыться («Дневной полет»), невольно вспоминается смеляковское «постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом». А вот в настойчивости, с которой аборигены утверждают свое австралийское первородство, — горечь обиды лишенных наследства, ограбленных и отверженных в «обществе изобилия».

О, эта земля, это солнце, этот свод голубой,  
часть сердца моего, мое наследство.  
Сжался, боже, кричу я, над моею  
Нет мне места в стране изобилия, судьбой.

(Дж. Дэвис. «Бродяги»)

<sup>1</sup> Дж. Уотен. Слушая время. «Литературная газета», 1965, 30.IX.

Коричневая земля, плача, допытывается у «младших» — англо-австралийцев, куда девались ее первенцы, почему не слышно их смеха и песен и лишь духи бродят в пещерах:

Вы молчите — не знаете, что мне  
ответить,  
Мой вопрос, как удар, вас врасплох  
застает.  
Что ж, не мучайтесь — на глазах мои  
дети  
Погибают, мой униженный, гордый  
чернокожий народ.

(Дж. Дэвис. «Рожденные первыми»)

Природа становится целебной в своей неизменности, благодаря которой можно «возвратиться к себе», — могучий красный эвкалипт, кудден, высится так же, как сотни лет назад:

Кудден, могучий, высокий,  
Ты по-прежнему здесь.  
Ты меня протачи сжешь кору.  
Раствориться дай в твоих соках...  
Помоги нам, кудден,  
Верни нас в исчезнувший мир.  
Туда, где мы — у себя.

(Дж. Дэвис. «Красный эвкалипт и я»)

Нерасторжимая связь с землей служит обоснованием права на владение ею, аргументом в борьбе с монополиями, которые в 60—70-х годах привялились лихорадочно осваивать минеральные богатства Севера и Северо-Запада, захватывая остатки земель аборигенов и грубо вторгаясь в их уклад.

Старейшина племени расталковывает детям, что аборигены — «дети этой земли», живущие на ней со дня сотворения мира, знающие ее секреты (кто другой может найти воду в пустыне?), и именно поэтому им тошно смотреть, как ее грабят горнопромышленные компании («Мудрец» Дж. Бостока).

«Эта земля ваша по праву рождения... Ваш народ боролся и умирал за нее. Держите голову высоко!» — обратилась Морин Уотсон к детям — участникам марша в Национальный день аборигенов в 1982 году.

Главная тема писателей-аборигенов — трагизм исторической судьбы коренных австралийцев — антиколониальна по своей сути. Официальная история подвергается пересмотру. В 1970 году, когда в Австралии отмечалось двухсотлетие высадки на берег пятого континента капитана Кука, многие аборигены отказались признать эту дату праздничной и в знак траура бросали в морские волны венки из красных цветов. «Сопровивляйтесь! Отриньте!» — переносятся в прошлое Гилберт («Первый корабль»). Австралийская история, какой она была для аборигенов, — это смерть от пули, от яда, подмешанного в пищу, насилие над женщинами, превращение в рабочий скот и балласт городов.

Вы уверяете, что вы не виноваты,  
У вас в запасе много громких слов.  
А я оплакиваю мой народ распятый  
И жизнь, что канула во тьму веков.

(Дж. Дэвис. «Туземная Австралия»)

Без преувеличения можно сказать, что подавляющее большинство произведений, написанных аборигенами, посвящено жгучим проблемам их современного положения в обществе, которое именует себя демократическим и эгалитарным. Произведе-

ния конкретного факта: жители respectable квартала подают петицию, чтобы аборигенам не разрешили здесь селиться («Улица Уайнот» К. Уокер). Истории одной жизни: рассказ Дэвиса о сильном и ловком охотнике, кумире его юности, который превратился в городского нищего («Барру»). Обобщенные портреты: галерея социальных типов в стихотворных монологах Гилберта, нарисованного людей городского дна, детрибализованных и опустившихся, жертв полицейского произвола. Пробы в сатирическом жанре: пародийный «Гимн горнорудной компании» Дэвиса («Мое правительство всегда меня утешит и от аборигенов защитит»), эпиграмматические чертёжничества Уокер —

Явись Христос сегодня среди нас —  
Секретной службы штат придет  
в смятении,  
запритают маккартисты враз:  
он коммунист! Не может быть сомнения!

На простых житейских примерах, в которых нет недостатка, писатели показывают, как расходятся буква законов и постановлений, касающихся аборигенов, и реальная практика, прекарнодушные фразы о демократических принципах и христианских заповедях и проклятые расовой дискриминации, когда черного гуртовщика не считают товарищем, христиане не желают жить рядом с аборигенами или сидеть с ними в одном кафе, а дети приходят из школы в слезах. Словом, когда «попахивает Литл-Роком» («Нетерпимость» К. Уокер).

Отпечаток социальной трагедии лежит и на стихах о детстве, будь это реакция на обидные клички, на безрадостное убожество трущобного быта или, напротив, сожаление о поре счастливого неведения.

Сидеть у открытого окна по вечерам  
и смотреть, как сверкают звезды,  
изумляясь их красоте.  
Заучивать слова молитвы,  
не зная, для чего это нужно.  
Или притвориться спящим,  
когда в дверь заглянет отец или мать,  
а потом, с головою укрывшись,  
хихикнуть.

Или увидеть их в горе  
и жаждать прийти на помощь,  
не ведая как...

О, если бы снова стать ребенком!  
Неиспорченным быть и чистым.  
не знать предрассудков взрослых,  
не знать их расистских теорий  
и не уметь наживаться  
за счет других.

О, если бы снова стать ребенком!

(Дж. Восток. «Возвращение в детство»)

В социально-политической позиции писателей-аборигенов есть различные оттенки. В раннем творчестве Уокер — интернационалистка («Все мы одной расы», «В единстве победа»). Правда, поэтесса возлагала большие надежды на «белых доброжелателей» из числа государственных, профсоюзных и церковных деятелей, писателей. Дэвис видел свою задачу в том, чтобы пробудить государство от апатии в отношении к аборигенам, исправить ошибки в его политике и поднять социальный и культурный уровень черных австралийцев, чтобы они сравнялись с белыми. Несмотря на умеренность программы, бедствия аборигенов он показывает не смягчая красок. В поэзии 70-х годов все громче

звучит призыв к активным действиям самих аборигенов, к борьбе за земельные права («Земельные права» и «Гуринджи» Гилберта, «Черные дети» Бостока), все больше подвергаются критике формирующиеся средние слои аборигенов, прежде всего чиновники — «черная бюрократия», «черные марионетки». Вместе с тем в минувшем десятилетии, когда в движении аборигенов усиливается течение черного национализма и сепаратизма, в литературе появляется тенденция изображать конфликт в межэтническом плане, что неизбежно затушевывает его социально-классовую сущность. Дают знать о себе националистические и левозкстремистские веяния, по крайней мере берется на вооружение их фразеология — этому немало способствовало разочарование в ожиданиях больших перемен, связывавшихся с референдумом 1967 года.

Как это присуще идеологии национального самоопределения, в творчестве аборигенов утверждается ценность и жизнеспособность их древнего культурного наследия. Колониализму предьявляется обвинение в невосполнимых культурных потерях. «Последний из племени» Уокер отличается, несмотря на общность мотивов, от одноименной хрестоматийной элегия романтика Хенри Кендалла (1839—1882) не только тем, что вместо романтической фигуры последнего воина перед нами человек из близкого окружения, родственник, — с его смертью исчезнет один из языков, прервется еще одна из нитей, соединяющих прошлое и настоящее: «Я попросила, и ты позволил мне услышать звук мягкой полногласной речи, которой больше уж нигде не услышать». И Уокер соединяет разорванные нити преемственности:

Никто не смеет говорить, что прошлое  
мертво.

Оно вокруг, оно внутри нас...  
Холодный вечер в доме городском,  
и в кресле я уселась у камина,  
по телу разливаются тепло, я засыпаю,  
я далеко...  
Горит костер в лесу,  
родное племя отдыхает,  
сидят — и я со всеми — на земле,  
стен — никаких,  
лишь звезды надо мною.  
деревья уходят ввысь  
и ветер музыку свою заводит...  
И электрический камин и кресло,  
вчера явились вы на свет не раньше,  
но тысячи костров в моей крови  
Никто не смеет говорить что прошлое  
мертво.

(К. Уокер. «Прошлое»)

Мысль о том, что в памяти народа должно храниться его прошлое, содержится и в иносказательной легенде о бумажном дереве-уджеру, стилизованной Уокер под фольклор аборигенов.

В таких стихотворениях, как «Воздушное погребение», «Утренний плач по мертвым», «Корробори», «Бора», «Заклинание дождя», «Собиратели пищи», «Крик кроншнепа», воссоздается зримая и духовная реальность первобытно-общинного уклада — его обычаи, обряды, грудные занятия, верования. Наконец, свой дом поэтесса превратила в своеобразный культурно-просветительский центр, где она читает молодежи лекции о древней культуре Австралии и Океании — за несколько лет их прослу-

шали тысячи человек, обучает старинным практическим умениям — как варить в земляной печи, собирать моалосков и т. п., а также устраивает литературные чтения, посвященные произведениям писателей аборигенов Южных морей, Африки, Азии.

Утверждая свою национальную самобытность, писатели-аборигены, как и океанийцы, ведут полемику с идеологией колониализма. Отсюда — полемические построения, диалог-споры, монологи-опровержения, репрезентативность образов («говорит абориген»). Иронизируя над расистскими клише, Босток озаглавляет пьесу о расовой дискриминации «Вот идет черномазый», а сборник стихов, проникнутый пафосом борьбы аборигенов, — синонимическим, но взятым из другого ценностного ряда оборотом «Грядет черный».

Реабилитация древнего культурного наследия, проявление роста национального самосознания аборигенов, имеет непосредственное отношение к дискуссиям об их месте в современном обществе. Жестокость буржуазной колонизации, фарисейство империалистических лозунгов великой цивилизаторской миссии побуждают рассматривать смену укладов прежде всего как разрушение. Разочарование в прогрессе, вызванное глубокими и явными пороками капиталистического строя, приводит к отталиванию от «белой», «европейской», «технической» цивилизации.

Все цивилизованы.  
Кто там с бумерангом?  
«Черным вход воспрещен».  
Дайте пива банку!

Ни к чему теперь копье.  
Не нужна и палица.  
Бомбу атомную бросят —  
Целый мир развалится.

(К. Уокер. «Нет больше бумеранга»)

ДокOLONиальный уклад с его примитивным хозяйством, поддерживающим экологическое равновесие, противопоставляется как состояние естественной гармонии и всеобщего равенства социальному бытию буржуазного индивидуалиста, участника «крысиных гонок» ради богатства и карьеры. Из этой антиномии вырастает полемический парадокс: не черные, а белые — «несчастливая раса», ибо они создали общество, где есть бедняки, тюрьмы, где одни угнетают других.

Писатели выступили в поддержку программы интеграции, которая была выдвинута движением аборигенов в середине 60-х годов в противовес ассимиляторской политике, долгое время проводившейся правительством (стихотворения Уокер «Ассимиляция — нет!», «Интеграция — да!», «Интеграция» Дэвиса). Интеграция предполагает включение на добровольных началах общин аборигенов со всей спецификой их уклада в современное общество и сохранение тех или иных особенностей традиционной культуры.

Советские этнографы отмечают, что в интеграционистских представлениях и проектах есть немало утопического<sup>1</sup>. По мне-

<sup>1</sup> См.: В. Р. Кабо. Послесловие. — В кн.: Д. Локвуд. Я — абориген. М., «Наука», 1971; О. Ю. Артемова. Пршлое и настоящее коренных австралийцев. «Расы и народы». Ежегодник. М., 1980.

нию видных австралийских ученых Рональда и Кэтрин Берндт, у них «нет никаких шансов на реализацию» в сложившихся условиях — «традиционный образ жизни как целостная система, несомненно, прекратит свое существование»<sup>1</sup>. Однако стремление чернокожих австралийцев самим определять свою судьбу, свой образ жизни вполне оправданно, и прогрессивные силы Австралии признают их право на самостоятельный выбор. Социалистическая партия Австралии, поддерживая борьбу аборигенов, их сопротивление грабительским притязаниям сельскохозяйственных и промышленных монополий, одобряет и требование сохранять и развивать языки и культуру коренного населения везде, где это возможно.

Во второй половине 70-х годов в некоторых районах страны возникло любопытное этническое явление: массовый исход аборигенов из церковных миссий и поселков, находящихся под контролем государства, «децентрализация», которая привела к образованию «внешних поселений», где аборигены частично возвращаются к старому образу жизни, частично организуют кооперативные хозяйства. Эти поселения, однако, нельзя рассматривать как анклав чистой традиционности — в них используются достижения современной цивилизации. Аборигенов, живущих в первобытном состоянии, вообще не осталось.

Опасность экологического кризиса пробудила в австралийском обществе новый интерес к культуре аборигенов. Ее «бережность» в обращении с природой, не подрывавшем естественный цикл воспроизводства ресурсов, находит сочувственный отклик у сторонников охраны окружающей среды. Этот аспект древней культуры акцентируют и писатели-аборигены, Уокер, например, вспоминает в рассказе «Убивать, только чтобы утолить голод» эпизод детства: детей, убивших без надобности птицу, строго наказывают, лишая права охоты. Экологический мотив «насилия над природой» сливается с протестом против насилия над аборигенами, уничтожения их мира, захвата их земель «ради грязного доллара». «Австралия находится в тисках бездушных, жадных иностранных монополий, которым помогают и угрождают наши политики», — говорила Уокер. — Ради финансовой выгоды, именован заморского доллара эти люди вытrophат нашу прекрасную страну... А если вы убьете землю, вы убьете народ»<sup>2</sup>.

Нетрудно увидеть, что в раннем творчестве аборигенов первобытная патриархальность идеализирована: в тени остается ограниченность первобытного коллективизма, распространившегося только на членов своего племени<sup>3</sup>, и чрезвычайно низкий уровень производительных сил, которому соответствовал присваивающий характер хозяйства. Но подоплека идеализа-

ции доколониального прошлого — не в желании реставрировать то, что изжито историей, это — поиски своей историко-культурной самобытности, идеологический ответ колониализму, негативная оценка общества, в котором аборигены живут сегодня. Поэтому, когда Уокер пишет: «...лучше, если бы у меня была лишь сумка, сплетенная из травы, лучше, если бы у меня ничего не было, кроме счастья» («Тогда и теперь»), а Дэвис — «мне противна ваша цивилизация» («Потеря»), то в действительности это не означает отказа от какого бы то ни было прогресса. Иные произведения свидетельствуют о решимости выйти из тупиков многовековой отсталости, и кое-где уже говорится о бремени старых обычаев (в стихах Уокер — брачных обычаев), жестко регламентирующих поступки и весь жизненный путь индивида.

Стараясь показать, как в творчестве аборигенов отразилась их духовная жизнь, социальные чаяния и проблемы, мы чаще всего обращались к поэзии, что не случайно: именно она на первоначальном этапе прихода в литературу коренных австралийцев дает наиболее широкий срез того, чем живет «черная Австралия». Диапазон прозы пока уже.

Первые прозаические произведения продолжили тему метиса, широко разработавшуюся австралийской литературой на протяжении нескольких десятилетий в романах «Каприкорния» З. Херберта, «Мираж» Б. Виккерса, «Снежок» Г. Кейси, «Плачет коричневая земля» Р. Билби и многих других. Но в «Падении дикого кота» Колин Джонсон одним из первых показал бесплодные метания детрибализованной и деклассированной черной молодежи городских окраин, которая легко переходит границы дозволенного, оказываясь в преступном мире, раскрыл социальную неприкаянность полукровки «изнутри», в исповедальном повествовании. Герой романа (по жанру книга Джонсона все-таки ближе к повести) уже в девять лет становится правонарушителем и никак не может вырваться из порочного круга, с каждым преступлением все более отягчая свою вину перед законом<sup>4</sup>.

Безысходность, утрата смысла существования подчеркиваются цитатами из пьесы С. Беккета «В ожидании Годо» — след влияния кризисных идейно-эстетических течений, затронувшего и других писателей — представителей коренного населения австрало-океанийского региона (скажем, новогвинейца Рассела Соабу или сумаоанца Альберта Вендта, в основном тяготеющих к реалистической манере письма). Эта восприимчивость объясняется не только осознанием отчуждения как социально-психологического феномена, возникающего с развитием капиталистических отношений, но и тем, что эффект отчуждения усиливается потерей устойчивости индивидом, выбитым из привычной колеи в процессе смены укладов и оказавшимся «маргинальной» личностью.

<sup>1</sup> Повесть опубликована в переводе Л. Володарской в кн.: «Новые рассказы Южных морей». М., «Прогресс», 1980.

<sup>1</sup> Р. М. Берндт, К. Х. Берндт. Мир первых австралийцев. М., «Наука», 1981, с. 413.

<sup>2</sup> My People. A Kath Walker Collection Milton (Q Id) The Jacaranda Press, 1976, p. 90.

<sup>3</sup> См.: А. И. Першиц. Традиции и культурно-исторический процесс. — «Народы Азии и Африки». М., 1981, № 4.

Роман «Да здравствует Сандавара!» (1979) отразил сдвиги во взглядах Джонсона после возвращения на родину, жажду перемен в «насквозь фальшивом обществе», которое «медленно пожирает самое себя»<sup>1</sup>, новое понимание возможностей аборигенов, рожденное ростом их политической активности, неудовлетворенность пассивностью своего первого героя, плывшего по течению, и желание переместить акценты со страдания на борьбу; с индивидуализма одиночки на солидарность единомышленников.

Роман построен по принципу контрапункта, в двух временных планах: в одном показано, как маленькая группа молодежи аборигенов Перта пытается объявить войну «истеблишменту», в другом — воссоздается история легендарного Сандавары, следопыта-аборигена, в далеком прошлом восставшего против поработителей. Между этими планами прямая связь: вожак пертской группы молодежи подросток Алан провозглашает себя новым Сандаварой, его друзья берут себе имена соратников мятежника. Алан заевает ограбление банка, чтобы раздобыть средства для вооруженной борьбы за освобождение аборигенов. Но полиция узнает о плане от доносчика, и подростки, для которых нападение на банк было во многом игрой, имитирующей вестерны, падают изрешеченные пулями. Лишь Сандавара случайно остается в живых<sup>2</sup>.

Образным аналогом судьбы героя первого романа Джонсона была легенда о диком коте, который хотел летать, как птица, но всякий раз разбивался о землю. Герой второго романа также терпит поражение, и бунт его также носит антиобщественный характер, хотя и совершается под знаменем общественных интересов — авантюристическая акция, выношенная незрелым сознанием, подхватившим обрывки фраз и лозунгов, которые воспринимаются как истинно революционные. Автор и жалеет нового Сандавару и его «армию» — безработных ребят, обделенных обществом, выраставших как дурная трава в поле, и остро чувствует иронию истории в их заведомо обреченном подражательстве. Обречено было и восстание исторического Сандавары, но Джонсон, не приукрашивая этого полицейского следопыта, внезапно выпешедшего из повиновения и действовавшего на свой, первобытный лад, придает ему черты эпического героя, потому что, в отличие от пертских хиппи, у него есть почва под ногами, «свой» мир. Он погибает непокоренным. Осажденный в пещере, израненный, он сам выходит навстречу пулям, чтобы не выдать святилища племени, — устремляется «к звездам — кострам предков», «шагает к солнцу».

Чередуя сцены жителя-бытия «коммуны» хиппи и исторические главы, Джонсон лаконично, но убедительно обрисовал целый ряд лиц — включая реформистского лидера аборигенов и хладнокровно-жестоких полицейских. Но ни один из образов второго романа не обладает такой полнотой

<sup>1</sup> Colin Johnson. An Interview. "Westerly", 1975, № 3, p. 36.

<sup>2</sup> Подробнее об этом романе см. рецензию И. Левидовой в «ИЛ», 1982, № 9.

человеческого содержания, как «дикий кот» в первом.

В обеих книгах идея возвращения к истокам, к исполненному любви единству народа и земли, воплощается в образах стариков-аборигенов, хранителей заветов. В «Падении дикого kota» беглец, насильно отторгнутый от чернокожих родственников (так требовалось, чтобы приблизиться к белым), спасаясь от полицейской погони, находит участие у старика из племени его матери, который поет ему «песню родины», пробуждает в нем задавленную человечность. Алан-Сандавара бежит из города, от суда и тюрьмы, вместе со старым Нураком. Нурак, один из бездомных, презираемых аборигенов Перта, на самом деле — старейшина племени, ребенком видевший Сандавару и сохранивший память о нем; под его руководством Алан должен пройти посвященные обряды и стать полноправным членом племени. Такие парные образы (старик и молодой человек) как выражение идей историко-культурной преемственности проходят через все развивающиеся литературы Океании — мы встречаемся с ними и в романе маорийского писателя Вити Ихимаэры «Ванау» (1974), и в трилогии Вендта «Листья баньяна» (1979).

Удалось ли Джонсону реализовать свое намерение — в образе аборигена уловить отпечаток новой общественной ситуации? В той мере, в какой это касается аборигена — представителя полулегальной молодежной субкультуры больших городов. Надо полагать, появятся произведения, в которых пути современных аборигенов, их крепнущее освободительное движение станут объектом все более глубокого и разностороннего исследования.

Разумеется, социально-исторические проблемы аборигенов не исчерпывают всего богатства жизни, питающего их творчество. Так, среди стихов Дэвиса есть и лирические пейзажи, и стихи о животных, картины сельской жизни и впечатления от зарубежных поездок — разнообразные грани мира, увиденного человеком, который радуется солнцу, наряженному в красное платье заката, стройным рядам дождевых капель, повисших на телеграфных проводах, молодым грибам во влажной траве и кружке горячего, дымящегося чая после работы, а более всего тому, что завтра это простое счастье бытия повторится («Я люблю»). Но сборник «Джагарду» поэт посвятил «всем, кто борется за свободу». В творчестве литературном нашли выход прежде всего освободительные стремления коренных австралийцев, их справедливые обвинения и требования.

Не столь давно на страницах журнала «Иностранная литература» известный гаитянский поэт Жан Бриер писал о том, что нет ни одного народа, ни одной общины, изолированной на острове или живущей на краю света, «настолько бедной духовно, что у нее не найдется собственных, присущих ей одной средств для того, чтобы рассказать о своей жизни, выразить свои радости и страдания». Эту истину подтвердили и аборигены Австралии.



# Наш календарь

К 200-летию со дня рождения СТЕНДАЛЯ

## УРОКИ ВЕЛИКОГО РОМАНИСТА

В чем они, эти уроки? Что дает нашему современнику чтение книг писателя, родившегося два века назад? Этому вопросу посвящены заметки о творчестве Стендаля, которые мы публикуем. Написанные с разных точек зрения — литературоведения и этики, истории культуры, — они дополняют друг друга и, как нам кажется, помогут увидеть французского классика в зеркале нашего времени.

О. ТИМАШЕВА

### ФИЛОСОФ, ЛИРИК

Сегодня, в 1983 году, Стендаль не нуждается в специальном представлении широкому читателю. В памяти любознательных его имя рождает цепочку ассоциаций. скажем, такую: Жюльен Сорель — Жерар Филип — Фабрицио дель Донго — Джина Сансеверина — Мария Казарес — Кристиан Жак — Италия — Сергей Герасимов — Гренобль — госпожа де Реналь — Наталья Бондарчук — Париж — Матильда де Ла-Моль — Наталья Белохвостикова — аббат Пирар — Михаил Глузский... Образы и картины, которые благодаря кино и телевидению достигли массового сознания, живут в нем своей жизнью. Но популяризация литературных произведений с помощью средств массовой коммуникации влечет за собой и более подробное знакомство с самими книгами, их внимательное самостоятельное чтение. Одним словом, аудитория литератора — неудачника при жизни, застенчивого человека Анри Бейля выросла в тысячи и миллионы раз, соответственно увеличилось и число оригинальных прочтений его идей. Обращаясь

к его книгам, люди XX века хотят представить себе этого автора в его и нашем времени, понять, чем вызван ход его мысли, как родился его герой, сколь он родственен самому писателю. Что в плеее Сореле есть от Стендаля, какая часть души писателя вложена в Фабрицио, а какая в графа Москву?

М. Горький однажды верно заметил, что французские писатели XIX века не стремились воплотить в своих художественных произведениях натуры, казалось бы, интересные для литературного исследования. Скажем, не вызывал у них интереса сын рыночной торговли маршал Ожеро или сын бочара маршал Нэй. Не привлекал их даже Наполеон. Зато в эту «эпоху разнообразных героев» в литературные произведения как центральное лицо прочно вошел «человек средних способностей» — неприкаянный Рене у Шатобриана, мятущийся и ранимый Адольф у Констана, желчный Октав у Мюссе, дерзкий мечтатель Сорель. Горький объясняет это тем, что сами литераторы, даже исключительно талантливые, были «социально, кровно и духовно родственны герою, излюбленному ими»<sup>1</sup>. Здесь кроется часть ответа на вопрос о причинах неослабевающего внимания к французскому писателю XIX века. Стендаль — скромный человек своей эпохи —

<sup>1</sup> М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 26, с. 159—160.

яркий талант, чье столкновение с веком вызвало к жизни неумирающие шедевры мировой литературы.

Другая часть ответа заключена, по-видимому, в том, что, несмотря на занимательную, почти детективную интригу «Красного и черного» или историзм «Пармской обители», это романы по манере изложения и диалектике мысли преимущественно философские. Всеобщее в них гармонически сочетается с частным, побуждая нас к раздумьям не менее, чем эпизоды древней истории у Монтеня или рассказы о государственном устройстве у Монтескье. Судя жизнь по законам правды и любви, писатель непрестанно размышляет, что, однако, не мешает ему быть категоричным в отношении неудачных политических решений, реакционных режимов, пережитков феодализма, устаревшей эстетики.

Главные романы Стендаля — «Красное и черное», «Люсьен Левен», «Пармская обитель» — полны рассказов о современных или не столь отдаленных политических событиях. Художник правдив, и историческое чутье его никогда не обманывает. Он предрешает судьбу Июльской монархии, показывает изнанку наполеоновской стратегии, осуждает междоусобные распри карликовых государств. Иной раз кажется, что его герои далеки от политики, мы наблюдаем лишь их внутренний мир. Но в этом-то и состоит особенность Стендаля-романиста. Он видит одновременно и узлы сплетений человеческих судеб, и самого человека, беззащитного и колеблющегося. Он любит «мыслящий тростник» той любовью, которую назвал «кристаллизацией». Не только женщину заурядную готов он видеть в ореоле достоинств, но и «человека средних способностей» хочет наделить возвышенной душой и пламенным темпераментом.

Из множества вопросов, заданных человечеству этим писателем философского склада ума, обратим внимание на несколько, представляющих интерес для современников. Проследим отношение Стендаля к Новому свету, констатируем правильность постановки им «женского вопроса», подчеркнем актуальность специфического взгляда Стендаля-искусствоведа.

В мыслях своих и конкретно в произведениях Стендаль не раз обращался к Америке. Государственный чиновник и дипломат, духовный наследник просветителей, он много думал над проблемами власти и не мог обойти молчанием страну, где укоренились непривычные во Франции формы правления.

Новый свет манит писателя, он присматривается к нему и, как бы споря с самим собой, критикует. «Американские добрые нравы, — говорит он устами Люсьена Левена, — представляются мне мерзительной пошлостью, и, читая сочинения их выдающихся людей, я испытываю только одно желание: никогда не встречаться с ними в свете. Эта образцовая страна кажется мне торжеством глупой и себялюбивой посредственности, перед которой под страхом гибели надо низкопоклонничать». Много раз на протяжении книги Стендаль бичует аме-

риканскую демократию в качестве альтернативы действующему во Франции монархическому режиму, выступает против американского образа жизни, американской меркантильности. Как гражданин он не хочет воцарения подобного миропорядка во Франции, но как мыслитель понимает, что его наступление неизбежно. Французские аристократы у него смешны и претенциозны, мнимо значительны, но еще чем-то милы Стендалю. Среди них хотя бы можно встретить тонко чувствующих женщин.

Но тот же Стендаль в романе «Пармская обитель», создавая образ благородного разбойника Ферранте Паллы, заставляет своего героя мысленно стремиться в Америку, страну, где для таких людей, как он, возможна свобода. Опираясь в своих рассуждениях прежде всего на чувство, апеллируя к эмоциональности и благородству ума своих современников, Стендаль предполагает, что там, где лавочники решают все вопросы общим голосованием, он не найдет единомышленников.

Буржуазная основа современного мира чужда романтической природе его творчества. Классифицируя виды и проявления чувств, в своем знаменитом трактате «О любви» Стендаль утверждает, что в Америке, где грубые нечувствие души подчиняют свои чувства законам, и любовь невозможна. Страна, которой Стендаль не посетил, которой не знал, была ему знакома лишь из книг и статей. И тем не менее в первом приближении умозаключения Стендаля недалеки от истины. Хозяева Нового света и в самом деле не были ни утонченными, ни рафинированными, ни интеллигентными людьми.

В большой литературе вопрос о положении женщины со всей полнотой встал лишь к концу XIX века («Тэсс из рода д'Эрбервиллей» Харди, «Кукольный дом» Ибсена). Продолжает занимать умы этот вопрос и сегодня, когда эмансипация женщины в буржуазном обществе осуществлена не полностью. Тем более ценны попытки мыслителя первой половины прошлого столетия привлечь внимание к этой проблеме.

Женские судьбы всегда волновали Стендаля. Например, весьма существенный аспект его книги «О любви» — констатация зависимого положения женщины в Европе. Перед писателем встают вопросы о женском образовании, о положении женщины в браке, отношении к детям. Стендаль осуждает буржуазный брак-делку, основанный на материальной выгоде, клеймит ханжество буржуазии и вызываемые им пороки. Не в прямой форме, опосредованно, говорит он также о необходимости женской эмансипации. Мысль его, правда, не идет дальше реорганизации на разумных началах буржуазной патриархальной семьи, он наивно верит в возможность перевоспитания младшего и старшего ее поколений. Но он интенсивно думает и о будущем женщины, воздавая должное ее высокой чувствительности, безошибочной интуиции. Стендаль не разграничивает разные стороны «женского вопроса»: психологическую, физиологическую, социальную. Однако отметим саму постановку проблемы в этой книге.

В романах Стендаля немало интересных женских характеров. Читателю памятни

госпожа де Реналь, Матильда де Ла-Моль, Клея Конти, Джина Сансеврина, Батильда де Шастеле, русская девушка Арманс Зоилова. Между ними есть нечто общее, и это безусловно: все они созданы гением Стендаля. Значит, они умны, честолюбивы, способны к самопожертвованию. Ни одну из перечисленных героинь не затронула алчность, жадность, низкая страсть, превосходно воплощенные Балзаком в женских образах «Человеческой комедии». Откуда же такая кургузность Стендаля, рыцарское поклонение дамам, не является ли оно надуманным? Нет, Стендаль искренне восхищался прекрасными женщинами, их восприимчивостью и умом, ориентировался на их сердце как на камертон, настраивающий оркестр, скажем, для исполнения рапсодии «Красное и черное» (так сам Стендаль называл свой роман).

Однако у писателя есть один женский образ, не вызывающий подобного отношения. Это Ламбель, девушка из третьего соловья, умом и талантом напоминающая Жюльена Сореля. Андре Вюрмсер назвал Сореля воплощением Тартюфа в XIX веке. Суждение спорное, но если его принять, то Ламбель — это Тартюф в юбке. Героиня Стендаля обаятельна и беззастенчива, деловита и беспомощна, лицемерна и простодушна, красноречива настолько, что ей в пору тягаться с записными мыслителями, а не с пустыми людьми света и профессиональными проповедниками. Карьера куртизанки, «любовь-тщеславие» не могут удовлетворить ее ищущий ум.

В планах автора было закончить роман «любовью-страстью» Ламбель к беглому каторжнику и убийце. Спасая его, она должна была совершить отчаянный поступок — поджечь здание суда, в котором шел процесс. Такой ход авторской мысли кажется вполне оправданным. В послереволюционной Франции на скамье подсудимых оказывались такие люди, как Жан Вальжан или Вотрен. Трудно сказать, кого должна была бы встретить Ламбель по воле автора — идеалиста, верящего в нравственное спасение мира, как Жан Вальжан, или философствующего преступника, умеющего извлекать выгоду из пороков буржуазного общества, как Вотрен. Ясно одно: человек этот сильный и мужественный, имеющий свое неповторимое лицо.

Нетрудно заметить, что и героиня, и сюжетная схема романа легко могут быть использованы современными западными авторами разных направлений: и теми, кто позиционирует преступников, скажем террористов, и теми, кто стремится разобраться в социальной подоплеке преступлений, психологически их объяснить. Более чем за полтора десятилетия буржуазный мир по сути своей не изменился к лучшему. Крестьянку Ламбель в Париже не ждал «светлый путь». Ей суждено было погибнуть так же, как Сорелю или Люсьену де Рюампре.

В поисках решения проблем творческого процесса и художественного восприятия, которые со всей остротой встали лишь в XX столетии, Стендаль был первопроходцем, новатором. В определенной мере записи, которые он вел на протяжении всей

жизни, ходом мысли, манерой обращения с фактами, особым пристрастием к Италии имеют родство с эссе писателей-просветителей и романами г-жи де Сталь («Коринна, или Италия»). Однако писатель не раздражает им, он лишь усваивает у них характер чувствования, умение анализировать материальный мир, сравнивать, сопоставлять, искать в искусстве жизнь.

Современная Стендалю критика иногда обвиняла его в том, что, говоря об искусстве, он лишь компилирует прочитанные статьи и книги. Стендаль действительно добывал информацию о художниках из опубликованных статей, проспектов, книг, но наполнял ее своей мыслью, подчинял своей идее, толкуя порой о себе самом, человеке, безусловно, интересном. После выхода в свет книг «Рим, Неаполь и Флоренция», «История живописи в Италии» многие были разочарованы: в них нельзя получить полных сведений об искусстве или архитектуре итальянских городов. Это верно, его книги менее всего — путеводитель с точным приложением маршрутов и указаний о смене стилей. В них Стендаль упоминает лишь отдельные понравившиеся ему памятники, рассказывает об отдельных интересующих его художниках, на фоне описания наиболее ярких черт итальянского народа, в первую очередь того, как люди в Италии предаются любви, наслаждениям, одиночеству, как проявляется искренность их натуры. Частотой отклонений от основной линии изложения Стендаль напоминает писателя-просветителя, создающего пикарескный роман. Штрихи, детали, эпизоды, вставные новеллы-притчи должны создать ощущение неакадемичности искусства в Италии, искусства, связанного с жизнью, незаметно проникшего даже в быт.

Любопытно, что в искусствоведческих трудах Стендаль сумел зафиксировать контакт человека с произведением искусства. Работая над книгами об итальянском искусстве, он в какой-то мере чувствовал себя представителем своих будущих читателей. Рассказывая о нем, Стендаль пытается романтически воздействовать на современную ему чувствительность. «Памятники архитектуры и пейзажи были смычком, игравшим на моей душе», — сказал он однажды. Музыка, исполненная на этом совершенном инструменте, и в самом деле прекрасна.

И, наконец, вот истины, которые можно встретить у Стендаля, и только у него: «Мне казалось, что, читая Шекспира, я возрождаюсь»; «Остроумие должно быть на пять или шесть градусов выше уровня умственного развития общества»; «Несмотря на все неудачи моего честолюбия, я не считал людей злыми, а себя... их жертвой». «Друг читатель, не проводи свою жизнь в страхе и в ненависти». «...Проводи свою жизнь в любви и в высоких устремлениях», — подхватит его мысль Андре Моруа.

Прикоснувшись к Стендалю, нынешнее и последующие поколения откроют у него новые, неизведанные пласты мысли, восхитятся гибкостью его ума, гуманистическим пафосом его творчества. Для своего времени они попытаются объяснить, почему он один из самых живых классиков мировой литературы.

Ю. КАГРАМАНОВ

## В ПОИСКАХ ПРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА

**М**ожно извлечь разного рода уроки, прикасаясь к Стендалю. Сейчас речь пойдет об уроках морали.

Стендаль и нравоучение — казалось бы, что может быть тут общего? И все же не зря французский философ Ален отметил, что если в Бальзаке есть нечто от социолога, то в Стендале — нечто от политического моралиста. И хотя нравственные идеалы Стендала — продукт его времени, они заключают в себе немало такого, что в наши дни сохраняет свое обаяние и действенность. Более того, сейчас они могут быть и поняты, и прочувствованы по-новому.

Некоторые современные западные авторы, пишущие о Стендале, изображают его скептиком, едва ли не основной смысл жизни видевшим в том, чтобы срывать цветы удовольствия. В сущности, они постигли его немногим лучше тех светских знакомцев Бейля, которые считали его просто остроумцем и легкомысленным эпикурейцем — потому, что сам он страшно боялся (это видно хотя бы из «Воспоминаний эгоиста»), как бы его не приняли за что-то другое. Ирония и скептицизм служили броней, оградившей его настоящее «я», для которого «философия личного счастья», шутливо названная им «бейлизмом», была лишь одной из граней внутреннего мира.

Тот же Стендаль, который так часто бравировал своим «бейлизмом», высказывал суждения совсем иного характера — например, что личное счастье не благоприятствует творчеству. Так, Россини недостаточно глубок сравнительно с Моцартом именно потому, что он «слишком счастливый... слишком лакомка». (С другой стороны, Стендаль не принимал созданного романтиками культа несчастья, считая, что несчастье ожесточает человека.) О себе он писал, что из всех удовольствий более других ценит «самое дешевое» — мыслить.

Да, Стендаль — парадоксалист, ироник; даже касаясь самых серьезных вопросов, он редко обходится без противоречивых по видимости замечаний, без парадокса, без шутки. Но из этого еще не следует, что он не имел определенных убеждений. «В одном Стендале было десять Стендалей», — утверждает, например, американский исследователь М. Брассэли, имея в виду его политические и этические взгляды<sup>1</sup>. Это типичное и в то же время очень поверхностное или, скорее, предвзятое суждение.

На самом деле кажущаяся противоречивость Стендала объясняется тем, что он смотрел на мир «изнутри человека» — следовательно, меняя угол зрения. Это был но-

вый тип рефлексии, неизвестный предшествующей эпохой. Подвижная, будто ртуть, стэндалевская мысль как бы переходит от одной точки зрения к другой, чтобы охватить мир возможно более широко и полно. Но за пестротой, создаваемой различием точек зрения, просматривается вполне определенное мировоззрение.

Стендаль формировался в эпоху грандиозного исторического катаклизма — Девятого в ряду социальных и политических катаклизмов, сотрясавших Европу на протяжении мигнувших двухсот лет. И, может быть, оттого, что он был первым, он вызвал и особенное смятение умов. Французская революция и вслед за ней завоевательные войны Наполеона распатали старый порядок, и это обусловило настоящую «переоценку всех ценностей». «В Европе все меняется, все переворачивается вверх дном», — пишет автор «Жизни Россини» в 1823 году. На театре политики, культуры, в любой сфере жизни происходила полная перемена декораций. Сумятица, царившая в головах, отразилась даже в одежде: пудренные парики, камзолы, белые чулки и рядом «панталоны, фрак, жилет» — разные эпохи, разные типы мировосприятия.

Покорение, явившееся к жизни во Франции примерно около 1800 года и давшее Бальзака и Гюго, созревало в то время, когда пыль, поднятая при крушении старого мира, отчасти уже улеглась и контуры нового образа жизни обозначились более или менее определенно. Стендаль на семнадцать лет старше XIX века, он застал времена абсолютизма, наблюдал события революции, принимал участие в походах Наполеона; ему пришлось пройти через период ломки, с особенной остротой ощутить контрасты двух эпох.

В наши дни французские структуралисты утверждают: человек есть формообразование, возникшее на грани XVIII и XIX веков. Тезис этот приобретает некоторый позитивный смысл, если внести уточнение: не «человек» просто, а конкретно-исторический его тип — человек Нового времени. Стендаль был свидетелем и, если можно так сказать, участником этой чуть-чуть таинственной (хотя объективные причины, вызвавшие ее, хорошо известны) мутации. Родилась новая разновидность индивидуальности, более развитая и в то же время более обособленная, более замкнутая на самое себя.

Какова ее внутренняя «механика»? Это всегда занимало Стендала. Мы знаем, что данный тип личности был санкционирован новым, буржуазным обществом, основанным на принципе частной инициативы. В политическом плане Стендаль всегда решительно выступал на стороне буржуазии, пока она вела борьбу со старыми привилегированными сословиями. Вот самый красноречивый пример стэндалевского постоянства: сделавшись в юные годы пылким республиканцем и поклонником Сен-Жюста и Дантона, он, по существу, никогда не переходил на какую-либо иную позицию; у него были лишь периоды, когда он просто не высказывался по вопросам политики.

Принять сторону буржуазии Стендаль побудили как его политические принципы, так и непосредственные симпатии и анти-

<sup>1</sup> M. Brussaly. The Political Ideas of Stendhal. N. Y., 1975, p. 18.

патии: аристократы в массе своей «глупы, как горшки», на стороне буржуа, а точнее разночинцев — бурная энергия, преобразовательская воля, свежесть чувствований и помыслов. Но по мере того как эпоха войн и революций отходила в прошлое и буржуазия утверждалась у власти, явственнее вырисовывалась прозаическая основа всех ее начинаний: стяжательство и накопительство. Бальзак тщательно исследовал этот социальный тип и воссоздал его на страницах своих романов. Стендаль не стал задерживаться около него, вынеся ему свой вердикт: буржуа «смешон», не затем революция развязала дремавшие в человеке силы, чтобы посвятить их приращению счета в банке. Стендаль интересовало не столько наличное, сколько должное.

Эпохи исторических катаклизмов тем, между прочим, и отличаются, что достигнутые ими люди слишком часто утрачивают из виду идеалы, именуемые вечными. В такие времена особенно «довлеет дневи злоба его». Все непреходящее, нетленное отступает куда-то на задний план. Для Стендаля — не отступило. Герои Корнеля не утратили для него своей притягательности из-за того только, что они принадлежат к феодальному сословию, упрямому революции. Равным образом и герои Плутарха не состарились за две тысячи лет. Высокие образцы, взятые из прошлого, позволяли скорректировать представления о порядке ценностей, о том, что в жизни всего важнее, что менее важно, а что вообще не имеет значения.

Душевное благородство для Стендаля — не кодульный атрибут театральных подмостков, а самое существенное, самое необходимое из человеческих свойств. «Испанизм», то есть развитое чувство гордости, чести, которым, по собственному признанию, дорожил Стендаль, скрытен, даже стыдлив — зато в таком виде он понятнее и ближе современному читателю.

Нравственный идеал Стендаля рельефнее выделяется, если видеть его на фоне посленаполеоновской Франции. С возвращением Бурбонов идеологи белой аристократии заняли морализаторскую позицию, выдвинув принцип «чести» в качестве основополагающего принципа общественной жизни (противопоставленного ими, с одной стороны, буржуазному практицизму, а с другой — наполеоновскому идеалу воинской славы). Это своего рода идеологическое контрпоступление имело определенный успех: буржуазное общество Франции усвоило элементы церемонности, чопорности — остатки их соблюдаются до сих пор; буржуа стали равняться на аристократов там, где дело касалось вопросов престижа, этикета. О них, аристократах и буржуа посленаполеоновской Франции, Стендаль писал, что это «сорт людей», которые руководствуются «предписаниями чести во всем, кроме важных и решительных в жизни поступков».

Те герои Стендаля, в которых он вложил нечто от самого себя, — люди чести в неподдельном смысле слова. Но пока обратим внимание вот на что: равнение на высокие образцы прошлого для Стендаля никоим образом не вело к пассивизму, любованию прошлым, не ослабляло его веры в совре-

менников, в их способность, так сказать, конструировать с героями Плутарха и Корнеля по части великодушия и высоких чувств. Реализовать эту способность можно, на взгляд Стендаля, только приняв сторону передовых общественных сил. Среди современников Стендаля не так уж много найдется тех (предоставляю подумать об этом читателю), кому удавалось совместить одно с другим: целиком разделяя идеалы социального и политического прогресса, в то же время не забывая о «точке зрения вечно-сти».

Конечно, идеалы эти оставались довольно смутными. Стендаль постоянно интересовался текущая политика, злоба дня, еще больше — движение идей; он говорил о себе, что подобно тому, как паровозу нужен уголь, так и ему нужны ежедневно «три или четыре кубических фута» новых идей. Редкий из его собратьев по перу одолевал такое количество книг по истории, философии, политике. Стендаль многое почерпнул у Монтескье и Гельвеция, у Сисмонди и некоторых других современных ему мыслителей, интересовался Сен-Симоном, высоко оценил Фурье. Вместе с тем в отношении любимых теорий и учений он сохранял определенную дистанцию. Так что его политический радикализм проявился скорее как «запрос», как тенденция, не нашедшая себе конкретной теоретической опоры.

Стремление к идеалу, борьба за более совершенное общественное устройство для Стендаля обретают несомненность на уровне высокой эмоции. Ее он и воспел. Здесь он и пленяет современного читателя, и озадачивает его.

Стендаль ценит в чувстве непосредственность, «естественность», если употребить его любимое выражение. Таких его героев, как Жюльен Сорель и Фабрицио дель Донго, отличает не только благородство и способность к сильному чувству, но и цельность и, можно смело сказать, наивность. Недаром первый из них сделан провинциалом, а второй итальянцем. Противопоставление провинции Парижу и Италии Франции — постоянный мотив стендалевских книг. В парижанах, на взгляд Стендаля, слишком много искусственного, аффектированного, в провинциалах и итальянцах больше простоты, страстности, увлеченности.

Об этом, кстати говоря, часто забывают, экранизируя Стендаля. Показанный по телевидению сериал «Красное и черное» — в целом интересная работа, и Жюльен Сорель там тоже интересный. Но куда девались его наивность, угловатость, неловкость? Где Жюльен Сорель, показавшийся госпоже де Реналь совсем мальчиком в своей деревенской рубашке? Или наступающий на ногу маркизу де Ла-Моль при первой встрече? С самого начала мы видим очень уверенного в себе, очень пластичного молодого человека в хорошо сшитых брюках. «Наполеонистость» в нем есть, но отсутствуют простота и наивность.

Приветствуя достижения цивилизации, Стендаль в то же время одним из первых разглядел и некоторые ее издержки: создаваемое ею избытие информации как бы опережает естественное развитие психической жизни, дробя мир чувств, навязывает индивиду готовые примеры поведения.

Человеческий ум, пишет автор «Истории живописи в Италии», в прежние времена «чухнула из-за отсутствия помощи; теперь он задыхается от избытка образов». Вот откуда странные на первый взгляд пробелы в образовании у Жюльена Сореля, о котором нам сообщают, что он не читал ничего, кроме Библии и «Мемориала Святой Елены» (автор особенно подчеркивает, что он не читал романов), — юному герою необходимо было оставить его непосредственность и свежесть чувств. Примерно так же обстоит дело и с Фабрицио дель Донго.

Своеобразная духовность стэндалевских героев настроена на высокую страсти. «Неземную» духовность германского типа Стендаль не понимал и не принимал и вышучивал немца, который остается кантианцем даже у ног своей возлюбленной.

Такие герои Стендаля, как Жюльен и Фабрицио, счастливо сочетают естественность с природной пронизательностью, с полуинтуитивным порой пониманием того, что такое добро и справедливость или, во всяком случае, в каком направлении их следует искать. То же можно сказать о Ферранте Палле из «Пармской обители». Многие литературоведы смущала эта фигура: как будто революционер, карбонарий, а с другой стороны — эксцентрик, «благородный разбойник». Но Стендаль высветил в нем лишь то, что было ему интересно и важно: высокую страсть. Что же касается эксцентризма, то они, очевидно, объясняются тем, что Палла не может найти выход для своей энергии: карбонаризм разгромлен, и ему только и остается, что скрываться в лесах. Как говорит, цитируя древних, один из стэндалевских персонажей: *tempus silpa, non hominum* — виновато время, а не люди.

Ферранте Паллу, перенесенного в XX век, гораздо легче представить подчиненным жесткой дисциплине революционной организации, нежели в рядах леваков образца второй половины 60-х годов, ищущих «немедаленного рая». Его целомудрие, рыцарственность и сумасшедшая храбрость — это такое, образно говоря, вино, которому нужны достойные его мехи.

Приведенный образ (вино — мехи) вполне соответствует стэндалевскому представлению об эмоциях. Согласно Стендалю, человеческие эмоции и, следовательно, человеческая энергия обладают способностью к «перетеканию» из одной сферы в другую, как в индивидуальном масштабе, так и в масштабе общества. Понятие это — из тех «приблизительных» понятий, которые, не будучи научными, тем не менее схватывают реально существующие связи.

Частный случай «перетекания» эмоции Стендаль зафиксировал на собственном опыте. Несколько лет назад французский исследователь Ф. Рюд сумел прочесть одну его зашифрованную запись, относящуюся к 1821 году. В тот момент Стендаль вернулся в Париж из Милана после драматического для него разрыва с Матильдой Висконтини. Вот что он записал в дневнике: следовало бы «воспользоваться» своим несчастьем, чтобы убить Людовика XVIII. Конечно, трудно представить отставного аудитора Бейля в роли царевубийцы, тем более что он и в принципе-то совсем не одобрял

подобных акций. Скорее всего это была мимолетная мысль, но мысль, очень характерная для Стендаля: для него как бы первично сильное и благородное чувство; когда оно есть, оно ищет достойной себя цели.

Конечно, и выбор цели важен. Пылакий Пьетро Миссириали («Ванина Ванини») сам отталкивает любимую, жертвуя своим чувством, чтобы посвятить себя главному делу — революции.

Создавая свой нравственный идеал, Стендаль обратил внимание на те западни, что подстерегали бурно развившуюся индивидуальность. В этом отношении показательны его «Итальянские хроники». В них он выступает как почти беспристрастный протоколист, поставивший себе целью возможно более аутентично передать факты истории. Была своя закономерность в том, что его заинтересовали исторические документы кватроченто и чинквеченто (XV и XVI веков). Ренессанс, и прежде всего итальянский, явился, как известно, историческим прологом Нового времени: в условиях раннебуржуазного общества были «проиграны» возможности индивидуальности — и в позитивном, и в негативном смысле.

Эпоха сильных характеров и мощных страстей! Увы, страстей слишком часто дурных и порочных. Большинство портретов, которые набросал автор, по его же собственным словам, «ужасны». Герои «Итальянских хроник» своевольны, заносчивы, сластолюбивы, мстительны, коварны, они не знают удержку своим желаниям. «Все дозволено» в этом обществе, и только одно право пользуется признанием: право сильного. Последние и самые веские «аргументы»: меч, кинжал, яд. Ни одна развязка в «хрониках» не обходится без убийств и казней, часто садистски жестоких.

Урок: пример своевольных князей и прелатов чинквеченто свидетельствует о том, куда может привести ничем не обузданный индивидуализм. Ренессанс сделал возможным расцвет личности, но в то же время пролил свет на самые темные ее стороны. Культ индивидуальности открыл в человеческой природе нечто сатанинское — оно не завораживает Стендаля (как заворожило впоследствии Ницше, приписавшего Стендалю собственные умонастроения), но вызывает у него пристальный и тревожный интерес. Чем неистовые чинквечентисты действительно привлекают писателя, так это своей откровенностью: они делают явным то, что столь тщательно скрывает *this age of cant* — наш лицемерный век, затянутый в строгий спорток и застегнутый на все пуговицы.

Как ответ на «искушение», возникающее со страниц ренессансных хроник, можно рассмотреть роман «Пармская обитель», и прежде всего его центральный персонаж — Фабрицио дель Донго. Тем более что основой для романа послужила тоже историческая хроника, повествование о юношеских приключениях Алессандро Фарнезе, ставшего папой под именем Павла III.

В «Пармской обители» много такого, что не несет на себе примет определенного времени. Как и триста лет назад, Италией правят большие и малые деспоты, и без-

законие, произвол — обычное явление во всех «эшелонах власти». Еще сохраняется традиционный сонный уклад жизни, и театр остается едва ли не единственным местом, где находит себе выход общественный темперамент. Сфера сердечных отношений еще изобилует атрибутами, какие скоро можно будет встретить только на оперной сцене: влюбленные носят при себе кинжалы, прибегают к переодеваниям, пользуются веревочными лестницами.

При всем том это роман, основанный на политической оценке общественно-исторической ситуации, какой она сложилась в Италии после 1815 года; недаром Бальзак рассматривал его как современный аналог трактата Макиавелли «Государь». Все персонажи романа разведены по двум лагерям. Один из них — лагерь Священного союза. Другой, тот, которому принадлежат симпатии автора, на первый взгляд трудно как-то охарактеризовать по политическому признаку. Но это только на первый взгляд.

По-видимому, прав был французский писатель М. Бардеш, когда в своей книге «Стендаль-романист» обратил внимание на то, что Ватерлоо — не просто драматический пролог к «Пармской обители», но ключ ко всему роману<sup>1</sup>. Приняв однажды сторону Наполеона, Фабрицио, писал Бардеш, раз и навсегда делает выбор; все остальные «положительные» персонажи романа, кроме Ферранте Паллы, тоже называются так или иначе связанными с Наполеоном. Отсюда Бардеш, в целом, однако, весьма тенденциозно объясняющий Стендаля, заключил, что «положительные» персонажи — сторонники наполеоновской власти.

Об отношении Стендаля к Наполеону написано достаточно, поэтому напомним лишь, что, хотя Стендаль и отдал некоторую дань наполеоновской легенде, которая начала создаваться в Европе после 1815 года (ей отдали дань величайшие поэты Германии и России, то есть стран, воевавших против Наполеона, — можно ли упрекнуть бывшего наполеоновского офицера, что и он не устоял перед ее чарами?), он тем не менее всегда критически подходил и к самому

Наполеону, и тем более к наполеоновскому режиму и наполеоновскому воинству.

Но все дело в том, что в «Пармской обители», как и в «Красном и черном», Наполеон не столько реальная историческая фигура, сколько символ, — на этом уровне человек в треугольной шляпе и сером походном сюртуке не знает соперников. Символ столь же объемный, как «Марсельеза» и трехцветное знамя республиканской Франции, он — метафора или, если угодно, коэффициент нового строя жизни, что на время оттеснен победой реакции и тем не менее пробивает себе дорогу и рано или поздно возьмет верх.

Наполеон-символ, Наполеон-метафора так же сложен и многомерен, как и этот новый строй жизни. На него равняются Германн и Раскольников, убивающие старух из-за денег. Но на него равняются также и Жюльен Сорель, и Фабрицио дель Донго, пытающиеся найти формулу личного счастья, которая не противоречила бы требованиям чести.

Но вернемся к тому, из чего вырос Фабрицио. Оттолкнувшись от повествования о приключениях Фарнезе, Стендаль взял из него лишь некоторые сюжетные ходы (поединок на большой дороге, побег из крепости), решительно изменив характер героя. Юный Фарнезе — типичный чинквечентист, необузданный, чувственный, дерзкий, уверенный, что ему «все позволено». С некоторыми коррективами его легко представить в странном футуристическом наряде Алекса из фильма С. Кубрика «Заводной апельсин».

Фабрицио же отважен, ему внятна поэзия борьбы, ежеминутной игры с опасностью, и вместе с тем он чувствителен, мягок, сдержан, в нем есть естественное доброжелательство, адресованное всем, кто его окружает. Чувства его не только интенсивны и свежи, но и озарены светом надежды, вспыхнувшим над развалинами уходящего мира. Ибо перед нами не отвлеченная портретная схема, но определенное «качество души», возникшее на пороге XIX века в результате очистительных гроз революции. И вместе с тем здесь — «послание», адресованное следующему, XX веку, для которого, как Стендаль об этом неоднократно говорил, он предназначал свои книги.

<sup>1</sup> M. B a r d è s h e. Stendhal romancier. Paris, 1969.

# Трибуна переводчика

Л. ЭЙДЛИН

## ПОЭЗИЯ АЙ ЦИНА И ЕЕ ПЕРЕВОД

**К**итайский поэт Ай Цин — один из выдающихся поэтов нашей современности. Он вернулся к общественной и творческой жизни после более чем двадцатилетней ссылки и вновь пишет стихи. «Он по-прежнему молод» — называется опубликованная в 1981 году статья об Ай Цине известного китайского критика Се Мянля: «Родившегося в 1910 году Ай Цина по возрасту не назовешь молодым. Тем более что печататься он начал сорок восемь лет тому назад, первый сборник его стихотворений вышел сорок четыре года тому назад, а после 1957 года его песня была насильственно прервана, и продолжалось это двадцать один год. Перечисленные цифры достаточно свидетельствуют о том, что Ай Цин давно распростился с молодостью». И все же Се Мянль хочет доказать, что Ай Цин «по-прежнему молод».

Поэтическая молодость Ай Цина акцентируется в ряде появившихся за последнее время работ о нем. Да и сам Ай Цин, когда его спросили, связано ли сочинение стихов с возрастом и можно ли еще писать стихи, когда тебе уже много лет, искренне удивился этому вопросу.

Стихи Ай Цина выстраданы его жизнью. Так сложилось, что сын помещика с рождения до пяти лет воспитывался в бедной крестьянской семье. С первых дней узнал он тяготы китайского хлебопашца и мог впоследствии сказать, что одного взгляда на изборожденные морщинами лица ему дос-

таточно, чтобы проникнуть в беды степных жителей, потому что он тоже крестьянский сын.

Ай Цин хотел стать художником. Окончив в 1928 году среднюю школу и недолго проучившись живописи, он в 1929 году уехал в Париж. Там его захватила литература. «Три года духовной свободы и материальной нужды» (слова Ай Цина) открыли для него Верхарна, Аполлинера, Уитмена, Блока, Маяковского, Рембо. Он вернулся на родину в 1932 году и в июле того же года за прогрессивные убеждения был заключен в тюрьму, из которой вышел в октябре 1935 года. Вышел не художником, а поэтом. В 1936 году он издал первую книгу стихотворений.

Это печальные стихи, как печальна китайская действительность накануне анти-японской войны, начало которой отмечено событиями у Лугоуцяо 7 июля 1937 года. Тогда японцами были захвачены Бэйпин и Тяньцзинь, а в октябре — Шанхай, Тайюань, Сучжоу, в декабре — Нанкин, Ханчжоу. «Снег покрыл китайскую землю, стужей скован Китай!» В стихах военного времени (с 1937 до 1941 года Ай Цин в Шанхае, Ухани, Сиани, Гуйлине, Чунцине) печаль поэта все более насыщена гневом, а былую безысходность сменила вера в победу над врагом, в «поднявшийся из-за леса несравненный, ласковый рассвет».

«Я люблю эту печальную родную землю, древнюю родную землю...». И народ этой печальной земли видится ему лучшим в мире: «Эта родная земля/взрастила возлюбленный мною/самый горемычный в мире/ и самый древний в мире народ». Так писал поэт в феврале 1938 года в стихотворении «Север». Война обострила нестывающую боль любви его к своей стране. И опять в конце 1938 года «Я люблю эту землю» — стихотворение, завершающееся строками: «Поч-



му глаза мои всегда полны слез?/ Потому что глубока любовь моя к этой земле...». Кто бы смел предположить, что любовь к родной земле еще будет вменена в вину поэту одним из главных заправил «культурной революции», членом пресловутой «четверки» Яо Вэньюанем: «Многие стихи Ай Цина времени антияпонской войны содержат в себе тяжелую печаль и горечь... В этих стихах выражена контрреволюционная сущность Ай Цина».

В марте 1941 года поэт из Чунцина уехал в Яньань — радушно принявший его главный город освобожденных районов Китая, центр устремлений китайской революционной молодежи. А уехать в Яньань поэту помог виднейший деятель Коммунистической партии Китая Чжоу Эньлай. Через четыре десятилетия, в 1982 году, Ай Цин отблагодарил своего покровителя поэмой в его честь «В день поминовения дождь моросит», в которой рассказал и об этой необычной поездке.

Он помог достать  
деньги мне на дорогу  
и небольшого ослика  
запряженного в маленькую повозку  
так пройдя сорок семь проверок  
мы в конце концов достигли Яньани

посланная им телеграмма  
извещала о нас заранее  
он сберег нас своей заботой  
а такое поверьте  
даже если сто раз умру я  
и тогда забыть ее не может...!

«Он стал подлинным горнистом,— пишет Се Мянью в очерке об Ай Цине,— в звуках его горна уже не было печали, в них слышалась песня настоящей «Вести о рассвете», он извещал человечество, глаза которого сожжены ожиданием, и далекие города и села, погруженные в горести, о том, что «то, чего они ждут, вст-вот придет». Это была песня уже не о мечте, а о самой действительности».

Ай Цин имеет право сказать, что в стихотворении «Снег покрыл китайскую землю» он «в печальных стихах описал жизнь народа», что поэма «К солнцу» — это «ода антияпонской войне, хвала пробудившемуся сознанию народа». С полей сражений поднимались его стихи. «Я хотя не находился на передовой, но был под ожесточенными бомбежками японских самолетов — в Шанхае, в Ухани, в Гуйлине, в Чунцине, в Яньани» Он прав, называя себя «счастливым уцелевшим в боях» («Гуанмин жибао», 15 августа 1982 г.).

Ай Цин покинул Яньань после капитуляции Японии в 1945 году, работал на севере Китая, а в 1949 году окончательно переселился в освобожденный от гоминьдановских войск Пекин, войдя в него с Народно-освободительной армией. Ай Цин знал одну цель — благо отчизны. В жизни и в стихах. И там и здесь был он прям и прост, что не раз создавало трудности на его жизненном пути. Воспользуемся снова свидетельством Се Мянью: «Из-за левацких тенденций в литературной политике литература под сильным политическим нажимом часто оказывалась в затруднительном положении; возможно, что некоторые мог-

<sup>1</sup> Здесь и далее, где не оговорено особо, переводы, выполненные для этой статьи, принадлежат ее автору. (Прим. ред.)

ли приспособляться к веяниям времени, но не таков был Ай Цин, и это также усиливало его невзгоды». Эти слова, касающиеся пятидесятих годов, можно ведь отнести и к яньаньским временам: помещенная 11 марта 1942 года в сотом номере литературного приложения к газете «Цзефан жибао» статья Ай Цина «Понимать писателя, ценить писателя» была встречена с неудовольствием.

«В ходе одной суровой политической кампании (здесь имеется в виду движение за борьбу с правыми) Ай Цин исчез (Се Мянью): в 1957 году Ай Цин был объявлен «правым» и сослан к лесорубам Северо-Востока, а через полтора года в Синьцзян, в целинный район армейского производственно-строительного корпуса, где находился шестнадцать лет, получив возможность освобождения лишь после «культурной революции». Но Ай Цин не умер и не окаменел, замечает Се Мянью. Как давным-давно умолкший уголь из его стихов, он ждал огня, ныне зажегшего его. В апреле 1978 года шанхайская газета «Вэньхуэйбао» опубликовала первое после возвращения поэта стихотворение «Красное знамя»: «Прекраснее всего/развевается под ветром во время движения вперед красное знамя»

Поэзия Ай Цина нашла в Китае широкое признание — в связи с пятидесятилетием его писательской деятельности организуются айциновские чтения, на которых произносятся доклады о творческом пути поэта, о стиле его стихов, о значении его теоретических статей, о месте Ай Цина в китайской литературе и о влиянии его на развитие новой китайской поэзии. На одном из таких собраний в мае 1982 года в Ханчжоу выступил сам поэт.

Ай Цин остался верен найденной им форме «свободного стиха» со вкрапленной в него «случайной» рифмой. «Свободный стих» и подсказан западной поэзией, но и традиционно близок Китаю, по-своему продолжая форму старинных прозопоэтических сочинений, почему и утвердился он легко на китайской стихотворной почве.

Ай Цин открыт и ясен. Отдав дань символике, романтической приподнятости и риторике молодых лет, он впоследствии довел свою мысль до предельной краткости. Издавна декларируемый им принцип правдивости («Поэт обязан говорить правду», «В стихах нельзя лгать, нельзя утверждать противное своим убеждениям»), которому он следует неукоснительно, в поисках доступности приводит его иной раз к нарочитой, а вернее, кажущейся прозаичности. Но читатель не должен поддаваться первому этому впечатлению: раздумья над стихотворениями Ай Цина одаривают пониманием большой поэтической и нравственной их глубины, когда прозаичность стихов оказывается лишь внешней, а дышит в них поэзия самой жизни со всеми ее звуками, красками и запахами.

Поэзия Ай Цина обиденна. Он ничем не собирает нас удивить. Она лирична и гражданственна, потому что беды страны и народа — это беды самого поэта. Он любит родину скромно, без аффектации, без криков о своей любви. «Китай, /мои в несвещенный лампою вечер/ написанные бес-

сильные строки/ смогут ли дать тебе хоть немного тепла?» Он, как птица в стихотворении «Я люблю эту землю», все, что имеет, готов подарить родной земле: при жизни — свою песню, со смертью — и свое оперение. Им движет желание помочь людям в их борьбе за победу добра. И об этом, следуя примеру великих предков, он часто разговаривает с «десятком тысяч вещей», с одушевляемой им природой.

«Зонтик» — опубликованное в журнале «Сиху» одно из его стихотворений, написанных после возвращения:

Я спросил у зонтика утром:  
«Что милее тебе — жар палящего солнца  
Или влага, которую дождь приносит?»

Засмеялся он и ответил:  
«Ведь заботит меня совсем другое».

И тогда я спросил:  
«Ну а что же тебя заботит?»

Он сказал:  
«Вот чего я хотел бы —  
Под дождем не позволить одежде  
людей промокнуть,  
А при солнце быть облаком над их  
головами».

В этом весь, как сказал о нем Пабло Неруда, «пленительный Ай Цин» — умный, бесхитростно доброжелательный, ироничный и чистосердечный, излучающий обаяние поэзии.

Мне выпало счастье подружиться с поэтом. У меня на полках стоят подаренные им книги, на стене висит подлинник Ци Байши из коллекции Ай Цина, я храню записки, которые он оставял, когда не заставал меня дома. Наша дружба была почти ежедневной, но недолгой: уже в мой приезд в Китай в 1958 году Ай Цин ушел из пределов досягаемости, и я мог лишь вспоминать наши разговоры, наши прогулки и посещения друзей, наши обеды. Я мечтаю снова увидеть круглое лицо поэта, встретить взгляд его непреклонных веселых глаз, дотронуться рукой до твердого, как камень, его плеча, услышать чистое звучание его голоса. Будет ли это? Я читаю его стихи...

Творчество Ай Цина известно у нас с 1951 года: стихи его публиковались в переводах Л. Черкасского, А. Гитовича, П. Комарова, Г. Ярославцева, поэту были посвящены работа В. Петрова «Ай Цин», специальная глава в книге Н. Федоренко «Китайская литература», страницы «Китайской поэзии военных лет» Л. Черкасского.

Перевод поэзии труден. Он требует знаний и внимания. Перевод дальневосточной иероглифической поэзии особенно труден. Переводчик вынужден преодолевать препятствия дополнительные, хотя бы те, которые связаны с неоднозначностью иероглифа, в особенности когда иероглиф выступает в роли не составной части слова, а самого слова. Поэтому критик переводов дальневосточной поэзии должен быть особенно чувствителен к достоинствам перевода, понимая, с каким напряжением они достаются, и в то же время уметь проявить сочувствие к неудачам переводчика в его единорестве с иной раз очень сложным текстом. Но критик перевода обязан при

этом и регистрировать успехи и неудачи, потому что помнить их нужно нам для дальнейшего движения вперед.

Прежние переводы Ай Цина сделали свое доброе дело и не ждут немедленной нашей оценки. Они живут своего жизнью, и если даже частично забыты, то только не для тех, кто берется за продолжение популяризации выдающегося китайского поэта в нашей стране. В 1981 году, через тридцать лет после опубликования первых переводов стихотворений Ай Цина на русский язык, вышла книжка «Ай Цин. Избранная лирика»<sup>1</sup>, в которую кроме одного из стихотворений Ай Цина последних лет включены стихи тридцатых и начала сороковых годов, в том числе и переведившиеся ранее. Помог ли переводчику опыт его предшественников и что нового привнесено им самим в этот опыт?

Еще только перелистывая книгу, мы сразу же замечаем, что переводчик стремится к невозможной близости к оригиналу, понимая ее как последовательное переложение если не строки за строкой, то уж во всяком случае грамматического оборота за грамматическим оборотом. И это похвально: наверное, так и нужно перевести крупных поэтов. Тем более что «свободный стих» Ай Цина тут охотно идет навстречу и всякое весомое его поэтическое слово может быть бережно донесено до читателя перевода.

Как, право же, хотелось бы, чтобы переводчик преуспел в своем стремлении, потому что это был бы не только его успех, но далеко идущий успех принципа, которому мы всецело сочувствуем...

«Возвратившись из твоей разноцветной Европы/ я привез с собой тростниковую дудку» — так начинается сборник переводов Ю. А. Сорокина. Возвратившись привез? Уговариваем себя не обращать внимания на нечаянные мелочи и так без нареканий доходим до непредвиденного возгласа: «К черту/ вашу когда-то пропетую «Марсельзу»/ это она топят в похоти/ плоды блистательной победы!»

Читаем дальше. «Париж» за «Тростниковой дудкой», и «Ясли», и «Весна», и «Жизнь»... Пестрит в глазах от составных определений — «жаднополая... Европа», «истерично красивые проститутки», «изумленнопечальные призывы», «каменножелезное сердце», «холоднольдистая насмешка», «синеведное лицо», «кровопоклейменные ночи», «печальнодолгие дни», «многожелезная ограда», «ненастночерные стены», «горькомяжкие волны», «равниннопросторное поле», «водопаднохвalebная песня», «голубоватосинее небо»... В этой нарочитой вычурности нет места высокой простоте Ай Цина.

Попробуем оправдать переводчика: составные прилагательные вовсе не чужды русскому языку. Приходят на память державинская «милосизая птичка», пушкинское «тяжело-звонкое скаканье», Анненский с его проникновенными «грязно-бледными днями», «лунно-гальными далями»... Так что

<sup>1</sup> Ай Цин. Избранная лирика. Перевел с китайского Ю. А. Сорокин. М., «Молодая гвардия», 1981.

словоновшество Ю. А. Сорокина заключается только в соединении не всегда соединимых понятий и прежде всего требует подтверждения китайским текстом. Соответствует ли оно словарю Ай Цина? Язык Ай Цина, образный язык поэта, есть в то же время нормальный полисиллабический современный китайский язык, и идея перевода каждого из иероглифов, составляющих слово, не оправдывает себя: она искусственна для китайского языка и подчеркнута искусственна при переводе на русский. (Добро бы еще перевод был безупречен. Но вот, к примеру, «многотяжелая ограда» на поверку оказывается тысячами рядов железной ограды, и все это потому, что переводчик не принял во внимание наличия второго значения у иероглифа «чжун» (тяжелый), когда он читается «чун» и означает слой, ряд.)

И еще одна странность — перевод географических названий, возвращающий нас к литературе типа романа Шарля Петри «Нищий с Моста Драконов»: «застава Речных Отроков», «дорога Равнинноувлажненной Земли», «дорога Могучего Морского Прибоя», «город Воинственной Славы», «среди деревень Коричной Рощи», «Юг Согласных Потоков», «Ущелистый (?) Север»... Давно такого встречать не приходилось! Попробуйте в джунглях этой причудливой экзотики узнать места, указанные поэтом: «Равнинноувлажненная земля!» «Воинственная Слава!» «Юг Согласных Потоков!» «Коричная Роща!»... А речь-то идет о Бэйпин-Ханькоуской железной дороге, об Учане, о Сяннани, о Гуйлине... О ставших общеизвестными общепринятых названиях мест страданий поэта!

Посмотрим, насколько верен Ю. А. Сорокин идее и мысли поэзии Ай Цина. Вернемся к упомянутой выше «Марсельезе» и, конечно, обнаружим, что не песню укоряет поэт, а тех, кто ее позорит: «Подите прочь, вы, когда-то певшие «Марсельезу», а ныне похаблящие/ эту славную, победную песню!» Хорошо ли так легкомысленно относиться к смыслу стихотворения и к репутации автора?

Знаменитый «Париж» Ай Цина... «Грамматизация» парижской улицы неожиданно переключается с написанной в те же тридцатые годы «Битвой слонов» Заболоцкого, у которого «На бессильные фигурки существительных Кидаются лошади прилагательных, Косматые всадники Преследуют конницу глаголов, И снаряды междометий Рвутся над головами, Как сигнальные ракеты». У Ай Цина город логически стройно представлен грохотом звучащей азбуки из автобусов, трамваев, вагонов метро, криком ясно различимых предложений из асфальтированных улиц, рельсовых путей, тротуаров с бегущими знаками препинания колес, с восклицательными знаками гудков — «бесконечное и прекрасное сочинение». В сумбуре перевода, где фигурируют «разборчивый алфавит», «сказания автобусов...», «мудрые изречения мазутных (?) улиц...», особенно поразительны «изумленнопечальные призывы», оказывающиеся обыкновенными восклицательными знаками («цзинтаньхао»). Вот вам и цена романтическим составным прилагательным, щедро

разбрасываемым Ю. А. Сорокиным перед изумленнопечальным взором доверчивого читателя.

Вызывает сожаление не совершенство знаний Ю. А. Сорокина (кто совершенен?), а опрометчивость, с которой он отходит от смысла текста. В стихотворении «Ясли» у переводчика: «Почему снова падает снег?/ Воробьи сидящие на деревянной решетке/ разглядывают небо/ погода не портится...» Воробьев, замечающих, что «погода не портится» (хотя «снова падает снег»), нетрудно разубедить. У Ай Цина вместо последней в цитате строки Ю. А. Сорокина стоит: «небо такое темное». Просто Ю. А. Сорокин не увидел разницы между иероглифами «вэй» (отрицание) и «мо» (в сочетании с «чжэ» означающим «такой»). По подобной же причине у Ю. А. Сорокина крестьянин «неспешно распахивает/ равниннопросторное поле», в то время как у Ай Цина тот же крестьянин «спешит вспахать...». На этот раз переводчик спутал иероглифы «у» (запретительное отрицание) и «цун» (спешить). Что же касается прихотливого сочетания «равниннопросторное», то этот скрупулезный перевод составляющих одно слово двух рядом стоящих знаков надо понимать как широко простершееся.

Как видим, Ю. А. Сорокин не прочь поспорить с Ай Цином. Вот и в стихотворении «Осеннее утро» вопреки уверению Ай Цина «уже год как я приехал на юг», переводчик пишет: «уже год как я приехал с юга». (Здесь одно из двух: либо переводчик, что удивительно, не понял строку «волай наньфан и и няньла», либо он не понимает югом Гуйлин, то есть, простите, «Коричную рощу»). Он и дальше не очень согласен с китайским поэтом и строку «в сердце моем давно живет накопившаяся печаль, которую трудно высказать» понимает по-своему: «в душе густо сплелись давние смутные слова».

Полностью искажено стихотворение «Улыбка». Поэт представляет себе, как спустя несколько тысячелетий археолог найдет иссохшую его кость. «Сможет ли он узнать, что эта кость/ была опалена пламенем двадцатого века?» У переводчика же все происходит «несколько тысячелетий тому назад», а затем «разве археолог мог знать что эти кости/ миновал(?) яростный сжигающий огонь двадцати (?) столетий?» О последующем при таком начале и говорить не приходится.

В стихотворении Ай Цина «Женщина латающая одежду» вызвавшие сострадание поэта глаза (голодного ребенка) неотрывно глядят на опустевшую корзину. В переводе Ю. А. Сорокина «жалобные глаза/ пристально разглядывают из корзины небо». В стихотворении «Нищие» районы, пострадавшие от стихии («цзяйцой»), именуются в переводе «страною горя», места военных действий («чжаньди») — «воинственными землями». В переводе одного из лучших стихотворений Ай Цина («Снег ложится на китайскую землю») поэту встречается крестьянин, «догоняющий телегу» (так переводит Ю. А. Сорокин иероглиф за иероглифом «ганьчжомачэди» — возницу), и поэт устами переводчика говорит ему: «...поэтому ваши/ глубоко изрезанные морщинами лица/ я до-

подлинно знаю/ потому что жил когда-то на поросшей травой равнине/ среди шестивя(?) людских страданий» вместо слов Ай Цина о том, что по крестьянским изрезанным морщинами страданий лицам он знает о долгих муках степных жителей. Кстати, китайская «поросшая травой равнина» по-русски называется степью, а «сухая трава в сараях» (в стихотворении «Сумерки») — сеном.

Сказочность в стихотворениях Ай Цина ограничивается традиционным олицетворением природы — он далек от мифотворчества, получившего сейчас особенно большое распространение в литературах мира. Вот почему небезобидна и нарушает замысел поэта ошибка переводчика в стихотворении «Разговор с каменным углем»: у него уголь замолк «с эпохи когда лесами завладел дракон». Но в истории человечества такой эпохи не было: она в сказках и мифах. У поэта не «лун» — легендарный дракон из китайской традиции, а «кунлун» — реально существовавший динозавр. Помнивший динозавра древний уголь ждет лишь огня, чтобы ожить!

Книжка переводов Ю. А. Сорокина с его же предисловием была подвергнута критике на происходившей в январе 1982 года Всесоюзной конференции китаеведов в докладе В. Ф. Сорокина и в выступлении О. П. Болотиной. Можно сказать о причинах каждой из ошибок Ю. А. Сорокина, но не покажется ли это слишком специальным читателю-некитаисту? Общая же причина ошибок Ю. А. Сорокина коренится в недостаточной твердости знаний, а отсюда и в

неумении управиться с иероглифическим текстом.

Итак, появилась еще одна книга стихотворений Ай Цина в переводе на русский язык. Ю. А. Сорокину предстояло сделать следующий шаг в овладении стихом Ай Цина. Сделал ли он его?

Первое проявление мастерства переводчика выражается в способности понять подлинник. Ю. А. Сорокин, к сожалению (что подтверждается и той частью ошибок, на которой мы остановились), не выдержал этого требования. Само же стремление Ю. А. Сорокина к полному переводу текста, повторяем, похвально.

Переводы Ю. А. Сорокина просигнализировали о настоятельной нужде в переводе современной, а в частности, сегодняшней китайской поэзии, весьма активно вторгающейся в жизнь страны, и в первую очередь — в переводе произведений Ай Цина. Пока встречи нашего читателя с нынешней китайской поэзией ограничиваются публикациями плодотворно работающих — над переводом и исследованием ее Л. Черкасского, над переводом ее Г. Ярославцева. Но ведь этого явно недостаточно.

И для начала пришла пора собрать и пересмотреть все изданные переводы Ай Цина на русский язык, перевести многие непереведенные старые, а также новые его стихи и выпустить хорошую книгу стихотворений этого прекрасного поэта, в творчестве которого живет дух китайского народа — испытания, перенесенные им, и борьба его более чем за пятьдесят лет.

# Наши интервью

## ПИТЕР УСТИНОВ, ЕГО РОЛИ И КНИГИ

**Н**асмешливый, порой язвительный Питер Устинов<sup>1</sup> оказался добросердечным и гостеприимным хозяином.

— Приезжайте когда сможете. Буду ждать вас к обеду, а если не успеете, вместе поужинаем. Будете с друзьями? Очень хорошо! Скольким временем я располагаю? Завтра утром я улетаю в Токио, а сегодня никуда не тороплюсь,— услышала я от знаменитого английского актера, режиссера, прозаика и драматурга, когда позвонила ему утром из Цюриха в его «укрывище» — тихий дом с видом на горы, расположенный во франкоязычной части Швейцарии.

Встретив нас в саду — я приехала с литературным агентом Петером Фрицем и его женой Эленой, по приглашению которых находилась в Швейцарии,— и не дожидаясь, пока гости, преодолев первую неловкость, начнут задавать вопросы, Питер Устинов незамедлительно вовлекает их в веселый спектакль, который он, как мне доводилось видеть и прежде, с удовольствием разыгрывает перед своими зрителями-собеседниками. Отдельные номера этого моноспектакля уже давно отработаны, тем не менее актер щедро импровизирует, шутит и пародирует.

<sup>1</sup> Советским читателям и зрителям известны роман П. Устинова «Крамнэгел» («ИЛ», 1981, № 8—10), пьесы «На полпути к вершине» (поставлена Театром им. Моссовета) и «Фотофиниш» («Театр», 1967, № 2), а также ряд фильмов с его участием: «Спартак», «Роковое путешествие» и др.



Питер Устинов около своего дома. Фото П. Фрица

Дар к имитации у Питера Устинова проснулся очень давно, в раннем детстве: «Я начал с того, что стал подражать попугаю, что не часто случается с детьми, а затем — к величайшему огорчению моей матери — полностью перевоплотился в автомобиль и с утра до вечера подражал его урчанию».

И на наших глазах грузный и кажущийся неповоротливым актер, на самом деле обладающий завидной пластикой и мягкостью движений, устремляется на середину комнаты, чтобы изобразить очередного персонажа, о котором заходит речь. Мгновенно меняется голос, интонация, выражение лица, осанка — короче, весь облик, и перед нами оживают знакомые или никогда не виденные люди, которые при встрече с актером не подозревали о том, что его ироничный и цепкий взгляд подмечал и запоминал все, что казалось ему смешным и достойным пародии: чиновничья важность, высокомерие, манья величия, псевдозначительный тон, жеманство и прочие слабости и пороки.

Одна маска сменяет другую, благодарные зрители весело хохочут, и вдруг невольная мысль: интересно, в каком виде изобразит тебя этот насмешник, чтобы позабавить очередных посетителей?

А каков сам Питер Устинов в действительности? Ведь его смех — это скорее всего тоже маска, за которой нелегко раз-

личить подлинные черты. Как часто мы догадываемся, что даже прославленные художники и мастера слова, отвечая на банальные, из раза в раз повторяющиеся вопросы журналистов, дают на них и соответственно схожие ответы. Но если вдуматься, желание спрятать сокровенное поглубже, а не выставлять его «на продажу», вполне объяснимо и понятно, поэтому, беседуя с Питером Устиновым, нужно принимать правила его игры.

— С чего началась ваша творческая жизнь?

— Прежде всего я начал с того, что, как и все, появился на свет. Родился я в туманном и респектабельном Лондоне в 1921 году, в русской семье, но зачат был в Петрограде — это обстоятельство представляется мне чрезвычайно важным, — говорит Устинов, смеясь. — Мой отец, родители которого уже многие годы жили в Германии, приехал в Советский Союз на поиски своих русских корней и в одном доме познакомился с моей матерью — дочкой архитектора Луи Бенуа. Он сразу влюбился в нее и, я считаю, правильно сделал, потому что иначе не было бы и меня. А моя артистическая жизнь началась сразу же после школы, хотя на подмостках сцены я появлялся и в школьных спектаклях: однажды я сыграл поросенка, а в другой раз — белокурую нимфу, соблазняющую Одиссея. Еще я играл в те годы в футбол — как правило, меня ставили в ворота: поскольку я был толстяком, то надеялись, что я заслоню собой ворота и пропущу меньше мячей. По правде говоря, особыми талантами и прилежностью я во время учебы не отличался, и парадоксально, но по четырем предметам я, как тогда говорили, шел первым, а по всем остальным — последним. Было совершенно ясно, что экзамены по большей части дисциплины мне не выдержат, и моя мать, замечательная женщина, которая была для меня и матерью, и сестрой, и другом, сказала отцу: «Придется ему идти в актеры, ничего другого ему просто не остается». Отец был против — нет, пусть лучше станет адвокатом. Почему именно адвокатом? Может быть, только потому, что ему самому не удалось им стать. Вот так решался в нашей семье вопрос о моей профессии. Однако я проявил упрямство: нет, не хочу быть адвокатом, стану актером, в конце концов это одно и то же. Отец был крайне недоволен. Но меня поддержал мой дядя — Александр Бенуа, который в то время работал вместе со Станиславским над постановками пьес Мольера и Гольдони в Московском Художественном театре. Он прислал мне незабываемое письмо, я помню его наизусть, в котором благословил меня на избранный мною путь.

Затем последовали два года учебы в лондонской театральной студии Мишеля Сен-Дени, роли, исполняемые в учебных спектаклях «Дяде Ване» Чехова и пьесе «Марьяна Пинеда» Федерико Гарсиа Лорки, и приговор, вынесенный руководителем студии по истечении двухлетнего срока. «Не представляю, какие роли могли бы вы играть, — холодно сказал он мне. — Разве

что шекспировских шутов, но... они требуются не так уж часто... к тому же актеров на эти роли хватает и без вас, да и опыта у них побольше. Послушайтесь моего совета и оставайтесь у меня еще на год». Но я жаждал свободы и, стараясь изо всех сил сохранять спокойствие, сказал ему, что хочу самостоятельно попробовать свои силы», — рассказывает в многостраничной автобиографической книге Устинова «Многоуважаемый Я», написанной в форме диалога с самим собой, экземпляр которой на французском языке автор подарил мне во время нашей встречи. В этом исполненном иронии и самоиронии повествовании о внешне благополучной и удачливой судьбе Устинов предстает временами и без выработанной с годами маски. Блестящий и искрометный актер, остро слов и импровизатор, делающий всерьез все, за что он берется, но не любящий говорить об этом всерьез, приоткрывается здесь как размышляющий о проблемах своей профессии и озабоченный судьбами мира художник и как человек, который, по собственному признанию, сохранил по сей день юношескую робость и «старомодную» приверженность к устойчивым и прочным человеческим взаимоотношениям.

— После долгих поисков работы я устроился наконец в кабаре, и мне дали первую роль — старого священника.

— Сколько лет вам было в ту пору?

— Восемнадцать. И я играл старика, которому за восемьдесят.

— В гриме?

— Да, и к тому же я всячески старался придать себе измученный вид, потому что этот бедняга столь долго прожил в Африке, что забыл и английский, и латынь и, читая проповеди, то и дело сбивался на суахили. Это и был мой артистический дебют. Отец и тут остался недоволен: как, даже не драма, а водевиль! Он употребил именно это старомодное слово.

И при этом не кто иной, как отец, который был журналистом, очень помог мне в жизни. В то время мы жили в Лондоне, в крохотной квартирке. И когда вдруг на отца находило вдохновение и он брался писать роман, он уединялся, насколько это было возможно, и требовал от нас с матерью неукоснительного соблюдения тишины. Целый день он корпел над своим романом, что-то писал, правил, зачеркивал. К концу дня у него бывала написана всего одна страница, которую он зачитывал потом всем, кто приходил к нам в гости. Это длилось в течение месяца, после чего он забрасывал свое детище. Через некоторое время отец принимался за новый роман, но дальше первой страницы сдвинуться ему не удавалось. Таким образом он сочинил восемь или девять самых коротких в мире романов. Очевидно, отец был не способен к такого рода работе. Можно сказать, что это был Обломов в области литературы. И когда я написал первую пьесу — трагикомедию «Дом сожалений» — и вдобавок она была поставлена и имела успех, вот что поразило его боль-

ше всего: «Как же ты ухитрился довести ее до конца?».

— О чем рассказывалось в этой пьесе?

— О начале войны и о русском эмигранте, живущем в Лондоне, у которого это событие вызвало самые противоречивые чувства, в том числе и абсурдную надежду, что война поможет восстановить в России старые порядки. Пьеса шла под бомбежками и, как я уже сказал, имела успех. А на долю моей второй пьесы выпал уже не просто большой, а небывалый успех. Так бывает: первая пьеса застает критиков врасплох, а вторую уже ждут.

Начинал я как актер, но во время войны играть было негде, и мне ничего не оставалось, как писать, что я и делал.

И четыре с половиной года я прослужил в армии, где вынужден был исполнять роль, которая была мне совсем не по душе.

«Хотя ни за какие блага мира я не променял бы тот жизненный опыт, который принесли мне эти годы», — признается Устинов в автобиографической книге.

— Что же до моих военачальников, их очень озадачивал этот солдат, а я всю войну прослужил рядовым, знаете, своего рода Швейком, который был автором нашумевшей пьесы.

В годы войны началась и моя кинематографическая карьера — в одном из фильмов мне досталась роль католического священника.

— Опять священника? Каждый раз вы деботировали в роли священника?

— Да, действительно, хотя я до сих пор об этом не задумывался. Эта работа была примечательна для меня тем, что у нас было два консультанта-священнослужителя, которые требовали от меня совершенно противоположного. В результате каждый кадр снимали дважды — сначала руководствуясь рекомендациями одного, а потом второго. Это удлинено в два раза срок съемок, чем я был очень доволен и едва не стал верующим.

— В скольких фильмах и спектаклях вам доводилось участвовать?

— Не знаю, не считал, их накопилось уже слишком много. Могу только сказать, что в театре ролей у меня было меньше, чем в кино, потому что я играл только в своих собственных пьесах, но недавно я сыграл в Лондоне короля Лира. Работа над этой ролью доставила мне огромное удовольствие, хотя это был для меня очень нелегкий опыт.

Я люблю играть в театре. На мой взгляд, театр — своего рода спорт, интеллектуальный и эмоциональный. Контакт со зрителем остается до сих пор очень тесным, а реакция публики — непосредственной и моментальной. Я считаю, что такой контакт со зрителем просто необходим, и в настоящее время он, пожалуй, возможен только в театре, где нас, актеров, не отделяет от него экран, как в кино или на телевидении.

Во время репетиций «Короля Лира» произошел случай, который мне самому казался интересным с психологической точки зрения. Эта роль давалась мне крайне

трудно, я объяснял это тем, что, может быть, я уже чересчур стар, чтобы играть персонажа с таким буйным темпераментом. Репетиция заняла очень длительное время — семь недель. Для вас это мало, а для Англии — слишком много. Но однажды за обедом, рассказывая что-то актерам, я нечаянно смахнул со стола стакан с водой и, ко всеобщему изумлению, успел подхватить его на лету. Все принялись меня расспрашивать: «Как это тебе удалось?» Что я мог ответить? «Сам не знаю. Может быть, сказалась чисто спортивная реакция, потому что я люблю играть в теннис?» Но благодаря этому случаю я вдруг поверил в свои силы, поверил в то, что я еще не слишком стар для этой роли и смогу ее сыграть.

— Есть ли у вас любимые роли?

— Самая любимая роль всегда та, над которой я работаю. В самое ближайшее время я начну репетировать в Лондоне роль Бетховена в моей пьесе, которую я посвятил этому композитору.

«Мне всегда казалось, я думаю так и сейчас, что интереснее всего играть противоречивых по натуре персонажей, чьи реакции непредсказуемы, а истинная суть проясняется только в финале. В конце концов театральные персонажи не в состоянии проявить на сцене всю многогранность своих характеров, ведь в их распоряжении лишь два с половиной часа, чтобы высказать все, что их мучает, поэтому ради соблюдения необходимых условностей поневоле приходится прибегать к упрощениям. В поисках решения этой проблемы Чехов привнес в драматургию много нового и до него не существовавшего. Пираделло с холодной безжалостностью показал действительность в парадоксальном свете. Шекспир предоставлял актерам больше свободы, чем им требовалось. Персонаж, который на профессиональном языке называют «одноплановым», лишен тайны, загадки, и в нем гораздо больше театральности, чем правдоподобия», — читаем мы в книге «Многоуважаемый Я».

— Видели ли вы свою пьесу «На полпути к вершине», поставленную у нас в Театре имени Моссовета?

— Да, по-моему, это превосходный спектакль.

— А как вам нравится Ростислав Плятт в главной роли?

— Плятт — замечательный, большой актер. Но с этим спектаклем у меня связаны и довольно забавные воспоминания.

И далее следует рассказ, в котором правда сочетается, вероятно, с выдумкой, как у многих рассказчиков, импровизирующих на ходу.

— Во время моей встречи с труппой театра именно Ростислав Плятт впервые задавал мне один и тот же вопрос (имитирует характерный голос артиста):

— Господин Устинов, посоветуйте, как сделать вашу пьесу более английской?

Я отвечал:

— Но она и так самая что ни на есть английская. Куда же больше?

Но Плятт был неумолим:

— И все-таки как сделать ее еще более убедительной для советского зрителя?

— Ну хорошо,— согласился я, и актеры приготовились записывать то, что я скажу.— Пожалуй, крест на Библии чуть-чуть великоват для католического и больше похож на англиканский. Лучше сделать его поменьше.— И всех это вполне удовлетворило.

Скетч, разыгранный Устиновым в лицах, звучит весело и правдоподобно, и можно лишь в скобках добавить, что, как утверждают участники нашего спектакля, Библия в нем вообще не фигурирует.

— Вы, наверное, слышали, что ваш роман «Крамнзгел», опубликованный в журнале «Иностранная литература», пользовался большим успехом?

— Мне говорили об этом, когда я был в Москве.

В книге-диалоге читаем: «...Мой второй роман «Крамнзгел» принадлежит к лучшему из того, что мне удалось создать.

— И это все, что ты можешь о нем сказать?

Если мои произведения вызывают хоть какой-то интерес, то они не нуждаются в комментариях... Единственное, что должно определять судьбу моих произведений — заслуживают ли они забвения или права на существование,— это только их художественная ценность. Больше мне нечего добавить...»

— А сейчас, когда вы так много разъезжаете, находите ли вы время, чтобы писать прозу?

— В настоящий момент я пишу книгу о России. Она отразит сугубо мои личные впечатления о вашей стране, которую я так плохо знаю, но к которой, будучи по происхождению русским, я так крепко привязан. Ничего не поделаешь — а-та-визм! Меня интересует история Древней Руси и сегодняшний день вашей страны, как и почему русские стали такими, какие они есть, каким образом некогда маленькое государство превратилось за сравнительно короткий срок в столь мощную державу. Я знаю, что не всем известна история развития вашей культуры. Но это будет не историческая книга, а мои мысли, мои размышления о России. Издатель предложил мне название «Моя Россия», которое поначалу показалось мне претенциозным, но потом я согласился: ведь у каждого складывается свое собственное представление о стране, а если взять шире, то и об истине. Например, когда я читал автобиографическую книгу, написанную моей матерью, я был поражен, как по-разному мы видели и воспринимали одни и те же события. Вот почему я думаю, что когда на судебных процессах требуют говорить правду и только правду, то требуют невозможного. Дающий показания излагает всего лишь свою собственную версию случившегося, свою собственную правду.

— Не планируете ли вы написать новый роман?

— Да-да, сейчас я как раз работаю над романом и нахожусь на полпути к верши-

не, но это очень трудная для меня книга, потому что я пишу о человеке со сложным характером и индивидуальностью.

— Вы работаете параллельно над двумя книгами?

— Да, сразу над двумя.

— Когда же вы находите для этого время?

— Зачастую по ночам — в годы войны я привык писать ночами во время бомбежек, спать все равно было невозможно. Сейчас нет бомбежек, но есть телефон, что бывает еще хуже.

— По происхождению вы русский, долго жили в Англии, сейчас обосновались в Швейцарии, играете, снимаетесь, ставите спектакли в разных странах, но когда вы беретесь за перо, представляете ли вы себе своего будущего читателя?

— Я думаю, что профессиональный писатель пишет в первую очередь для себя, а не для других. Но это отнюдь не значит, что я могу правильно судить, получается у меня или нет...

— Мне известно, что один из ваших любимых русских писателей — Гоголь.

— Это так, и все, что я предпринимал в области музыки, всегда было связано с Гоголем. В прошлом году я поставил в «Ла Скала» неоконченную оперу Мусоргского по «Женитьбе» Гоголя. И только что написал полуторачасовую пьесу, в которой попытался найти объяснение, почему эта опера осталась неоконченной. Она называется «Репетиция «Женитьбы» и должна идти в сопровождении роля.

— Есть ли и другие русские писатели, которых вы любите иногда перечитывать?

— Можно только удивляться, как стремительно развивается история и люди вместе с ней. Если сравнить романы восемнадцатого, девятнадцатого и нашего века, это будут совершенно разные вещи. Точно так же меняются со временем и люди. Чехов, Бах, Бетховен — не статичны, в течение жизни они постоянно менялись. Я знал, что незадолго до смерти у Чехова состоялась четырехчасовая разговор с моим дядей — Александром Бенуа, и при встрече я решил взять у него интервью — как вы сейчас берете у меня, — и принял расспрашивать его: что он может сказать о Чехове такое, что неизвестно другим. В тот момент Александру Бенуа было семьдесят семь лет, и вот что он мне ответил (голос актера становится по-старчески дребезжащим и спотыкающимся):

— Чехов... умер, а я... еще живу, почему же ты спрашиваешь о Чехове, а не обо мне?..

Тем не менее я осмелился повторить свою просьбу и услышал:

— Чехов... был очень приятным человеком, но меня всегда озадачивала... его политическая нетерпимость.

— Нетерпимость? — с удивлением переспросил я.

— Да, иногда стоило ему открыть рот, как некоторые люди выбегали из комнат: так шокировал он их своими высказываниями.

Может быть, я ошибаюсь, но насколько мне известно, смолоду Чехов не отличался такой резкостью суждений, однако с годами



он изменился. Со временем все меняется и по-иному воспринимается. Однако есть писатели, которых действительно хочется перечитывать. И Чехова, и Салтыкова-Щедрина. А как вы относитесь к Сухово-Кобылину?

— По-моему, это блестящий драматург.

— Я тоже так считаю. И еще я очень люблю Писемского, которого упрекали когда-то в безграничном пессимизме. Изумительный писатель. Современная критика часто не в состоянии оценить по достоинству то или иное произведение. То же самое случается и в музыке. Музыкальные сочинения, которые не имели никакого успеха при жизни композиторов, обретают иногда новую жизнь спустя много лет после их смерти. В подлинных произведениях искусства заложено столь много, что каждое новое поколение находит в них что-то для себя. Хотя при этом бывают и злоупотребления: например, при Муссолини драмы Шекспира трактовали в нужном ему свете.

— Доводилось ли вам читать советских авторов?

— Читал «Живи и помни» Распутина — очень хорошая книга. Но откровенно говоря, не хватает времени на то, чтобы читать все, что нужно, и все, что хочется. А когда я пишу что-то свое, то вообще не могу читать. Кроме того, у меня есть такой недостаток: при чтении книги мне может настолько понравиться какой-нибудь

фрагмент, что я вдруг ловлю себя на том, что и через много страниц все еще нахожусь под его воздействием и ничего не уловил и не запомнил из последующего текста. Ох! — вырвалось вдруг у Устинова, когда он поднимался с низкого дивана, чтобы заварить чай. — Не прошло все-таки даром мое приключение.

— А что произошло?

— Да ведь этой ночью я попал в аварию. Возвращался из Милана на машине и зашнуровался за рулем. Машина перевернулась, но я, к счастью, был привязан к сиденью ремнем, так что отделался только ушибами. Выбрался сам, без посторонней помощи, но машина оказалась в таком состоянии, что ехать дальше на ней было невозможно, и домой меня по иронии судьбы доставили... полицейские — так что как автор романа о полицейском который опубликовал ваш журнал, могу подтвердить, что и от полиции бывает иной раз польза.

— Значит, когда я утром позвонила вам, чтобы договориться о встрече, вы только что добрались домой?

— Да, и решил уже не ложиться спать. Смущенные, мы встали, чтобы попроситься.

— Куда вы? Посидите еще. Я же сказал, что сегодня куда-то не тороплюсь. *Сейчас будем пить чай*, — последние слова Устинов произнес по-русски.

Н. ПОПОВА

# Культура и современность

## 1982: ФРАНЦУЗЫ И МУЗЫКА

Минувшие два столетия создали французам репутацию едва ли не самой немusыкальной нации Европы.

Минувшие два десятилетия создали устойчивый стереотип отношений между молодежью и музыкой. Молодежь — это современные ритмы, малопонятные «взрослым», эсперанто рока и децибелы, децибелы...

В конце 1981-го — начале 1982 года внимание музыкантов, социологов, психологов и педагогов было привлечено явлением, резко ломающим оба эти стереотипа. Новый год начался во Франции под знаком «музыкального безумия», как определяет еженедельник «Экспресс» овладевшую французами подлинную страсть к музыке.

*«На выходе из туннеля двухвековой глухоты французы открыли для себя музыку... Они ее исполняют, ею наслаждаются, слушают ее, проникаются ею».*

Ему вторит еженедельник «Нувель обсерватёр»:

*«Никогда еще жизнь французов не была до такой степени насыщена музыкой... Статистики и специалисты по вопросам общественного мнения, изумленные, изучают и пытаются выразить в цифрах беспрецедентный музыкальный подъем».*

60—70-е годы создали определенное и довольно жесткое размежевание музыкальных владений: бит-, рок-, поп- и диско-музыка — угодья молодежи; «серьезная», даже самая авангардистская музыка, а уж тем более классика — это «для папочки». Односторонние и робкие попытки сближения, в основном предпринимавшиеся любителями серьезной музыки, по большей части ни к чему не приводили.

Сейчас во Франции возникает впечатление, что эта стена взаимного непонимания рушится. «Нувель обсерватёр» даже пишет о настоящем «музыкальном экуменизме»: поклонники рока осаждают концерты классической музыки, а любители классики не скрывают своей склонности к разнообразию.

*«Музыкальное сектантство терпит крах, — комментирует журнал, — ярлыки слетают, вкусы становятся все более широкими... Зачем говорить «или», когда можно сказать «и»?»*

Однако, как свидетельствуют цифры и факты, происходящий процесс гораздо многозначнее и не сводится просто к замене «или» на «и».

Прежде всего первая тенденция — обра-

щение к серьезной музыке до сих пор совершенно чуждого ей контингента слушателей — выступает как гораздо более весомая даже на уровне чисто количественных показателей. Журнал «Экспресс», например, совсем не упоминает об обратном движении — от классики к року и диско, а целиком фиксирует внимание на взрыве массового интереса к «большой» музыке. (Кроме того, когда молодежь обращается к классике, это чаще всего происходит непосредственно, по каким-то внутренним побуждениям. Напротив, как показали опросы, для «взрослых», проявляющих интерес к молодежной музыке, существенную роль могут играть дополнительные соображения: например, желание понять своих детей, войдя в сферу их музыкальных вкусов и пристрастий.)

В целом, пожалуй, не приходится отрицать, что знаменем идущего во Франции процесса «музыкального возрождения» стал именно и прежде всего взрыв страстного интереса к классической музыке.

Как и повсюду в Европе, угасание широкой музыкальной культуры произошло во Франции в эпоху Великой буржуазной революции 1789—1794 годов и наполеоновских войн. Серьезная, «большая» музыка стала уделом посвященных, благом для привилегированных, в то время как широкие массы, постепенно терявшие связи и с фольклорными корнями искусства, все больше привыкали к облегченному рациону массовой культуры. В послевоенный период, особенно в 60—70-е годы, она, казалось, безраздельно завладела широкой аудиторией, в особенности молодежной. Однако сейчас эти массы — ослепленно или бессознательно — встают против подобной культурной дискриминации. Факты красноречивы.

Меньше чем за год едва ли не вдвое возросло число посетителей оперных театров и консерваторий. Концертные залы, привычно рассчитанные на небольшую аудиторию, внезапно перестали вмещать всех желающих. Причем социологически наибольший интерес представляет именно публика, оставшаяся за дверями: это те, кто не обзавелся абонементом и не имеет привычки регулярно посещать концерты, те, кто пробужден этой беспрецедентной музыкальной волной. Трансляции опер по телевидению по числу зрителей соперничают с мировым чемпионатом по футболу. Спокойно лежавшие на полках пластинки Бивальди, Бетховена, Шопена, Малера, Ваг-

нера внезапно стали музыкальными бестселлерами.

И, наконец, картина, которую привыкли связывать только с концертами звезд рока: девять тысяч человек, стоя под дождем, слушают Девятую симфонию Бетховена, исполнением которой сопровождалась инсценировка Франсуа Миттерана.

Девятая симфония вообще является сейчас музыкальным бестселлером № 1, а сам Бетховен стал бесспорным кумиром этой волны музыкального возрождения. И не только во Франции. В 1981 году в США был проведен по ряду стран (включая США) опрос, имевший целью определить наиболее яркую «звезду» мировой истории. Предполагалось, что большинство назовет Иисуса Христа, — видимо, но без аналогий с известной рок-оперой. Но такой звездой, самой популярной личностью всех времен и народов оказалась Бетховен.

Что же стоит за всем этим — очередной и скоропреходящий каприз общественного вкуса в духе «ретро» или нечто большее, какая-то глубокая и массовая духовная потребность?

Журнал «Экспресс» обратился с вопросом о причинах столь необычного и никем не предугаданного явления к композитору и известному музыкальному критику, ныне возглавляющему музыкальный отдел Министерства культуры Франции, Морису Флере. Ответ Флере:

*«...Мне кажется, в этом явлении сказывается потребность найти замену потерявшим свое значение религиозным и идеологическим доктринам. Музыка — фактор восстановления душевного равновесия для современного человека...»*

Огромное количество «непосвященных», впервые обращающихся к так называемой «большой» музыке, решающая роль, которую играет при этом для них сутубо эмоциональное впечатление, наконец, сами пути, которыми совершается или совершилось такое приобщение, во многом говорят в пользу догадки Флере.

В частности, продавцы отделов классики в музыкальных магазинах зафиксировали ряд нелепых и смешных искажений таких хорошо известных хоть сколько-нибудь интересующемуся музыкой человеку названий, как «Валькирия» или «Гибель богов», например. Несомненно, люди, спрашивавшие эти пластинки, впервые услышали об этих вещах, но непременно желали их приобрести, не останавливаясь перед ценой. Откуда же они узнали о Вагнере или Малере? К сожалению, менее всего причастна к этому школа. Напротив, колоссальную роль сыграли средства массовой коммуникации: телевидение (трансляции опер и фигурного катания), радио, даже реклама — так, многие открыли для себя Модарта, послушав отрывки из Двадцать первого концерта, которыми сопровождалась реклама минеральной воды. Кино принадлежит особое место: например, Гендель стал известен широкой публике после «Барри Линдона» Кубрика, Вагнер — после «Апокалипсиса» Коппола, Малер — после «Смерти в Венеции» Висконти.

В то же время, если в мощном и хаотичном потоке многообразных музыкальных

впечатлений, которые обрушиваются на слух современного человека, он вдруг выделяет не слишком-то сильную струю классики, то, вероятно, потому, что именно эта струя способна утолить какую-то мучающую его жажду. Как можно судить на основании высказываний некоторых музыкальных неопитов, эта жажда — эмоциональная. На первый взгляд такое предположение может показаться странным: «молодежная» музыка, сложившаяся в 60—70-е годы, была подчеркнуто экспрессивна, а выраженные в ней чувства достигали силы аффектов. Однако гамма этих чувств не отличалась разнообразием, и — что, видимо, еще важнее — им недоставало значительности и сосредоточенности глубоко личности и «сердечного» переживания, интимности и лиричности. Между тем стремление массы людей противопоставить нивелирующему влиянию общества массового потребления индивидуализированную, усложненную внутреннюю жизнь довольно отчетливо начинает выступать как одна из характерных тенденций в современных индустриально развитых странах Запада. Музыка, рождающая самый непосредственный эмоциональный отклик, открывает для таких людей их собственную способность к психологической сложности и глубине.

Бетховен, столь популярный среди массы новых поклонников большой музыки, мало или совсем неподготовленных к точке зрения музыкальной грамотности, но испытывающих острый духовный голод, — быть может, самый яркий образец великого композитора, способного говорить с неискушенным слушателем. Ибо все, что может относиться к сфере специальных музыкальных познаний, кажется здесь совершенно несущественным по сравнению с прандиозным порывом чувства и великого сердца.

*«Милый Бетховен! — писал Рамен Роллан. — Он гораздо больше чем просто первый среди музыкантов. Он — самая героическая сила современного искусства. Он величайший и лучший друг тех, кто страдает и борется».*  
Но лучше всех о своем творчестве скажет сам композитор:

*«Почему я пишу? Мне нужно излить то, что у меня на сердце, и вот поэтому я пишу... Неужели вы полагаете, будто я думаю об этой чертовой скрипке, когда Дух говорит со мной и я записываю то, что он диктует мне?»*

Вместе с тем проблемы музыкального образования приобретают на фоне охватившего французов влечения к музыке особую актуальность, которая усугубляется еще и быстрым распространением любительского и домашнего музицирования. Статистика отмечает большой скачок в продаже музыкальных инструментов (лидирует флейта, за ней следует гармоника, гитара и портативный электрический орган; один из трех французов имеет музыкальный инструмент, из десяти — играет на нем); одна за другой возникают хоровые любительские студии, исполняющие Берлиоза и Палестрину. Тысячи французов (иным уже перевалило за 50) берутся за инструмент, который они забросили подростками или к которому вообще никогда не прикасались.

«Экспресс» отмечает:

*«...Под напором миллионов неофитов, которыми внезапно овладела жажда слушать и исполнять музыку, трещат существующие музыкальные структуры».*

Все это превращает музыкальную проблему в проблему социальную.

Этот беспрецедентный музыкальный подъем по времени совпал во Франции с приходом к власти правительства левых сил и создает исключительные условия для реализации его программы демократизации культуры — в данном случае демократизации музыки.

*«Культура,— заявил незадолго до своего избрания Франсуа Миттеран,— это не подарок правительства, это достояние, на которое народ имеет право».*

Морис Флере также очень категоричен. В ответ на вопрос журнала «Экспресс»: «Демократизировать музыку — означает ли это дать понемногу всем или много лучшим?» — он заявил:

*«Это означает дать много всем».*

Однако эта программа должна осуществляться в реальных исторических условиях, далеко не во всем благоприятных. Прежде всего массовое влечение к классике и исполнительству создает особые трудности, связанные с из рук вон плохой постановкой музыкального образования в начальной и средней школе. Учителей не хватает, уроки музыки часто заменяются более «важными» с общепринятой точки зрения предметами, дети уже привыкли смотреть на урок музыки как на законный повод для поведения, недопустимого во время других занятий. «Экспресс» отмечает:

*«Удивительный парадокс: для детей урок музыки — это галдеж и потасовки, тогда как их родители после работы мчатся на севки и во время отпуска потекут над гаммами».*

Кроме того, нужно как-то пойти навстречу и тем взрослым, которым обновление школьного обучения музыке уже ничего не даст. В частности, как показали выезды музыкальных коллективов на крупные предприятия, рабочие проявляют большой интерес к такому начинанию, но чувствуют себя плохо подготовленными. Очевидно, и в этой области требуется большая работа, и каковы бы ни были ее формы (лектории, студии, кружки и т. д.), ясно, что все это означает прежде всего дополнительные ассигнования. Между тем в сложившейся сейчас во Франции социально-экономической ситуации выделение таких ассигнований становится все более затруднительным. Растущая безработица, разумеется, выводит на первый план вопрос о пособиях и общем оздоровлении экономики, а прогрессирующее бегство капиталов из Франции еще больше усложняет положение.

*«Сегодня народ требует хлеба и опер»,—*

комментирует журнал «Экспресс», перефразируя известный клич римского плебса «хлеба и зрелищ» и отмечая особую любовь французам начала 80-х годов к вокальной музыке.

Реализация масштабной программы культурного развития, которую принесло с собой левое правительство, неизбежно оказывается в тесной связи с проблемами «хле-

ба», со способностью этого правительства эффективно разрешить весьма острые социально-экономические проблемы. К сожалению, общая международная ситуация, климат «холодной войны» и гонки вооружений не способствуют такому разрешению. Напротив, они делают проблематичным успех эксперимента, полем которого стала Франция начала 80-х годов.

Подстерегают его и другие, хотя и не столь грозные опасности, связанные с общими законами массовой культуры. Как полагает Морис Флере, существует большая вероятность превращения искреннего и страстного увлечения музыкой в очередную форму потребительства и приобретения атрибутов престижа. Действительно, быстро идущий процесс сближения «большой» и «массовой» культуры довольно часто приводит не к демократизации, а к вульгаризации «большой» культуры, к превращению ее в предмет потребления и развлечения. В частности, если судить по материалам французской печати, уже возникла определенная опасность превращения классики в постоянный музыкальный фон, как это уже произошло с роком и диском.

Мариелла Ригини, автор статьи в «Нувель обсерватёр», не скрывает своей симпатии к идее «фона». Она высказывает гипотезу, согласно которой именно осаждаемый со всех сторон слух оказывается вынужденным вырабатывать свои «культурные антитела», выбирать.

*«Это и есть начало активного слушания»,—* восторженно комментирует автор.

С подобной точкой зрения вряд ли можно согласиться: музыка — не вирус, на который необходимо вырабатывать «антитела». «Осаждаемый таким образом слух» очень часто больше всего жаждет заткнуть уши и вообще прекратить всякие отношения с какой бы то ни было музыкой. В самой идее «фона», «музыкального гобелена» (выражение Эрика Сати) есть привкус насилия и принудительности, несовместимых с истинным духом демократизации. Как свидетельствуют письма в редакцию того же «Нувель обсерватёр», постоянное присутствие Моцарта и Бетховена может раздражать людей не меньше, чем доводящий иных до нервного изнурения вездесущий рок.

Но важно и другое: идея «фона», на мой взгляд, вообще несовместима с духом классической музыки как события в душе творца, глубокого переживания, которое он делит со слушателем. Может ли быть «фоном» судьба, которая «стучится в дверь» (Бетховен), «томление и одиночество души, стремящейся к небу» (Чайковский)?

Превращая сокровеннейшие порывы великих композиторов в «музыкальный гобелен», можно не только утомить слушателей — так можно девальвировать духовные богатства. заключенные в большой музыке, и бесплодно истощить те возможности творчества и развития масс, на которые указывает современный музыкальный подъем во Франции. Пожелаем, чтобы этого не произошло: несмотря на свою узковидность, французский проект демократизации музыки обладает большой притягательностью.

К. МЯЛО

# Публицистика

## ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ

Г. ШАХНАЗАРОВ

## АНТИУТОПИЯ И ЖИЗНЬ

1984 год, избранный Джорджем Оруэллом для описания «тоталитарного кошмара»<sup>1</sup>, воспринимается во всей западной футурологической литературе как своего рода переломная дата, порог вступления человечества в мрачное будущее.

За 1984-м следует 1985-й. И он не остался без внимания пророков грядущего. Энтони Бёрджес, взявшийся изложить свою версию тоталитаризма в нашедшей на Западе книге под названием «1985»<sup>2</sup>, выбором даты подчеркивает прямую преемственную связь с Оруэллом. Причем связь двойную. С одной стороны, он как бы продолжает антиутопическое исследование своего предшественника, а с другой — вступает с ним в полемику, предлагая иной вариант пресловутого 1984 года. Почему же в таком случае «1985-й»? Просто: чтобы не путать читателей. Иначе говоря, описанное в книге фантастическое видение перспективы не привязано ко времени, Бёрджес не берется предсказывать, когда именно оно сбудется, ограничиваясь утверждением, что дело идет к этому.

Несколько слов об авторе. Его перу принадлежит около двух десятков романов (в их числе такой брөвек, как «Механический апельсин»), а также критических эссе, лингвистических исследований, переводов. Бёрджес подвизается и на музыкальном поприще: сочиненная им симфония исполнялась в США, его стихи были использованы в мюзикле «Сирано», шедшем на Бродвее. Словом, это разносторонний и плодовитый литератор, которого доброжелательный автор предисловия называет «одним из ведущих романистов нашего времени».

Книга делится на две равные по объему части. Первая представляет собой развернутую трактовку «1984-го». Понять происхождение черных снов Оруэлла — так Бёрджес определяет свою задачу.

В последнее десятилетие на Западе появился ряд серьезных исследований, посвященных этому своеобразному произведению антиутопической мысли. Очерк Бёрджеса уступает им по многим пара-

метрам. В то же время в нем немало любопытных наблюдений. Дело в том, что отличительная черта нашего автора заключается в неприятии традиционного мнения, в стремлении всякий раз и по всякому поводу сказать нечто оригинальное.

Повторив вскользь традиционное истолкование «1984-го», как сатиры одновременно на нацизм и коммунизм, Бёрджес вслед за этим доказывает, что первоисточником романа Оруэлла послужила «сатирическая транскрипция» Лондона в конце второй мировой войны. Это мотивируется тем, что обстановка, в которой живет и действует герой повествования Уинстон Смит, отражает черты быта английской столицы того времени: очереди перед магазинами, периодическое прекращение подачи электроэнергии, использование телевизионных установок для контроля за рабочими (кстати, Бёрджес справедливо замечает, что эта деталь могла быть заимствована и из чаплиновского фильма «Новые времена»). Еще более существенно наблюдение, что из окружающей его реальной жизни Оруэлл взял и практику «организованной ненависти». Бёрджес вспоминает, что как раз такую школу ненависти прошел и сам во время своей службы в армии. Обучавший новобранцев молодой офицер говорил им, показывая на чучело предполагаемого противника: «Ребята, ненавидьте, ради бога, это чудовище, плюньте в эту свинью, наступите на нее сапогом, перегрызьте ей горло!».

Любопытно, что даже символ так называемого Большого брата, служащего олицетворением тоталитаризма, Бёрджес отыскал в довоенной английской прессе. Речь идет о коммерческой рекламе: со страниц журналов и газет симпатичный пожилой джентльмен обращался к публике со словами: «Позвольте мне быть вашим большим братом», настоятельно рекомендуя покупать мыло и зубную пасту только фирмы имярек. Приводя много других аналогичных сопоставлений, Бёрджес приходит к заключению, что под маркой так называемого «Ingsoc» Оруэлл описал не что иное, как именно «английский социализм», или, точнее, вероятные результаты претворения соответствующей доктрины в жизнь.

При всей своей меткости эти наблюдения носят поверхностный характер. Верно,

<sup>1</sup> См. об этом «Иностранная литература», 1979, № 7.

<sup>2</sup> Anthony Burgess. 1985. London, Hutchinson, 1978.

разумеется, что те или иные черты быта своей антиутопии Оруэлл брал из окружающей его повседневной жизни. Иначе не могло и быть, ибо какие бы идеи ни вкладывал романист в произведение, материальная ткань его всегда складывается из тех зримых, осязаемых образов, с которыми он повседневно сталкивается. Но столь же очевидно, что взятый из жизни материал художник преобразует согласно своему замыслу. Тем более это относится к политическому писателю, каким был Оруэлл.

Возникает, однако, вопрос: почему Бёрджес, отнюдь не симпатизирующий коммунизму, аступил в полемику с теми истолкователями «1984 года», которые рассматривают его как сатиру на реально существующее социалистическое общество? Да вдобавок уверяет, что прообразом для такой сатиры послужила концепция «английского социализма». Последнее кажется тем более странным, что сам автор причисляет себя к левым, не раз заявлял о своей симпатии к идеям справедливости и равенства, ко всему тому, что составляет основу реформистских представлений о социализме в духе британских фабианцев. Более того, в других местах книги Бёрджес так или иначе воздает хвалу демократическим традициям этого идейно-политического направления.

Впрочем, Бёрджес и сам задается вопросом, почему Оруэлл, которого он считает убежденным социалистом, написал сатиру на «британский социализм». Ответ таков: потому что социализм Оруэлла был скорее прагматическим, чем доктринальным, а сам он чувствовал себя больше англичанином, чем социалистом. Поскольку Оруэлл окончил Итон, принадлежал к правящему классу, ему свойственны были буржуазные вкусы и он не мог «идентифицировать» себя с рабочим классом, боялся его. Одновременно он страшился будущего и тяготел к прошлому; Бёрджес иллюстрирует это ссылкой на то, что Оруэлл сокрушался по поводу вероятного отката от традиционных английских мер — пинты, фута, галлона. Переход на метрическую систему означал для него разрыв со всем, что олицетворяло «добрую старую Англию».

Таким образом, Бёрджес как бы перекидывает на Оруэлла собственный политический «выверт». Приняв за аксиому, что тот описал именно «британский социализм», он ищет этому более или менее рациональное истолкование. В дальнейшем мы будем иметь возможность убедиться, что наш автор таким путем сознательно или бессознательно прикрывает свое неприятие рабочего движения, то самое, исконно присущее буржуазному сознанию отвращение ко всяким формам коллективизма, какое он, пусть не без оснований, приписал своему предшественнику.

В нашей прессе делалась попытка однозначно трактовать «1985 год»<sup>1</sup> как произведение от начала до конца антикоммунистическое. Неточность подобного суждения лучше всего доказывается предпринятой в книге попыткой оценить, нас-

колько реальными оказались «бредовые сны Оруэлла». Именуя оруэлловскую утопию, какотопией<sup>1</sup> (по аналогии с какофонией), Бёрджес признает, что она не сбылась, и в то же время подчеркивает, что ряд подмеченных в ней негативных тенденций общественного развития так или иначе проявляется в современном обществе. Причем иллюстрирует это на примере США и других капиталистических стран.

Прежде всего, английский романист обращает внимание на то, что американская экономика, подобно экономике нацистской Германии, характеризуется гигантскими военными расходами. Есть, конечно, существенная разница: нацисты действовали в соответствии с лозунгом: «Пушки вместо масла», а в современной Америке производство межконтинентальных ракет не мешает в достатке снабжать потребителей цветными телевизорами. Но разве это не странный феномен — сидя вечером у телевизора, американцы в качестве развлечения наблюдают эпизоды войны во Вьетнаме?

Есть нечто оруэллианское в американском империализме, пишет Бёрджес. Это — создание своего рода Океании, империи с искусно скрытыми анонимными центрами власти. Это — ЦРУ, выполняющее роль полиции мыслей. Это — двойное лицо демократии, непостижимым образом примиряющей свободу слова и действия с насилием и жестокостью. Кто-то захотел свободной франкоязычной Канады? Не бывать тому, застрелите смутьяна, слишком много американского капитала вложено в нашу «леди снегов»! Коммунистическое правительство в Италии? Не смеет и думать об этом! Чего там, делится своей обидой Бёрджес, я сам, безвредный аполитичный английский литератор, живя в Риме, знал, что ЦРУ подслушивает мои телефонные разговоры. Странствующие агенты этого ведомства делали свое дело во имя «глобальной свободы». Впрочем, чему удивляться, ведь Америка усвоила высокомерное убеждение, что бог наградил ее моральным превосходством и она лучше всех знает, что кому надо.

Досталось и Англии, где, по свидетельству автора, государство требует от граждан исчерпывающей информации о самых различных сторонах их жизни и особенно детального описания имущества, которым они владеют. Писатель Алан Силлитоу, отвечая на вопросы анкеты, в насмешку написал, что ему 101 год, за что был оштрафован. Выяснилось, что собираемая полицией секретная информация в результате «утечки» поступает в распоряжение коммерческих фирм. Одна из них хвастливо сообщила, что к 1980 году она будет иметь в своих компьютерах детальные сведения о 90% всего населения страны. Впрочем, иронизирует Бёрджес, так ли уж важна неприкосновенность частной жизни и кто мы такие, чтобы требовать неразглашения данных о своих персонах в век, когда молодые люди не считают зазорным заниматься любовью в публичных местах.

Государство, продолжает он, отнимает у нас деньги, чтобы истратить их на цели,

<sup>1</sup> См. «Литературную газету» от 16 мая 1979 г.

<sup>1</sup> От греческих слов «какос» — плохой, дурной и «топос» — место.

чуждые налогоплательщикам. Оно посылает молодых людей воевать, хотя это не нужно никому, кроме Пентагона и фабрикантов оружия. Уродливый его характер особенно обнаруживает себя в полиции, которая становится все более автономной силой, прибегает к пыткам и присваивает себе право сначала стрелять, а потом уже задавать вопросы. Транснациональные корпорации, чье могущество позволяет им ставить и свергать правительства, плюют на искусство, чувства людей, их здоровье, мораль, традиции. Компании манипулируют общественным мнением и с помощью изощренных методов рекламы навязывают людям, что им следует потреблять. А уж сколько развелось банд грабителей и насильников! И как раз защитить граждан от анархизирующих элементов государство бессильно.

Выразив негодование всеми этими безобразиями, Бёрджес тем не менее делает вывод: 1984-й, в том виде, как он описан Оруэллом, не состоится. Почему? Потому, что новые факторы, которых Оруэлл не мог учесть, влекут общество к другому финалу, не менее кошмарному. Его описанию и посвящена вторая часть книги под названием «1985 год».

Она построена по той же схеме, что и «1984-й», а до него роман Е. Замятина «Мы» (сам Бёрджес, кстати, признает, что и Оруэлл, и он следовали именно этому образцу). В центре повествования — история героя, бывшего преподавателя истории Джонса, который предпочел бросить школу и работает на кондитерской фабрике. С первых же страниц читатель попадает в атмосферу общественного хаоса, насилия, распада всех связей, деградации нравов. Возвращаясь домой, Джонс сталкивается с бандой подростков, которая жестоко его избивает. Затем он находит изнасилованного окровавленного мальчугана, а дома дочь-дебилку (следствие приема таблеток, предназначенных для обезболивания родов, которые принимала ее мать), мастурбирующую перед телевизором. Он звонит в больницу, чтобы справиться о здоровье жены, и узнает, что там был пожар и жена его сгорела. Пожар был организован группой безответственных элементов, воспользовавшихся стачкой пожарных, а солдаты, которые должны были бы прийти на помощь, проводили как раз в это время забастовку солидарности с пожарными. Кстати, тетушка Джонса умерла таким же образом из-за забастовки электриков, поскольку находилась на операционном столе в момент, когда был выключен свет.

Усмотрев причину всех своих бед в забастовках, Джонс отправляется к профбоссу Девлину, выкладывает ему свои претензии и выслушивает в ответ лекцию о благах, которые несет «священный синдикализм». Девлин с удовольствием рассуждает о том, что в 1990 году уже не отдельные стачки, а любая будет превращаться во всеобщую, и если производители зубных щеток забастуют, то остановятся железные дороги, закроются школы, квартиры перестанут отапливаться и т. д. Советования Джонса на личную судьбу профбосс объявляет проявлением «гнилой

буржуазности» и призывает его одумать, пока не поздно. Тем не менее герой стоит на своем. Он рвет профдоверие, за что его выгоняют с работы с волчьим билетом. Джонс вынужден отдать дочь в наложницы арабскому шейху, а сам попадает в компанию бывших интеллектуалов, занимающихся воровством и живущих на закрытой фабрике матрасов. В свободное от промысла время они развлекаются исполнением Баха, Брамса, Моцарта, чтением стихов, обсуждением латинских текстов и тому подобными упражнениями духа.

Из их бесконечных словопрений вырисовывается между тем картина британского общества образца 1985 года. Внешне сохранилась вся традиционная политическая структура страны: избирается парламент, существует правительство, номинально исполняет обязанности главы государства монарх. Однако все это превратилось в парадный фасад, за которым не стоит никакой практической государственной работы. В действительности во всех сферах жизни командуют профсоюзы, поэтому само общество сначала в шутку, а затем уже и всерьез стало принято называть Тюкландией (название происходит от английских слов *trade-union* — профсоюз, *congress* — объединение, *land* — земля и может быть переведено как Тред-юниония или Профсоюзия). Хотя сохраняется частная собственность, капиталисты почти исчезли, большинство промышленных предприятий контролируется формально государством, а на деле теми же профсоюзами. Бёрджес заключает, что в Тред-юнионии без революции стал править пролетариат.

Другая черта Британии 1985 года, по Бёрджесу, — засилье арабов, которые завладели основной массой банков, промышленных и страховых фирм, контролируют добычу нефти в Северном море и пытаются на свой страх и риск с помощью штрейкбрехеров бороться против забастовок. Некий полковник Лоуренс, за которым стоит арабский капитал, организует армию так называемых «свободных британцев» против засилья профсоюзов. Финансируется она нефтедолларами, и интеллектуалы определяют ее как фашистскую.

Если произвол тред-юнионов и арабское влияние — это две основные черты будущего английского общества в антиутопии Бёрджеса, то третьей является постепенное исчезновение гуманитарной культуры. Здесь автор просто повторяет многочисленные предсказания техницистских антиутопий, согласно которым университеты в перспективе будут превращены в центры передовой технологии, философия, литература и искусство, лишённые финансовой поддержки, зачахнут, цивилизация в целом приобретет бездушный, машинный характер.

Вернемся, однако, к герою повествования. Пойманный при краже бутылки виски, Джонс предстает перед судьей, который пытается вернуть его в лоно официально-общественного и прежде всего уговаривает восстановить свое членство в профсоюзе. Поскольку он наотрез отказывается, его направляют в так называемую исправи-

тельную колонию. Здесь опытные демагоги в течение шести месяцев вколачивают в мозги инакомыслящих должное представление о существующей системе, преимуществе и благах, которые она несет труженику. К концу срока пребывания в колонии большинство смутьянов перевоспитывается, становясь послушными и рьяными сторонниками синдикализма. Джонс, однако, продолжает упорствовать в своем заблуждении, за что подвергается истязаниям. В конце концов его выпускают с предупреждением, что при первой малейшей провинности ему не избежать каторги, а то и смертной казни. Выйдя на волю, отчаявшийся Джонс не находит ничего лучшего, как завербоваться в армию полковника Лоуренса. Поскольку он обладает журналистскими способностями, его приближает к себе сам фашистский вождь, за которым стоят арабские шейхи.

Далее события развиваются стремительно. Синдикалисты вступают в прямую схватку с арабами и их вооруженной гвардией. Она защищает собственность с оружием в руках, выступая в качестве последнего оплота капитала. На улицах начинаются вооруженные стычки, нарушаются коммуникации, подвергается разграблению магазины, в стране воцаряется хаос.

Ситуация разрешается самым смехотворным образом: в обстановке, когда борющиеся лагеря не в состоянии одолеть друг друга, король выступает перед толпой на Трафальгар-сквер с речью, призывая навести порядок, после чего, как по мановению волшебной палочки, устанавливается относительное спокойствие, тредюнионы вновь утверждают свою власть и изгоняют из страны арабский капитал. Арабские шейхи в отместку изымают свои валютные средства из американских банков, что вызывает мировой финансовый крах, гигантский рост инфляции, появление сотен миллионов безработных. Что касается героя, то Джонс попадает в концентрационный лагерь и кончает самоубийством на электрической проволоке.

Книга завершается эпилогом, который построен в форме интервью, взятого автором у самого себя, от имени некоего воображаемого американца. Здесь мы находим и финальный вывод: Маркс якобы ошибался, и ответом на капиталистическое угнетение станет не революция, а тотальный синдикализм, что касается коммунизма, то он возможен только в слаборазвитых странах.

■  
Что же такое «1985 год»? Если говорить в самой общей форме, то это еще одна спекуляция (сознательная или бессознательная) на искажении социалистической идеи. Но отнюдь не примитивная, ибо она отталкивается от реального жизненного материала, затрагивает одну из самых острых и болезненных проблем теории и практики рабочего движения — анархосиндикализм. Именно поэтому она заслуживает пристального внимания.

Знакомясь с антиутопией Бёрджеса, с первых страниц повише себя на мысли, что нечто подобное уже приходилось слышать, притом совсем недавно. Чем дальше, тем

очевидней совпадение. Уж не Польша ли это 1981 года и не похожа ли на Тредюнионию как две капли воды «Солидария», в которую пытались превратить страну вожаки польской контрреволюции?

Стоит вспомнить. В августе 1980 года оппозиционные социализму группировки КОС-КОР сумели воспользоваться ошибками в экономической и социальной политике тогдашнего руководства и спровоцировали длительную забастовку гданьских портвиков. Добившись регистрации нового профобъединения, они использовали его как таран, с помощью которого рассчитывали расшатать и разрушить всю систему социалистической государственности. А главным их методом стала эскалация требований об увеличении заработной платы при одновременном сокращении рабочего времени (за счет свободных суббот) и сохранении стабильных низких цен на потребительские товары. В каждом отдельном случае эти требования подкреплялись прекращением работы или угрозой объявить забастовку.

Этот «забастовочный терроризм» носил хорошо продуманный, по существу плановый характер. Его организаторы явно ставили задачу не давать властям передышки: едва только в результате длительных и сложных переговоров намечалось решение одного трудового конфликта, как возникал следующий — в другом районе или отрасли народного хозяйства. Пожалуй, история не знает другого случая, когда забастовки принимали бы фактически перманентный характер, сливались в одну нескончаемую волну, методически гнавшую экономикку под уклон.

К осени 1981 года выпуск продукции в ведущих отраслях промышленности сократился примерно на четверть, а фонд заработной платы вырос на 26%. Добыча угля — основы энергетики ПНР — уменьшилась на 30 млн. т. Из-за нехватки энергии остановились десятки предприятий, другие работали вполсилы. Почти замерла строительная индустрия. Национальный доход Польши снизился до уровня 1974 года, а экономика в целом — до уровня 1974—1976 гг. За полтора года народное хозяйство было отброшено на семь лет назад.

Неизбежным следствием бесконечных забастовок или объявляемых «Солидарностью» периодов так называемой забастовочной готовности стало резкое падение дисциплины и производительности труда. Прививая людям пренебрежение к общественным интересам, пропаганда антисоциалистических сил отучала их от добросовестной работы, способствовала распространению не просто потребительских, а изживденческих настроений. Массовым явлением стали прогулы и хищения на производстве. Десятки тысяч людей, в основном молодых, вообще оставили работу. Постоянно увеличивающийся вследствие спада производства товарный дефицит создал предпосылки для расцвета спекуляции. Почти на треть возросло количество преступлений, и по этому показателю Польша оставила позади даже США.

Одним из самых болезненных следствий «забастовочного терроризма» стало резкое падение уровня жизни трудящихся.



ся. На первый взгляд парадоксальный, на деле же глубоко закономерный факт: чем больше «Солидарность» добивалась резко, экономически необоснованного и неподкрепленного реальными возможностями увеличения заработной платы для отдельных категорий работников, тем больше падал общий уровень жизни всего населения. Сокращение производства при одновременном форсированном росте фонда зарплаты привело к тому, что за год товарный дефицит увеличился в три-четыре раза, деньги обесценились. Чтобы обеспечить удовлетворение минимальных нужд трудящихся, правительство вынуждено было ввести карточную систему. Впервые появилась реальная угроза безработицы. Падение добычи угля осложнило отопление жилья, и пришлось даже разрабатывать план переселения миллионов людей в общественные здания и общежития, чтобы пережить зимние холода. Давала о себе знать нехватка медицинских средств, возникла опасность распространения эпидемических заболеваний.

Нетрудно предстать, к каким катастрофическим последствиям для народа привело бы продолжение тактики забастовочного террора, если бы ей не был положен конец введением военного положения 13 декабря 1981 года.

Следует обратить внимание на принципиальную разницу в исходных установках организаторов забастовочной волны и вовлеченных в нее трудящихся. Контролирующая «Солидарность» контрреволюционная верхушка прекрасно понимала, что эскалация требований, нарушение нормального трудового ритма обернутся расстройством экономики и, следовательно, ухудшением жизненных условий. Но именно этого она и добивалась, исходя из формулы «чем хуже, тем лучше». Еще осенью 1980 года в «Информационном бюллетене» КОС-КОР откровенно излагался ее замысел: «Новые профсоюзы должны дезорганизовать и парализовать всю существующую систему ПНР, навязать всем звеньям ее управления такую автономию, в рамках которой партия и власть лишались бы возможности принимать решения». Иначе говоря, антисоциалистические силы с самого начала руководствовались отнюдь не желанием улучшить положение рабочих, о чем они шумно распространялись, а сугубо политическими целями. В их намерения входило разрушение общественной системы социализма или, как говорил в феврале 1982 года на пленуме ЦК ПОРП тов. В. Ярузельский, «организация антивласти, антигосударства», с тем чтобы потом самим захватить власть и покончить с социалистическими порядками.

Таких целей не было у большинства рядовых участников забастовок. Поддаваясь агитации вожаков «Солидарности», они были движимы непосредственным экономическим интересом и на первых порах не слишком, видимо, задумывались над пагубными последствиями (в том числе для их собственного положения) «забастовочного терроризма». Когда эти последствия обнаружались достаточно явственно, когда обнажились истинные устремления и политические амбиции новых «профбоссов», пе-

лена с глаз людей стала спадать. Они все меньше изъявляли желание участвовать в очередных стачках и «акциях протеста», играть на руку далеко идущим планам антисоциалистических сил.

Насыщенные остройшей, временами драматической политической борьбой польские события 1980—1981 гг. дают богатейший материал для раскрытия природы анархо-синдикализма как одной из форм мелкобуржуазной контрреволюции, в современных условиях, может быть, самой опасной.

Действительно, вдумаясь в само сочетание слов: анархия и синдикат. Анархизм есть отрицание всякой власти, всякого порядка. Синдикат есть форма организации; в данном случае речь идет о коллективе предприятия. Анархо-синдикализм, следовательно, это уже новое качество анархизма, а именно: отрицание центральной власти не отдельными лицами, а организованными группами людей.

Основной лозунг, которым оперируют сторонники этого течения,— рабочее самоуправление. Сама по себе идея рабочего самоуправления, безусловно, прогрессивна, она давно взята на вооружение коммунистическими и рабочими партиями, рассматривается как один из неперемненных элементов социалистического общественного устройства. Но только при том обязательном условии, что самоуправление отдельных трудовых коллективов вписывается в экономическую и политическую систему, выражающую и защищающую интересы всего рабочего класса, трудового народа. Анархо-синдикализм же противопоставляет идею самоуправления идее государственности. А с этим связаны самые различные последствия.

Если взглянуть на дело с экономической точки зрения, то речь идет о попытке противопоставить личные интересы отдельного рабочего общим интересам рабочего класса, частью которого он является. Отсюда с неизбежностью следует раздробление классового интереса на индивидуальные. Результатом же такой операции может быть только перенесение на рабочий класс чуждой социальной структуры, навязывание ему буржуазного образа мыслей.

Противоестественность подобной операции очевидна. Буржуазия и мелкая буржуазия по природе своей раздроблены на частных предпринимателей. Это нормальный способ их существования. Частное предпринимательство жизнеспособно только благодаря тому, что каждый действует на свой страх и риск, конкурируя со всеми прочими. Это не мешает формированию трестов и монополий, поскольку концентрация капитала отнюдь не устраняет конкуренцию товаропроизводителей, а переносит ее на другой уровень.

С другой стороны, рабочий класс сложился в своем нынешнем качестве именно как «коллективный работник» с общим интересом. Отнимите у него это качество — и он перестанет быть рабочим, превратится в некое подобие «промышленного крестьянина» с психологией мелкого буржуа. Это отлично понимает буржуазия — если не всегда теоретически, то всегда

нутром или инстинктом. Поэтому она постоянно стремится раздробить рабочий класс, противопоставить отдельные его национальные и профессиональные отряды, соблазнить крохами прибыли и сделать своим соучастником. В этом, между прочим, основное назначение распространенной на Западе концепции «народного капитализма», сводящейся на практике к распределению среди рабочих части акций, привязыванию их к фирме путем надбавок за выслугу лет, проповеди патриархально-семейных отношений на производстве и т. д.

Противопоставить частный интерес рабочих общему — значит одновременно противопоставить превратно понятый или сиюминутный экономический интерес политическому. Коль скоро каждый отдельный трудовой коллектив настраивается на защиту своих эгоистических групповых интересов, он поневоле втягивается в чуждую ему политическую игру.

Эта истина, разумеется, по-разному преломляется в условиях противоположных общественных систем. Взять ту же забастовку. При социализме, где сам рабочий класс осуществляет государственное руководство обществом, где он вместе с другими трудовыми классами и слоями населения владеет всем народным богатством, — это значит, грубо говоря, бить по собственному карману. Такой образ действий тем более неоправдан, что трудящиеся могут заявлять о своих потребностях и добиваться устранения недостатков через свою партию и народную власть, используя широкие права и возможности профсоюзов, народного контроля и других институтов социалистической демократии.

При капитализме, где рабочему классу противостоит буржуазная государственность, забастовки становятся весьма эффективным средством его борьбы за свои интересы. Конечно, в последнее десятилетие рабочее движение добилось в ряде стран немало политического влияния, с организованной силой его партий и профсоюзов в той или иной мере вынужден считаться и государственный аппарат. Однако, беря на себя функции посредника между трудом и капиталом, он стоит на страже интересов последнего. В наше время, как и полвека назад, обычное явление — массовые увольнения бастующих, политические репрессии, аресты организаторов забастовок, использование штрейкбрехеров, подкуп профсоюзных боссов и т. д. Расправа администрации Рейгана с целым отрядом трудящихся США — авиадиспетчерами — наглядно показала, на чьей стороне современное буржуазное государство.

Буржуазия и ее идеологи, ведя непримиримую борьбу с научным социализмом, в то же время всегда считали для себя полезным если не в открытую, то тихо-молку поощрять различные анархистские течения, видели в них свою «пятую колонну» в рабочем движении.

Вот почему основоположники марксизма столь решительно выступали против концепций Бакунина, Прудона и других сторонников анархизма, указывая, что они

разлагают пролетариат, уводят его на опасный и бесперспективный путь.

Не только в теории, но и опытом истории доказано, что рабочий класс, подпавший под влияние анархо-синдикалистских идей, утрачивает способность играть ведущую роль в революционном процессе. Польский опыт доказал теперь и другое: распространение таких идей в условиях победившего социализма может привести только к постепенной сдаче власти противникам социализма. Именно к этому вели антисоциалистические силы, шаг за шагом отнимая у рабочего класса его завоевания.

Прежде всего они предприняли массивную попытку очернить все свершения социалистической Польши, перечеркнуть их в сознании народа. Разумеется, это была попытка с негодными средствами. Ведь только благодаря социализму всего лишь за три десятилетия Польша, относившаяся до второй мировой войны к числу самых отсталых в экономическом отношении стран Европы, превратилась в развитое государство с передовой экономикой и культурой. В 1980 году на ее долю приходилось 2,5 процента мировой промышленной продукции, в то время как население страны составляло 0,8 процента населения земли.

За годы народной власти была создана мощная отечественная индустрия. По таким показателям, как производство электроэнергии, стали, цемента, минеральных удобрений, Польская Народная Республика опередила многие экономически развитые страны капитализма. Национальный доход ее за 30 лет вырос в 4,5 раза. Было навсегда покончено с безработицей, хронической нищетой значительных слоев населения, обеспечено всеобщее образование, создана система здравоохранения, энергично развивалась самобытная национальная культура польского народа.

Вопреки клеветническим разглагольствованиям противников социализма, народная власть существенно подняла жизненный уровень масс. По таким показателям, как качество питания и обеспеченность товарами народного потребления, Польша не уступала большинству европейских стран. А разве можно перечеркнуть тот факт, что социалистическое государство выделяло огромные средства для того, чтобы восстановить исторические памятники? Варшава, Гданьск и многие другие польские города были не просто подняты из руин, но возрождены в их первоначальном облике.

Для самочувствия народа не меньшее значение, чем материальные условия его жизни, имеет национальное достоинство, возможность гордиться за свою страну, за ее место среди других наций. И в этом отношении с социализмом связан коренной поворот в истории Польши. Впервые за два столетия она обрела прочную независимую государственность и, став равноправным членом социалистического содружества, играет важную роль в европейских и мировых делах.

Отрицая все эти исторические достижения, изображая дело так, будто весь послевоенный период развития страны был

бесплодным и мрачным временем, целью одних ошибок, лидеры «Солидарности», конечно же, не были озабочены тем, чтобы улучшить существующую общественную систему. Домогаясь власти, они вынашивали план ее радикального преобразования в соответствии с социал-демократической моделью в ее анархо-синдикалистском варианте. Основным звеном этого плана являлась идея абсолютной независимости предприятий от государства и общества. Согласно формуле, записанной в постановлении съезда «Солидарности» «О рабочем самоуправлении», государственная администрация могла обязать предприятия выполнять те или иные задания только в случае стихийного бедствия или в интересах обороны.

Утверждение таких порядков означало бы превращение трудовых коллективов в «групповых капиталистов», возобновление конкуренции, ослабление центральной власти и, значит, ее возможности планировать производство, подчиняя его целям общенационального развития, развивать науку, технику, культуру и т. д. Анархо-синдикалистский корпоративизм в конце концов (возможно, через какие-то промежуточные ступени) не мог бы привести ни к чему иному, как к реставрации капитализма в полном объеме этого понятия.

Бывали случаи, когда те или иные политические движения вдохновлялись ошибочными концепциями и заходили в тупик просто потому, что общественная практика не знала соответствующих прецедентов и им не у кого было брать уроки. Что касается анархо-синдикализма, то здесь дело обстояло иначе.

В истории рабочего движения уже была попытка воплотить эту опасную концепцию. Именно с такими лозунгами выступала в первые послеоктябрьские годы так называемая рабочая оппозиция в РКП(б). В преддверии к X съезду партии и на самом съезде В. И. Ленин дал глубокую и сокрушительную критику этого течения, сохраняющую свой смысл в наше время.

Сторонники «рабочей оппозиции» выдвигали лозунги, до крайности похожие на те, что спустя 50 лет стали знаменем «Солидарности». Они требовали передачи всего управления народным хозяйством «Всероссийскому съезду производителей», фактического отстранения Коммунистической партии от выработки стратегии экономического развития, сохранения за нею лишь сферы политики и идеологии.

В. И. Ленин показал, что реализация этих идей сделает невозможным решение многообразных задач социалистического строительства. «Мы переживаем время,— говорил он,— когда перед нами стоит серьезная угроза: мелкобуржуазная контрреволюция, как я уже сказал, более опасная, чем Деникин... Эта контрреволюция тем своеобразнее, что она мелкобуржуазная, анархическая»<sup>1</sup>.

Характеризуя опасность анархо-синдикализма, В. И. Ленин сказал, что представители рабочей оппозиции не понимают этого — крайне существенный момент,

позволяющий увидеть качественную разницу между послереволюционной Россией и нынешней Польшей. Тогда анархо-синдикалистский уклон имел главным образом левое происхождение — В. И. Ленин так и называл его: ревизионизмом слева. Он порождался определенным деклассированием пролетариата, гражданской войной, разрухой в народном хозяйстве, прекращением правильного обмена между городом и деревней<sup>1</sup>. Отсутствовал и опыт налаживания плановой социалистической экономики.

Иначе обстоит дело в современной Польше. Здесь за плечами рабочего класса и его коммунистического авангарда был опыт 30-летнего руководства процессом социалистического строительства, была прошедшая испытание временем социалистическая государственность. При всей сложности проблем, возникших в экономике вследствие ошибочных решений прежнего руководства, страна, как уже подчеркивалось, располагала развитым народнохозяйственным механизмом.

В том-то и дело, что если «рабочая оппозиция» не понимала, куда могут завести ее требования, то вожаки «Солидарности» полностью отдавали себе в этом отчет. Это было уже не «левачество», а правый ревизионизм. Он был рожден не стихийным настроением рабочей среды, а искусственно привнесен в нее враждебными социализму силами, за которыми стояли подрывные центры империалистической реакции.

Не в Польше родилась идея «Солидарности», о ней впервые заговорили враждебные социализму эмигрантские круги уже на одном из своих сборищ в Женеве в 1975 году. Имеется много свидетельств того, что каждый шаг контрреволюции тщательно планировался и организовывался из-за рубежа. Специально для того учрежденные «мозговые центры», исходившие из конечной цели совершить в стране общественный переворот, вывести ее из Варшавского договора и таким образом изменить в пользу империализма соотношение сил на мировой арене, довели свои установки до внутренней оппозиции и вели интенсивную обработку населения с помощью радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа», через каналы международных связей. Как признавался быв-

<sup>1</sup> Именно поэтому Ленин постоянно подчеркивал необходимость отделять здоровые требования, направленные на развитие демократии, от ошибочных и опасных политических лозунгов. «Вы утверждаете, что мы мало боремся с бюрократизмом,— говорил он, обращаясь на съезде к участникам «рабочей оппозиции»,— идите помогать нам, идите ближе, помогайте бороться, но если вы предлагаете «всероссийский съезд производителей», это — не марксистская, не коммунистическая точка зрения» (т. 43, с. 55). И в другом месте: «Работа помощи в борьбе с бюрократизмом, работа помощи в отстаивании демократизма, помощь в деле лучшей связи с действительно рабочими массами — безусловно необходимые. Идти в этом отношении на «уступки» мы можем и должны... Это вовсе не уступки, это помощь рабочей партии. Этими мы все, что есть здорового и пролетарского в «рабочей оппозиции», мы все получим на сторону партийную, останутся «классово-сознательные» авторы синдикалистских речей (там же, с. 45).

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, с. 36—37.

ший шеф польской секции последней Новак-Езеранский, «без западных радиостанций... «Солидарность» никогда бы не возникла»<sup>1</sup>.

Таким образом, анархо-синдикалистская фразеология была всего лишь приманкой, с помощью которой противники социализма надеялись обмануть рабочий класс, вынудить его совершить по существу политическое самоубийство и сдать власть буржуазии. Но как бы то ни было, эта провалившаяся операция наглядно раскрыла смысл анархо-синдикализма, и из нее следуют важные выводы.

Во-первых, всякая попытка претворить эту концепцию в жизнь с неизбежностью ведет к развалу государственности, хаосу в экономике и деградации общественной морали.

Во-вторых, анархо-синдикализм может быть только промежуточным этапом в развитии классовой борьбы — мелкобуржуазная анархическая контрреволюция с неизбежностью ведет к контрреволюции буржуазной и реставрации капитализма.

Вот почему мы с полным основанием можем сказать: картина анархо-синдикалистского разгула, которую описал в своей книге Бёрджес, не имеет ничего общего с идеями научного социализма. Это есть, как уже говорилось, извращение социалистической идеи. И если автор вдохновлялся намерением отпугнуть трудящихся от социализма, то он достиг обратного результата: сам того не желая, показал, что синдикалистская фразеология вожakov «Солидарности» и их единомышленников на Западе чревата трагическими последствиями и должна быть самым решительным образом отвергнута всеми сторонниками социального прогресса. Это не социалистическая, а антисоциалистическая модель.

Чем объяснить, однако, что Бёрджесу удалось в какой-то мере предвидеть угрозу анархо-синдикализма? Тем ли, что он наделен особой творческой интуицией, способностями провидца? Думается, дело обстоит гораздо прозаичней. Суть в том, что в последние годы на Западе анархизм вошел в моду. Наряду со старыми его адептами, группирующимися вокруг троцкистского IV Интернационала, появляется немало новых пророков, создающих современные версии этого учения. Они вербуют своих приверженцев из числа бунтарствующих интеллектуалов, которым претит партийная дисциплина, всякого рода деклассированных элементов и особенно молодых людей жаждающих разрушить угнетательский строй, но не знающих, где его кашеева душа и как к ней подобраться.

Власти предрержащие имели все основания опасаться нового всплеска анархизма. Кому-кому, а им-то прекрасно было известно, что его сторонники отнюдь не ограничиваются безобидными словопрениями и что эта среда является одним из источников политического терроризма. Но все-таки решительные, когда речь заходит о подавлении организованных выступлений рабочего класса, они предпочитали смот-

<sup>1</sup> «Правда», 15 июня 1982 г.

реть сквозь пальцы на возросшую активность анархистских сект, а некоторые из них взяли даже на свое содержание. И другая любопытная деталь: крупнейшие буржуазные издательства стали охотно публиковать массовыми тиражами произведения как «классиков» анархизма, так и современных его теоретиков. По подсчетам И. Вайхольда, только в ФРГ с 1966 года по настоящее время опубликовано свыше 124 таких работ. Как отмечает этот автор из ГДР, расчет состоит в том, что часть потенциальных борцов против капитализма, увлекшись псевдореволюционными фразами и романтикой, примкнет к анархистам, ослабив тем самым антиимпериалистический фронт<sup>1</sup>.

Так вот, мы не ошибемся, предположив, что именно из этого литературного источника Бёрджес черпал свое вдохновение, именно откровения неоанархистов навели его на замысел «1985 года». И как раз в то время, когда польские контрреволюционеры и их наставники из подрывных империалистических служб<sup>2</sup> разрабатывали план деформировать с помощью анархо-синдикалистских идей классовое сознание рабочих и лишиться социалистическое государство его главной социальной опоры, Бёрджес засел за свой роман, чтобы живописать, как под ударами забастовочного террора рухнет буржуазное британское государство.

С этой точки зрения его антиутопия служит предостережением прежде всего для тех империалистических идеологов, которые рассчитывают, поощряя анархо-синдикалистское течение, увести рабочий класс с магистральной дороги борьбы против капитализма, завлечь его в тупик. Хотел того сам Бёрджес или нет, но из его произведения вытекает для них своего рода поучение: не увлекайтесь, оружие, которое вы намерены применить, обоюдоострое, подобная операция грозит большим риском и для нас с вами.

Анархо-синдикализм разрушает любую государственность. И если бы он взял верх в капиталистических странах, то неизбежным результатом этого стало бы крушение всей существующей там ныне политической и экономической системы. В этом Бёрджес, безусловно, прав.

Казалось бы, сторонникам освобождения труда только радоваться, если придет конец власти капитала. Но беда в том, что при таком ходе событий вместе с политической системой разрушаются устои всякого общежития, а вместе с системой экономической — производительные силы. Анархия обрекает массы на невиданные лишения, она грозит пустить ко дну не столько государство, сколько само общество, не столько классовое господство, сколько цивилизацию.

И еще. Порождаемая анархо-синдикализ-

<sup>1</sup> Weichold J. Anarchismus heute: Sein Platz im Klassenkampf der Gegenwart. В., Dietz, 1980.

<sup>2</sup> По данным Министерства внутренних дел ПНР уже к июню 1981 года в странах НАТО, главным образом в США, действовало свыше 400 центров по «поддержанию политической оппозиции в Польше», ставящих целью свержение народной власти («Известия», 9 ноября 1982 г.).

мом обстановка экономического хаоса, упадка общественной дисциплины и деградации нравов создает, можно сказать, идеальные предпосылки для утверждения фашистской диктатуры. Бёрджес, как мы видели, подметил и эту опасность, хотя связал ее с действиями не «отечественного», а иностранного капитала.

И еще. Особую опасность анархо-синдикалистским лозунгам придает сложная и напряженная обстановка на международном арене. В условиях, когда над человечеством нависла угроза ядерной войны, когда всякое сколько-нибудь серьезное нарушение сложившегося равновесия военных сил и механизма международного сотрудничества способно повлечь непредсказуемые последствия, ситуация «антивласти» в одной из стран (в первую очередь, разумеется, держав, входящих в военнополитические союзы) сыграла бы на руку агрессивным кругам империализма и могла бы подтолкнуть их к далеко идущим авантюрам.

Все это ни в коей мере не свидетельствует в пользу тех буржуазных идеологов, которые, ссылаясь на ядерную опасность, требуют от рабочего и национально-освободительного движения отказаться от революционных программ, провозгласить, едва ли не навечно, социальное статус-кво. Независимо от того, исходят ли подобные требования от демагогов или пацифистов, они и реакционны, и утопичны. Никто не властен остановить социальный прогресс, притом как в эволюционной, так и в революционной его форме. Чего действительно следует добиваться — понимания всеми социальными движениями и политическими течениями своей ответственности за судьбу мира в ядерный век.

Именно это отличает позицию коммунистов. Вопреки наветам классовых противников марксистам-ленинцам органически чужд лозунг «цель оправдывает средства». Считая исторически неизбежным преобразование капиталистического общества в социалистическое, они придают первостепенное значение тому, чтобы переход власти в руки рабочего класса, широких народных масс осуществлялся с наименьшими издержками для дела всеобщего мира. И если сегодня международная обстановка отличается крайней напряженностью, то повинны в том не сторонники общественного прогресса, как тщится уверить реакционная пропаганда, а силы империализма, стремящиеся любыми средствами остановить закономерный процесс социальных перемен.

Итак, куда бы ни метил Бёрджес, его сатирические стрелы поразили не социализм, а мелкобуржуазную контрреволюцию, с которой коммунисты всегда вели и ведут непримиримую борьбу.

Как, однако, обстоит дело с его прогнозом на 1985 год? Не имеет ли анархо-синдикалистский угар шансы на распространение со всеми вытекающими отсюда последствиями?

Такая опасность, безусловно, существует. И прежде всего потому, что буржуазия по-прежнему испытывает соблазн прибегнуть к этому оружию против органи-

зованного, марксистски ориентированного рабочего движения, не слишком задумываясь, какой ценой ей самой придется расплачиваться за попытку выпустить из бутылки джинна-анархиста. Нельзя исключать и того, что в острых кризисных ситуациях империалистическая реакция сочтет для себя выгодным создать обстановку хаоса, дав разгуляться анархистам, с тем чтобы потом навести порядок с помощью фашистов и установить свою террористическую диктатуру.

Конечно, дело не только в кознях капиталистов. Нельзя забывать, что анархо-синдикализм возник первоначально как уклон в рабочем движении. Он может возрождаться вновь повсюду, где появляется подходящая для него питательная среда. Там, где рабочий класс не отличается достаточной политической зрелостью из-за отсутствия опыта и особенно в результате массового пополнения его рядов за счет мелкобуржуазных элементов города и деревни. Там, где не удалось установить прочных связей между рабочими и их коммунистическим авангардом либф, по тем или иным причинам, такие связи серьезно ослабли. Там, где не уделяется должного внимания идеологической работе, формированию у трудящихся научного социалистического сознания.

Рецидивам анархо-синдикалистской болезни способствует также идейно-политическая активность «крайне левых». Под этим весьма размытым понятием подразумевается обычно разношерстный конгломерат людей, составляющих обособленные фракции в рабочих партиях капиталистических стран или образующих самостоятельные радикальные группировки. Выступая с позиций мелкобуржуазного «ультрареволюционаризма», леваки (именно леваки, а не левые) не считаются с объективными условиями классовой борьбы, с необходимостью вести настойчивую работу по привлечению на сторону революционного дела широких народных масс, делают ставку на насильственные действия.

Впрочем, гораздо опасней «традиционного» левачества на манер народовольцев новая форма явления, нашедшая выражение в попытках некоторых теоретиков обосновать коренной пересмотр марксистско-ленинской концепции социализма. Ратуя против этатизма как источника бюрократии и не видя принципиальных различий между буржуазной и пролетарской, социалистической государственностью, они провозглашают магистральным путем создания нового общества самоуправление предприятий и территориальных общин. Другими словами, «снимаются» или в лучшем случае переносятся на задний план главные элементы теории научного социализма — общественная собственность на основные средства производства и наличие сильной центральной власти; рабочий класс, трудящиеся лишаются рычага, без которого невозможно преобразование социальных структур и отношений. Это не что иное, как реакционная мелкобуржуазная утопия, шаг назад — к «общинному социализму». И хотя ее авторы отмежевываются от анархизма, это не меняет дело. Доведенный до своего логического завер-

шения, синдикализм не может не приобрести анархистский характер.

Таким образом, опасность достаточно серьезна. И тем не менее она преоборима. В современном рабочем движении существуют мощные силы, которые не позволят буржуазии обмануть себя и достаточно сознательны, чтобы не обмануться самим. Польский опыт показал и это.

Как раз опасение остаться генералами без армии побудило антисоциалистические силы сделать расчет на внезапный захват власти. Как известно, эта авантюра, планировавшаяся на 17 декабря 1981 года, была сорвана.

■

Читатели заметили, что, размышляя над проблемами, затронутыми в «1985-м», мы вынуждены были обращаться к самым различным аспектам общественной теории и практики. Теперь предстоит переместиться из сферы политики в сферу социальной психологии.

Дело в том, что если марксисты верят в политическую мудрость рабочего класса и не сомневаются в его способности одолеть анархо-синдикалистский уклон, то Бёрджес, напротив, усматривает в этом классе слепую стихийную силу, которая может погубить цивилизацию<sup>1</sup>. Не видит он в обществе и каких-либо социальных слоев, способных защитить ее от новоявленных «профварваров». В отличие от многих своих западных коллег, автор «1985-го» скептически оценивает возможности интеллигенции и молодежи — не случайно первая в его романе опустилась до уровня люмпен-пролетариата и нахлестится на грани исчезновения, а вторая охотно интегрировалась в Тред-юнионисты, найдя в ней поле для реализации своих политических амбиций.

И вообще, по утверждению Бёрджеса, ориентация классов и социальных слоев не имеет особого значения, поскольку образ мысли и поступков людей определяется не их классовой принадлежностью, а общими для всех инстинктами, заложенными в человеческой природе. А посему генеральное значение приобретает вопрос: можно ли перестроить сознание, вытравив из него всякого рода дикость, все, что относится к категории зла, и создав идеальную для общежития модель? Рассуждая на эту тему, Бёрджес разносит теоретиков, которые, по его мнению, предлагают негодные рецепты изменения к лучшему человеческой природы.

Особенно досталось признанному лидеру так называемой бихевиористской школы американцу Б. Скиннеру, который рекомендует воспитывать только путем поощрения людей за хорошее поведение. Причем вот что любопытно: Скиннер высмеивается не за то, что его концепция «культурного проектирования» игнорирует реалии классово-антагонистического общества, а за то, что она-де противоречит

<sup>1</sup> Он, правда, оговаривается, что сознательно не брал в расчет «здравый смысл и гуманность, присущие среднему рабочему», что имелись в виду главным образом воинственные профсоюзные лидеры но это никак не вяжется с основной концепцией «1985-го».

принципу свободной воли. Бёрджес утверждает, что приучать к добру, обещая в награду кусочек сахара, столь же безнравственно, как отпугивать от зла угрозой наказания.

Упоминает автор, притом всуе, и учение И. П. Павлова. По тому, как излагается его содержание, легко увидеть, что Бёрджес ничего о нем, кроме двух общеизвестных слов «условные рефлексы», знать не знает. Это не мешает ему утверждать, будто большевики именно на «рефлексах» строили свои планы перевоспитания человека и потерпели неудачу.

*Ignoratio non est argumentum* (невежество не есть довод), говаривали древние римляне. Если бы Бёрджес дал себе труд почитать Ленина, он знал бы, что марксисты связывают революцию в сознании людей прежде всего с переустройством общественных отношений на коммунистических началах. И хотя процесс этот далек от завершения, он уже принес замечательные результаты. Формирование нового, советского типа личности, отличительными чертами которого являются коллективизм и гуманизм, органическое сочетание патристического и интернационалистского сознания, развитое чувство собственного достоинства и социальной ответственности, долга давно уже стало общепризнанным фактом.

Пожалуй, единственный случай, когда с рассуждениями Бёрджеса на психологическую тему можно согласиться — его критика методов физиологического воздействия на человека. К сожалению, об этом говорится вскользь. А между тем имеются многочисленные свидетельства того, что в наше просвещенное время в закрытых клиниках, находящихся в ведении империалистических военных ведомств, ставятся опыты над людьми. Точно так же, как это делалось гитлеровцами, «экспериментаторы» ищут средства, способные лишать человека воли и памяти, превращать его в подобие рабочего скота. Поговаривают о возможности закреплять вновь приобретенные свойства подобного рода с помощью «генной инженерии». Прогрессивная печать Запада то и дело разоблачает опаснейшие планы разработки различных видов биологического оружия.

Немногом выше скиннеровского бихевиоризма ставит Бёрджес и христианскую этику. В его ироническом изложении она выглядит так. Существует параллель между единством вселенной и человека, придающая известный смысл доктрине инкарнации (принятие Христом человеческого облика). Чтобы достичь гармонии личности, необходимо обучать любви, милосердию, терпимости. Причем следует поначалу научить человека любить самого себя — тогда легче приучиться любить других. Если я, к примеру, полюблю свою правую руку, мне будет проще полюбить правую руку следователя из гестапо...

Итак, попытки переделать человеческую природу, предпринимаемые марксистами, христианской церковью, западными социалистами и кем еще угодно, по Бёрджесу, одновременно бесплодны и ведут к ограничению свободной воли. Не слишком задумываясь над тем, как совмещаются эти взаимоисключающие результаты, он дела-

ет вывод, что нам суждено остаться такими, как мы есть. Со всеми добродетелями и пороками. А отсюда надо быть готовыми к любым катаклизмам.

Знакома читателя со своими кошмарными сновидениями, Бёрджес предрекает человечеству все мыслимые и немыслимые испытания. Здесь и мировая война, которая, правда, будет вестись без применения ядерного оружия, и «сексуальная война» между мужчинами и женщинами, и вооруженный бунт голодающих против сытых, и бог весть что еще. Подобно Мальтусу, он не видит иной перспективы решения проблемы перенаселенности кроме кровопускания и взаимного истребления, не верит в способность людей преодолеть свои «агрессивные инстинкты» и, что самое существенное, не считает допустимыми даже попытки в этом направлении. Ведь, согласно его миропониманию, главное — это сохранить в неприкосновенности, оградить от покушений свободную волю, куда бы она ни устремлялась. Принимая позу стойка, Бёрджес откровенно рисует своим выбором: пусть мир летит в тартарары, была бы жива моя свободная воля.

Пытаешься понять, с кем же все-таки имеешь дело. С таким отчаянным сорви-головой, новейшим типом «интеллектуального сверхчеловека» или с запуганным мещанином, укрывающим за напуганной бравадой свою растерянность и страх перед будущим? И внезапно приходит разгадка: да ведь это герой «1985-го» Джонс собственной персоной. Он боится и профбоссов, и фашистов, и безумствующую разгульную молодежь, бунтует на коленах и не находит иного способа выразить свой протест, сохранить свою бессмертную свободу, как добровольно расставшись с жизнью.

И действительно, как бороться с угрозой анархии, если ты сам по существу законченный анархист? Ведь буржуазный индивидуалист Джонс с его гипертрофированной эгоистической самовлюбленностью и профбосс с чугунным подбородком Девлин по духу своему кровные родственники. Разница между ними лишь в том, что за Девлином группа, а за Джонсом — никого. Казалось бы, и он имеет шансы организовать свой синдикат из единомышленников-интеллектуалов. Но, увы, их способности к объединению не идут дальше того, чтобы делиться с товарищами ворованной колбасой и пить виски из одной бутылки. Каждый существует сам в себе, по себе и для себя. Из этого человеческого материала коллектива не сложится.

Полнейшая самозамкнутость и отчужденность от общества — вот суть мироощущения и Оруэлла, и Бёрджеса, и многих других представителей буржуазного антиутопизма. Они могут поэтому только звать к бдительности, предупреждать, бить в колокола, втайне надеясь, что реальное противодействие грозившим опасностям возьмут на себя другие.

Что же, и это само по себе немало.

Здесь я рискну сравнить «1985 год» с «Бесами». Конечно, эти произведения несоизмеримы по масштабу. Достоевский — гениальный художник, Бёрджес — дарови-

тый литератор среднего ряда. Речь идет лишь о политической аналогии.

С полным основанием осудив нечаевщину, но не разобравшись в истоках этого явления, Достоевский незаслуженно бросил тень на революционно-демократическое и социалистическое движение. История все расставила на свои места. Сегодня мы воспринимаем «Бесов» не только как замечательное художественное произведение, запечатлевшее картины русской жизни прошлого столетия, но и как суровое обличение всякого замысла добиваться хороших целей дурными, антигуманными средствами.

Бёрджес, осуждая анархо-синдикалистский террор, бросает тень на современное рабочее движение. Но исторический опыт уже доказал несостоятельность подобного искажения и действительности, и перспективы. То, что было у великана Достоевского заблуждением, выглядит у Оруэлла, Бёрджеса и прочих антиутопистов как злопахательство, продиктованное классовым пристрастием.

Отчетливо понимая это, следует тем не менее признать полезность самой постановки проблемы и привлечения к ней общественного внимания. Анархо-синдикалистская опасность существует, и необходима бдительность всех сознательных сил в рабочем и демократическом движении, чтобы успешно ее преодолеть.

В этой связи хочется сказать несколько слов автору упоминавшейся выше статьи в «Литературной газете» О. Битову. Можно было бы, конечно, сделать это и лично, но вопрос, на мой взгляд, представляет общественный интерес.

Статья хорошо фундирована и ярко написана. Но, к сожалению, только одной краской. И «1984-й», и «1985-й» охарактеризованы в ней как от начала до конца антикоммунистические произведения. Между тем так не считают даже многие западные исследователи Оруэлла, с тревогой отмечающие нарастание подмеченных им опасных тенденций в современной капиталистической действительности. С другой стороны, развитие социалистической демократии в СССР и других странах показывает, что тоталитарный кошмар, нарисованный Оруэллом, не имеет ничего общего с практикой реального социализма.

Мне кажется абсолютно необходимым различать полутона. Одно дело — пещерный антикоммунизм, скажем, Яна Флеминга с его примитивным героем — суперменом Джеймсом Бондом, и совсем другое — серьезные антиутопии. В них дают о себе знать идейные заблуждения и классовая ограниченность, они несут отпечаток элитарного мышления, однако при всем том это материал для размышлений, а не для корзинки. Кстати, в последнем случае не стоило бы вообще братья за перо и комментировать сочинение Антони Бёрджеса.

Будущее всегда было и будет предметом исследования средствами науки и искусства, и роман-предупреждение занимает в этом ряду свое видное место, помогая нам яснее видеть ухабы и рытвины, избирать оптимальные пути к нашим благородным целям.

# Документальная проза

СААДИ АЛЬ-МАЛЕХ

## БЕЙРУТСКИЙ ДНЕВНИК

ПЕРВЫЙ НАЛЕТ

4/6.82 г.

Ч аса в три пополудни отпра-  
вился за покупками в квар-  
таа Факхани — оживленный, всегда заби-  
тый толпой и машинами деловой и торго-  
вый район Бейрута. Проходя мимо витри-  
ны магазина радиотоваров, приметил сим-  
патичный радиоприемник. Поглядел на  
цену — вроде недорого, решил купить. Ког-  
да, довольный своей покупкой, протягивал  
владельцу деньги, раздался оглушительный  
свист самолетов, и сразу же затарахтели  
зенитки. Выхватив у меня из рук деньги,  
хозяин выскочил на улицу, мигом опустил  
железную рифленую дверь и был таков —  
растаял, растворился, будто провалился под  
землю. Я растерянно огляделся по сторо-  
нам. Повсюду хлопают ставни, с грохотом  
закрываются железные двери, надрывно ре-  
вут автомобильные гудки... Над головой с  
воем проносится звено самолетов, и в воз-  
духе повисают огненные шары тепловых  
противозенитных ловушек... Мимо меня ку-  
да-то мчатся перепуганные люди. Паника,  
суматоха, ничего нельзя понять... Женщи-  
ны, дети, мужчины, штатские, бойцы... Все  
бегут сломя голову... Плач, крики, отчаян-  
ные вопли тонут в жутком свисте самоле-  
тов. Бросаюсь куда-то бежать и я, но не успе-  
ваю сделать и нескольких шагов, как  
земля под ногами вздрагивает... Оглуши-  
тельный взрыв, звон разбитых стекол — и  
все заволакивает густым черным дымом...  
Нырять в первую попавшуюся незапертую  
дверь... Оказалось, столярная мастерская.  
Хозяин сидит посредине комнаты и, обхва-  
тив голову, горестно причитает: «Жена...  
дети... они были там... в доме...» Бормочу  
что-то бессвязное — разве найдешь тут  
слова утешения? — и вдруг замечаю, что я  
самого себя бьет дрожь. Судорожно начи-  
наю припоминать аналогичные ситуации,  
знакомые по фильмам и литературе. Это  
немного помогает. Кое-как собравшись с  
духом, выхожу из мастерской. Снова бегу  
— теперь уже в другую сторону. Глупо,  
Бейрута я не знаю. Бегу просто так, из

стадного чувства. Наконец, не выдерживаю,  
окликаю встречного парнишку:

— А куда все бегут?

— Не видишь, что ли? В убежище...

...Новый взрыв сотрясает землю. Успеваю  
подумать: «Вот теперь уже точно конец!» —  
и оказываюсь вдруг в каком-то подвале.  
По-видимому, здесь находился прежде  
склад мебельного магазина — вокруг горы  
новой, беспорядочно громоздящейся мебе-  
ли, досок. И какой-то странный грушовой  
манекен — пожилой седой человек держит  
за руку девочку лет десяти. Она в розовом  
платице, черные косички аккуратно пере-  
виты белыми лентами. На восковом лице  
старика жутковато поблескивают стеклян-  
ные, неподвижные, вытарашенные глаза.  
Откуда взялся манекен — здесь, в подвале  
мебельного магазина?

Привыкнув к темноте, различаю в даль-  
нем углу группу — женщины с детьми и  
несколько мужчин. Наверное, думают, там  
безопасней... Свист самолетов, взрыв, и  
опять куда-то проваливается сердце. Зда-  
ние вздрагивает, из кучи досок одна с гро-  
хотом валится на пол, люди испуганно  
жмутся друг к другу. Кричат дети, в голос  
плачет молодая женщина, хватая за рукав  
мужа, мольбы, проклятия — клянут Амери-  
ку, Израиль... Судя по говору, здесь одни  
ливанцы. Все друг друга знают — наверное,  
живут в этом же доме. Чужой только я, и  
все поглядывают на меня с опаской.

Короткая пауза затишья. С улицы доно-  
сится вой сирен «скорой помощи», щелка-  
ют одиночные выстрелы — и снова свист, и  
снова взрывы, и снова ужас в глазах, и  
серые, застывшие лица. Теперь уже бом-  
бят, видно, где-то совсем неподалеку, слы-  
шен визг ракет. Взрыв — и что-то тяжелое  
наваливается на уши, забивает барабанные  
перепонки, в голове начинает стучать, на  
мгновение кажется, что терлешь сознание.  
Потом снова возвращаешься к жизни —  
опять взрывы, содрогается дом, опять кри-  
чат вокруг люди, молят, проклинают... Кто-  
то без конца твердит:

— Разевайте пошире рот... слышите? Так  
легче...

Разеваю что есть силы... Вспоминаю



детство, родной дом, друзей... Где они все сейчас? На войне, где ж им еще быть. На фронтах этой проклятой, уже два года тянущейся войны между Ираком и Ираном. Здесь бойня, там бойня. Куда ни глянешь — всюду воюют, воюют... Я вспомнил друга, которого ранило в прошлом году во время налета на квартал Факхани, здесь, неподалеку. В последний раз я видел его в одной из московских больниц.

«Как хоть это случилось?» — «Да что тут рассказывать? Стоял на балконе восьмого этажа. Когда они налетели, даже и с места не сошел — велика важность, налет! Да они каждый день над городом летают. Потом вижу — шары-ловушки сбрасывают, все небо усеяли. Понял: дело серьезное, загорюхался в убежище, да опоздал — в нижний этаж ракета ударила. ...Опомнился уже на улице. Бегу, а по мне кровь хлещет...»

Наверное, и я, когда меня потом об этом спросят, отвечу: «Очнулся уже в больнице...» Если вообще останусь жив, что, кстати, весьма сомнительно, — эти ракеты пробивают землю на глубину до семи метров и оставляют после себя воронку до десяти метров радиусом! Многие из тех, кто жил там же, где мой друг, в доме Рахма в квартале Факхани, вообще исчезли без следа, даже и трупов потом не нашли. Кошмарное, наверное, было зрелище — месиво из кусков человеческих тел и камней... Неужели и меня ждет такой же конец?.. Не надо об этом думать... Не надо...

...В подвал входит парень с автоматом, зажимая в тряпке здоровенный осколок ракеты — еще горячий, дымится. Откуда? Да тут рядом упала... Все бросаются к нему. Взрывается причитаниями какая-то женщина: «Всевышний боже, спаси нас от погибели, защити нас, рабов своих...»

— Сынок, а где отец? — с тревогой спрашивает из угла старуха. Оказывается, отец сидит перед домом во дворе, курит свою нагиле и твердит, что не пойдет в подвал, хоть убейте. Старуха охает и кидается к дверям. Выхожу за ней. На улице относительно тихо. Снуют машины «скорой помощи», туда-сюда пробегают бойцы Сопротивления, где-то неподалеку трещат автоматные очереди. Старуха пытается уговорить мужа спуститься в убежище, но тот непреклонен. Чего пристали? Ведь ясно сказано — нечего ему делать в подвале. Убьют? Пусть, лучше уж здесь, чем в этом погребе — придавит, как таракана. Еще и труп провоняет, пока вытащат... А то и вовсе не найдут. Нет уж, умирать — так на земле, как положено. Хоть похоронят полудски...

От взрывной волны у троих ребятшек пошла из ушей кровь. Поднимается шум, кричат, причитая, матери, плачут дети. В довершение всего у молодой беременной женщины начинаются схватки. Парень с автоматом — тот, что принес осколок, — выскакивает на улицу, хватает проходящую машину «скорой помощи» и увозит женщину в больницу. Обстановка общей подавленности и страха несколько разряжается... Удивительное все-таки существо — человек!

А бомбежка все не кончается. Сколько же нам еще здесь сидеть? От нечего де-

лать принимаюсь шагать из угла в угол. Опять этот манекен... Интересно, откуда же он взялся? Что это? Старик моргает? Не может быть, показалось. Да нет же, в самом деле — моргает! Живой?! Обалдело перевожу глаза на девочку. И тут только понимаю, что передо мной никакой не манекен, а люди — живые, обыкновенные, только застывшие от страха. Впрочем, может, это мой собственный страх превратил их в манекен?

— Радио бы послушать, — вздыхает кто-то.

Молча лезу в сумку и вытаскиваю свой только что купленный приемник.

«Голос палестинской революции...» Бодрые национальные песни... Официальное ливанское радио ведет обычные передачи как ни в чем не бывало — будто и нет никакой агрессии... Радиостанция фалангистов рекламирует сигареты «Мальборо» и американские джинсы известных фирм, время от времени перебивая рекламу последними известиями или веселыми песенками. Но так или иначе главное узнаем: бомбят палестинские лагеря и спортивный городок, находящийся от нас примерно в пятистах метрах.

4/6.82 г. Пять часов вечера.

Телеграфные агентства сообщают, что израильская военная авиация совершила сегодня с трех часов десяти минут пополудни девять воздушных налетов на ливанскую столицу, подвергнув ожесточенной бомбардировке жилые кварталы Западного Бейрута. В налетах участвовало 24 истребителя-бомбардировщика Ф-16 американского производства. Отмечается, что эта новая акция агрессии против Ливана приурочена к приезду в регион специального представителя американского президента на Ближнем Востоке Филипа Хабиба. Между тем официальный представитель израильской армии заявил, что правительство рекомендовало военно-воздушным силам начать бомбардировку Ливана в качестве, по его словам, «репрессивной меры в ответ на покушение на израильского посла в Лондоне».

Стихло. Постоял с полчаса у входа в подвал, чтобы убедиться, что самолеты не вернутся. На бешеной скорости мимо проносятся машины «скорой помощи», маленькие юркие частные автомобили, на подножках лихо висят молодые ребята, совсем еще мальчишки, в белых нагрудниках с надписями «Гражданская оборона» или «Палестинский Красный Полумесец».

Появляются прохожие. Выхожу из своего укрытия и направляюсь переулком к Новому шоссе, а оттуда к Арабскому университету. У обочины две в лешку разбитые машины: видно, водители, когда начался налет, потеряли от страха голову и в панике врезались друг в друга...

«Организация освобождения Палестины категорически опровергла свою причастность к покушению на Шломо Аргуна, израильского посла в Лондоне. В беседе с корреспондентом агентства Рейтер официальный представитель ООП в Бейруте заявил, что ООП решительно отвергает всякие обвинения на этот счет, поскольку считает

террор неприемлемым методом борьбы». (Газета «Ас-Сафир», Бейрут, 5/6.82 г.)

«Премьер-министр Великобритании г-жа Маргарет Тэтчер заявила, что все попытки Израиля оправдать свою агрессию в Ливане, воспользовавшись в качестве предлога покушением на израильского посла в Лондоне, не выдерживают никакой критики. В руках у английских властей находится список с именами лиц, кому угрожает покушение, в их числе назван представитель Организации освобождения Палестины. Тем самым обвинения ООП в какой бы то ни было причастности к убийству израильского посла в Лондоне теряют под собой всякую почву.

С другой стороны, английская пресса со ссылками на заявления авторитетных лиц сообщает, что в убийстве израильского посла участвовало три человека, двое из них иорданцы, а третий — иракец. Все трое принадлежат к организации, ранее отколовшейся от ООП и ныне ей враждебной». («Рейтер». Лондон. 5/6.82 г.)

Улица, где я живу, пустынна — магазины, торговые лавки заброшены, владельцы уехали, побросав — иные впопыхах даже не закрыв — свои заведения.

Пыхтя, поднимаюсь на восьмой этаж. Лифт вот уже полгода не работает, после того как у дома взорвалась машина, в которую подложили взрывчатку. На дверях записка от Самира: «В доме оставаться нельзя, приходи к доктору Хасану».

Доктор Хасан живет в соседнем квартале, но почему-то принято считать, что у него безопасней. В его маленькую квартиру набилось человек тридцать всех возрастов — и взрослые, и дети. Некоторые в домашних пижамах, кое-кто из женщин в ночных сорочках — в чем застал налет, в том и прибежали сюда. Сидят группами — кто в холле, кто в спальне, кто на балконе. И все говорят об одном: как они чудом уцелели. Десятки домов в квартале дают сегодня приют таким бездомным...

«По данным авторитетных официальных источников, в результате варварской израильской бомбардировки Бейрута 4/6.82 года убито и ранено около 400 человек, в основном старики, женщины и дети... Потери среди военных составляют всего восемь человек. Уничтожены тысячи тонн продовольственных товаров на складе в районе спортивного городка. Между тем израильское радио утверждает, что удары нанесены по оружейным складам и военным позициям». (Из передачи ливанского радио и телевидения.)

Под вечер отправляемся с приятелем осматривать районы бомбежки. Спортивный городок... Боже, во что они его превратили! Почти все здания разрушены, пострадали и соседние дома. «Спасательные команды» вытаскивают из-под обломков груды... Вокруг толпятся люди, много корреспондентов, приехавших поглядеть на следы преступления...

«Американская администрация, как и следовало ожидать, выступила с попыткой оправдать израильскую акцию агрессии

против мирного населения Западного Бейрута. Вслед за правительством Израиля госсекретарь США Александр Хейг заявил в своем интервью в Париже вчера вечером, что существует, по его мнению, прямая связь между покушением на израильского посла в Лондоне и вчерашней бомбардировкой Бейрута.

С другой стороны, официальные американские круги не скрывают, что израильские бомбардировки Западного Бейрута могут явиться началом широкомасштабного израильского наступления в Южном Ливане». (Из сирийской газеты «Тишрин», 5/6.82 г.)

«Покушение на израильского посла в Лондоне не явилось причиной войны, подобно тому как убийство наследника в Сараево в 1914 году не было причиной первой мировой войны. Война, начатая нашим правительством, представляет собой не что иное, как агрессию в чистом виде. Это война на истребление палестинского народа, война во имя новых захватов, это грязная колониальная война...» (Из речи в кнестете Меира Вильнера, Генерального секретаря Коммунистической партии Израиля, 8/6.82 г.)

## БУДАНИ

5/6.82 г.

Чемодан с книгами, паспорт и весь мой немудреный скарб — там, дома, в квартале Арабского университета. Сейчас этот квартал, Факхани и все районы палестинских лагерей стали объектом ожесточенных израильских бомбардировок. Единственная книга, оказавшаяся со мной, — сборник стихов Марины Цветаевой на русском языке да еще кое-какие черновики переводов. До вчерашнего дня я с увлечением переводил в надежде, что сумею что-нибудь опубликовать в местной прессе к девятидесятилетию со дня рождения поэтессы, и поэтому не расставался с этой книгой ни на миг. Каждое утро отправлялся в библиотеку Советского культурного центра, где было множество словарей, и миловидная стройная русская девушка охотно объясняла мне непонятные места. Она была так приветлива и так искренне хотела мне помочь, что я твердо решил про себя завершить перевод, и даже заразил своим энтузиазмом приятеля, который ночевал сегодня там же, где и я, и теперь увязался за мной.

Около полудня израильские самолеты начали бомбить южные пригороды Бейрута. Мы, кто находился в это время в Культурном центре — советские сотрудники, иракцы, палестинцы, ливанцы, — вышли на балкон. Зрелище, открывавшееся отсюда, с третьего этажа, было страшным. Я украдкой покосился на свою русскую знакомую. Она плакала...

И эпитеты, которые я так старательно подбирал за минуту до этого, чтобы как можно точнее передать по-арабски утонченную музыку цветавских строк, вдруг растаяли, исчезли куда-то, утонув в реве самолетов, грохоте взрывов, тяжелых вздохах стоявших рядом со мной людей.

...Часа в три мы спустились на Раушу — живописную бейрутскую набережную, густо усеянную мелкими магазинчиками и торговыми палатками, сооруженными на скорую руку из кровельного железа, досок, случайно оказавшихся под рукой, — словом, бог знает из чего. Политических учреждений ООП на Рауше нет, и район этот сравнительно редко подвергался обстрелам. Зашли в харчевню, взяли по порции восхитительно вкусного кябаба. Но не успели поднести кусок ко рту, как снова — уже над самой головой — визг самолетов. Гулко затарахтели зенитки.

Что делать, пошелось в центр города, на Хамру. Больше деваться некуда. Остаток дня прослонялись, в страхе ожидая, что вот-вот где-нибудь рядом взорвется очередная груженная взрывчаткой машина. Куда бежать, где спастись человеку от израильских бомб и прочих бесчисленных напастей, которые подкарауливают его в этом городе на каждом шагу?

Ливанская армия в боях не участвует, не желает вмешиваться в конфликт — мол, пусть сами разбираются. Фалангистская милиция в сговоре с Израилем, а у Объединенных палестинских и Национально-патриотических сил Ливана нет зенитных орудий, способных сбивать самолеты Ф-16.

6/6.82 г.

Под прикрытием авиации и артиллерийского огня с моря и суши израильские войска в количестве около ста тысяч человек, поддерживаемых крупными соединениями танков и бронетранспортеров, вторглись с юга на территорию Ливана и по трем направлениям начали наступление в глубь страны. Информационные агентства сообщают, что Объединенные войска Палестинского сопротивления и Национально-патриотических сил сдерживают натиск противника, ведя против него ожесточенные бои и нанося ему тяжелые потери. Израильский премьер-террорист Менахем Бегин заявил, что целью вторжения является уничтожение ООП, и хвастливо обещал закончить операцию в три дня.

...Вечером вернулись домой. Открыл кран — сухо. Воды нет со вчерашнего дня. И в доме не осталось ни капли, даже напиться нечем. Щелкнул выключателем. Так, света тоже нет. Ничего не поделаешь, зажег свечу. Все-таки свет, писать можно. Хуже будет, когда догорит и погаснет...

...Почему молчат до сих пор руководители арабских государств, где их совесть?

7/6.82 г.

Сегодня самолеты выгнали нас из дому в пятом часу утра. Сунули ноги в ботинки — спим, вообще не раздеваясь, — и выскочили на улицу. Куда податься человеку в такую пору, особенно такому, как ты, приезжему, у которого не то что родственников здесь нет, а даже и знакомых-то пока раз-два и обчелся? Одно утешение, что на улицах полным-полно таких же бездомных, как ты.

...Сегодня впервые серьезно задумался о смерти. Не хочется умирать, трясаясь от страха, как жалкая тварь. Не хочу дожи-

даться — дома ли, на улице, — пока меня накроет сварядом. Хоть одну бы пулю пустить во врага, а там пусть убивают, неважно! Один-единственный выстрел из любого оружия. И если мое оружие — перо, а мне не дают писать, то пусть, по крайней мере, дадут винтовку. Не сидеть же мне сложа руки в такое время!

Журнал, в котором я работал стажером, закрылся несколько дней назад. Куда деваться? Пошел к палестинцам проситься добровольцем. Не взяли. Повремени, говорят. Сейчас многие газеты и журналы оказались в зоне прямого обстрела, потому и закрылись — временно.

...Как всегда, первыми покупаем газеты у знакомого продавца. Газета «Ас-Сафир» вышла сегодня с огромным заголовком через всю страницу: «Ливанцы, отечество в опасности!»

«Ливанцы!» Ливанцы тоже бывают разные. Одни — такие, как коммунисты и другие прогрессивные и честные патриотические силы в стране, уже встали на защиту родины. Вторые — вроде партии «фалангистов» или Национально-либеральной партии — рукопошут, ликуют, агрессивны... Что же, пусть сама история вынесет им приговор. Измена родине не может остаться безнаказанной.

Доктор Хасан, хирург в госпитале «Газа», принадлежащем Палестинскому Красному Полумесяцу, особенно поздно задержался сегодня на работе. «С израильским пленным летчиком возился», — сказал мне и устало опустился на стул.

— Ну!

— Говорит, они твердят про вас, что вы звери, а вы, оказывается, вполне цивилизованные люди.

Мой приятель Абу Зейнаб не выдерживает:

— Еще бы! Им это с детства внушают.

— Представляете, с той самой минуты, как его к нам привезли, все требовал, чтобы ему организовали встречу с представителями прессы. А у нас своих дел по горло, не до корреспондентов нам! Как зайду к нему в палату, так он меня умолять начинает помочь ему с прессой связаться. «Да зачем мне вам? — спрашиваю. — Вас и так здесь никто не обижает!» — «Правильно, — говорит, — никто. Но надо же и семье сообщить, они за меня беспокоятся!» Ну, тут я не выдержал. «А о наших семьях, — говорю, — вы подумали, когда бросали свои бомбы нам на головы?» Молчит, не знает, что сказать.

— Молчит? Как бы не так! — взрывается Абу Зейнаб. — Вон я только что по радио слышал, что он там говорил в беседе с журналистами. Его, понимаешь ли, спросили, что он чувствовал, когда летел над Бейрутом. И знаете, что он ответил? «Я, — говорит, — чувствовал себя владыкой». Скотина такая...

8/6. 82 г.

Абу Зейнаб записался в добровольцы. В его отряде палестинцы и иракские коммунисты. Абу Зейнаб — иракец и до агрессии вел курс марксизма в палестинской партийной школе. Он прошел военную подготов-

ку и даже участвовал в прошлом году в боях на юге. Сотни людей из разных арабских стран, коммунисты и просто демократы, живущие в Бейруте постоянно или приехавшие сюда, подобно мне, незадолго до агрессии, уходят в эти дни добровольцами защищать Ливан, Палестину, интернациональную солидарность.

И только я один бессмысленно слоняюсь по бейрутским улицам. Неуютно стало на Хамре. Магазины и кафе закрыты, прохожих заметно поубавилось — ведь Хамру теперь тоже обстреливают, после того как сюда перебрались некоторые палестинские и ливанские учреждения, а также многие беженцы из разбитых палестинских лагерей.

Квартал Абу Шакер, где я сейчас живу, тоже опустел. Совсем немного людей осталось в нашем доме — просто по пальцам можно сосчитать. Доктор Хасан, вернувшись с работы вечером, отругал меня за потерянную канистру. Утром я пошел по воду и долго стоял в очереди у колодца возле больницы «Мокасед», примерно в километре от нашего дома. Собрал все свое мужество и выстоял, наверно, больше часу. Какие-нибудь четверть часа — и я был бы с водой, но тут как назло в небе довольно низко и прямо над нами показались израильские самолеты. Люди, стоявшие в очереди — в основном женщины и дети, — побросали кувшины и разбежались кто куда. Я выдержал еще несколько минут, не побежал — уж очень хотелось набрать воды: надо же сделать что-нибудь полезное за целый день! Но эти проклятые самолеты не отвязывались — пикировали совсем рядом — раз, другой, третий... Тут уж даже те, кто еще оставался у колодца, кинулись врассыпную. Ничего не поделаешь — бросил пустую канистру и побежал вместе со всеми. К вечеру вернулся — может, не подобрали, лежит еще у колодца, меня ждет? Какое там! Канистра в эти дни стала большой ценностью.

9/6.82 г.

Спасаясь от бомбежек, забрел сегодня в квартал Бирбир и здесь вдруг встретил Ум Али, жену одного поэта, моего старинного друга. Ум Али пригласила зайти к ним выпить чашку кофе. Я был приятно удивлен, обнаружив там уйму знакомых мне людей. «Вот так каждый день, — улыбнулась Ум Али, — с утра до ночи полон дом народу». Мы сидели и потягивали кофе. Над городом со свистом проносились самолеты.

Зона бомбардировок расширяется. Национальное радио предупреждает граждан, что на улицах находится опасно... Интересно, что бы со мной было, не встретить я сегодня Ум Али? А люди в дом все идут и идут к ним в поисках приюта где-нибудь подальше от районов обстрела. С начала агрессии их маленькая квартирка многих выручала чуть ли не каждую ночь. По крайней мере сегодня там осталось почитать человек тридцать. А днем народу еще больше. Так живут в эти дни сотни бейрутских домов.

Квартал Бирбир расположен неподалеку от «зеленой черты» (она разделяет город на два — Западный Бейрут и Восточный, где фалангисты) и от эшпадрома, который бомбят ежедневно. И тем не менее жить в

Бирбире до сих пор считалось безопаснее, чем во многих других районах.

Но сегодня оласность начала подбираться и сюда — целый день беспорядочный артиллерийский обстрел с моря. Мы все, кто был в доме Ум Али, перетрусили, надо сказать, изрядно. А ведь зенитчики там, на улице, под бомбами...

Доктор Хасан пришел опять поздно, так что я весь вечер просидел в доме один и в тоске жег свечи. Кончится одна — зажигаю другую, эта сторит — третья... Наконец, вот он, явился — еле живой от усталости. Говорит, придется ему перебраться на время в госпиталь — очень много раненых, его помощь может потребоваться в любую минуту. Покидал в чемодан кое-какие вещи, обнял меня и ушел.

И опять я один. Все сражаются — кто в окопах, кто в госпитале, а я? Опустился, даже рубашку целую неделю не менял! А брюки на что похожи? Сейчас же немедленно пойду на старую квартиру, заберу паспорт и кое-что из вещей! Сунул в карман коробок спичек, прихватил свечу и вышел на улицу. Темно — хоть глаз выколи. Проклятая свеча то и дело гаснет, на каждом шагу приходится останавливаться и зажигать ее снова. Дует слабый ветерок, высоко в небе гудит самолет. Где-то совсем рядом тархатят «Катюши», посылая свои ракеты в сторону вражеских позиций. Крутом земляные насыпи, окопы... Окрик:

— Стой! Куда идешь?

— К себе на квартиру, одежду забрать надо.

— Документы!

Протягиваю удостоверение личности.

— Пожалуйста.

Второй контрольный пост, третий. Наконец, моя улица. Здесь, как и повсюду, темно, только бойцы, попадающиеся время от времени навстречу, направляют на меня свет своих карманных фонариков. В очередной раз гаснет свеча. Чиркаю спичкой. И тут же окрик из темноты:

— Погасить! Здесь затемнение, понял?

Вхожу в подъезд, пытаюсь нащупать перила лестницы. Моя квартира на самом верху... Ничего, как-нибудь доберусь. Странно, в доме ведь не осталось жильцов, а где-то стучит мотор. Может, это не у нас, а в соседнем доме?.. Так, кажется, добрался... Вот дверь...

Где моя куртка? Ага, вот она. Здесь в кармане должен быть паспорт...

В это мгновение раздается жуткий грохот: то ли рев самолета, то ли залп «Катюш», не знаю. Пулей вылетаю из квартиры, скатываюсь по лестнице, больно ударюсь обо что-то по дороге и почти бегом пускаюсь по улице. И сразу же спохватываюсь, ощущаю карманы куртки... Что это? Вместо паспорта в руках у меня старая записная книжка!

Что делать? Первый час ночи. Идти обратно? Трус несчастный! Люди сидят в окопах, на передовой, а он к себе домой зайти боится! Его дом, видите ли, в районе, который обстреливают, там много палестинских учреждений! Что же, так и будешь стоять тут, на улице, как дурак? Брал бы пример с бойцов! Им, думаешь, легко под бомбежкой? Иду обратно.

У первого кордона меня снова останавливают:

— Как, опять ты?!

— Да понимаешь, ошибся в темноте... Не то что надо взял.

— Ладно! — смягчается боец. — Ты, главное, не дрейфь. Их самолеты ночью без осветительных ракет не бомбят. Вот если осветительную сбросят, уноси подальше ноги...

На этот раз я отыскал и паспорт, и нужные вещи, даже пару книг с собой прихватил. Остальные, как ни жалко, все равно пришлось оставить...

10/6.82 г.

С сегодняшнего дня принят на работу в палестинский журнал «Аль-Хадаф». Беседовал с главным редактором. Теперь, в военных условиях, журнал, очевидно, станет ежедневной газетой.

Сижу за маленьким столиком в комнате, выходящей окнами во двор, подбираю материалы для «страницы культуры». В небе ревут самолеты, где-то грохочут зенитки. Ничего, теперь уже хоть смысл есть — если и убьют, умру по крайней мере с чистой совестью.

Выходит, сколько ни зарекался, вернусь-таки к газетной работе после пятилетнего перерыва! Попав в Бейрут за три недели до агрессии, я не на шутку опасался, как бы не оказаться снова в водовороте газетной текучки. Еще бы, ведь в Бейруте сходятся, сплетаясь в тесный клубок, нити деловой, политической, идеологической активности со всего Ближнего Востока, здесь издаются сотни всевозможных газет и журналов, расходящихся по всему региону. Но я решил твердо: буду заниматься только литературой. Это мое прямое дело — в конце концов, я приехал сюда стажироваться в литературном журнале, а не в каком другом. Были у меня и еще кое-какие проекты: попробовать предложить для издания на арабском роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» (над переводом его я с увлечением работал в Москве), узнать, не напечатают ли — чем черт не шутит? — мой собственный сборник рассказов. В свободное от работы в журнале время переводил стихи Марины Цветаевой, читал — уйму книг прочел, но разве за какие-то три недели наверстаешь упущенное — четыре года вдали от родины!

...«Страница культуры»... Каким должно быть слово культуры, когда гремит война? Как их найти — эти вдохновенные огненные слова, способные резать, как свинец?..

Входит Главный:

— Товарищ, спуститесь в убежище.

Пытаюсь отговориться — в убежище идти не хочется. К тому же по радио передавали: через десять минут вступает в силу соглашение о прекращении огня. Главный настаивает: израильтянам нельзя верить на слово...

Нехотя повинуюсь. Впереди меня по лестнице спускаются еще двое редакторов. Доходим до первого этажа. Они направляются к выходу, а я, полагая, что убежище в подвале, спускаюсь еще ниже. ...Вой, свист (нет, это не самолет, это что-то еще!..) ...взрыв и снова свист (вот теперь самолет!).

Здание содрогается... Во все стороны со звоном летят разбитые стекла, осколки камней... Все кругом завлаживает густым облаком дыма и пыли...

Мои коллеги бросаются от входной двери ко мне, под лестницу.

— А где же убежище? — спрашиваю. — Разве не здесь, в подвале?

— Нет, вон там, через улицу.

В убежище уже полно народа — жильцы дома, работники редакции... Но до чего же обстановка сейчас не похожа на прошлый раз! Никто не кричит, не причитает, не молит всевышнего о помощи, хотя за этот раз самолеты облюбовали здание «Ривьеры сентер», в двух шагах отсюда. Видно, уже привыкли люди, освоились. Обстрел ли, бомбежка — живет человек и будто назло врагу занимается своим повседневным делом: «Думали, запутаете? Не выйдет!».

После налета переносим в убежище редакционный архив. Вокруг разбитого соседнего дома уже толпятся журналисты с камерами.

— Ишь ты, — подмигивает мне Главный, — выстроились, словно важную персону встречают!

— А как же? Нас с вами.

На душе легко — нет больше гнетущего страха, мучившего первое время.

## КРОВАВАЯ ПЯТНИЦА

25/6.82 г.

Окруженный с моря и с суши, отрезанный от мира, Бейрут оцетинился автоматами и орудийными стволами. Земля вокруг города изрыта воронками от снарядов, гусеницами вражеских танков. И еще окопами, которые станут могилой для врага.

Ревет, яростно вздымая волны, море, швыряет из стороны в сторону стоящие на рейде военные катера... Встает на дыбы, как норовистый конь: «Не подпущу!»

Американские стервятники носятся в небе, выглаживая себе добычу в мирных бейрутских кварталах.

Тревожно затишь, как перед грозой...

Около полудня началась бомбежка — один налет за другим... Такой остервенелой не было еще ни разу... Потом обстрел с моря, потом ударили из дальнобойных...

Во дворе здания, где размещается наша газета, стоит зенитный расчет — небольшая пушка 37-го калибра. У пушки — боец, загорелый, смуглый крепыш в галифе и в легких сандалиях, ополенный по пояс: жарко. Рукава гимнастерки обвязаны вокруг пояса, потная грудь и плечи блестят на солнце. Завидев в небе самолет, боец старательно примеривается, поворачивая дуло орудия, прищуривает глаза, будто ловит самолет оптическим прицелом и посылает в небо огненную очередь свинца...

...Руки бойца судорожно сжимают гашетку, по лицу градом катится пот... рот полуоткрыт, всклокоченные волосы торчат в разные стороны... Самолет заходит на цель, сбрасывает свой груз на очередное здание и под прямым углом взмывает в небо. Боец с досадой хлопает в ладоши:

— Ушел, сукин сын! Ну ничего, я тебя, гад, все равно достану...

Самолет делает круг над Бейрутом и возвращается снова. И снова парень вскаки-

вает, и бежит к оружию, и, поудобней развернув его, прищуривается, и выпускает очередь. И снова тело его дрожит от напряжения, а руки мертвой хваткой вшиваются в гашетку... Но самолет спокойно сбрасывает бомбы где-то у моста Кола, в трехстах метрах отсюда, и, сверкнув в небе, уходит прочь.

В третий раз повторяется то же самое.. И парень не выдерживает. Ударив со всей силой по стволу кулаком и выругавшись сквозь стиснутые зубы, хватает свой автомат, выбегает на улицу и в бессильной ярости садит в небо очередь за очередью... Потом возвращается, немного смущенный, хмурится в ответ на насмешки товарищей. Что поделаешь, он не хуже их знает, что его зениткой не достать этих самолетов... Но ведь не будешь же сидеть так, сложа руки и спокойно глядя, как они делают свое гнусное дело!

В ответ на обстрел с моря и из дальнотбойных орудий заговорила артиллерия Объединенных сил. Знакомая музыка минометов «Катюша» и «Град»... На душе чуть веселее... В комнате раздаются шутки. Наш редакционный метранаж Махмуд, ничем не занятый в это время (его работа начинается вечером), непривычно оживленный — то ли от страха, то ли от радостного возбуждения, — прислушивается к разрывам и комментирует: «Это наши... А это их снаряд... Шариковая взорвалась... Клянусь, шариковая, вы что, не видели — она же еще в воздухе раскололась!.. А это «Катюша» ударила... Ох ты, моя радость, так бы и расцеловал!.. Опять они пугают... А это наши...»

Позднее мы узнали, что по расчетам военных наблюдателей во время этого обстрела на Бейрут падало за минуту до тридцати пяти снарядов, бомб и ракет.

Махмуд сбивается со счета. Выглянув в окно, мрачно произносит:

— Бросайте свою писанину, ребята! Все равно завтра читать будет некому. Конечно, сгорел наш Бейрут...

Бейрут и в самом деле во всех концах полыхает пожарами. А обстрел все усиливается. Несколько снарядов уже задело соседнее крыло дома. Собрав кое-как свои бумажки, бежим дописывать материалы в убежище. В полутьме подвала слабое пламя свечи дрожит и прыгает, посылая на лица неверные зыбкие тени... А мы пишем, пишем изо всех сил, из-под пера текут слова горячие, сильные, как никогда, бьющие в самую точку. Кажется, что победа не за горами, что мы уже вдыхаем ее аромат... В подвале пахнет дымом, порохом и какой-то странной горечью; нам еще не доводилось прежде чувствовать, как пахнет обгорелое человеческое мясо...

25/6.82 г., вечером.

В маленькой однокомнатной квартире, снятой несколько дней назад за двояную плату, нас десятеро — десять иракцев, эмигрировавших с родины и сотрудничающих теперь с палестинцами. Столуемся все вместе: кухня у всех в Бейруте сейчас немудреная — большей частью хлеб да консервы.

Обстрел не прекращается. Сидим, удивляемся, как это нам удалось живыми до-

браться до дома. Шутим: «Пока живы!» — фраза, ставшая в эти дни крылатой. И слушаем радио — бодрые патриотические песни, новости. «Израильские войска продолжают варварский обстрел Западного Бейрута с суши, с моря и с воздуха. Объединенные силы сорвали попытки противника продвинуться на некоторых направлениях... Сейчас противник сосредоточил огонь в основном на следующих районах: аэропорт, Узаи, Бурж-аль-Баражина, Сабра, Шатиаа, Факхани, Набережная Мазраа, Абу Шакер... кладбище Павших борцов...».

Муханна вдрут, будто поперхнувшись, быстро выходит из-за стола. Дядюшка Фахри бросает недоеденную корку, опускает ложку на край тарелки и тоже встает. За ним поднимается третий, четвертый — все...

Во время бомбардировки Факхани 17 июня, когда было убито и ранено около пятисот человек, у Муханны погибла жена, Саира Фахри Бутрус, дочь дядюшки Фахри. Воздавая должное ее памяти и в знак признательности за все, что она сделала для Движения палестинского сопротивления, ее похоронили на кладбище Павших борцов.

...Муханна угрюмо лежит на постели, устремив невидящий взгляд куда-то в потолок, и слушает, как рвутся за окном снаряды. Звуки разрывов все ближе, ближе... Молча курит дядюшка Фахри. Все разбрелись по углам, каждый задумался о чем-то своем. Молчим. На столе неубранные тарелки с едой... И только маленький четырехлетний Самир никак не может понять, что случилось, в недоумении он дергает мать за подол:

— Мама, мам! Почему вы все такие грустные?

**ИНОСТРАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА ПЕРЕДАВАЛИ ИЗ БЕЙРУТА 25/6.82 г.**

*«Защитники Бейрута сегодня отразили многократные попытки израильских десантных морских пехоты в районе Ривьеры, ар-Рамя аль-Бейда и у Хальды к югу от Бейрута. В завязавшихся боях израильские войска понесли большие потери в людской силе и были вынуждены отступить.»*

*Попыткам высадки десанта, целью которых было закрепиться на побережье и отсюда начать штурм Западного Бейрута, предшествовал длительный обстрел города с моря, воздуха и с суши. Обстрел, pogodного которому город еще не видел с начала агрессии, велся по всем жилым кварталам Западного Бейрута без исключения. По сведениям, полученным из авторитетных источников, человеческие жертвы, большинство из которых составляет мирное население, достигают двух тысяч человек. Израильские потери достигают человек убитыми и ранеными, подбито двадцать израильских танков и бронемашин. Хотя Израиль официально не подтвердил цифры этих потерь, военные наблюдатели полагают, что предложение о прекращении огня, с которым выступило израильское командование, вызвано в первую очередь именно ими.»*

26/6.82 г.

В маленькой машине едем осматривать следы вчерашнего налета. Нас четверо: фо-

тскорреспондент, кинокорреспондент и два журналиста. Над Бейрутом, несмотря на объявленное вчера вечером очередное прекращение огня, кружат израильские самолеты. Останавливаемся на Новом шоссе... Арабский университет. Десятки бомб вчера обрушились на его здания. Соседним домам тоже досталось изрядно. Высокий восьмизэтажный дом превращен в груды камней. Среди развалин спасатели ищут и не находят тела убитых студенток, живших в нижних этажах. Выставочный зал, находившийся в цокольном этаже, разрушен. Погибли ценные произведения искусства, полотна арабских и палестинских художников.

Факхани, Сабра, Шатила, Бурж аль-Баражина — повсюду та же картина. Тысячи бомб, сброшенных вчера на эти районы, не оставили буквально живого места. Разбитые здания, продырявленные стены... Про лачуги и вообще говорить нечего — от них остались только груды покореженного железа. Улицы завалены обломками строений. Ступаем по густому слою осколков стекла и битого камня. Кое-где полыхают пожары. Спасательные команды извлекают из-под обломков трупы погибших. Вокруг бродят немногие уцелевшие — живые свидетели этого варварского преступления — и пытаются отыскать из-под обломков хоть какой-нибудь скарб.

В Бурж аль-Баражине, где мы остановились, чтобы сделать несколько снимков, старая женщина роется в обломках и вытаскивает какие-то вещи. В небе появляется израильский самолет-разведчик. Старуха поднимает голову и в бессильной ярости прозит куда-то ввысь кулаком, бормоча проклятия.

...Кладбище Павших борцов. Здесь были похоронены лучшие сыны палестинского и ливанского народов, отдавшие жизнь в борьбе за родину против преступной сионистской клики... Сейчас кладбище являет собой жуткую картину — вспаханные взрывами могилы, кости, черепа, опрокинутые памятники — все в одной страшной куче. «Да, — задумчиво сказал один из моих спутников, — они боятся даже наших мертвых».

...Абу Шакер — последний пункт нашего маршрута.

Дома по обе стороны улицы разбиты, обломки перегородили всю проезжую часть. Дружини гражданской обороны с помощью бульдозеров разгребают развалины в поисках трупов. Остатки разбитой мебели, куски растерзанных человеческих тел... Раскиданная домашняя утварь...

И голова куклы, оторванная взрывом от туловища. Что стало с ее хозяйкой?

26/6.82 г., вечером.

Бейрут, Палестинское информационное агентство Вафа сообщает: «Палестинское общество Красного Полумесяца опубликовало заявление, в котором выразило резкий протест в связи с обстрелом израильтянами палестинского госпиталя «Газз». «Обстрел, — говорится в заявлении, — который велся в основном по верхним этажам госпиталя, причинил серьезные разрушения зданию, медицинскому оборудованию и системе водоснабжения. Некоторые палаты разрушены целиком, что потребовало эвакуа-

ции больных... Во время эвакуации обстрел возобновился, в результате погибло два и ранено тридцать три человека, в том числе пятеро женщин и семеро детей».

«Варварский обстрел Израилем больницы инвалидов в Бейруте в прошлую пятницу явился новым свидетельством того, что израильтяне в нарушение международных законов используют те же методы, что и нацисты во вторую мировую войну. В момент обстрела в больнице находилось 850 пациентов и несколько десятков человек обслуживающего персонала. На стенах — следы крови, ограда разрушена, обезумевшие от ужаса женщины в панике мечутся по палатам, кидаются к зарешеченным окнам... Среди развалин — убитый прямо в своей постели старик... За четыре часа до прекращения огня в результате этого обстрела в больнице убито десять человек и ранено свыше двадцати...»

На стенах здания, у входа в которое висел флаг Красного Креста, отчетливо видны желтые следы, оставленные фосфорными снарядами». (Агентство Франс Пресс.)

Вам не войти в Бейрут!  
Вам не войти в Бейрут!  
Наш город, вечно юный, Смерти  
неподвластный,  
Для вас могилей станет.

Здесь каждый камень,  
Каждое окно, здесь каждая волна  
Несут вам гибель.  
Вам не войти в Бейрут!

Мушн Биссу

## ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЙРУТА

28/6.82 г.

Второй день подряд израильские самолеты забрасывают город листовками. Сотни тысяч разноцветных листков бумаги кружатся в небе над Бейрутом и его окрестностями. Так уже было однажды, в первые дни агрессии, когда листовки призывали палестинских бойцов «одуматься, пока не поздно, и сложить оружие, если жизнь дорога». На этот раз листовки обращены к жителям ливанской столицы. По-видимому, командование так называемой «армии обороны Израиля» смеялось наконец, что палестинцы все равно не сдадутся и будут сражаться до конца. Несколько листовок, написанных корявым стилем на арабском языке, залетело и к нам на балкон.

«Армия обороны Израиля, — говорится в них, — пока еще не использовала против диверсантов в Бейруте всю свою мощь. Поэтому жителям Западного Бейрута предлагается незамедлительно покинуть город. Для них открыты два пути, на которых им гарантируется безопасность. Первый — по шоссе, ведущему на Дамаск и находящемуся под контролем израильской армии, второй — по шоссе, ведущему в Триполи, через расположение отрядов фалангистской милиции в Восточном Бейруте».

Иными словами, выбирайте, родимые: пасть гиены или волчьей клыки? Некоторые действительно дрогнули, поддались на шантаж и уехали. Покинули столицу и многие из тех, кто оказался в городе, лишавшись крова на юге, и не имел в Бейруте собственной крыши над головой. Люди побоба

че — предприниматели, торговцы и прочая зажиточная публика — разъехались еще до начала агрессии. Оставшиеся на призывы израильтян никак не реагировали. В своей ежедневной колонке в газете «Аль-Хадаф» я писал:

«Ну что ж, пусть сбрасывают свои листовки! В условиях осады, когда возникнет нехватка туалетной бумаги, они могут сослужить нам неплохую службу!»

Позавчера в редакцию пришел человек, назвавшийся Абу Рубейда из палестинского лагеря Бурж аль-Баражина, и приволок килограммов тридцать осколков от гаубичного снаряда 155 калибра. Сложил осколки на полу перед дверью и пояснил:

— Вот, разорвался у меня в квартире. Представляете, мы все — я, жена, дети — были дома, и никто не пострадал! Напишите у себя в газете: пусть они там хоть наизнанку вывернутся, а я никуда из своего дома не уйду. И никакие их бомбы мне не страшны, плевали на них!

Я обещал, что напишу, и в тот же день посвятил свою колонку в газете мужеству беirutцев, озаглавив ее: «Плевали мы на них!».

29/6.82 г.

Сегодня из Западного Бейрута на север и на юг ушло несколько десятков машин. Десятки процентов уехавших — женщины и дети.

Иракская девушка Шилин, служившая до войны в архивном отделе газеты «Революционная Палестина» и вступившая теперь добровольно в одну из дружин «Народной помощи», рассказала мне, как вчера к ним в центр пришел изможденный слабый старик и что-то попросил слабым голосом. Дружинница-ливанка спросила его:

— Вам что, Дедушка?

У старика задрожали губы:

— С юга я, доченька... С юга...

Оказалось, старик с семьей вынужден был бежать с юга и теперь все они живут в Бейруте на крыше какого-то дома. Запасы хлеба подошли к концу несколько дней назад, сам он, да и жена тоже уже три дня, как не ели ни крошки, а со вчерашнего дня голодают и дети, их пятеро. Вот и пригнал его голод в центр «Народной помощи» — может, в самом деле помогут, дадут какой-никакой еды? (С первых дней агрессии в Бейруте открылись десятки таких центров для поддержки беженцев с юга и вообще всех, кто в войну лишился крова и остался без средств.) Старик дал немного консервов и кое-какие продукты — немного, всего несколько килограммов, но он так ослабел, что не в силах был поднять и это.

Тысячи беженцев с юга из близлежащих палестинских лагерей, оказавшихся под обстрелом, живут сейчас, как этот старик, но не уходят из города...

30/6.82 г.

Сегодня прекратилась подача электричества. В последнее время его давали только шесть часов в день, а теперь и вовсе отключили. Радио Национально-патриотических сил обвиняет в этом фалангистов. Если не будет электричества, значит, прекратится и подача воды для бытовых нужд, и

ко всем прочим бедам прибавится еще одна.

В полночь мы погасили свечи — одну на лестнице, у входа, другую — на кухне, третью — в спальне. Непогашенной осталась только одна — свеча Надежды в сердце каждого. Темно в доме, темно в городе. Отправились спать. И вдруг примерно через час черная ночь за окнами осветилась яркими вспышками и стало светло как днем. Что такое? Мы повскакали с кровати. Оглушительный взрыв, еще один... еще... Вой самолетов, вопли, крики... Опрометью скатываемся по лестнице на первый этаж — в нашем доме нет бомбоубежища и первый этаж считается самым безопасным местом. Здесь уже полно народу, высыпали со всех квартир. Да и куда еще бежать ночью, когда тебя подыали прямо с постели, вот так, в пижамах или ночной сорочке? Ужасающий свист падающих ракет, от которого леденеет сердце, запах гари... Да, сегодня уж, видно, всем нам несдобровать! Но почему не слышно звона разбитых стекол? Почему от взрывов не закладывает, как обычно, уши?

Налет длится уже с полчаса, а мы все не можем понять, какой же район бомбят? Не расходимся, ждем. Некоторые заснули прямо здесь же, на лестнице, между первым этажом и бельэтажем.

Наутро узнаем: бомбардировка была ложной. Самолеты сбрасывали только звуковые, дымовые и осветительные бомбы, чтобы создать впечатление, будто начался генеральный штурм Западного Бейрута, и вызвать панику в городе. И так, еще одна война — «война нервов»... Но бейрутцы не уезжают: за целый день через пропускной пункт в Восточный Бейрут выехало всего десяток-другой автомашин...

1/7.82 г.

Электричества нет, и воды тоже. Ни питьевой и никакой другой.

Осложняется и положение с продовольствием: с сегодняшнего дня в Западный Бейрут не пропускают машин с мукой.

Информационные агентства сообщают, что достигнуто соглашение о выводе палестинских отрядов из Западного Бейрута и что к берегам Ливана движутся корабли американского флота. Руководство Палестинского сопротивления опровергает эти слухи и расценивает их как очередной маневр в «войне нервов».

2/7.82 г.

Все выходы из города сегодня окончательно перекрыты. Прекращен подвоз овощей и даже медикаментов. Грязная война, которую эти банды ведут в Ливане, дополнилась еще одной гранью — «войной динамитной». За последние дни обнаружено до десятка автомашин, в каждой из которых около ста килограммов сильной взрывчатки. Сегодня в разных районах города одновременно взорвались три машины. Один из взрывов оставил воронку глубиной в семь и радиусом в восемь метров. Погибло около двухсот человек, десятки ранены.

Ходить по улицам Западного Бейрута становится все опасней. Но бейрутцы — удивительный народ, ей-богу! — как ни в чем



не бывало идут себе на работу, открывают с утра свои лавки, выходят в город за покупками, сражаются... И упорно не покидают город, окруженный тройным кольцом блокады — военной, экономической, психологической. А ведь выбраться не так уж сложно: израильтяне и фалангисты умышленно облегчили выезд.

3/7.82 г.

Блокада продолжается. Нет воды, электричества, исчезла с прилавков мука, овощи, другие продукты. Нет медикаментов, газа, бензина, керосина. Фашист Бегин грозит по радио лишить Бейрут даже возможности дышать. Ничего, шутят бейрутцы, у нас еще останется наше упорство. А раз так — будет и хлеб, и вода, и воздух.

Удивительный город! Перерезан водопровод, но вода в городе все равно есть: установили моторы к артезианским колодцам, и если постоять в очереди, принесешь домой канистры и кувшины. Даже мука появилась — немного, правда, но все же есть. Муку, а заодно и кое-какие другие продукты дало со своих складов руководство Палестинской армии сопротивления, и теперь их распределяют между семьями бойцов и прочими нуждающимися.

6/7.82 г.

Со вчерашнего дня город с перерывами обстреливает артиллерия. На некоторых направлениях израильтяне предприняли попытку прорваться в город, но были отбиты.

... Ходил сегодня в палестинский госпиталь «Газа» сдавать кровь. Видел доктора Хасана — в первый раз с начала блокады. В госпитале есть электричество — работает «движок», — и в холодильнике у врачей большая бутылка с холодной водой. Не удержался, выпил всю до капли. Какое это наслаждение — впервые за столько дней попить в жару вкусной ледяной воды! Дома похвастался, что пил сегодня ледяную воду. Все мне завидовали.

7/7.82 г.

«Несмотря ни на что бейрутцы шутят. Чего только не делали израильтяне, чтобы заставить жителей Западного Бейрута покинуть город! Из пушек их обстреливали, листовками забрасывали, запугивали, штурмом грозили, бомбы осветительные и звуковые по ночам на город кидали, а бейрутцам все нипочем, люди они привычные, со смертью запанибрата. Подумали израильтяне, почесали в затылках: попробуем-ка, говорят, взять их измором, зажмем их в кольце блокады. Взгля да закрыли все три выхода из города, но бейрутцы и тут ухитрились лазейки отыскать, шныряют из Западного Бейрута в Восточный, туда-сюда, туда-сюда. «Вот черти, — сказали израильтяне, — придется на них мышеловки ставить!»

«Что за город? — возмущается израильский офицер. — Не поймешь, где у него Запад, где Восток. Сам черт голову сломит с этими бейрутцами!» (Из французской газеты «Нуэль обсерватёр».)

Ходят слухи, что израильтяне подбросили к Западному Бейруту новые подкрепления в количестве трех дивизий, в том чис-

ле несколько артиллерийских и ракетных батарей.

«Да, ошиблись в своих расчетах израильтяне, недооценили бейрутцев! Не уходят из города, и все! Неужели их не пугают опасности, грозящие палестинцам?»

Еще более невероятным открытием было узнать, что в Западном Бейруте, оказывается, живет немало христиан. В довершение всего еврейская женщина, единственная из трехсот проживающих в Бейруте евреев, кто согласился по призыву Еврейского агентства поехать в Израиль, и та, как выяснилось, приехала в Тель-Авив только затем, чтобы хлопотать об освобождении своего находящегося в израильском концлагере мужа-палестинца!» (Из французской газеты «Нуэль обсерватёр».)

8/7.82 г.

... В сражении быстро мужают дети. Что же сказать о взрослых?

Тауфик Зайяд

9/7.82 г.

Израильское радио сообщило вчера, что Менахем Бегин согласился удовлетворить просьбу специального американского представителя Филипа Хабиба и обещал снова открыть подачу воды и электричества в Западный Бейрут. Но разве можно верить этой скотине?

Лишите нас воды — мы сумеем утолить жажду каплями пота; отключите электричество — мы осветим ночь светом своих сердец; отнимете у нас последнюю корку хлеба — мы будем сыты своей стойкостью; перережете телефонные провода — мы услышим даже шепот друг друга. Делайте что хотите — вам не сломить наше упорство.

10/7.82 г.

Бейрутское радио сообщило сегодня, что Израиль сконцентрировал в районе Западного Бейрута 35 тысяч солдат, 250 танков и более сотни орудий, не считая стоящих на рейде военных судов.

Объединенные палестинские и Национально-патристические силы Ливана располагают одним танком, несколькими артиллерийскими орудиями, минометами «Катюша» и «Град» и имеют семь тысяч бойцов. Да еще несгибаемую волю и железную веру в победу своего дела.

11/7.82 г.

Сегодня, во второй раз с начала осады Бейрута, израильтяне предприняли попытку прорваться в город. С самого утра начался сильнейший артиллерийский обстрел — и с суши, и с моря, и с воздуха. Объединенные силы ответили огнем на огонь. Западный Бейрут полыхает пожарами. Военные наблюдатели подсчитали, что за минуту на город падало до пятидесяти вражеских снарядов. И все-таки атака была отбита. Израильтяне не приблизились к ливанской столице ни на шаг.

Полковник Поль Кадир, официальный представитель израильского командования, признался в беседе с корреспондентом радиостанции «Голос Америки», что израильская армия не ожидала встретить такой от-

пор. По его словам, на позиции израильтян в районе Бейрута было обрушено до десяти тысяч ракет и снарядов, что побудило израильское командование даже изменить местоположение своего штаба и перенести склады боеприпасов в более безопасный район. «Шквал огня, который палестинцы обрушили на наши позиции, поразил меня», — сказал полковник.

Первая удача, первая победа! Как и сотни тысяч беirutцев, ложусь сегодня спать счастливым. Победа! Все радиостанции только об этом. До чего хорошо!

12/7.82 г.

В город возвращаются тысячи семей. Окна десятков домов по соседству с нашим засветились огоньками свечей, радуясь возвращению хозяев. С самого начала войны все эти дома стояли наполовину пустые. А теперь, подумать только, даже самые слабые люди, самые пугливые и те вернулись! Вот что способна сделать даже небольшая победа!

Вернулись и наши соседи по этажу — молодая семья с маленькой девочкой, которую зовут Сана. Мы видели их впервые, потому что, когда здесь поселились, они уже перебрались в Восточный Бейрут. Первой явилась к нам с визитом Сана. Тыча пальчиком куда-то в окно, сообщила:

— Там Израиль... Там танки.

Как видно, это она усвоила твердо. Мать пришла за девочкой. «Ну и как там в Восточном Бейруте?» — «Как? Да никаких проблем, все есть: и вода, и электричество, и керосин. Продуктов тоже полно. Вот только трудно там жить, унижительно как-то. Кусок хлеба в горло не лезет. Куда ни пойдешь — кругом израильтяне. Зайдешь в булочную хлеба купить, а перед тобой солдат с автоматом. Выйдешь на улицу — кругом их танки и дула пушек в сторону Западного Бейрута повернуты...»

16/7.82 г.

Только за один сегодняшний день из Восточного Бейрута в Западный прошло несколько тысяч машин. Возвращаться начали с одиннадцатого июля, сейчас уже почти все едут сюда и мало кто в обратную сторону.

Люди возвращаются в Западный Бейрут, потому что чувствуют себя здесь уверенней, в большей безопасности. Это лишнее свидетельство того, как жестоко прощитались израильтяне, рассчитывая, что будут сражаться с палестинцами в фактически пустом, свободном от гражданского населения городе. Все было пущено в ход: устрашение голодом, эпидемиями, топливными кризисами... Не учли самого главного: упорства этих удивительных жителей Бейрута и их поразительной воли к жизни.

## НАРОД, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ИСТРЕБИТЬ

21/7.82 г. Рано утром.

Сегодня утром все в доме встали чуть свет. Слышу, поздравляют друг друга с праздником. А, да, сегодня же день поминовения!

Не вылезая из постели, спрашиваю:

— Чего это вы поднялись ни свет ни заря?

— На кладбище Павших идем, — отвечает дядюшка Фахри. — Пойдешь с нами?

У палестинцев есть обычай рано утром в этот день посещать могилы своих близких — ставят там свечи, курят благовония, дают обеты над прахом усопших.

Кладбище расположено в северной части палестинского лагеря Бурж аль-Баражина, этот район еще с первых дней израильской агрессии превращен в опорный пункт.

В воздухе тепло, безоблачно синее небо, ласково дует легкий ветерок. Казалось бы, безмятежное, тихое летнее утро. Но нет, то и дело издалека доносятся глухие звуки разрывов.

У кладбища людские ручейки сливаются в общий мощный поток, и он течет — широкий, гневный, скорбный, а кое-где весело-шумный — в сторону маленькой площади, окруженной низкой оградой. В толпе много бойцов палестинских отрядов Сопротивления, журналистов, женщин... И здесь глазам моим предстает стихийная, небывалая демонстрация стойкости человеческого духа. Забыть это зрелище невозможно. Матери, высоко над головой поднимающие портреты своих погибших сыновей и... танцующие! Да, да — танцующие какой-то невиданный танец, в котором все: и боль утраты, и упорство, и вызов врагу, и ликование. Глаза, полные слез, — и заливыстые трели традиционных женских выкриков — «зажурды»...

Я почувствовал, что меня бьет дрожь, и вдруг поймал себя на том, что плачу. Впрочем, вокруг меня плакали многие...

Женщина лет пятидесяти... Над головой портрет трех погибших сыновей, за плечом винтовка, на лице улыбка, а в глазах слезы... А вот другая, помоложе, стоит у могилы. Обеими руками за дуло поднимает над головой винтовку погибшего мужа и надрывно выкрикивает слова лозунга:

«Федаины... федаины... все умрем за Палестину!»

Вот уже целая группа, собравшись у одной из могил, выкрикивает хором, отбивая такт в ладоши: «Всей душой и сердцем мы с тобою, Арафат!» Где-то звучит палестинский национальный гимн, где-то поют о долге и подвиге, где-то уже говорят речи, призывают стоять насмерть, бороться до победного конца... Боец раздает в толпе листовки. Я тоже взял одну: исламская организация поздравляет с праздником и призывает продолжать борьбу.

Цветы, целые охапки цветов, овец, курятся благовония... Хороводы танцующих, а надо всем этим, над могилами, не раз уже взрытыми бомбами врага, явственно, почти физически опутимо парит дух неукротимой решимости и веры в победу. Такое чувство, будто мертвые поднялись из могил и, незримые, снова встали в ряды бойцов... Гасан Канафани<sup>1</sup>, палестинский писатель, погибший от рук израильской разведки в 1972 году. Я словно опять вижу его добрую, широкую улыбку и мягкие, лучистые глаза. Он здесь, он снова с нами, пришел, чтобы позвать руку Умм Саад, палестин-

<sup>1</sup> Повесть Г. Канафани «Умм Саад» опубликована в «ИЛ», 1982, № 12.

ской героине из лагеря Бурж аль-Баражина. И Мамдух Адван, известный палестинский поэт, убитый сионистами в 1977 году, тоже здесь — читает свои гневные стихи. И Маджид абу-Шарар, член Исполкома ООП, погибший в Риме от взрыва бомбы, подложенной агентурой Израйля. Он обращается к толпе с горячей политической речью... И Шамран аль-Ясири, иракский писатель-сатирик, который вот уже год покоится на этом кладбище, снова разит Бегина своим острым убийственно-едким словом, ведь тот хвастался, что разделается с палестинцами за трое суток.

Я привык к тому, что люди приходят на могилы близких, чтобы поплакать или молча постоять в тиши. Но чтобы танцевать у могил, ликовать оттого, что те, чей прах здесь покоится, погибли за родину, — такого я не видел никогда. Враг, осадивший город, хотел лишить народ его традиционного праздника, но и это ему не удалось: день скорби превратился в день ликования.

Теперь я уже не удивлялся, почему израильтяне с такой яростью бомбили кладбище месяц назад, двадцать пятого июня. Прав мой приятель, который тогда сказал: «Они боятся даже наших мертвецов».

Пусть прах мой станет  
Жизни продолженьем,  
Краями ран кровавых будут руки,  
Пускай камня обратятся в крылья,  
А птицы на ветвях повиснут  
Подобно миндалю или инжиру,  
Пусть ребра превратятся в сучья —  
От дерева груди мойей  
Я отломаю ветвь и в бой пошлю  
Разящую стрелой, на вражеские танки...

*Махмуд Дервиш*

У палестинцев совершенно иное, чем у других народов, отношение к смерти — в особенности к смерти за родину. Наверное, корни тут и в историческом опыте, и в особых условиях, в которых оказался этот народ. В сознании палестинцев смерть в бою как бы приближает час освобождения родины. Поэтому, теряя очередного сына, палестинская мать передает его винтовку следующему, как бы мал он ни был, со словами:

— Иди и сражайся! И не горюй — я рожу тебе нового брата...

Палестинская женщина считает своим долгом иметь как можно больше детей, будто бросая этим вызов врагу: «Всех не перебьете!»

Не потому ли сионисты не останавливаются перед убийством палестинских детей, в каждом ребенке они готовы видеть угрозу себе? Что ж, возможно, их страх оправдан. Ведь дети — это будущее, а будущее работает не на сионистов.

В 1967 году Леви Эпкол, тогдашний премьер Израйля, говорил: «Палестинцы плодятся с ужасающей быстротой. Они — как бомба замедленного действия, которая однажды взорвет наше государство...». Вторя ему, Голда Меир откровенно признавала, что чувствует, как у нее «в госке сжимается сердце всякий раз, когда она слышит крик новорожденного палестинского младенца». Менахем Бегин, нынешний премьер Израйля, пошел еще дальше — отдавая приказ бомбить лагеря палестинских беженцев, он знал, что жертвами будут в первую очередь дети.

И если врагов палестинского народа повергает в ужас даже один только факт высокой рождаемости палестинцев, то легко себе представить, сколь велики их тревога и страх от сознания того, что перед ними народ-политик, народ-борец, взявший оружие, чтобы восстановить свои погрязшие права. Нет, глубоко ошибаются те круги в США, чьи неоправданные надежды когда-то выразил Даллес, сказав, что грядущее поколения палестинцев наверняка забудут свою родину. Кровавая летопись прошедших лет подтверждает, что этого не будет никогда. И никакие преступления сионистов, безжалостно уничтожающих всех палестинцев без разбора — детей, стариков, женщин, — не способны сломить решимость этого народа продолжать борьбу. Наоборот, они заставляют его еще теснее сплотиться под знаменами национальной революции.

Так что Леви Эпкол боялся не напрасно — бомба замедленного действия вот-вот взорвется...

...В Бирбуре возле одной из мечетей дорогу мне преградили шествие. Подумал, что хоронят кого-нибудь из погибших лидеров. Странно, в последние дни я что-то не слышал, чтобы кто-нибудь погиб. По крайней мере радио уж не преминуло бы об этом сообщить. Оказалось, процессия — вовсе не похороны, а стихийная демонстрация людей, только что прослушавших проповедь в мечете. Уже с утра во всех мечетях имамы призывают верующих с оружием в руках встать на защиту города и выполнить свой священный долг, дав отпор врагу. Традиционный праздник, в мечетях полно молящихся, огненные слова проповедей накалили сердца до предела, и вот вся эта людская лавина выплеснулась и растекалась по улицам Западного Бейрута, предводительствуемая виднейшими мусульманскими деятелями, в том числе и главным муфтием шейхом Халидом.

Сотни голосов оглушительно скандируют: «Победа или смерть!», «Все на джихад, мусульмане!», «Нет — захватчикам, да — жизни!» И катится, неудержимо катится вперед грозный людской поток, и кажется, нет такой силы, что могла бы его остановить. Да, теперь уж даже и те, кто просто отсиживался по домам, наверняка возьмутся за оружие... Кипит Бейрут, бурлит, как огненная лава... Как мудро поступили палестинцы и Национально-патриотические силы Ливана, сумев привлечь во время войны на свою сторону консервативные мусульманские массы — социальную группировку, которая считалась резервом и опорой мусульманской реакции, потенциального союзника сепаратистов и проимпериалистических кругов. Да, эта демонстрация — словно пощечина официальному арабскому заговору молчания. Даже дети и те — среди демонстрантов. Сегодня мусульманский праздник одет в форму бойцов Сопротивления. Сегодня даже родственники погибших не остались дома в ожидании традиционных визитеров с соболезнованиями, а встали в колонны, чтобы заявить миру: «Наши близкие погибли во имя того, чтобы мы жили... И мы живем и будем жить!»

*Перевод с арабского Е. СТЕФАНОВОЙ*



ЛУКА ГОЛЬДОНИ

## РАССКАЗЫ

Перевод с итальянского ЕКАТЕРИНЫ БОЧАРНИКОВОЙ

### «СОШЛИСЬ НА МЕНЯ»

**Я** позвонил известному специалисту. Телефонистка ответила, что профессор не может принять меня раньше чем через три месяца и что для записи на прием отведено двадцать секунд. Потом я позвонил в информационное агентство, мне ответили «ждите», потом соединили с другим номером, где опять сказали «ждите», в свою очередь соединили еще с одним номером, сказали «подождите секунду», я подождал сто секунд, после чего там повесили трубку.

К счастью, у меня есть знакомый, от чьего имени я могу куда-то обратиться. У всех кто-то есть. И мы сами часто рекомендуем кого-то кому-то. Это всего лишь итальянский способ устраиваться. Достаточно быть знакомым знакомого, чтобы тебя впустили через заднюю дверь, обслужили в одно мгновение, оштрафовали на минимальную сумму, предоставили пятнадцать процентов скидки, полили салат настоящим оливковым маслом.

Мы постоянно обмениваемся адресами гостиниц у моря, именами чиновников, обойщиков, врачей, выдающих любую медицинскую справку, и тех, кто может предоставить вные очереди место на пароме,

курсирующем между Сардинией и портами Тирренского моря.

Однажды в ресторане сосед по столу сказал мне: «Ступайте от моего имени к начальнику отдела, он вам все устроит» — и ушел, не представившись.

Густая сеть личных связей опутывает наше расхлябанное общество не хуже пресловутой итальянской мафии. Некоторое время мне казалось, что молодое поколение не затянута в эту круговую поруку. Но недавно я услышал, как одна девушка объясняла другой, в какой аптеке можно получить без рецепта те самые пилюли: «Вызови Клару и скажи, что ты от меня». А мальчики обмениваются адресами неких девиц, добавляя сакраментальное: «Сошлись на меня».

Таких мальчиков ждет хорошее будущее. Пройдет немного лет, и они начнут свое стремительное восхождение по лестнице бизнеса и светских успехов.

В этой книге я расскажу о тех, кому приходится крутиться, чтобы свести концы с концами, о тех, чей образ жизни — агония. Посвящаю книгу всем тем, у кого нет знакомых, на которых можно сослаться.

### ПОРЯДОК И ЗАКОННОСТЬ

Действие происходит в Милане, на улице Бергоньоне, в кооперативном доме, где

двести пятьдесят квартир, сад, а за домом стоянка принадлежащих жильцам автомобилей. Действующие лица: сотни две детей, которым негде играть; дворник, беснующийся при виде ребенка, гуляющего без взрослых; жилищный комитет. Девочка Алессандра Джорджо девяти лет, застигнутая дворником во время игры в жмурки и изгнанная вон, берет инициативу в свои руки и на большом листе бумаги пишет воззвание, чем-то напоминающее прокламацию о правах ребенка, уточняя в конце:

«Нам ничего не нужно, кроме площадки, где мы могли бы играть два-три часа в день. На месте площадки выгуливают собак, которые все там загадили. Если взрослые ничего не придумают, мы сами примем меры. Будет большая шумиха».

Сбор подписей (сто семьдесят четыре) — самая интересная часть игры, во время которой дети знакомятся со многими жильцами дома. Правда, кое-кто закрывает перед их носом дверь, но большинство встречает приветливо. Перед отправкой петиции управляющему собирается жилищный комитет, представляющий собой нечто вроде Совета безопасности ООН, то есть органа, который созывается в преддверии драматических событий. Акт, составленный столь высоким собранием, в полной мере отражает тревожный ход событий: «Жилищный комитет, ознакомившись с подписанным детьми документом, считает необходимым напомнить, что уже на заседании от 17 июня 1974 года в пункте 2 повестки дня при рассмотрении указанной проблемы большинством голосов было принято решение ходатайствовать перед управляющим о принятии должных мер, вплоть до подачи в суд на тех, кто не пожелает им подчиниться» (то есть на играющих детей).

В заключительной части акта обнаруживаются и такие возвышенные чувства: «Выражаем полную солидарность с дворником, который, выполняя возложенные на него обязанности, неукоснительно содержит территорию кооперативного дома в полном и образцовом порядке».

После того как решение жилищного комитета было доведено до общего сведения, десять ребят в знак молчаливого протеста тихо и дисциплинированно прошли по дорожкам сада, преследуемые дворником, орущим во все горло: «Хулиганье вы и сволота, а ваши родители еще чище!» Во избежание судебного преследования или вызова пожарной команды для разгона демонстрации мощными струями воды ее участников отправили по домам.

Порядок восстановлен: детям разрешено собираться за столом и играть в заседание жилищного комитета.

## ЖАРЕНАЯ ФОРЕЛЬ

Несколько лет тому назад владельцу одной из таверн района Трастевере<sup>1</sup> пришла в голову оригинальная мысль — обслуживать клиентов по принципу «мордой об стол». Превосходная кухня — и хамское обслуживание.

Успех был мгновенным и потрясающим. По существу, люди мы простые, и наши

<sup>1</sup> Район Рима, расположенный за Тибром.

жены за столиком в ресторане откровенно скачают, поскольку мужчины говорят о работе, или обсуждают спортивные новости. Перспектива подвергнуться хамскому обращению со стороны официантов показалась на редкость привлекательной, и возле таверны выстроилась очередь. У изобретательного трактирщика немедленно нашлись последователи, которые у себя в заведениях организовали отдельный столик. Едва вы за него усаживались, официант заявлял: «Вон там сидит тип, который заказал лапшу, но она ему не понравилась, так я ее притащу тебе». Бутылки с вином грохались на стол под крики: «Да пейте, хоть захлебнитесь!»

Мы люди простые, доложу я вам. В наших машинах у заднего стекла лежат для красоты две вышитые подушечки, и разве сидеть нас легко. Все больше и больше заведений переходило на грубое обслуживание; безработные актеры предлагали свои услуги в качестве официантов, и чем хуже выполняли свои обязанности, тем было лучше, от них требовали не корректного обслуживания, а находчивости. «Вот ваш бульон, можете в нем вымыться». Дамы просили похлопать их по спине, потому что от смеха кусок попал им не в то горло.

Конечно, все имеет определенный предел: официанты-актеры не импровизировали, а заучивали заранее составленные реплики, при этом стараясь не повторяться, потому что даже самая благодетельная дама начинала скучать, когда третий вечер подряд официант говорил ей: «Не понимаю, зачем ты прятешь под кофтой два яблока, вместо того чтобы сожрать их?»

И все же, несмотря на проблемы с обновлением текста, волна грубостей перелилась за пределы Трастевере, захватив всю Италию, особенно курорты. В Версалии некий Отелло швырнул тарелки с бифштексом с трехметрового расстояния, и нужно было их ловить. В Романье рассказывали чудеса об одном трактирщике, который столь ловко орудовал половником, что выливал его содержимое на головы обедающих, а во избежание кражи громко пересчитывал вилки с ложками и изошрялся в прочих грубостях, пользовавшихся неизменным успехом.

С некоторого времени такие рестораны-театры, где посетители добровольно играли роль жертв, стали выходить из моды. Не секрет, что даже самые удачные идеи устаревают, теряют прелесть новизны, да и ресторанов таких развелось чересчур много. В те времена, когда официант являлся символом вежливости, странно было услышать: «Бульону захотел! Тебе что здесь, больница?» В наше время это уже не оригинально, так как все подобные заведения похожи одно на другое, если не считать степени знания фольклора и надбавки за его применение. Лицо молодого официанта, сметающего крошки со скатерти, выражает лишь степень отвращения и к исполняемой им работе, и к посетителям, усаживающимся за столик. А скороговорка, которой он перечисляет готовые блюда, и высокомерный взгляд, которым он награждает посетителя, осмелившегося переспросить официанта, что означает, скажем, соус «сажа по-трубочистски», подаваемый к макаронам.

нам, яснее ясного свидетельствует о его презрении к нам, простым людям.

Согласен, сами мы тоже кое в чем виноваты, слишком крепко сидит в нас желание видеть в ресторане место отдыха и развлечения — мы усаживаемся за столик, весело болтаем, перебивая и не слушая друг друга, и не сразу замечаем официанта, ожидающего, когда мы обратим на него внимание. Почти никто из нас не примирился бы с необходимостью немедленно, без раздумий и колебаний прийти к решению, что же взять на первое, что — на второе и какое заказать вино. А между тем времена действительно меняются, и если вы выпустили официанта, то заполучить вновь его труднее, чем главного врача в больничные палаты. Поэтому никто в Италии не удивляется, когда посетитель ресторана делает странные жесты, машет руками, дабы обратить на себя внимание пробегающих мимо с опущенными долу очами официантов. А ему нужна-то всего-навсего солонка. Дамы тоже освоили технику заказов на расстоянии: достаточно, например, почмокать губами и приложить к ним поднятый вверх большой палец, чтобы официант принес одну бутылку вина.

В районе Трастевере — пришло время для новой моды — пора открыть таверну, где официанты будут встречать вас у входа, провожать к столу, отодвигать стул, уважительно обсуждать меню и рекомендовать отменно приготовленную поваром жареную форель. Это было бы на редкость остроумно, и мы посмеялись бы от души.

## ГОРИЛЛА<sup>1</sup>

Из садовой калитки выбегает немецкая овчарка, а молодая хозяйка провожает ее влюбленными глазами. Я тоже люблю собак, но предпочитаю, чтобы они знали свое место. Подхожу ближе и пытаюсь закрыть калитку. Зверь с оскаленными зубами, грозно рыча, бросается на меня. Снимаю с ноги сабо и замахаю с твердой решимостью проломить псу черепную коробку. Моя ярость возымела свое действие, тот останавливается, но продолжает рычать и скалить зубы, я же продолжаю наступать, а молодая синьора тем временем кричит, что я сошел с ума, что я должен остановиться и опустить руки. Подбежав к своему зверю, она хватает его за ошейник и тут же начинает меня поучать. Прежде всего она объясняет, что ее пес закончил школу в Террачине, хорошо воспитан, натренирован на защиту и обращаться с ним надо подобающим образом. Закрыв калитку, я совершил непростительную психологическую ошибку, сделал враждебный собаке жест, и еще хорошо отделался — ведь пес мог вцепиться мне в горло.

Едва сдерживая ярость, отвечаю синьоре, чтобы она немедленно взяла на поводок своего ягуара из Террачины, в противном случае я и ей размозжу голову.

О существовании моды на немецких овчарок, неаполитанских сторожевых, доберманов и догов, получивших диплом с отличием на курсах по нападению и защите, всем известно. И мы хорошо понимаем

<sup>1</sup> Прозвище телохранителей.

тех, кто стремится защитить себя и свое имущество. Но в итальянском обществе существуют также мирные граждане — те, кто и мухи не обидит, кто, найдя на улице бумажник с деньгами, относит находку в полицейский участок. А между тем эти псы терроризируют именно их.

Дипломированные и чрезвычайно обидчивые чудовища лежат у столиков в ресторанах, в барах, на пляже и рычат, когда мы в споре слегка повышаем голос, хлопаем по плечу друга или поднимаем ногу, чтоб завязать шнурок. Их хозяйка тут же любезно поучают нас: не делайте опрометчивых жестов, это вам не болонка, а овчарка; собака не понимает, что вы всего лишь хотите завязать шнурок, а не наброситься на хозяина.

Я разорвал отношения с владельцами сторожевых собак, утверждавшими, что мне следует держать себя спокойно и уверенно, собака, мол, кусает лишь тех, кто ее боится. Не могу согласиться с необходимостью выработать какую-то манеру поведения в отношении собаки, а не наоборот. Теперь эти чудовища, ставшие чем-то вроде профессиональных горилл, разгуливают без поводка и намордника (дрессированные!), а мне отказано в праве почесать затылок, потому что собака может истолковать этот жест как враждебный.

По всем этим причинам официально общаю: не имея никакого намерения притворяться смельчаком только потому, что эти ублюдки с голубой кровью бросаются на каждого, кого заподозрят в трусости, я не собираюсь контролировать свой голос, свои руки и постоянно проверять, заперты ли калитки, боясь, что собака примет какие-либо мои действия за акт агрессии. Со своей стороны буду считать проявлением враждебных намерений всякое рычание и угрожающее приближение пса ко мне ближе чем на два метра. Предупреждаю, что кроме сабо у меня имеется еще и разрешение на ношение оружия.

И я не стану перед любой собакой поджимать хвост.

## СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Совсем не трудно проверить свой пульс, прощупать печень, на расстоянии одной пяди от пупка найти аппендикс и, открыв рот перед зеркалом, проверить, есть ли у тебя белый налет на языке.

К врачу идут лишь потому, что существующие в Италии законы не дают права самому выписывать себе рецепты. Является пациент к врачу и, объяснив, чем он болен, говорит, что его другу с теми же симптомами очень помогли инъекции «Вабен», поэтому он тоже хочет их испробовать.

Когда-то мы имели дело с непросвещенными пациентами, рассказывает Гуидо Альманси, они сообщали: «У меня вот здесь болит, а тут я чувствую тяжесть». Теперь люди пошла образованные, читают медицинскую рубрику в журналах. Приходит такой больной в поликлинику, щупает свой живот и говорит доктору: «Думал, что печень болит, а это ниже печени, стало быть, желчный пузырь, и могут быть кам-

ни, но операцию делать я не хочу. Потому что мой друг хотя и чувствует себя прекрасно после операции, но растолстел как боров». Произносит все это со знанием дела и живот ощущает правильно, сдерживая дыхание. Только он щупает слева, там, где расположена селезенка.

Аутодиагностика — болезнь века. Мы рассказываем врачам о коронарных спазмах, о невроvegetативных нарушениях и прочих интуитивно поставленных самим себе диагнозах, а они слушают, серьезно кивая: сумасшедшим опасно возражать.

Мы употребляем медицинские термины, ознакомились с некоторыми тонкостями (ах, ах, да ведь это не органическое нарушение, а функциональное), читаем в энциклопедии Треккани статью о миокарде.

Аутодиагностикой занимаются обычно молодые пациенты. Люди старшего поколения все еще подробно и красочно описывают испытываемую боль и причиняющие ее движения, а студенты приходят и заявляют: «У меня поврежден мениск коленной чашечки, хочу лечь на операцию». — «Как вы пришли к такому заключению?» — «Те же симптомы, что у Бонинсенги, да и наш тренер по гимнастике определил травму». Часто они даже испытывают разочарование, узнав, что страдают обычным растяжением.

А матери буквально охвачены эпидемией неперемогания устранения природных недостатков своих чад. Принесят ко мне, рассказывает Витторио Мальетта, младенца в башмаках, как у альпиниста, и утверждают, что он страдает искривлением ступни; после перенесенного ребенком тонзиллита требуют, чтобы его положили в больницу и удалили миндалины, приходится орать на них: почему тогда не отрезать ребенку голову, чтоб у него не болели зубы? Или требуют справку о состоянии здоровья двухмесячного малыша, чтобы учить его плавать в бассейне с целью предотвращения сколиоза.

Тенденция к аутодиагностике ни в коей мере не связана с культурным уровнем пациента. Как раз наоборот, юристы, инженеры, люди высокообразованные, как показывает статистика, реже всех проявляют склонность к подобному самоанализу, рассказывая врачу об испытываемых болезненных ощущениях. Аутодиагностика смахивает на призвание, ею занимаются люди эмоциональные и страдающие манией величия.

Что ни говори, а явление это не только продолжает существовать, но и пирится. Все мы хоть чуть-чуть студенты четвертого курса медицинского института, знающие все симптомы каждой новой болезни, которую приходится изучать.

Журнальные статьи о здоровье часто приводят к тому, что каждый находит в них нечто соответствующее собственным ощущениям. Надежной гарантией при этом является друг, вылечившийся от болезни, а то, что у него был невроз, а не язва, значения не имеет. Многие врачи одобрительно относятся к феномену «заботы сам о своем здоровье», больных не осматривают, а лишь выслушивают их объяснения и выписывают рецепт.

## СОСЕДИ ПО КВАРТИРЕ

В эпоху похищения людей известие об ограбленной квартире никого не удивит, особенно летом, когда воры по телефону или почтовым ящикам, до предела набитым корреспонденцией, которую никто не вынимает, легко устанавливают, что квартира пуста. Открыть замысловатые замки, взломанные хозяевами в двери, не сложнее, чем банку кока-колы.

По сообщениям ограбленных, воры осуществляют кражи спокойно и даже с комфортом. Они не боятся производить шум, разбивая молотком шкафчик, а осмотр квартиры производят самым тщательным образом. Изымают картины, меха, драгоценности, но прежде чем уйти, подкрепляются виски и даже варят себе кофе в кофеварке, потом спускаются с награбленными вещами на лифте (об этом свидетельствуют осколки разбитой ценной статуэтки) и удаляются.

Уголовник-консерватор, не желающий заниматься новыми формами краж (похищением людей), нападениями среди белого дня, довольствующийся привычным ему ремеслом домшника, и тот до некоторой степени психологически приспособился ко времени, понимая, какие преимущества представляет собой атмосфера террора, созданная его товарищами по профессии. Вор понял, что страх делает людей безразличными к судьбе ближнего. Еще несколько лет тому назад мы содрогались, видя на страницах газет фотографии нью-йоркской улицы: на первом плане человек, убитый ударом ножа в спину, а мимо течет толпа равнодушно-приничных прохожих. Теперь мы тоже научились спокойно взирать на подобные сцены, наблюдать (если для нас самих это не представляет опасности), как течет кровь, как топчут ногами поверженную на землю жертву. Единственное, на что еще способна толпа. — это пытаться линчевать преступника после того, как полицейские надели на него наручники.

Воры, никогда не читавшие монографии Конрада Лоренца о «смертных грехах» западного общества — утрата чувств, солидарности, растущее равнодушие, — отлично знают, что могут смело рассчитывать на индифферентность соседей, если те лично не заинтересованы в происходящем.

Обокрасть в отсутствие хозяев квартиру раньше было гораздо труднее. Люди, жившие в одном доме, знали друг друга, здоровались, встречаясь на лестнице, были единым коллективом. Если кто-то ночью слышал подозрительный шум в квартире этажом выше или ниже, он тут же распахивал окна, кричал: «Караул! Грабят!», звонил в полицию. Теперь все друг друга игнорируют. Услышав ночью подозрительный шум, который его самого не касается, сосед поворачивается на другой бок, стараясь побыстрее погрузиться в прерванный сон. Грабят ведь соседнюю квартиру, а не его. Подняв тревогу или позвонив в полицию, он окажется «замешанным» в чужие дела.

Водитель машины, что проносится мимо человека, нуждающегося в помощи, — это

тот же самый сосед, который слышит, как разбивают молотком шкафчик в нижней квартире, но и пальцем не шевельнет, чтобы набрать номер полиции. Если у него еще сохранились остатки совести, он старается убедить себя, что соседи вернулись и занимаются среди ночи какими-то странными манипуляциями. Пойти самому и убедиться в том, что все обстоит именно так, — это для него уже чересчур: в конце концов, он ведь отец семейства, а не кандидат в мученики.

Итак, с полным комфортом воры обкрадывают квартиры, зажигают свет, поскольку трудно что-нибудь разглядеть с электрическими фонариками, а если не находят того, на что рассчитывали, изливают свою ярость на мебель и посуду, превращая их в груду обломков. Двигавшихся неслышно воров в черных трикотажных костюмах можно увидеть лишь в очень старых фильмах. В наши дни они предпочитают во избежание недоразумений давать знать о себе; а то вдруг кому-нибудь вздумается выйти ночью подышать свежим воздухом — пусть уж лучше воздержится.

Прибывает полиция. Никто ничего не видел и не слышал, даже уборщица, подметавшая лестницу, не заметила снятой с петель двери.

Квартирная кража приносит меньший доход, чем похищение людей, зато воры не растрчивают нервы, не доводят себя до стресса, а если в квартире еще и не выключен холодильник, то можно заодно и перекусить. Нет на свете места удобнее и спокойнее пустой квартиры, и никто не отсутствует с большей убедительностью, чем присутствующие соседи. Солидарность и чувство коллективизма вернутся сюда в сентябре вместе с началом футбольных матчей.

## ТЕЛЕГРАММА

Прошел уже месяц, и я потерял последнюю надежду. У вора, разбившего стекло в машине и укравшего мой бумажник, была тысяча возможностей вернуть мне его содержимое, для него непригодное, а для меня представляющее ценность. Я не сомневался, что он поступит именно так. Не верю я в человеческую жестокость; даже самый закоренелый преступник снижает скорость своей машины, увидев ласточку, ослепленную светом фар, которая вот-вот разобьется о стекло.

Что, кроме денег, находилось в бумажнике? Я не претендовал на возврат зажигалки, брелока на кольце с ключами и даже удостоверения личности, которое может кому-то сослужить службу, я скромно надеялся, что мне вернут мои незатейливые реликвии из тех, что каждый хранит и всегда держит при себе: старые истертые фотографии, давнишнюю поздравительную телеграмму, полученную на краю света, когда я испытывал такое чувство одиночества, что выть хотелось; старую трубку, единственная ценность которой в связанных с ней воспоминаниях, конвертик с индийским порошком, благоприятствующим родившимся под созвездием Рыб, и изображения святых, которые матери суют в кар-

маны сыновей, часто отправляющихся в путешествие самолетом. Есть в нашей жизни толика сентиментальности.

И еще там была телефонная книжечка. Воры тоже пользуются такими книжечками, где записаны нужные адреса и номера телефонов, и они, конечно, хоть разок в жизни теряли эту книжечку и знают, что это значит. Часть адресов и телефонов можно восстановить, хотя и с большим трудом, но многое восстановить невозможно: здесь и давнишняя встреча, от которой остался лишь телефонный номер, и возможность получить работу, заключенная в чужой визитной карточке, — словом, то единственное, что связывает вас с кем-то и с чем-то, исчезающим в таинственном мраке забвения.

Что делать человеку без телефонной книжечки? Остается только одно — поместить объявление в газете, что, мол, я пишу, не звоню, не отвечаю: меня обокрали, отняли все, даже адреса, без которых я последний босяк.

Кто же он, этот вор, не уважающий ничего и никого на свете, даже самого себя? В полиции мне сказали, что мое разочарование им непонятно, что у меня устаревшие представления о ворах. У преступного мира была когда-то свой кодекс чести, воры старались работать чисто и профессионально. Они открывали дверцы машин, не повреждая их, отвинчивали радиоприемник отверткой, не вырывая его из машины, а украв бумажники, высылали по почте документы.

Какими же приятными людьми были эти воры, рассматривающие с иронической улыбкой добычу, читающие старые письма, перебирающие наивные амулеты и думающие при этом: это надо ему вернуть, а не то придется бедняге снова мучиться в очередях, восстанавливая документы. Воры, хотя и были людьми вне закона, не теряли принципов джентльменства, обеспечивающих минимум возможности сосуществования в человеческом обществе. Сама кража давала возможность установить мимолетные отношения между жертвой и грабителем. Украденные деньги часто отходили на задний план, а на первом выступали не интересующие вора вещицы, которые потом в пакете оставляли на видном месте. Существовали воры, на которых я никогда не заявил бы в полицию, а если бы встретился с ними, то непременно пригласил бы выпить со мной стакан вина.

Сектор грабителей был высоко специализирован: когда грабителю нужна была на некоторое время машина для профессиональных дел, он договаривался со своим коллегой, занимающимся кражей автомобилей. Вор ювелирных изделий не обращал никакого внимания на автомобили; полицейские точно знали: этот уголовник занимается только подвалами, квартиры его не волнуют.

Единственные оставшиеся в наше время специалисты — карманники. Остальные грабят бестолково, грубо, уводят не одну машину, а все подряд. Я бы сравнил их с поливальными бочками, смывающими со своего пути все, что можно. Современные воры — люди неотесанные, ради пары перчаток они разбивают автомобиль.



Они не только обворовывают, но и наказывают тебя — тащат из буржуйского автомобиля буржуйскую сумку и насмеваются над старой поздравительной телеграммой, символом пережитков прошлого.

Дорогой вор, я надеюсь, что тебе всего пятнадцать лет и ты еще не познал ценности воспоминаний.

## СКИДКА

Что можно сказать о «скидке» в стране, которая в течение тридцати лет была нищей, затем пережила короткий безумный период благоденствия, после чего снова обеднела?

Вначале получить скидку было довольно сложно, и просьба о ней выглядела примерно так: «Обращаюсь к вам от имени снохи двоюродного брата вашей жены». Человек за прилавком выслушивал с недобрым видом и говорил: «Что же, вещь стоит четыре тысячи триста, я уступаю ее за четыре двести».

Потом наступил экономический бум, и мы вдруг сделали ближайшими друзьями негоднянтов, которых раньше никогда и не видели, а они, не давая нам открыть рот, тут же говорили: «Вообще-то цена десять тысяч, но лично вам я уступаю за семь тысяч пятьсот».

Скидка из особой привилегии превратилась в комедию, основанную на точном психологическом расчете. Итальянцы были не так уж бедны, они кое-что отложили про запас, немного, но на дорогие вещи хватало. Если в магазине им называли слишком низкую цену, они морщили нос. Услышав, что фотоаппарат или проигрыватель стоит всего пятьдесят тысяч лир, они тут же подозревали, что им хотят сбавить устаревший или негодный товар. Тогда коммерсанты (уж они-то родились не вчера) назначали завышенную цену, а потом предоставляли скидку: «Только для вас».

Теперь мы снова обеднели, промотав все, что было отложено, и уже не морщим нос, если что-то дешево стоит, как раз наоборот — бегаем в поисках товаров подешевле, интересуемся, где и что можно купить со скидкой. «Ты мне дай адрес крестьянина, у которого можно купить сыр за четыре тысячи, а я скажу, где можно получить десять процентов скидки на сахар и оливковое масло».

Но в атмосфере общей экономии процветает новая категория коммерсантов, которых мне хочется назвать патриотами. Они не предоставляют скидки «только для вас», а продают дешевле, потому что «было бы преступлением в нынешние тяжелые времена не уменьшить расходы до самого необходимого, а значит, и снизить цены». Так как расходы по содержанию помещения, обслуживающего персонала и уплаты налогов соразмерно отражаются и на ценах, то эти патриоты коммерции перебрались со своими товарами кто в старый амбар, кто на чердак, а кто и в полуразрушенную церквушку — не более десятка километров от города. В эти помещения они втиснули пальто и костюмы, телевизоры и радиолы. Чем больше беспорядка, тем с

большим волнением мы бродим между полками с товаром.

Продавцов нет, со всем справляется патриот-хозяин, называющий всех на «ты», — каждого направил к нему его друг или друг его приятеля, в с первого момента все чувствуют себя легко и свободно. «Иди выбери сколько хочешь, когда найдешь, позови меня», — и он переходит к другому покупателю, убеждая его выбирать и не торопиться, потом к третьему, который уже выбрал и подзывает хозяина.

Мне нужно было осеннее пальто, и я отправился в сарай к такому патриоту, ничего не сказав жене, — люблю иной раз показывать, что сам себе голова. В сарае я увидел множество людей, которые примеряли пиджаки, а некоторые, никого не смущаясь, и брюки. Это мне понравилось, так как наличие занавешенных кабинок также влияет на повышение цен. Хозяин подошел ко мне, я назвал имя пославшего меня, и он проводил меня в ту часть сарая, где висели на плечиках осенние пальто. Другие пальто лежали на полках, обернутые в целлофан. Такая система называется «От производителя непосредственно к потребителю». Я спокойно примерил несколько пальто, выбрал нужное, и так как дорогих зеркал не было, то попросил другого покупателя посмотреть, как оно сидит на мне. Удовлетворенный, я отправился на поиски хозяина, разговаривавшего с другими покупателями. Увидев меня, он изобразил на лице экстаз. «Беру, — коротко сказал я, — сколько стоит?» Хозяин широко улыбнулся, взял меня под руку и, отведя в сторону, шепнул: «Никогда не спрашивай о цене в присутствии других, иначе как я смогу сделать тебе скидку?» — «Ты прав, — согласился я. — Так сколько же?» — «Двадцать девять тысяч», — шепнул он. Я вручил ему деньги, поблагодарил и вышел.

Всю неделю я хожу по городу; прицениваюсь к пальто. И нашел всего один магазин, где такие пальто стоят тридцать тысяч. Во всех остальных они стоят ровно столько же, сколько и купленное мною.

Моя жена обошлась без комментариев, но лишь потому, что сама купила за шестьдесят пять тысяч в патриотической халупе маленький транзисторный телевизор, который в центральном магазине продается за ту же цену. Я говорил со многими друзьями, побывавшими у коммерсантов-патриотов, и мы пришли к заключению, что торгуют они без обмана, лишь в редких случаях цены на товары у них выше, чем в магазинах. Зато к стоимости купленного у них товара надлежит прибавить четыре-пять тысяч лир на бензин, ибо для большей экономии коммерсанты-патриоты располагаются подалеке от города.

## ДИАГНОЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

Несколько лет тому назад, возвратившись из США, я рассказал о произошедшем там со мной случае. Как-то раз я проснулся в гостинице с температурой 38°. Болело горло и голова. Портюге, которого я попросил вызвать врача, ответил, что, если

я еще не при смерти, врач ко мне не придет, но зато я могу позвонить врачу по телефону и объяснить, что со мной происходит.

Я позвонил врачу и рассказал о симптомах болезни по телефону, да еще по-английски. А это дело сложное. И действительно, по лекарству, название которого доктор продикивал портье, а тот купил в аптеке, я понял, что неудачно произнес слово «миндалин» — на коробочке с лекарством значилось «гематоген». Оплачивая счет гостиницы, я увидел в графе «телефонный визит врача» сумму в 10 долларов.

История с десятью долларами за визит по телефону мне показалась достаточно забавной, чтоб рассказать о ней друзьям. Теперь я не стал бы ее пересказывать, потому что за несколько лет итальянцы тоже привыкли к врачебным визитам по телефону, и это их отнюдь не забавляет. «Слушаю. Где у вас болит?» — спрашивает врач, у которого нет никакого желания осматривать больных на дому (при теперешнем уличном движении каждая поездка займет слишком много времени). «Вот здесь», — объясняет пациент, привыкший показывать пальцем. «Где — здесь?» — настаивает врач. Начинается драматический диалог. Больной путает ребра с позвонками, фарингит с ларингитом, объясняет, что болит у него на четыре пальца ниже пупка, только справа, где селезенка. Врач отвечает, что у всех людей селезенка слева. Значит, болит печень, но может быть, и желчный пузырь... кстати, где он находится?

Годами толкуют о школьной реформе, но я не слышал, чтобы собирались в качестве предмета вводить в программу симптоматологию — дети учатся играть на флейте, а по телефону не могут объяснить врачу, каким заболеванием страдают: корью, скарлатиной или ветрянкой. Мы в Италии, как всегда, не поспеваем за временем. В США, например, можно купить «набор юного медика», а в нем кроме всего прочего есть аппарат для измерения давления и стетоскоп для самовыслушивания. Американский больной — специалист: мне пришлось присутствовать при телефонном разговоре одного моего знакомого, страдающего бронхитом, с врачом: «Верхнее давление 135, нижнее 90, пульс 98, глухие тоны в левом сердечном желудочке, легкий свист при дыхании под четвертым правым ребром, диурез нормальный».

А в Италии мы что-то бормочем о красноте в горле и ничего больше не умеем сообщить. Я спросил в магазине, есть ли у них «набор юного медика». Мне ответили, что есть набор «юного столяра» и «юного электрика», а «юного медика» должны вот-вот получить. Вранье, конечно. У торговцев так уж повелось; если они и слухом не слышали о существовании какого-либо предмета, то неизменно отвечают, что должны по-лучить его на днях.

Я надеюсь, кто-нибудь и у нас спохватится и начнет выпускать «набор юного медика», дабы наши жены — а в голове у них не найдется ни одной здравой мысли — могли дарить нам к рождеству хоть что-то полезное. Должны же мы, наконец, понять,

что другого выхода нет: невозможность найти служанку приучила нас пользоваться бытовыми электроприборами. А занятость врачей заставит обзавестись собственным стетоскопом и другими инструментами для постановки диагноза. Организация врачебного самообслуживания обеспокоила бы нас, только если бы в продаже появился «набор юного хирурга». Но пока речь идет о бронхитах или гастроэнтеритах, необходимо научиться самих себя обслуживать, приобрести достаточные познания о своем организме, то есть — как говорят феминистки — заново овладеть своим телом.

Одно несомненно, если бы итальянцы в один прекрасный день научились запросто обсуждать по телефону свои болезни, отпали бы и причины запрещать нам в законодательном порядке самим выписывать себе рецепты. Уж если автобусных кондукторов заменили билетными автоматами, то почему бы и врача, чересчур занятого, чтобы ездить на вызовы, не заменить особым автоматом, который будет висеть в каждом подъезде и выдавать любые рецепты?

## ВИДИТЕ ЛИ, ХОТЯ, ВПРОЧЕМ, НЕ ИСКЛЮЧАЮ

Когда-то длинными и витиеватыми, ни на что не отвечающими ответами пользовались лишь полицейские деятели. Модели неотвечивших многочисленны и известны всем. Вот одна из наиболее типичных: вместо того, чтобы на заданный вопрос ответить «конечно» или «ни в коем случае», некоторое время многозначительно молчат, затем говорят «видите ли» и принимаются развивать тему с исторических истоков, указывая на ее этические, социальные, а иной раз и на филологические особенности, и продолжают до тех пор, пока собеседник — а он почти никогда не слушает, поскольку занят обдумыванием следующего вопроса, — не поблагодарит и не перейдет к очередной проблеме. В некоторых случаях неотвечивает менее изысканно, почти грубо, сущность вопроса просто игнорируется, например: «Считаете вы, что в индустриальном развитии юга страны роботы имеют реальное значение?» — «Основным в вопросе индустриального развития является сужение производительной системы».

Существуют и стереотипные неотвечивания. Помню, однажды Анджело Кастелли, возглавлявший в то время следственную комиссию, отвечая на вопрос: «Господин председатель, можно ли при нынешнем положении вещей надеяться, что на будущей неделе имена подозреваемых станут известны?» — сказал: «Если ваши предположения справедливы, то и выводы должны быть достоверными». — «Спасибо!» Примером достаточно частой формы неответа служат также возмущенные высказывания членов корпорации врачей в Пизе. Так на вопрос журналиста, удалось ли суду установить наличие справок о болезнях, не соответствующих состоянию здоровья пациентов, представитель корпорации заявил: «Речь идет о покушении на свободу профессии и о нажиме на практикующих врачей в целом».

Но как я уже упомянул, пространный и изысканный неответ постепенно сошел с вершин официальных кругов и все больше применяется гражданами всех сословий, особенно когда их приглашают высказать свое мнение перед телевизионным объективом или перед микрофоном. Во время землетрясения в Фриули после второго мощного толчка у одного из геологов спросили, оправданны ли беспокойства относительно ближайшего будущего или самое страшное позади. Геолог мог бы сказать, что наука (во всяком случае, итальянская), к сожалению, еще не в состоянии отвечать на такие вопросы. Вместо этого он сказал: «Возможно, что толчок был последним из сейсмических явлений, наблюдавшихся в мае, но его происхождение может быть и совсем иным. Поэтому мы не можем исключить возможность дальнейших более или менее мощных толчков, хотя гипотеза о затухании явления в целом вполне правдоподобна».

Когда два самолета столкнулись в высоте десяти тысяч метров, телевидение поступило разумно, пригласив двух пилотов выступить с телевизионного экрана и дать техническое обоснование такого невероятного случая. Один из них изложил всю историю авиации от братьев Райт до наших дней, а другой высказался о необходимости проявить политическую твердость в интере-

сах реформы всей системы авиационного транспорта.

В былое время в телепередачах охотно применяли модель невопроса («Считаете ли вы, что, хотя и нельзя исключить, тем не менее в некотором смысле можно предполагать?»). Лица, у которых брали интервью, благодарили корреспондента за представленную возможность и т. д. Теперь журналисты настолько осмелели, что задают прямые вопросы, на которые — ничего не поделаешь — приходится давать неответы. Приспосабливаемся как можем. Однажды, когда по телевизору передавались перипетии скандала из-за пармезанского сыра, у одной домашней хозяйки спросили: «А вы как реагируете на это — по-прежнему покупаете сыр или отказались от него?» На что сообразительная женщина ответила: «Надо, чтобы правительство ударило по спекулянтам и поддержало нас, бедных потребителей».

Человек, добросовестно отвечающий на заданный ему вопрос, чувствует себя одиноко, последние «да» и «нет» были произнесены во время референдума о разводе. Теперь уже и дети, если их спросить: «Кем ты станешь, когда вырастешь большой?» — говорят: «Видите ли...» — и поясняют, что, хотя и не исключено, тем не менее и т. д.

## Советская литература за рубежом

### БОЛГАРИЯ

«Кануны (Хроника конца 20-х годов)» ВА-СИЛИЯ БЕЛОВА. Издательство «Народна култура».

Пьесы АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА «Пять вечеров» и «Дульсинья Тобосская». То же издательство.

Рассказ ГЕННАДИЯ ГОРА «Волшебная дорога». Издательство «Георги Бакалов».

Роман МИХАИЛА СТЕЛЪМАХА «Четыре брода». То же издательство.

### ВЕНГРИЯ

Сборник статей ФЕЛИКСА КУЗНЕЦОВА «Современная советская проза». Издательство «Гондолат».

Роман в новеллах КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Так называемая личная жизнь». Издательство «Европа».

Повесть ЛЕОНИДА СОЛОВЬЕВА «Возмутитель спокойствия». Издательство «Мора».

Повесть ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА «Прекрасная Адыгене». То же издательство.

### ГДР

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Джамия». Издательство «Инзель».

Повесть БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «Встречный бой». Издательство «Нойес лебен».

Рассказ АРКАДИЯ ГАЙДАРА «Четвертый блиндаж». Издательство «Киндербух-ферлаг».

Роман МАКСИМА ГОРЬКОГО «Мать». Издательство «Ауфбау».

Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Кафедра». Издательство «Фольк унд вельт».

Рассказы КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО. Издательство «Ауфбау».

Повести ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Последний срок» и «Живи и помни». Издательство «Реклам».

Роман ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Пушкин». Издательство «Фольк унд вельт».

# Наши гости

Миклош Хубай, Дюла Фекете,  
Андраш Фодор  
(ВЕНГРИЯ)

Наши гости: известный венгерский драматург Миклош Хубай, председатель Союза венгерских писателей, поэт Андраш Фодор и прозаик Дюла Фекете — вице-председатели Союза.

— Узнав о том, что мы едем в Москву, — говорит Миклош Хубай, — мы заранее решили, что побываем в вашем журнале, который пользуется таким большим авторитетом во многих странах. Среди нас есть давний автор вашего журнала, которому мы и передадим слово.

— Действительно, я давний друг журнала «Иностранная литература», мой роман «Старый доктор» был опубликован на его страницах<sup>1</sup>, — говорит Дюла Фекете. — Я очень признателен журналу за то, что он опубликовал эту вещь. Дело в том, что после этого издатели и у нас в Венгрии, и в других странах обратили на роман самое пристальное внимание. Это произведение выдержало 20 изданий. Из них 13 — за рубежом. Но я ни на минуту не обольщаюсь на свой счет. Большинство зарубежных изданий появилось на свет только благодаря публикации романа на русском языке.

Известный венгерский прозаик, публицист, очеркист Дюла Фекете не первый раз в СССР. Несколько лет тому назад он участвовал в двусторонней творческой встрече советских и венгерских писателей на тему «Писатель и читатель».

— После окончания дискуссии, — продолжает рассказывать Дюла Фекете, — мы с председателем Союза писателей Латвии Гунаром Приеде поехали в один из колхозов, расположенных неподалеку от Риги. Каково же было мое удивление, когда войдя в один из опрятных уютных крестьянских домов, я обнаружил тот самый роман «Старый доктор» в переводе на латышский язык. Не скрою, я был удивлен, обрадован и растроган.

Дюла Фекете пришел в литературу в конце 40-х годов. Свою литературную деятельность он начинал в качестве журналиста уездной газеты. В 1952 году вышел в свет его первый сборник рассказов «Майское дерево». Сегодня он — автор ряда широко известных в Венгрии романов. Фекете активно работал в одном из самых популярных жанров венгерской литературы — в жанре социографии.

— В одном из самых популярных наших журналов, в «Нёк лапья», публиковались статьи, посвященные проблемам семьи, одиночества и т. п. Эти статьи вызвали широкий читательский отклик. В редакцию журнала пришли сотни писем. Я обработал их, отредактировал и издал со своими комментариями. Эти книги пользовались большой популярностью, — рассказывает Фекете.

Слово берет председатель Союза венгерских писателей Миклош Хубай:

— Я впервые в редакции журнала «Иностранная литература», но давно с большим вниманием и интересом слежу за благородной деятельностью вашего журнала, популяризирующего мировую литературу в вашей многоязычной стране, в том числе, что для нас особенно важно, и венгерскую литературу тоже. Мы знаем, что на страницах вашего журнала печатались романы Т. Дери, Л. Мештерхази, Д. Йейша, Л. Немета, стихи Ф. Юхаса, Г. Гараи, И. Шимона, М. Вац.

Миклош Хубай — известный венгерский драматург, эссеист, автор свыше 70 пьес и ряда сценариев для художественных фильмов, свою творческую деятельность начал еще в годы второй мировой войны с выпуска полулегального антифашистского журнала. Вскоре молодому журналисту пришлось перебраться в Швейцарию, где он со своими друзьями продолжал издание антифашистского журнала, который тайно переправлялся в Венгрию. После окончания войны Хубай несколько лет работал

<sup>1</sup> См. «ИЛ», 1965, № 9.

в различных представительствах Венгрии за границей. Он перевел на венгерский язык произведения Мольера, Сартра, Ридоса, А. Миллера. Пожалуй, самая известная пьеса М. Хубай «Три ночи одной любви». Она переведена и на русский язык, вошла в сборник пьес М. Хубай, который вышел в издательстве «Прогресс» в 1979 году. Хубай — профессор Флорентийского университета, где он преподает венгерскую литературу.

— Только что, — рассказывает он, — в популярном будапештском журнале «Коргарш» закончена публикация моей новой пьесы. Главный ее герой — Зигмунд Фрейд. Действие происходит в Вене в канун второй мировой войны. Но пьеса построена так, что ее главный персонаж в своих воспоминаниях (или снах) внезапно оказывается свидетелем, например, гибели эрцгерцога Фердинанда, то есть переносится в дни первой мировой войны. Пьеса эта — антивоенное произведение. В ней я попытался сформулировать позицию честного европейского интеллигента в канун мировой войны. Мой герой решительно настроен против войны, но он не знает, что ему предпринять. Мы сейчас тоже живем в очень сложное время и должны четко определить свою позицию и действовать а не сидеть сложа руки. Мы должны решительно выступить против попытки развязать новую страшную мировую войну, которая может стать последней в истории человечества. И в этом мы выступаем вместе с советскими писателями, со всеми людьми доброй воли.

После обмена мнениями по вопросам развития современной венгерской прозы и драматургии разговор вполне естественно переходит к поэзии. И тут слово берет Андраш Фодор:

— Прежде всего хочу сказать, что в отличие от своих собратьев по перу Хубай и Фекете я уже посещал редакцию журнала «Иностранная литература». Мы побывали здесь с моими юными коллегами, молодыми венгерскими поэтами, в сентябре 1978 года. Довольно длительное время в Союзе венгерских писателей в качестве секретаря секции поэзии я вынужден был заниматься творчеством молодых поэтов. Не подумайте, что выражение «вынужден заниматься» свидетельствует о том что я делал это против своей воли. Это вовсе не так. Просто нелегкое дело — в той или иной степени следить за творчеством 110 молодых поэтов! Да, именно 110! Еще никогда в истории венгерской литературы, а надо сказать, что поэзия у нас всегда была в почете, в литературу одновременно не «входило» такое количество молодых талантов. Среди них хотел бы назвать из более «пожилых» М. Вереша, А. Киш, из более «молодых» — Т. Залана, Э. Тот, Я. Геци. Но все же мне хотелось бы рекомендовать для вашего журнала не только и, я бы даже сказал, не столько представителей молодого поколения венгерских поэтов. Наоборот, прежде всего я бы рекомендовал еще внимательно присмотреться к творчеству одного из патриархов нашей литературы, нашей поэзии. Я имею в виду Шандора Вереша. Этот поэт — настоящий чародей, ему под-

властны первобытные ритмы шаманов и виртуозность музыки Моцарта. Причем интересно, что сам Вереш прекрасно переводит. Например, с санскрита. Когда я был в Индии, то, выступая на одном литературном вечере, прочитывал переводы Вереша. Каковы же были мое удивление и радость, когда слушатели сразу же узнали отрывок из национального древнеиндийского эпоса.

— Как прозаик, — говорит Дюла Фекете, — я не могу удержаться от того, чтобы не сказать еще несколько слов о нашей прозаической литературе. Прежде всего хотелось бы обратить ваше внимание на то, что для нашей литературы, как, впрочем, и для всей литературы вообще, характерен интерес к истории, к факту. В одном из крупнейших наших издательств с большим успехом выходят книги серии, которая так и называется «Новое открытие Венгрии». В этой связи не могу не отметить огромный успех, выпавший на долю книг прозаика Дёрдя Молдовы. Сейчас в журнале «Коргарш» публикуется его новая книга, посвященная пилотам сельскохозяйственной авиации.

— Извините, что перебиваю вас, — говорит Миклош Хубай, — но я не могу не упомянуть и о том направлении нашей прозы, которое носит экспериментальный характер. Я имею в виду авангардистскую прозу. Часть наших молодых литераторов увлекается поисками в области формы. К их числу относятся такие талантливые молодые писатели, как П. Эстерхазы, П. Нагаш, М. Вамош, П. Хайноци.

— Но в нашей литературе есть и еще один необычайно популярный жанр. Это мемуарная, мемуарно-историческая литература. Достаточно упомянуть в этой связи о произведениях Т. Череша, А. Шимонфи, Д. Сараза и других авторов, — берет снова слово Фекете.

— Позвольте все-таки снова вернуться к художественной литературе, — говорит Андраш Фодор. — Мне хотелось бы напомнить нашим советским друзьям о том, что в венгерской литературе активно живут и пишут поэты среднего поколения: И. Такач, Д. Чорба, Д. Керестури, Д. Тангори. Правда, наша поэзия в последние годы понесла значительные, я бы даже сказал невосполнимые потери. Безвременно ушли из жизни: З. Зелк, Я. Пилински, Л. Надь, И. Кормош, И. Шимон, М. Ваци. Андраш Фодор принадлежит к числу наиболее активно работающих поэтов среднего поколения. Его стихи начали публиковаться в начале 50-х годов. Фодор много работал и над переводами зарубежных поэтов, и в первую очередь русских и советских.

— Что касается венгерской поэзии, я могу сказать, что и она находится на подъеме. Все дело в том, что в поэзии, в отличие от прозы, изменения происходят не так очевидно, не так заметно. Я убежден, что среди той сотни молодых поэтов, которые пришли в литературу в середине — конце 70-х годов, есть не менее двух десятков талантливых молодых людей, из которых со временем получатся настоящие мастера.

С. ФАДЕЕВ

## Тонино Гуэрра

### (ИТАЛИЯ)

Тонино Гуэрра, поэт, прозаик, автор знаменитых сценариев, впервые был нашим гостем четыре года назад<sup>1</sup>. Сегодня его визит совпал с выходом на наши экраны фильма Федерико Феллини «Амаркорда», снятого по сценарию Тонино Гуэрры. Мы просим его сказать несколько слов о фильме:

— «Амаркорда» — это слово, которое по всем правилам нашего романьольского диалекта пишется так: «А м'аркорд» и означает: «Я вспоминаю». Мы решили писать его в одно слово, иначе даже сами итальянцы не знали бы, как его правильно произносить.

Поэзия жизни Романьи запечатлена в неизменно удивительном, поражающем воображение Тонино Гуэрры родном диалекте. Она обретает в его творчестве новые и новые воплощения в ярких и щемяще-дорогих образах, неповторимых и символических в своей человечности. И когда он стремится донести до нас свое ощущение уникальности языка Романьи в первые минуты слова отступают на второй план, внимание поглощено самим говорящим — неподдельным, открытым, как персонажи «Амаркорда». «Тонино Гуэрра — поэт. И тогда, когда он обращен к прозе, и когда сочиняет сценарий для кино, и когда пишет стихи. Поэзия — его способ жизни, свойство души», — написал о нем его друг Андрей Тарковский в предисловии к подборке стихов Тонино Гуэрры в нашем журнале<sup>2</sup>.

— Образность диалекта запечатлела бесконечное разнообразие жизненного опыта, мыслей, чувств. Литературный итальянский не может передать этого богатства. Образы, застывшие в слове, создаются непосредственно в разговоре. Например, крестьянин может говорить о дереве целые сутки. А что можем мы сказать о дереве на итальянском? Большое, красивое, зеленое — вот и все. Или, например, такой случай: приехал я к себе на родину в ноябре, в день поминования мертвых, погода была пасмурная, тоскливая. Вижу: на поле работает крестьянин. Праздник, воскресенье — а он работает. Подхожу, заговариваю о погоде: «Плохая погода, говорю — Он продолжает работать. — В такие дни я думаю о смерти, боюсь ее». Он поднимает на меня глаза, а сам продолжает работать. «Почему боишься смерти? — спрашивает он. — Ведь она приходит всегда один раз». Каждый крестьянин — поэт и философ. Народ — коллективный творец этого чуждого языка, — заканчивает свою мысль Гуэрра.

— Я и Феллини — мы оба «романьоли» а это значит, что мы выходцы из той земли, которая простирается от Равенны вдоль Адриатики до области Марка, от-

носящейся уже к Центральной Италии. Родился я в Сантарканджело, в десяти километрах от Римини, небольшого городка, где до семнадцатилетнего возраста жил Феллини. Крестьянский элемент в нас сильнее, чем в жителях Римини, полных бахвальства и спеси. Особенно они задирают нос летом, когда их огромный пляж битком забит иностранцами. Из нас двоих, прямо скажем, я более привязан к своей земле. Феллини мне часто признавался, что ему кажется, будто он родился в съемочных павильонах римской киностудии «Чинечитта». Тяжелая болезнь, которая двенадцать лет назад угрожала его жизни, как бы вернула его родной земле, подтолкнула к нежным и бережным воспоминаниям тех дней детства, которые изображены в каждом кадре «Амаркорда». Я был поражен тем, что Феллини сделал море из пластмассы, а ночное небо, на фоне которого величественно шел трансатлантический пароход, было всего лишь цементной стеной, ограждавшей бассейн. Мне кажется, что «фальшивость» комбинированных съемок и всевозможных трюков сделала кино-рассказ менее реалистическим, но более магическим.

Феллини начинает наконец снимать новый фильм «А корабль плывет...». В этот раз морское путешествие длится долго, и я с ужасом смотрю на огромный съемочный павильон, где, насколько мне известно, Феллини намерен «построить» Адриатическое море и, как минимум два огромных парохода. Сценарий мы написали за десять дней, но очень им довольны. Я не могу ничего рассказать вам о фильме, потому что Феллини не любит заблаговременно раскрывать сюжетные ходы, чтобы зрителю было интересно узнавать все в положенное время. Поэтому то, что он иногда говорит в интервью, заставляет меня открывать рот от удивления.

До того, как вышел «Амаркорда», был опубликован одноименный роман, в котором уже были структура и акценты, характерные для сценария, но не было технических деталей, которые раздражали бы читателя, не очень посвященного в кухню кинематографа. В Советском Союзе роман «Амаркорда» переведен пока только в Эстонии<sup>1</sup>. В нем есть две главы, которые по финансовым соображениям Феллини не смог экранизировать, а они в значительной мере обогащают и персонажей, и всю атмосферу небольшого прибрежного городка, в котором разворачивается действие «Амаркорда».

Мир воспоминаний о детстве в Романье Феллини и Гуэрры обретает новое пространство и оттенки и при чтении стихов Тонино Гуэрры. Вспомним хотя бы его кота: «было в нем нечто, чего не бывает в нормальных котах, на их языке он стихи сочинял, когда был возбужден полнолунием... на дереве, где его заставляла луна» — не он ли вызвал к жизни безумца из «Амаркорда»?

<sup>1</sup> См. «ИЛ», 1979, № 12.

<sup>2</sup> См. там же, № 7.

<sup>1</sup> Ф. Феллини, Т. Гуэрра. Амаркорда. Таллин, изд-во «Периодика», 1981.



Тонино Гуэрра и Федерико Феллини

— Мы говорим о фильме «Амаркорда», атмосфера которого, на мой взгляд, близка другому прекрасному итальянскому фильму, мы видели его на одном из Московских кинофестивалей — «Дерево для башмаков» Ольми. Им присуще ощущение вечности жизни, в которой все смешано: трагедия и надежда, красота и уродство, манящая мечта о каком-то ином бытии, открытом лишь безумцу. Что делает сейчас Ольми, которого хочется назвать гением?

— Да, он гений. Нелюдимый, молодой, очень обаятельный, он живет на границе Австрии, в горах. Приезжает в Рим сообщить, что собирается снимать фильм. Потом уезжает, пропадает. Все делает сам, актеры у него не профессионалы. Сам монтирует. К сожалению, я не видел его новый фильм, он отвез его прямо в Венецию. Так повелось, что, даже когда итальянцев спрашивают о писателях, все равно разговор заходит об итальянском кино. Принято считать, что итальянцы — кинематографисты, а русские — писатели, а я знаю множество прекрасных советских картин. А вообще, наверное, это мнение справедливо, я согласен с народом, — шутит Гуэрра.

— Вы отдыхали в Грузии, почему именно ее выбрали местом своего отдыха?

— Не сегодня-завтра я сам о себе заявлю, что я грузин. Судите сами. Стоит мне появиться на какой-нибудь тбилисской улице, сразу же кто-то издала радостно приветствует меня, спрашивает, что да как, и все это так празднично, радостно, словно я ему самый дорогой друг. Я торопливо начинаю объяснять, что я не тот, кого он ищет. Я, видите ли,

просто итальянец, это у меня черты такие «кроткие». То же самое происходит со мной, когда я забираться в какое-нибудь удаленное от городов грузинское село. Я узнаю эти места, словно много раз видел их раньше. Короче говоря, мои поездки по Грузии — это путешествия во времени, назад к детству. По происхождению я крестьянин, и потому я словно зачарованный останавливаюсь и долго с сожалением смотрю на развалившиеся старые дома, и мне кажется, что сидим мы там, в таком доме, с друзьями, едим каштаны и запеченную в углях картошку.

В Германии в тот день, когда американцы стали бомбить концентрационный лагерь, в котором мы находились, а сам лагерь был рядом с заводом, где делали динамит, я обхватил голову руками (свистят падающие бомбы) и мысленно спросил себя: «Вот если ты сейчас умрешь, что бы ты хотел сделать перед смертью?» И ответил: «Сесть у огня с друзьями и снимать с горячих каштанов кожуцу... Один, два, три...»

Во время моего последнего путешествия по Грузии я добрался до заброшенных монастырей и крестьянских бань, расположенных у серных источников. Так вот: в то время, как очень многие люди мечтают очутиться на знаменитой лестнице Площади Испании или на Пятой авеню Нью-Йорка, я всегда мечтаю приехать с женой к серному источнику. Рядом стоит банька, большая дикая груша. И я омываю руки, лицо теплой водой, подогретой в крестьянских ковшах. Они здесь всегда стоят для случайного охотника или одинокого путника. А счастье встречи с Зеленым монастырем, расположенным в до-

лине Куры! Таксист спросил: «Хотите посмотреть монастырь?» Я не успел ответить «да», машина уже свернула и покатила по дну речушки. Потом мы выбрались из воды и поехали по узкой, покрытой травой дороге, которая привела нас к маленькой площадке, и мы увидели развалины Зеленого монастыря. Внутри — небольшая прямоугольная ниша, сжатая замшелыми стенами, — камень всего сантиметром тридцать, на месте алтаря, а на этом камне — тоненькая зажженная свеча. Кто-то любывал здесь перед нами и, задувая желание, поставил свечу. Я тоже хотел задумать желание, но спички, которые я нашел рядом с гругми небольшими свечками, выстроившимися по краю алтаря, отсырели и никак не хотели зажигаться. Я тиетно прочиркал две коробки. До сих пор спрашиваю себя, каких милостей стал бы я просить в тот момент, если бы спички зажглись.

Все время в Грузии меня не оставала какая-то странная ностальгия. Мне казалось, что я вернулся уже в Италию, и мне было мучительно оттого, что я не там, где был в то время, когда так думал. Еще короче: это та ностальгия, которую я испытываю сейчас вдали от моей Грузии.

— Вы рисовали в Грузии, вы ведь рисуете пастелью?

— Я начал писать стихи в Германии, чтобы хоть как-то развлечь моих романьольских земляков, томившихся вместе со мной в концлагере. И в те же жуткие дни я пристрастился делать маленькие акварели. Я их дарил немецким женщинам, когда они выходили из огромного бомбоубежища динамитного завода, как только слышадась сирена, отменявшая воздушную тревогу. Мне запрещалось прятаться в убежище. Во время бомбежек все вокруг грохало, листья и коренья дерева, на котором я сидел и рисовал. Сейчас я рисую японской пастелью, немного, время от времени. В последнее время обозначился предпочтительный сюжет: птица в клетке. Идею эту мне подсказала одна сказка, которую вот уже два года я все собираюсь написать. Клетки эти полны цвета и света, получают бездонные, многослойные небесные своды, к которым мысленно взмывает заключенная в неволе птица.

Несколько таких и гругих рисунков я сделал в Грузии. Сейчас местные власти с любовью и большим желанием восстанавливают то, что осталось от старого Тбилиси — кварталы, где свет льется в дома сквозь огромные витражи и застекленные веранды а от деревянных балконов изыдкие тени падают на булыжную мостовую. А когда будет воссоздана и атмосфера жизни этих кварталов, тогда, я уверен, Тбилиси станет одним из самых прекрасных и магических городов мира. Не поддающаяся никакому описанию щедрость грузин, которая иногда тебя совершенно дезориентирует, исподволь «подготавливает» ту ностальгию, которую иностранец начинает по-настоящему по-

нимать и ценить, когда возвращается в Париж или Рим.

— Видели ли вы грузинские фильмы?

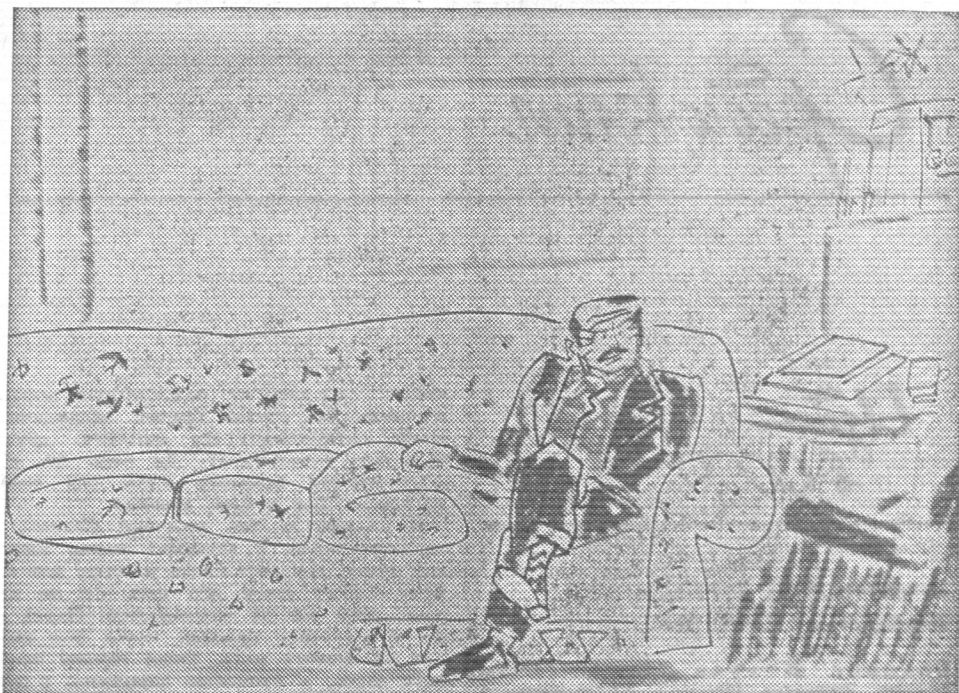
— У меня была возможность познакомиться лишь с некоторыми работами, но и их было достаточно, чтобы еще раз убедиться в силе грузинских режиссеров. Фильм Ираклия Квирикадзе «Пловец» — это почти неподвижный, остановившийся рассказ. Такое впечатление, — впрочем, до некоторой степени так оно и есть на самом деле, — что состоит он из ряда фотографий, которые доводят историю до наших дней. Я думаю, вряд ли кто-то забудет бесконечный, изнуряющий заплыв человека, который должен покрыть расстояние между Батуми и Поту по глагому, как доска, сияющему, как лезвие, в лучах заходящего солнца морю. Видел я и последнюю работу Рехвиашвили «Путь домой». Мне кажется, что Рехвиашвили достоин внимания и уважения, которые мы питаем к тем, кто верит в зрителя, словно рассказываемая история обретает окончательную ясность, понимание в том, кто ее смотрит. А как я могу не радоваться тому, что посмотрел документальный фильм Резо Табукашвили об итальянском ученом Витторио Сэлле, который так прекрасно сфотографировал горные районы Грузии в 1890 году? И поскольку речь идет о кинематографистах-грузинах, я хотел бы упомянуть фильм Гиу Дanelици «Слезь капали». Его фильм — прекрасная сказка, печальная атмосфера которой ничуть не мешает тому особому смеху, который нет-нет да вдруг нападет на тебя даже на похоронах любимого и дорогого человека. У меня осталось впечатление, что финал немного скромкан и зритель уходит из зала в некотором замешательстве, которое, скажем, испытывает пес, когда у него забирают очень вкусную кость.

И наконец, я бы хотел во всеуслышанье заявить, что я восхищаюсь марионетками Резо Габриадзе. Видел я очень немного, и ведь как странно: то немного, что я видел, заставляет меня снова и снова думать о том, что театр Резо Габриадзе — это театр огромной силы и неисчерпанных возможностей.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Вот уже больше двух лет меня занимает образ русского генерала, когда-то он сражался против Наполеона, теперь — на пенсии, коротает старость со своей собакой. Это не просто собака, а собака-помощник, собака-агъютант, которую он назвал Бонапарт, чтобы и после окончания баталий еще раз унизить французского императора. Я полюбил своего генерала, привык думать о том, как он ходил, что любил. Мать моего генерала была итальянкой, и вот на закате дней он пытается вспомнить язык, который напоминает ему детство, разыскивает могилы итальянцев, связавших свою жизнь с Россией. Из этого интереса моего генерала родилась книга «Италия в России», которую написали мои друзья Ю. Крелин и Н. Эйдельман. Вскоре она выйдет в Италию.





Грустный Тонино. Шарж Феллини.

Мой генерал со своей собакой поднимает в Петербурге целое восстание и освобождает птиц, заключенных в клетках. Для этой сказки я делал заметки, пока был в Ленинграде, беспрестанно надоедая разным людям своими расспросами о том, как они представляют себе жизнь генерала на пенсии в Петербурге девятнадцатого века. Короче говоря, сам сбор материала оказался настолько интересным, что я стал подумывать: а не объединить ли мне мое пребывание в Ленинграде с самой сказкой? Потом я по-

ехал в Грузию, и теперь вообще не знаю, что делать...

А для кино я написал сценарии для фильмов: с Феллини — «А корабль плывет...», с Тарковским — «Ностальгия», с Александропулосом — «Путешествие в Цитеру», с Розы — «Кармен». А теперь жду, когда эти фильмы будут сняты, а вам желаю посмотреть последние фильмы Антониони и братьев Тавиани, над которыми я тоже работал.

Т. РОТЕНБЕРГ

# Среди книг

Издано  
в СССР

## ТРАГИЧЕСКИЙ БУРЛЕСК ВИНЦЕНТА ШИКУЛЫ

Винцент Шикла. Мастера. Герань. Вильма. Трилогия. Перевод со словацкого Нины Шульгиной. Послесловие Винцента Шабика. Москва, «Прогресс», 1981.

Тода три назад пришлось быть в Алма-Ате. В один дом, к друзьям, привел гостя поэт Олжас Сулейменов. Представил кратко: «Винцент. словацкий писатель».

Весь вечер просидел Винцент молча. Изредка — скупые слова, то русские, то словацкие, лаконичные фразы. И чуть заметная улыбка, и внимательный теплый взгляд.

Не раскрылся в тот вечер Винцент. Но и такое молчание нельзя не оценить: мудрое, участливое, доброжелательное. С охотой достал трилогию, как вышла, с любопытным желанием: познакомиться с молчаливым Винцентом поближе.

И с первой же страницы: вот он, настоящий Шикла — открытый, свободный, раскованный. На слова не скупится — и ни одного зря. Увлекает, захватывает, стремительное течение мысли подхватывает и уносит в открытое море романа.

Нет, не море роман Шиклы. Скорее, сложнейшая система: ручьи и реки протоки и проливы, озера и обширные озера, с островами, с шумными водоворотами и с печальными заводами.

Сюжет — простейший вроде бы. В три слова уместится, как в шутке из детства: «Жил-был, воевал и умер». Да не в сюжете дело.

Былинный, почти сказочный зачин в романе: «Было их четверо мастер и трое его сыновей». Честь по чести, добросовестно ведет Шикла рассказ — но, едва начав, «сбивается», уходит в сторону, потом виновато «спохватывается»: «Да, как о чем это мы?» И вдруг впрямую апеллирует к читателям: «Вы себе и представить не можете, сколько во мне этих подкаж-

чиков... они теребят, подстрекают, дожимают меня, без устали кричат: «Конкретнее, давай конкретнее!» Ну скажите, друзья, чего там конкретнее?... Да ведь от этой конкретности человеку иной раз тошно делается». Вон к чему привел!

И дальше не раз отступит Шикла от «конкретности» и выложит перед читателем душу или даст слово мастеру или еще кому — кому стоит его дать — и не прервет, пока тот не выговорится. Перед нами и эпическое полотно, когда фон выходит на первый план, когда героем выступает народ; и жаровые зарисовки, с неторопливыми диалогами, с повторами, с крестьянской обстоятельностью, психологические этюды, новеллы, притчи, анекдоты; увлекательные рассказы — о плотницком деле прежде всего (герой-то — плотники), но еще и о каменщиках, и о цветах, и о пчелах. (И уж если о чем идет речь — то с точным знанием дела, предмета, вот уж где конкретность!)

И не раз — прямые обращения к читателю, будоражащие, задорные, толкающие к ответам: ты уже и не читатель, ты — собеседник. «Дорогой читатель, коли есть у тебя яблоко, ешь его на здоровье, а нету — не вешай носа! Или лови! Вон я тебе одно кинул, а поймал ли ты — право не знаю. Коли поймал — ешь! Приятного тебе аппетита, дружище!»

Автор щедр. Не скупясь, мечет он в читателя румяные яблоки — зрелые мысли, — то в открытую, а то и скрытно, и тут уж читателю не приходится зевать — знай лови, смекай, соображай. (Но вот уж чего не делает автор — не жует «яблоко» за читателя: сам потрудись, раскуси, распробуй да сок не пролей! Словоохотлив Шикла-рассказчик — а что-то главное, сокровенное, утаивает: главное ядро смысловое вызревает в романе подспудно, в ярких картинах, характерах, событиях, межстрок, за строками, в гуле водоворотов авторской мысли.)

Жанровое многообразие в романе, изобилие приемов — от самой жизни, от ее щедрости и многоликости. Автор лишь послушно и естественно следует глубинным импульсам, велениям собственной — и материала — органики. (Это ли не самое трудное!)

Но среди этого многообразия жанровых приемов — сродненных тем, что корни у них одного происхождения и уходят в фольклор, — особо выделяются авторские монологи, своеобразные исповеди: в них —

неприкрытые боль, горечь, сарказм или радость, любовь — пристрастия, неприятие; в них, может быть, воплотилось наиболее личное.

В монологах Шикула максимально «выламывается» из рамок романа. Зацепится за слово — будто невзначай — и уж остановиться не может. Слово для Шикулы подчас — целый мир: «придет вдруг в голову и ну вертеться на языке». В «отступлениях» ведет он речь о войне и о покое, о мастерстве — «золотом дне», о «безделице» и о памяти, об истории, о земле и о тех, кто землю пашет...

Не комментирует — вместе с читателем осмысливает, углубляет, обобщает.

«Настоящее искусство — это сопка, вулкан, раскаленная лава, взрыв энергии: тут даже не успеваешь ставить и отставлять формочки». Вот за какое искусство Шикула. Таков и его роман: течет «раскаленной лавой», и не до выбора «формочек» тут — какая под руку подвернулась, та и годится, лишь бы выдержала накал, не подвела. Шикулу — не подводит.

О чем же трилогия Шикулы? От первой до последней страницы — о том, о чем автор говорит будто бы меньше всего. О страшной трагической беде народной — о войне.

В необычном ракурсе предстает война в этой книге. Необычность позиции — от необычности судьбы народной. Рядом стонет под Гитлером оккупированная Чехия. Укатилась война на восток, льется кровь там — далеко, за Днестром, за Доном, уже у самой Волги. А здесь, в словацком селе Околичном, тишь, гладь и покой. Покой, купленный дорогую ценою... Тот самый покой, который — «Всего лишь слово! А на слова особенно полагаются не стоит. Кто-нибудь возьмет да скажет: «Покой!» И тут же обнаружится, что это сплошное надувательство; подлинного покоя-то и нет».

И точно, нет подлинного покоя в Околичном. А есть одна видимость.

Но понимаешь это не сразу. Поначалу — одолевают недоуменные мысли: полно, что за патриархальщина?! Какое у них там столетье на дворе?! Вторая мировая? Гитлер? Фашизм? Моря крови? Газовые «бани»? Уж не померещилось ли? Проверая, возвращаешься в самое начало: «Мир... хмурился. Надвигалась война». А через пару страниц — мимоходом упоминается «четырнадцатое марта». Четырнадцатого марта 1939 года Гитлер оккупировал Чехию и Моравию. (В этот день сепаратисты — «людаки» — при поддержке Гитлера провозгласили так называемое «самостоятельное Словацкое государство».)

Этот день уж позади, уже и сентябрь тридцать девятого позади. Позади уже июнь сорок первого. Война в разгаре. А что же герои-богатыри? Строят школу, строят амбары, новый костел; балуются с девушками, пьют пиво, ссорится мастер со старшиной сыновьями. Крупно ссорятся, по-былинному, отпочковываются подмастерья, в мастера выходят. И все как в «доброе старое время». Писано щедрой кистью, сочно, с раблезианским размахом, с неугасающим юмором — будто присутствуем мы на празднике народном, что-то тут от ярмарки, от балагана. (Одна из глав и назы-

вается «Балаган».) Живет народ полной жизнью, мирной жизнью, оберегая и лелея древние традиции, веру. И велика в народе любовь к жизни — в этом, пожалуй, и основа веры. (Ведь не о религии речь...)

Но что-то тревожит: а как же война? Не про них, что ли? Не касается? Забыли?

Нет, конечно, не забыли. Помнят. Но, похоже, пока война «далеко» — не очень-то хотят вспоминать. Разве что кто-то из детей — «устаами младенца» — помянет нехстати, к неудовольствию взрослых: «Гетушка, это правда, что возле вашего Йожко как бабахнуло, а потом как он начал стрелять, все русские из такого большого дома будто бы и убежали?...—Дурья башка! Оставь меня в покое. Ступай себе!»

Или встретится в календаре запись, меж двумя другими — о корове отелившейся да о мотыге пропавшей, — такая вот запись: «Биденко погиб под Липовцом».

А меньше всех забывает о войне Шикула. То он с болью и горькой иронией вспоминает о словацких парнях, что с песней шли на Восточный фронт: «И чему они радовались? Одному богу известно». Да ведь они — «и знали, и не знали, кто они и что они, зачем идут и куда идут, свины ли они или всего лишь поросята. Многие поумнели только под Липовцом: «Ребята, да они прут на нас, точно мы стадо свиней!» Что ж, кто заварил кашу, тот и расхлебывай». (Здесь — истоки трагедии, на которой замешан роман: долго еще народу «расхлебывать кашу». В ответе этой трагедии — и строительство костела, и свадьба Имриха — пир во время чумы.)

То с уничтожающей язвительностью обрушивается Шикула на Kriegskunst — искусство войны — «Искусство малых и немалых, крупных и самых крупных форм, норм, униформ, искусство искусств, которое, если вздумает, проглотит и весть и повесть».

Но жизнь продолжается — будто бы «как ни в чем не бывало»: «Живые уже по большей части вспахали, кое-где засеяли свеженьким летним клевером... Война войной, а есть надо!» И опять вдруг Шикула резко меняет тему — и пастораль разлетается в пух: «Есть должен крестьянин, есть должен и сынок его, который где-то там на Востоке разряжает винтовку и то и дело замирает от страха, что и его однажды возьмет кто-то на мушку... Бедный солдатик! Как же должно быть тоскливо тебе! Тоскливо в могиле, тоскливо и до могилы!..»

Спротивляется Околичное — с крестьянским упорством прячет голову под крыло: «Война есть война, война — дело известное. Хотелось бы что и поновее услышать», «Я крестьянин и другим уже не буду, не изменюсь. Пусть меня хоть повесят».

Однако фронт приближается неумолимо — нарастает тревога в Околичном, даже видимость покоя не осталось. Разбегаются словацкая армия, переходят солдаты на сторону русских, появились в горах партизаны уже и правительское поворачивается к немцам задом, где-то сожгли немецкую автоколонну — и вот уж введены в Словакию немецкие войска. Обо всем этом узнаем мы теперь не от автора, а от

самих крестьян. Снова, но по-иному — на первый план выходят народные массы, настраивая гул встревоженных голосов.

Герои Шиккулы обходятся без громких слов. Проясненность сознания выстрадана ими. И не просто им — по своей воле — взять в руки оружие и стрелять: пахари и мастеровые по природе своей не вояки. «Карчимарчик никогда не был солдатом, — говорит о себе жестящик. — Ведь я-то знаю, в кого буду стрелять... Перед Карчимарчиком всегда будет Карчимарчик, какой-нибудь обыкновенный немецкий Карчимарчик...»

Но Карчимарчик и с ним сотни, тысячи идут стрелять: уже понимают они и то, что этот немецкий парень, «этот творец», способный «вырастить урожай», «забыл дома фартук, забыл кусок дешевой тряпки и горстку зерна, надел военную форму и пришел в чужое поле изводить урожай и таких же творцов. Пришел и себя извести. Ибо тот, кто предает свое поле, не может ждать, что чужое его защитит...».

И уже Имириху слышатся настойчивые вопросы земляков, бесславно погибших в русских полях: «Имро, а ты, где ты был? Что всю войну делаа? Как тебе удалось от нее отвертеться?.. А в сорок четвертом, что делаа ты в сорок четвертом? Отвечай, храбрец! Скажи, что ты тогда выдумал?» И приходит час — без единого слова, без секунды колебаний все бросает Имро — отца, семью, любовь, родной кров, чтобы в горах, в партизанских лесах испугать общую — и свою — вину... Перед кем? Наверно, прежде всего — перед самим собой.

Вторая часть трилогии — «Герань» — вся посвящена последней военной зиме. Время, которое лихо мчалось в «Мастерах», будто остановилось — бесконечно тянутся эти страшные несколько месяцев. Жизнь застыла в ожидании — весны, мира. Но к ним — долгий, тяжкий путь, и для тех, кто в селе, и для тех, кто в горах. На эти два рукава раздвоилась река протествования: село — горы. Четко чередуются главы, почти повторяются названия — создается ощущение застывшего времени. Тон стал сдержаннее, усиливается напряженность, трагедийность атмосферы. Каждый проходит свое испытание. Женщины — нечеловеческой тревогой за близких, ушедших на войну. Мужчины — испытание смертью.

Имро остается живым. Но, может быть, для него более легким исходом была бы смерть в бою. Не стычки с немцами главное испытание Имириха. Шиккула испытывает Имириха прозаическими буднями тяжелой партизанской войны. Голод, холод, неразбериха, бесконечные переходы, перемещения, добывание еды для отряда — у голодных, запуганных войной крестьян, гибель товарищей.. И кульминация второй книги (пожалуй, всего романа): Имро остается один, его отряд исчез, землянка пуста, у входа, под деревом повешенный немец (Ганс Вассерман), ночь в ледяной землянке, под шинелью снятой с повешенного немца, слезы мертвого Вассермана — «Бред все же какой-то! Ты плачешь, Ганси?! Неужто я уж совсем свихнулся? Скажи, приятель, отчего ты плачешь, что с тобой стряслось?.. Ну я и набитый дурак, это же

оттепель! Снег, вода, Ганси, просто оттепель!» Роман поднимается до фантазмагории — но это не художественный изыск: это фантазмагория реальной жизни, фантазмагория неприкрашенной действительности.

Третья книга трилогии — «Вильма» — это, собственно, растянувшаяся смерть Имро. Война окончилась, ушла, но шейф ее длинен и страшен. Жизнь зализывает раны, что-то ушло навсегда, что-то новое — пришло, так и должно быть, все правильно. Только все это уже без Имро. Имро остался там, на войне. Он вернулся — но его все равно что нет. «Особо недужным я себя не чувствую. Наверно, просто усталый. Бог знает что за усталость, однако усталый... Что, если здесь всякое: и лжи чуть, чтоб было удобней, и слабость, и лень, а чаще страх, страх, что придется некоторым обыкновенным, справедливым и смелым людям в глаза посмотреть?»

А может, Имро — особо соvestливый? Глубже других опугота эпоху?.. Наверно, не нужно искать здесь точной «отгадки», а важно лишь почувствовать: не проходит бесследно для Имро та ночь с повешенным Вассерманом, точнее — кошмарная зима в горах. А еще точнее — вся война. Да разве может война пройти бесследно?!

По мере постижения трагической сути романа, осознаешь, как необходимы Шиккуле — и читателю — авторские отступления: в них дает он выход боли, гнев, любви, которые копятся по ходу рассказа в сердце. Автор не абстрактный рассказчик, а живой, конкретный, со своим голосом, характером: добрый, великодушный, беспощадный, ироничный, вездельный. И даже с биографией: во второй и третьей книгах он уже не просто рассказчик, а действующее лицо, полноправный персонаж — Руденко, мальчишка, солидный и вечно голодный, — рассказчик, вернувший себе детство. И легко узнается «взрослый автор» в этом пацане, метко думающем, сильно чувствующем, с плутоватым (как положено возрасту!) юмором. Биографично ли это? Не важно. Важна точность в передаче детской психологии и неприкрашенность. И любовь — не к себе, а к детству, к детям, чуткое понимание детской души. Музыка детства звучит в книге часто, детям посвящены развернутые эпизоды. Для Шиккулы это принципиально — в мир его детства, в эпоху его детства уходят корни трилогии.

Со страниц книги веет выстраданной правдой. Автору было бы легко сорваться в пафос или мелодраму — если бы не надежный щит: его ирония. Разных оттенков и окрасок, разной степени — но ирония постоянно присутствует в авторской интонации. Ирония и юмор. Даже в самые трагические минуты не покидают они Шиккулу. Не зря Шиккула вспоминает о бурлеске: «Ведь его, этого самого бурлеска, иной раз во как человеку недостает. Бывает, вы раздумываете: что это со мной?! И вдруг осеняет: бог мой, да ведь мне бурлеска недостает. Идете в театр...» Но — «...оказывается, настоящий-то бурлеск сидит в зрительном зале». И бурлеск Шиккулы — именно тот самый, что не развлекает со сцены, а живет среди самих зрите-

лей — в зале, в домах, на улицах, даже и на войне... Надо лишь разглядеть его. В трагическом бурлеске обретает Шикюла высшую свободу: о самом серьезном говорить с юмором.

Много бы еще можно сказать о сложной художественно-смысловой структуре трилогии — но тут материала не на одну статью. Особого внимания достойна и богатая языковая палитра Шикюлы. Немало препятствий, творческих ребусов преподнес Шикюла переводчику: образный, характерный язык, профессионализмы, просторечие, пословицы, шутки-прибаутки, афоризмы, идиомы, сложный синтаксис, многообразные ритмы повествования.

Словацкий роман Шикюлы в русском переводе не утратил национального колорита, аромата. И что самое ценное — переводчику Нине Шульгиной удалось сохранить неповторимую интонацию Шикюлы, обаятельную, достигающую сердца, проникающую в душу, заставляющую понять, принимать и полюбить героев романа такими, какие они есть, а вместе с ними и неутомимого рассказчика, автора, мастера. А ведь по-словацки «шикюла» и означает — умелец!

ВАДИМ КЛИМОВСКИЙ

## ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЭТИЧЕСКУЮ КАНАДУ

Из современной канадской поэзии. Перевод с английского и французского. Составители Р. Дубровкин и И. Кузнецова. Вступительная статья В. Коротича. Москва, «Прогресс», 1981.

У одного из старейших англо-канадских поэтов Эрла Берни есть шутливое стихотворение о Канаде. Канада, по словам поэта, — несмышленный школьник-подросток, чем-то похожий на мать-француженку, чем-то на отца-англичанина и попавший в последнее время под дурное влияние своего дядюшки Сэма. Эту остроумную политическую сатиру можно назвать и своего рода портретом канадской поэзии, которая родилась на скрещении трех поэтических традиций, имеющих многовековую историю, — британской, французской и американской. Долгое время, вплоть до начала XX века, канадские поэты писали, подстраиваясь под европейские литературные каноны, робко имитируя чужие голоса. От этой «подростковой» робости поэзия Канады стала освобождаться в 20—30-е годы, когда свои первые сборники выпустили англоканадцы Э. Дж. Прайт, А. Смит, Ф. Р. Скотт, квебекцы А. Гранбуа, А. Эбер. Именно они были первыми провозвестниками того, что на карте мира возникла новая поэтическая область. Правда, прошло еще несколько десятилетий, пока поэты Канады смогли опровергнуть часто раздававшиеся из Лондона и Парижа упреки в провинциальности канадской музыки. И в начале 60-х к признанным «поэтическим столицам» Нового Света Нью-Йорку и Сан-Франциско добавились еще две — Торонто и Монреаль. Почти двухсотлетняя история канадской поэзии слов-

но повторила путь становления канадского государства, которое из колониальной заморской территории Французской и Британской империй превратилось в самостоятельное федеративное государство.

Немалая заслуга в борьбе за творческую независимость поэтической Канады принадлежит восьми лирикам, чьи стихотворения составили первый сборник канадской поэзии, вышедший на русском языке. Заметим сразу: это не антология, дающая полное представление о современной поэзии Канады. По замыслу составителей, эта книга должна послужить для читателя лишь кратким путеводителем по двум важнейшим магистральям канадской поэзии.

Англоязычная поэзия представлена здесь стихами Э. Дж. Прайта, Э. Берни, Д. Лайвси и Р. Саустера. Прайт — наиболее заметная фигура в канадской поэзии первой половины века. Корни его творчества уходят в английскую поэтическую традицию. Многим поэт был обязан и американской литературе: одно из крупнейших творений Прайта — поэма-эпопея «Капшлот» — написана по мотивам мелвилловского «Моби Дика». С Прайта по сути дела и начинается англоканадская поэзия нашего столетия. Он был первым, кто в своих стихотворных повестях и балладах, воспевавших суровую, но и щедрую землю Канады, воплотил исполненную опасностей и тяжелого труда повседневность канадского народа, грозную экзотику страны безмолвных льдов и снежных пустынь, свинцового моря и мрачных гранитных скал, страны, где

...рыбаки в своем краю суровом,  
Вдали от наших дымных городов,  
Все так же рвут ладони о наматы,  
Как предки их, что под угрозой льдов  
Вели сюда отважные фрегаты...

(«Ньюфаундлендские рыбаки», перевод  
Р. Дубровкина)

Всех наиболее крупных англоязычных поэтов нашего времени — от Ф. Р. Скотта до Э. Парди — можно считать последователями Прайта, по примеру которого они стремились создать поэтическую хроника «земли, чье имя Терра Нова».

Этому стремлению неизменно оставались верны Эрл Берни и Дороти Лайвси<sup>1</sup>, живые классики англоканадской поэзии. Их приход в литературу совпал с тяжелым испытанием, выпавшим на долю канадского народа, — «великой депрессией», которую, как и другие страны капиталистического мира, переживала Канада в первой половине 30-х годов. Поначалу пути Берни и Лайвси в поэзии пересеклись: оба деботировали страстной лирической публицистикой, зримо, с документальной наглядностью запечатлевшей боль и гнев канадских «голодных тридцатых». Этот жгучий интерес к «сиюминутным» проблемам эпохи не иссяк и позже. Но дороги, которые избрал для себя каждый из поэтов, развели их в разные стороны.

В стихах Берни военной и послевоенной поры все настойчивее слышались трагические, скорбные ноты. Человечество «после Хиросимы», мир со злоеде распростертой над ним тенью атомного гриба все чаще вызывал у поэта чувство отчаяния и тре-

<sup>1</sup> См. «ИЛ», 1981, № 10.

воги, а то и холодно-равнодушной иронии. Одиноким человеком в борьбе с немymi, безличными силами природы и общества — таков лейтмотив его лирических раздумий. Неотвратимость крушения человека в этой борьбе — таков нередко вывод его раздумий, впервые с горькой внятностью прозвучавший в поэме-эпегии «Дэвид».

«Художник должен стремиться познать все, даже горе и боль. Он должен быть более восприимчивым к явлениям жизни, чем остальные, видеть дальше и больше, правдиво трактовать окружающую действительность, уметь передать в своих произведениях дух времени. Короче, быть реалистом». Эти слова сказаны Д. Лайси совсем недавно. Но они могут послужить эпиграфом ко всему ее творчеству. Чуждость поэтессы к «горю и боли» не притупилась с десятилетиями. Как не притупилось ее стремление быть не просто свидетелем, но и активным соучастником человеческих страданий и радостей. Поэтому, наверное, в ее взволнованной поэтической летописи XX века самые впечатляющие страницы о голоде 30-х, о слезах задушенной Испанской республики, об апокалипсическом кошмаре Хиросимы, о мужестве патриотов Вьетнама.

Всеотзывчивость поэтической души Лайси не заслонила того главного, что питает ее поэзию. — любовь к родному краю, который, «как сад, вырастает в душу». К «гранитной мудрости» гор. К воздуху прерий, «скрученному спиралью ветра». К земле, пропахшей пылью и дождем.

Умение видеть, слышать, ощущать свою страну, выразить ее неповторимость многие англоязычные поэты послевоенного поколения считали самым ценным качеством «канадского воображения». В середине 50-х девизом большой группы англоязычных поэтов стало кратко, но знаменательное слово — «контакт». Среди тех, кто в эти годы призывал своих собратьев по перу к тесному контакту с канадской жизнью, был и Раймонд Саустер — один из лидеров регионализма. Саустер — типичный «урбанистический» поэт. Это репортер, бытописатель современного канадского города. Излюбленный его жанр — поэтическая «фотография»: портрет уличная сценка, городской пейзаж. Причем фотокамера Саустера обладает магическим свойством: на его «фотографиях» запечатлен не только внешний облик шумной пестрой спешащей улицы, но и высвечено то, что не сразу бросается в глаза среди «тщательно спланированных восторгов цивилизации». «Насквозь фальшивый шик» ослепительных огней рекламы не может скрыть от зоркого взгляда поэта ни продрогшего от зимней стужи старичка газетчика, ни полуголых уличных музыкантов ни бездомного бродягу в подворотне ни усталое бредущих домой клерков... Пристальный интерес к судьбе «маленького человека» жажда злобозвонной социальной темы — это свойство поэтической публицистики Саустера является и отягчительной чертой творчества многих сегодняшних англоязычных поэтов Канады, которые сохраняют прочный контакт с современной действительностью.

Обращаясь к творчеству квебекских поэтов — канадская поэзия на французском

языке создается преимущественно выходцами из провинции Квебек, — словно попадаяешь в другую страну. В этом нет ничего удивительного: накал непримиримой борьбы между двумя культурами Канады не ослабеваеи и сегодня. И по сей день не угас в Квебеке мятежных дух «культурного сепаратизма» — стремления ни в чем не подражать и ни в чем не уступать англоканадцам. Поэты Квебека А. Гранбуа, А. Эбер, Р. Ланье и Р. Жигер, которые представляют в сборнике франкоязычную поэзию, распахивают перед нами двери в мир, совершенно непохожий на тот, что открывают нам их англоязычные соотечественники. Квебекцы, похоже, и не желают оспаривать право англоканадцев на поэтическое освоение окружающей действительности: горизонт многих современных франкоканадских лириков разомкнут вовнутрь, в бескрайнюю бездну собственного «я».

Лишенная привычной — столь обязательной у англоканадцев — опоры на повествовательность, лирика квебекцев становится записью «обнаженного» переживания, потоком «подумсмей, почувствуй», едва соприкасающихся с внешним миром:

Теплые призраки ночи  
Торопят рассвет  
Все быстрее подгоняют  
Незапамятными снегами  
Недозволенными надеждами  
Бедой неотведенной  
Беспомощным кругом  
Гибели бесповоротной  
Несутся фальшивые звуки  
С высоких холмов  
К потерянным горизонтам...

(Перевод В. Орла)

Это строки из стихотворения «Растерзанная столица» одного из крупнейших франкоканадских поэтов Алена Гранбуа. Поэтические образы Гранбуа словно сотканы из бесплотных смутных «грез» — rêves, в которых, как в тусклом зеркале, вспыхивают призрачные отблески реальности. Истоки творчества Гранбуа можно указать с почти безошибочной точностью: загадочные «озарения» Пьера Реверди, гипнотические пророчества Рене Шара. И мрачное исповедничество Анри Мишо, чьи блуждания в лабиринтах «внутренних далей» увлекли и другого квебекца — Ролана Жигера. Правда, и среди квебекцев есть поэты, которые остались совершенно равнодушными к искусству сюрреалистической «алхимии слова». Здесь прежде всего надо назвать Рину Ланье, талантливую хранительницу традиций французской классики. В ее неторопливых медитациях строго выверена каждая словесная конструкция. Пронизанные легкой иронией умозаключения афористически четки. А в парадоксальных образах, где каждое слово всегда неслучайно ясно прослеживается внутренняя логичность их построения:

Бизнес встал на ходули подпрыгнувших  
к небу конто.  
Я пою для слепых переулков в немых  
городах  
Пока небоскребы считают блестящую  
прибыль  
Чтоб сложить ее в столбики окон  
горящих во тьме  
Словно свечки окованной холодом елки  
Дотанувшей веткой до круглой  
монеты луны...

(«Большие города», перевод И. Кузнецовой)

Самое привычное в стихах Ланье становится «незнакомым», преображенным внешне — вспыхивает поэтического прозрения. Так, как это происходит в стихотворении «Ворона зимой», где для хрестоматийного басенного сюжета найден неожиданный ракурс:

Прозорливая птица, она не стремится  
на юг и чернеет в снегах головешкой  
июльского зноя...  
...и она же, в лесу возвестив  
приближение весны,  
тащит в клюве февральское солнце,  
как сыр желтоватый,  
возвращающий жизни соленый,  
утраченный вкус.

(Перевод И. Кузнецовой)

Вот и закончилось короткое путешествие по самой северной стране американского материка. До сих пор у нас было очень немного встреч с канадскими поэтами. Этот сборник углубил наше знакомство с поэтической Канадой. Знакомство, которое должно продолжаться.

ОЛЕГ АЛЯКРИНСКИЙ

*Издано  
за рубежом*

## ЧТО ТАКОЕ АМЕРИКАНСКИЙ ЮГ?

Ben Forkner and Patrick Samway, ed. *Stories of the Modern South*. New York, Penguin Books, 1981.

Рассказы о сегодняшнем Юге. Под ред. Бена Форкнера и Патрика Самуэля. 1981.

Что же все-таки такое американский Юг? Это довольно обширная часть территории США, северная граница которой представляет собой воображаемую линию, протянувшуюся от Балтимора и Вашингтона на востоке до Сент-Луиса (Миссури) на западе. Все штаты, расположенные на карте ниже этой условной границы, включая Мэриленд, Кентукки и Миссури, считаются южными (хотя, строго говоря, их следовало бы именовать юго-восточными). Именно они образовали в 1861 году Конфедерацию южных штатов, что в конечном итоге привело к четырехлетней войне между Севером и Югом. После поражения мятежников в 1865 году в южных штатах долгие десятилетия царил экономический и культурный застой и лишь сравнительно недавно наступил период бурного промышленного развития.

Природа щедро одарила южные штаты. Несмотря на рост промышленности, сельское хозяйство и по сей день остается основой экономики Юга. В некоторых прибрежных районах Южной Каролины в год снимают по два, а то и три урожая

ряда сельскохозяйственных культур. Территорию Юга пересекают не только скоростные магистрали и асфальтированные шоссе, но и проселки. В каждом штате выросли современные большие города, и все же для этой части Америки и по сей день гораздо тише, чем в маленьких городках с населением от пяти до десяти тысяч человек. В этих городках процветают давние патриархальные традиции. Очень многие семьи стараются жить так, как жили прежде на «старом добром Юге». Здесь еще встречаются большие деревянные дома с широкими балконами и верандами. Здесь, как и в былые времена, служанки-негритянки по утрам спешат на работу в дома зажиточных белых горожан. Здесь по воскресеньям принято отдыхать от трудов праведных: церковь по утрам, а днем — визиты к родственникам. Родственные традиции и связи на Юге по-прежнему в почете: хоть раз в год, но члены семьи собираются вместе. Детей воспитывают в твердом убеждении, что семью и карьеру надо строить не на далеком Севере, а дома, на Юге, неподалеку от родителей и дедушек с бабушками. Эти люди с малых лет усвоили, что американский Юг — лучшее место на земле: им и в голову не приходит сравнивать его с другими городами и странами. Отношение к неграм? На Юге гордятся своей терпимостью — вот, мол, и в школах обучение совместное, и это в порядке вещей, правда, черные — это одно, а белые — совсем другое, и судьбы у них разные... Смешанные браки? Для Юга это редкость.

Таков американский Юг, о котором рассказывают двадцать пять новелл, вошедших в рецензируемую антологию; одни из них принадлежат перу известных писателей, (среди них — У. Фолкнер), другие — авторам, сравнительно недавно пришедшим в большую литературу.

Имя Фланнери О'Коннор знакомо советскому читателю по сборнику «Хорошего человека найти не легко», выпущенному издательством «Прогресс» в 1974 году. В «Рассказах о сегодняшнем Юге» опубликована ее новелла «Хорошие деревенские люди» (в русском переводе «Соль земли»). Как, возможно, помнят читавшие этот рассказ, действие происходит на захолустной ферме на Юге, персонажи — миссис Хоупвелл (фамилия, которую можно перевести как «добрая надежда»), ее образованная дочь Джой (что в переводе означает «радость») и молодой торговец Библиями Менли Пойнтер («храбрый пойнтер»). Миссис Хоупвелл пригласила отобедать зашедшего на их ферму Менли Пойнтера, которому Джой назначает на следующий день свидание на сеновале. Джой — калека. В десять лет с ней произошел несчастный случай, в результате которого она потеряла ногу. Встреча заканчивается трагедией. Менли жестоко подшутил над несчастной девушкой: он уносит с собой протез Джой, оставляя ее на сеновале совершенно беспомощную. Можно представить себе отчаяние героини — одинокой страстно жаждущей тепла и понимания, доверчиво устремившейся навстречу обратившему на нее внимание молодому человеку и так зло и бессмысленно им оскорбленной.

Произведения Фланнери О'Коннор критики называли «готическими» за постоянное наличие в них элемента ужаса. В самом деле, есть нечто зловещее в бойком на язык молодом человеке, торгующем Библиями, хотя поначалу ничто в нем не вызывает наших опасений. Но, впрочем, не в нем одно дело. Образный контрапункт новеллы определяется столкновением двух начал: мира неглупой и истосковавшейся по нормальным человеческим отношениям девушки с миром лжи и обмана, воплощенным в образе внешне симпатичного, набожного, «простого парня» Менли Пойнтера.

Само название рассказа «Хорошие деревенские люди» звучит ироническим комментарием к изображенным в нем людям и событиям. Почти никого из персонажей этого рассказа нельзя назвать хорошим: вся жизнь их — сплошная неискренность и притворство.

Фланнери О'Коннор дает этим представителям Юга безжалостно-негативную характеристику, которая подчеркивается сдержанной, скупой на оценки повествовательной манерой писательницы. Она позволяет своим героям выговориться, и за этими высказываниями вырисовывается печальная картина человеческой ущербности — ее не затушевать чувством жалости и сострадания, возникающим у читателя по отношению к Джой, которая не может найти применения своим способностям, интеллектуальным и духовным качествам.

Рассказ Юдоры Узли «Широкая сеть» по своей тональности контрастирует с новеллой Фланнери О'Коннор. Хейза, молодая жена Уильяма Уоллеса Джеймисона, ждет ребенка. После ссоры с мужем она оставляет ему записку, в которой сообщает, что хочет утопиться. Мужимый урызнениями совести, муж боится, что жена и впрямь осуществит задуманное. Вместе с друзьями он устанавливает на реке широкую сеть, чтобы выловить утопленницу... Когда измученный бесплодными поисками Уильям возвращается вечером домой, на кухне его ждет горячий ужин, приготовленный женой, которая целая и невредимая сидит у себя в спальне. Сюжет этого рассказа может показаться бесхитростным и даже наивным, но за незамысловатостью ситуаций вполне отчетливо вырисовывается образ красоты и значительности будничной реальности, единства людей и окружающего их природного мира. Люди понимают и ценят красоту природы, щедро одаривающей их, чему доказательством — удивительно богатый улов рыбы, с которым вернулись домой поставившие широкую сеть Уильям Уоллес и его друзья. Широкая сеть, кстати сказать, в контексте новеллы Узли обретает инскапательное значение, выступая в роли символа той взаимосвязанности — «в одной сети», — в которой находятся все люди и которая, как подчеркивает автор, есть благо, а не проклятие.

Теннесси Уильямс, наверное, не нуждается в особых рекомендациях — он не только прекрасный драматург, но и превосходный новеллист. В «Желтой птичке» он искусно сочетает фантастическое и будничное, повседневное. Рассказ написан

так, что кажется, в нем нет ни одного лишнего слова. Это самое короткое произведение в антологии. «Желтая птичка» посвящена судьбе дочери властного и фанатичного провинциального священника, которой надоело жить по родительской указке. Она восстает против отцовского деспотизма, совершая побег из родного дома, — Альма отправляется в Новый Орлеан, где становится проституткой. При всей внешней фабульной простоте, эта новелла не поддается однозначному истолкованию — впрочем, сложная простота как раз и составляет отличительную особенность новеллы как литературного жанра. Откровенно фантастическая развязка словно предостерегает читателя не принимать слишком всерьез то, о чем в новелле говорится «открытым текстом». Но, с другой стороны, было бы столь же ошибочно перегружать символическими толкованиями эту новеллу, заглядывающую в потаенные уголки внутреннего мира человека, с тем чтобы прежде всего доставить эстетическое удовольствие читателю.

Новелла Эрнеста Гейнса интересна прежде всего потому, что это единственный рассказ в сборнике, принадлежащий американскому писателю-негру. По своей повествовательной манере она напомнила мне русский сказ («Очарованный странник», «Запечатленный ангел» Лескова, новеллы Даля и Зоценко). Это волнующий рассказ о трудной жизни негритянского населения штата Луизиана в 40-х годах нашего столетия, когда неграм разрешалось ездить лишь в специально отведенной задней части автобуса и посещать рестораны «только для черных» в негритянских кварталах на окраине. Тем не менее новелла Эрнеста Гейнса проникнута юмором и подлинной теплотой. Сюжет рассказа прост. Маленький Джеймс — сын солдата — отправляется с матерью в больницу, где ему должны вырвать зуб. Они ждут очереди в приемной среди таких же, как и они сами, чернокожих, из разговоров которых читатель узнает, насколько богат и разнообразен их внутренний мир. Негры, утверждает автор, по своим душевным качествам и умственным способностям ничем не отличаются от их белых соотечественников, они общительны и радушны, отзывчивы и смешливы. Умерлое использование ритмов и интонаций народной устной речи на протяжении всей новеллы, задуманной как рассказ от первого лица — монолог юного героя, — позволяет назвать эту новеллу несомненной художественной удачей.

Хочется надеяться, что даже краткий обзор лишь нескольких из двадцати пяти представленных в сборнике рассказов все же дает достаточно верное представление и о том, что такое современный американский Юг, и о том, как пишут о нем писатели-южане — и признанные мастера, и те, к кому пока не пришел громкий успех. Эти рассказы, собранные под одной обложкой, свидетельствуют как о богатстве и разнообразии прозы американского Юга, так и о хорошем знании материала и литературном вкусе составителей.

г. Гринсборо

ИОАКИМ Т. БЭР



# Советская литература за рубежом.

## ДАНИЯ

Роман НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО «Рожденные бурей». Издательство «Арбайдерфорлагет».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Гюльдендаль».

## ИТАЛИЯ

Сборник стихов СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА. Издательство «Гарзанти».

Книга для детей АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Издательство «Стампа альтернатива».

## МЕКСИКА

«Ромен Роллан. Биография» ТАМАРЫ МОТЫЛЕВОЙ. Издательство «Нуэстро тьемпо».

## НИДЕРЛАНДЫ

Повесть МАКСИМА ГОРЬКОГО «Детство». Издательство «Спектрум».

Книга МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ под названием «Воспоминания и портреты». Издательство «Арбайдерсперс».

## ПОЛЬША

Стихи СЕМЕНА ДАНИЛОВА. Издательство «ПИВ».

Роман ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «Переходим к любви». Издательство «Выдавнитство любельски».

Роман ИРИНЫ ГУРО «Песочные часы». Издательство «КИВ».

Повесть БОРИСА ПОЛЕВОГО «Анюта». Издательство «Ксёнжка и ведза».

## ФИНЛЯНДИЯ

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Навски — девятнадцатилетние». Издательство «Тамми».

Повесть ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Перевал». Издательство «Вернер Сёдерстрём».

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дальше века длится день». Издательство «Кансанкульттуури».

Роман ВЛАДИМИРА ОРЛОВА «Альтист Данилов». Издательство «Вернер Сёдерстрём».

## ФРАНЦИЯ

Повесть АНАТОЛИЯ АЛЕКСИНА «Очень страшная история». Издательство «Фарандоль».

Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Картина». Издательство «Тап актюэль».

Роман ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ягодные места». Издательство «Плон».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Жук в муравейнике». Издательство «Флёв нуар».

## ФРГ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Первый учитель». Издательство «Вайсман».

Роман МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита». Издательство «Дойчер ташенбух-ферлаг».

Пьеса МАКСИМА ГОРЬКОГО «Мещане». Издательство «Ферлаг дер ауторен».

Повесть МАРИИ ПРИЛЕЖАЕВОЙ «Зеленая ветка мая». Издательство «Парабель-ферлаг».

Роман ВЛАДИМИРА САВЧЕНКО «Открытие себя». Издательство «Гольдман».

Книга ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО «Зоо. Письма не о любви, или Третья Элоиза». Издательство «Зуркамп».

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«Блокадная книга» АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА и ДАНИИЛА ГРАНИНА. Издательство «Лидове накладателстви».

Поэма ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО «Владимир Ильич Ленин». Издательство «Словенски списователь».

Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Прощание с Матёрой». Издательство «Смена».

Повесть АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Выстрел». Издательство «Младе лета».

Повесть КОНСТАНТИНА ФЕДИНА «Трансвааль». Издательство «Лидове накладателстви».

Роман АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО «Победа». Издательство «Лидове накладателстви».

Киноповесть ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Калина красная». Издательство «Татран».

# Из месяца в месяц

## АВСТРИЯ

### НОВАЯ ПЬЕСА ТОМАСА БЕРНГАРДА

«Горные вершины спят во тьме ночной» — так называется новая пьеса известного австрийского драматурга, постановку которой осуществил Бохумский театр. Уже в заглавии, представляющем собой строки известного стихотворения Гёте, чувствуется ирония автора по отношению к главному герою, писателю Морицу Майстеру, «играющему традиционную роль немецкого короля поэтов», — пишет рецензент журнала «Шпигель» Хельмут Каразек.

Пьеса имеет подзаголовок: «Один день из жизни немецкого поэта в 1980 году». Вот как выглядит этот день по Бернгарду. С утра Майстер занимается своим хобби — пчелами, а его жена тем временем восторженно рассказывает о своем супруге приезжей диссертантке, исследовательнице его творчества. Приезжает корреспондент газеты, которая собирается печатать о нем статью, затем издатель, которому Майстер должен отдать последний том своей тетралогии. Вечером автор читает гостям вслух отрывки из нее. «Остается неясным, аплодируют ли они от восторга или от того, что чтение кончилось», — иронически замечает рецензент.

Таким образом перед нами на первый взгляд всего лишь насмешка, довольно добродушная, над литературными нравами, налаженной культурной индустрией, «над поэтическими чтениями, академическими премиями и королями поэтов», над издателями, которые говорят о литературе, но при этом не расстаются с карманным микрокалькулятором, подсчитывая выгоду, над литературоведами и критиками с их учеными теориями. За многими персонажами угадываются реальные лица, а в фигуре писателя есть даже что-то автобиографическое. (Как известно, сам Бернгард завершил недавно автобиографическую тетралогию. См. об этом «ИЛ», 1982, № 8).

«Но при всем этом, — замечает Хельмут Каразек, — пьеса Томаса Бернгарда — нечто гораздо большее чем просто добродушная пародия». Потому что за внешним фасадом благополучия, которое старательно оберегает тщеславный герой пьесы, за восхищением жены, «которая обращается с ним как с памятником», «снова злит пустота, наполненная паническим ужасом».

Бернгард не впервые обращается к теме искусства, «которое, как Молох, пожирает жизнь». Мориц Майстер — в каком-то смысле тоже жертва этого Молоха. Слава пришла к нему слишком поздно, и нынешнее его тщеславие, бесконечные напыщенные разговоры об искусстве — своего рода защитная реакция, прикрывающая скудость реальной жизни, которая мучает Майстера.

Да и восторги жены не просто комичны. Когда-то она пожертвовала ради мужа карьерой пианистки — кроме этих восторгов, у нее ничего в жизни не осталось. Потому оба и держатся за видимость благополучия, что сознают его ненадежность. Майстеру удалось «войти в колею культурной промышленности»,

но это зависело не столько от его заслуг, сколько от способности и приспособленчеству. Играть роль «короля поэтов», он на деле зависит от издателя и потому заискивает перед ним.

Антрам Буре, исполняющему роль Майстера, и Аннелизе Рёмер, играющей его жену, хорошо удалось показать эту двойственность и неуверенность своих героев. Рецензент высоко оценивает работы и других актеров.

## БОЛГАРИЯ

### ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ДИМИТРА МЕТОДИЕВА

«В жизни и поэтическом творчестве для Димитра Методиева коммунистические идеалы — всегда высокая цель и высшее мерило всех жизненных явлений. Общественное звучание — органичное свойство его поэзии. На его стихи создаются кантаты и симфонические произведения, песни, исполненные гражданского пафоса».

На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Шпигель»)



са, и песни лирические, которые доходят до сердец тысяч людей. За свое искреннее, эмоциональное и яркое творчество Димитр Методиев получает щедрую награду — любовь народа», — пишет газета «Работническо дело», сообщая о юбилейном вечере, состоявшемся на родине поэта в городе Белово. Здесь был зачитан указ о присуждении ему звания Героя Социалистического Труда.

Критик и публицист Веселин Иосифов отметил в статье, посвященной юбиляру: «Книги Методиева — подлинная энциклопедия эпохи, которую с восторгом читают его современники и также будут читать его потомки».

## ВЕНГРИЯ

### «КАПЛЯ РОСЫ»

Венгерские кинематографисты обратились к роману известного венгерского писателя Эмиля Коложвари-Грандпьера «Капля росы», сняв для телевизионного экрана фильм по мотивам этого произведения.

Обвинение мещанского, обывательского образа жизни — тема многих произведений Коложвари-Грандпьера. По свидетельству венгерской печати, особо удачное и интересное решение нашла она в романе «Капля росы».

Тонкий психолог, Коложвари-Грандпьер показывает, что такое мещанская психология, как она проявляется в повседневной жизни, в отношениях между близкими людьми. Он внутри одной семьи показывает, как проявляются характеры по отношению к старой матери Франциске, роль которой в фильме с большой достоверностью сыграла заслуженная артистка ВНР Бланка

На снимке: Бланка Печи в роли Франциски в фильме «Капля росы».



Печи, создав образ мягкой, деликатной, сдержанной, с большим чувством собственного достоинства женщины. Франциска вырастила детей, поставила их на ноги, но, оставшись после смерти мужа одна, теперь сама нуждается в их помощи. Однако жизнь ее детей проходит в постоянных заботах: что-то «достать», «приобрести», и у них нет времени для матери.

Фильм, как и роман, выявляет гуманность подлинную и мнимую. Он создает образ матери, присутствие которой в жизни, по словам одного из рецензентов, «ощущается как тепло очага».

## ВЬЕТНАМ

### ХУДОЖНИКУ НГУЕН ФАН ТЯНЮ — 90 ЛЕТ

Исполнилось 90 лет старейшему вьетнамскому художнику Нгуен Фан Тяню, чьи первые шаги на поприще изобразительного искусства были сделаны еще в первые десятилетия нашего столетия.

Нгуен Фан Тянь стал основоположником новой вьетнамской живописи на шелке, в которой старая технология и некоторые традиционные формальные черты стали сочетаться с новой тематикой и особо эмоциональной подачей образов. Его картины, отмеченные яркой самобытностью и национальным своеобразием, стали сенсацией на Международной выставке в Париже в 1931 году.

За более чем полувековой период художник создал много картин, вошедших в золотой фонд нацио-

нального искусства Вьетнама, и среди них такие его работы: «Игра детей в камушки», «Уличный певец», «Материнская любовь», «Крестьянка после работы». Произведения Нгуен Фан Тяня экспонировались на выставках во многих странах мира, в том числе в Советском Союзе.

### ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исполнилось 25 лет Ханойскому издательству «Ван хоа» («Культура»), специализирующемуся на выпуске литературы по проблемам искусства, а также различной изопродукции. Общий тираж изданий за эти годы составил более 200 миллионов экземпляров.

Подготовленный издательством альбом «Вьетнамский лубок» был удостоен наград международных книжных выставок в Советском Союзе и ГДР.

Среди новинок издательства — книги «Леонардо да Винчи», «Моцарт», вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей», «История мирового киноискусства», «Образ Ленина в советском кино».

## ГДР

### ТРЕТИЙ РОМАН РЕРИХТА

Издательство «Дер морген» выпустило новый роман Карла Германа Рерихта «Легкие годы в лесу». Это — завершающая часть трилогии (о первом романе «Детство в предместье» см. «ИЛ», 1979, № 10, о втором романе «Обед в большом городе» — 1981, № 3).

Главный герой, художник Вальдемар Ландман, после долгих странствий возвращается на родину и поселяется в лесном доме. Только здесь, на родной почве, он обретает свое истинное «я».

Трилогия Карла Германа Рерихта носит явно автобиографические черты. Последнюю часть трилогии Рерихт посвятил своим детям. «Я отношусь к тем людям, которые могут писать только о том, что они сами пережили, хотя мои произведения и нельзя назвать мемуарами», — говорит о себе сам писатель.

Рассказывая о своем герое Вальдемар Ландмане, о сложных перипетиях его жизни, Рерихт много внимания уделяет миру «маленьких людей», их судьбам, их проблемам. Любовь к людям и к природе находит отражение и в его картинах, хорошо известных в Германской Демократической Республике. В творчестве Рерихта тесно переплелись искусство художника и искусство писателя.

«Рёрихт пишет о сложностях жизни, он много размышляет об искусстве и о связях его с жизнью», — отмечает газета «Берлинер цайтунг».

«Романы Рёрихта о художнике Вальдемаре Ландмане займут свое место в нашей литературе», — пишет Клаус Вальтер в журнале «Нойе дойче литератур».

## ТРУД ПОЭТА-ПЕРЕВОДЧИКА

Согласно древнегреческой легенде дельфин спас певца Ариона, перенес его на спине через бурный поток. «Как я служил «дельфином» — так озаглавил свою книгу избранных поэтических переводов один из наиболее известных писателей ГДР Пауль Винс (1922—1982). Сборник должен был выйти в ознаменование 60-летия со дня рождения автора — и вышел посмертно: Пауль Винс несколько месяцев не дожидаясь своего юбилея.

Памятная дата была широко освещена в печати ГДР. Авторы статей, посвященных П. Винсу, говорили о разносторонних творческих заслугах поэта, прозаика, публициста, автора киносценариев и вместе с тем о его выдающихся человеческих качествах, снискавших ему симпатии и уважение соотечественников по профессии, о живом гражданском темпераменте, широте политического кругозора, общительности, отзывчивости.

Пауль Винс привлек внимание в гуще общественной жизни страны — он был вице-президентом Культурбунда, в последний год своей деятельности был главным редактором журнала «Зинн унд форм». Много раз он представлял ГДР на международных писательских встречах. Пауль Винс владел несколькими иностранными языками, в том числе русским, которому научился в годы ранней юности у советских пленников, товарищей по заключению в гитлеровском концлагере. Работа переводчика поэзии отвечала не только складу таланта Винса, но и его мироощущению как писателя-интернационалиста.

В сборник «Как я служил «дельфином», вышедший в издательстве «Фольк унд вельт», включены переводы произведений 79 поэтов из 21 страны. Много места уделено советской поэзии. Здесь представлены стихи А. Блока, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Баянана, В. Брюсова, А. Твардовского, Е. Долматовского, Е. Евтушенко, В. Князева, П. Когана, Л. Мартынова, Б. Слуцкого, М. Турсун-заде, С. Чикова, С. Щипачева.

Пауль Винс неоднократно переводил стихи Л. Арагона, Г. Аполлинера, Р. Дессо, Назыма Хикмета, Паб-



На снимке: рабочий момент съемок. Режиссер фильма Лотар Беллаг с исполнителем главной роли Эрвином Гешоннеком.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ло Неруды, Л. Новомеского, У. Лоуэнфелса, И. Сарайлича и ряда других поэтов. Сборник, взятый в целом, — представительная антология поэзии XX века, одушевленной идеями борьбы за мир, демократию, социализм.

## «ЧЕЛОВЕК С «КАП АРКОНЫ»

Так называется новый телевизионный фильм, созданный режиссером Лотаром Беллагом. Главную роль — актера Эрвина Грегорена — исполняет известный актер Эрвин Гешоннек. Сходство имен не случайно — фильм во многом связан с биографией Гешоннека. «Кап Аркона» — корабль, потопленный 3 мая 1945 года. На его борту находились узники фашистского концентрационного лагеря в Нойенгамме. Погибло более 4000 человек. Среди немногих спасшихся был и Эрвин Гешоннек.

...В Гамбурге, куда приезжает актер Эрвин Грегорек, должен сниматься фильм о трагической гибели «Кап Арконы». Но Грегорек видит, что страшную правду стараются смягчить, а иногда и исказить, что фашистских преступников, виновных в преступлениях, не хотят судить по всей строгости закона ни в жизни, ни на экране, что фильм, задуманный как разоблачительный, теряет свою политическую остроту в угоду коммерческим интересам кинематографической фирмы. Грегорек отказывается от участия в нем...

Лотар Беллаг совместно со сценаристом Германом Херлингхаузом и оператором Вернером Бергманом создали очень сильный фильм в фильме, — пишет

рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Сочетание документальности с художественным вымыслом, блестящее исполнение главной роли Эрвином Гешоннеком, который сам был участником трагических событий, способствуют тому, что фильм потрясает и вызывает глубокие раздумья».

## ИНДИЯ

### РАССКАЗЫВАЕТ ВЕТЕРАН

Культурная жизнь Индии последних лет отмечена ростом интереса к театру и небывалой активностью драматических коллективов по всей Индии, многие из которых входят в состав Ассоциации прогрессивных театров Индии (АПТИ).

Чтобы понять причины «театральной бума» в Индии, исследователи — искусствоведы и журналисты — обращаются к тем, теперь уже далеким временам, когда АПТИ еще только появилась на свет. В этой связи не может не привлечь внимание интервью с ветераном АПТИ — известным поэтом и драматургом урду Кайфи Азми, опубликованное на страницах газеты «Джан юг». «Вновь взывается знамя АПТИ!» — такой заголовок дала газета этому интервью.

Отвечая на вопросы корреспондента, К. Азми отметил, что зарождение АПТИ относится к 1942 году, когда пылало пламя второй мировой войны. Несмотря на свою немногочисленность, АПТИ в те годы проделала огромную работу по пробуждению в массах интереса к сценическому искусству, и ее усилия не пропали

даром, они дали свои плоды. В одном лишь Бомбее ныне действует большой отряд активистов АПТИ, в числе которых многие известные артисты индийского кино: Амоль Палекар, Санджив Кумар, дочь поэта — Шабана Азми и другие. Однако пальму первенства, по мнению К. Азми, следует отдать филиалу АПТИ, действующему в штате Бихар, где драматические коллективы АПТИ, как выразился поэт, «несут свой свет не только в городские переулки, но и в бескрайний простор полей».

В современных условиях, считает К. Азми, следует активизировать деятельность АПТИ, чтобы эта организация стала ведущей силой формирующегося театра Индии.

## В БОРЬБЕ ЗА УМЫ И СЕРДЦА

Национальная Федерация прогрессивных писателей Индии (НФППИ), созданная в 1975 году и объединяющая творческие ассоциации прогрессивных писателей многих штатов страны, в городе Альваре (штат Раджастхан) созвала очередную ежегодную конференцию прогрессивных писателей штата. В работе конференции наряду с местными литераторами приняли участие многочисленные гости, в том числе выдающийся поэт и прозаик литературы хинди, ветеран движения прогрессивных писателей Нагарджуна.

Открывая конференцию, председатель Ассоциации прогрессивных писателей Раджастхана — известная поэтесса и собирательница фольклора Лакшмикумари Чундават в своем вступительном слове говорила об ответственности писателя перед обществом.

Многие участники конференции отмечали, что писатели должны больше внимания уделять изображению жизни угнетенных и эксплуатируемых классов, отражать их нужды, надежды и чаяния.

Для делегатов и гостей конференции была организована традиционная мушайра (состязание поэтов).

В стране, где еще очень невысокий уровень грамотности (согласно переписи 1981 года, он составляет немногим более 36%), мушайра издавна является испытанным и надежным средством приобщения масс к поэтическому слову. Ныне мушайра, однако, не единственное средство, позволяющее прогрессивным писателям общаться с народом. Руководство НФППИ в последнее время все шире практикует проведение в различных городах Индии вечеров и симпозиумов, посвященных творчеству выдающихся представителей передовой литературы. Так, Ассоциация прогрессивных писателей Мадхья-Прадеш, одного из крупнейших штатов Индии, организовала во многих городах серию симпозиумов,

на которых критики, писатели и общественные деятели штата знакомили слушателей с жизнью и творчеством наиболее видных прозаиков и поэтов, представляющих прогрессивное крыло литературы хинди: Нагарджуна, Бхишма Сахни, Харишанкара Парсаи и ряда других. Такие симпозиумы вызывают большой интерес и пользуются неизменным успехом у слушателей.

## ИНДОНЕЗИЯ

### ПИСАТЕЛЬ, АКТЕР, РЕЖИССЕР...

Известный индонезийский прозаик Путу Виджайя окончил в 60-х годах Академию театрального искусства и кинематографии в Джакарте. Его первое произведение, созданное им еще в студенческие годы («Когда сгущается тьма», опубликованное на русском языке), было написано в специфическом индонезийском жанре повести-пьесы. С тех пор Путу Виджайя, много и продуктивно работая в области литературы, не расстается с театром. В 1967 году он играет в труппе Театра-студии, возглавляемого крупнейшим индонезийским поэтом и режиссером В. С. Рендрой, а в 1970 году организует собственный Независимый театр, где ставит, в частности, свои пьесы, в которых обличает общественные пороки современной Индонезии.

Недавно Путу Виджайя дал интервью корреспон-

денту малайзийского журнала «Деван састра», в котором говорил о важных проблемах, стоящих перед индонезийским театром, и прежде всего о проблеме зрителя, еще плохо воспринимающего современную театральную форму. «У нас есть уже режиссеры и актеры, которые, не жалея труда, создают хорошие спектакли, — говорит он. — Но пьеса, которая готовится к постановке три или четыре месяца, выдерживает от силы пять представлений». Одну пьесу, по словам Путу Виджайя, смотрит в Индонезии в общей сложности максимум пять тысяч зрителей. Стремясь популяризировать свое творчество, Путу Виджайя нередко выступает с чтением своих рассказов.

## ИТАЛИЯ

### ИНТЕРВЬЮ ФЕЛЛИНИ

Известный итальянский кинорежиссер Федерико Феллини приступил к работе над новым фильмом «А корабль плывет...». В интервью корреспонденту американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн» Феллини, в частности, сказал:

— Манья нашего времени — жажда информации. Каждый постоянно ждет известий. Вот вы, например, ждете сейчас, что снажу я, а я хотел бы знать, что получится из моего фильма. Это неумное желание знать будущее — тема моего филь-

На снимке: Путу Виджайя во время выступления в культурном центре в Джакарте.

(Журнал «Деван састра»)







«Единственной великой актрисой итальянского кино 30-х годов» назвала газета «Паззе сера» недавно умершую выдающуюся актрису итальянского кинематографа Изу Миранду. Дочь трамвайчика прошла нелегкий путь от разносчицы до кинозвезды.

Актриса из народа, воплотившая чаяния простых итальянцев на экране, быстро завоевала зрительские сердца. Иза Миранда много снималась в неореалистических фильмах. Подлинным триумфом для актрисы стал фильм «У стен Малапаги» Рене Клемана, который в свое время с большим успехом прошел на советских экранах. Как отмечает газета «Унита», созданные ею образы поражали народностью и благородством. Кончина Изы Миранды — большая потеря для итальянского киноискусства.

На снимке: Иза Миранда в фильме «У стен Малапаги».

(Газета «Унита»)

ма, сценарий которого я написал с Тонино Гуэррой. Я воплотил эту идею в истории путешествия, в современной Одиссее.

Роскошное судно «Глория Н», название которого зритель может толковать по-разному — например, считать, что «Н» означает «ничто», — отправляется в путь в день убийства эрцгерцога Фердинанда, в день, ставший «отправной точкой» первой мировой войны. Но фильм не о войне, не о катастрофе, хотя этот исторический момент и может быть назван «концом света».

Пассажиры «Глории Н» — политики, литераторы, художники, представители прессы... Меня спрашивают: «Не Ноев ли это ковчег?». Нет, это не убежище, пассажирам не избежать последствий ужасной бойни в Европе. А пока они слушают сообщения, спорят, размышляют о том, что несет война им, всей цивилизации. Они уверены, что понимают происходящее, но на самом деле они — жертвы потока сомнительной информации. Сообщения и слухи, которые ходят на самом корабле, искажаются каждым новым «пелелатчином», интерпретатором...

Феллини собирается использовать в фильме музыку Верди, Чайковского и Нино Рота. Режиссер высказывает озабоченность состоянием современного кино, залившем коммерческого кинематографа. «Качество почти исчезло», — утверждает он.

После завершения работы над фильмом «А корабль плывет...» Феллини собирается сделать пятисерийную ленту для телевидения о преступности в Риме.

## КАНАДА

### РАССКАЗЫ МАРГАРЕТ ЭТВУД

Нью-Йоркское издательство «Саймон энд Шустер» выпустило сборник «Танцующие девушки», куда вошли четырнадцать рассказов известной канадской писательницы Маргарет Этвуд (советскому читателю известен ее роман «Лакомый кусочек» — Л., «Худ. литература», 1981).

Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» поместил рецензию Энн Тайлер, которая дает высокую оценку художественному мастерству Этвуд. «В творческом почерке Этвуд-прозаика, — пишет, в частности, Э. Тайлер, — отчетливо угадывается школа Этвуд-поэтессы: ее стиль прозрачен и отточен, чувствуется, что каждую фразу она строит, тщательно отбирая нужные, наиболее точные слова».

Главная тема творчества Этвуд — прозаика и поэтессы — психология «среднего» человека в современном буржуазном обществе, сложные взаимоотношения «трудных» темпераментов, приобретающие порой форму острых психологических коллизий. Один из вошедших в новый сборник рассказов, «Полные противоположности», как отмечает Э. Тайлер, становится своеобразным символом художественного мира Этвуд, где «полные противоположности» судеб и характеров определяют, как правило, структуру и развитие сюжета. Большинство рассказов сборни-

ка, заключает Э. Тайлер, с реалистической убедительностью воссоздают простую и драматическую повседневность обывательской жизни. Новая книга Этвуд еще раз подтвердила не раз высказывающиеся о ней в критике суждения как об одном из крупнейших мастеров современной канадской литературы.

## КОЛУМБИЯ

### ГАРСИА МАРКЕС: «ПИШУ ДЛИННУЮ ЛЮБОВНУЮ ИСТОРИЮ»

Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес стал четвертым в Латинской Америке лауреатом Нобелевской премии по литературе. Его предшественники — поэтесса Габриэла Мистраль (1945 г., Чили), романист Мигель Анхель Астуриас (1967 г., Гватемала), поэт Пабло Неруда (1971 г., Чили). «У меня создалось впечатление, — сказал Гарсиа Маркес корреспонденту американского журнала «Ньюсуик», — что, присуждая мне премию, Шведская академия отдала дань уважения литературе всего субконтинента».

По мнению известного мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса, «Гарсиа Маркес восприсил и наш язык, и наши мифы». Отмечая заслуги писателя перед литературой субконтинента, Мексика удостоила его высшей награды для иностранцев — орденом Ацтекского орла.

Литературная карьера Гарсиа Маркеса началась в 1948 году — в течение двух десятилетий он был корреспондентом в Гаване, Нью-Йорке и многих европейских столицах. Сегодня он ведет еженедельную колонку в крупнейшей либеральной газете Боготы «Эль Эспектадор» и в ежедневной испанской газете «Эль Паис». «Я занимаюсь журналистикой, чтобы информировать простого читателя, а не всезнающую интеллигенцию, — рассказывал писатель в своем интервью журналу «Ньюсуик». — Журналистика привлекала меня всегда. Она помогает мне не терять контакта с реальностью».

— Шесть лет назад вы заявили, что пока Пиночет останется у власти, не будет ничего публиковать, и все же выпустили повесть. (См. «ИЛ», 1981. № 12). Что заставило вас изменить решение?

— Я не думал, что Пиночет продержится так долго... Я понял, что мое решение больше на руку ему, чем мне... Возвращение и творчеству было самым правильным политическим решением.

— У вас было множество предложений снять фильм по роману «Сто лет одиночества» (см. «ИЛ», 1970,

№ 6—8). Почему вы их отвергали?

— Из всех моих книг именно эту книгу я хотел бы видеть только литературным произведением. У читателей свои представления о персонажах романа... И мне хотелось бы, чтобы они продолжали воображать себе моих героев: благодаря этому книга живет и обретает связь с реальностью.

— Ваша жена утверждает, что вы любите слушать музыку?

— Я люблю народную музыку северной Колумбии, где я родился, музыку всего Карибского региона. Из классиков — композиторов романтиков, но главный для меня — Бетховен.

— Мексиканская пресса сообщала, что вас грозились убить, правда ли это?

— Да... Мексиканское правительство приняло решение дать мне охрану, но я не могу жить в постоянном присутствии шести солдат. И сейчас, вскоре в Колумбии сменилось правительство. Весной я собираюсь вернуться на родину.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Я пишу длинную любовную историю. Обычно в романах с любящими всегда случается что-то ужасное. А у меня все будет прекрасно. Герои абсолютно счастливы. Мне кажется, что счастье вышло из моды. Я стараюсь вернуть это чувство и посмотреть, не сделает ли оно нашу жизнь более человеческой.

## КУБА

### ПЕРЕПИСКА «ЛЕГЕНДАРНОГО ПАБЛО»

В гаванском издательстве «Летрас Кубанас» вышел том переписки «легендарного Пабло» — писателя, общественного деятеля, борца-антифашиста Пабло де ла Торренте Брау. Участник борьбы против диктатуры на Кубе, автор шумевшей книги политических памфлетов «Образцовая тюрьма», основатель прогрессивной газеты «Френте Унико», П. де ла Торренте Брау в 1936 году поехал в Испанию в качестве военного корреспондента и комиссара республиканской армии и героически погиб. Ему посвящены стихи выдающегося испанского поэта Мигеля Эрнандеса, адресованы десятки писем крупнейших писателей, журналистов, общественных деятелей. Публикация переписки Пабло де ла Торренте Брау позволяет оживить в памяти эту знаменательную эпоху, отдать дань уважения его героям и лучше понять многогранную личность кубинского писателя-революционера, пишет журнал «Каса де лас Америкас».

## МАВРИТАНИЯ

### «ЭХО ПЕСКОВ»

Как сообщает алжирская пресса, мавританское издательство «Дар аль-Бахыс» опубликовало книгу поэта Ахмеда Ульд Абдельнадера под названием «Эхо песков».

Книга представляет собой изложенную в стихах многовековую историю Мавритании и населяющих ее племен.

## НИКАРАГУА

### ПЛАНЫ НОВОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

По сообщению журнала «Каса де лас Америкас» в Никарагуа открылось новое издательство, которое возглавил известный исследователь и публицист Роберто Диас Кастильо, эмигрировавший из Гватемалы. «Нуэва Никарагуа» — так называется издательство — целиком и полностью посвятит свою работу делу просвещения и культурного роста населения страны. Достаточно перечислить названия первых изданий, чтобы представить себе круг задач, стоящих перед «Нуэва Никарагуа». Произведения прогрессивных писателей, очерки героической истории страны, классика и сегодняшний день никарагуанской литературы — вот далеко не полный перечень того, что увидело или вскоре увидит свет в «Нуэва Никарагуа». Уже сейчас издательство может по праву гордиться такими книгами, как сборник речей и высказываний Аугусто Сесара Сандино, стихи и поэмы крупнейшего никарагуанского поэта Эрнесто Карденала, антология никарагуанского рассказа.

В плане издательства — создание серии «Народная библиотека всемирной культуры», куда войдут произведения Гомера, Сервантеса, Шенспири, Толстого, Томаса Манна и другие. Кроме того, конечно, планы «Нуэва Никарагуа» включают издания современной латиноамериканской литературы. Так, вскоре будут выпущены романы Габриэля Гарсиа Маркеса и стихи Хуаконды Белли.

## НОРВЕГИЯ

### КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ РОМАН

Одно из самых крупных в Норвегии издательств — «Гюльдендаль» — объявило конкурс на лучший роман. Цель конкурса — «стать стимулом для дальнейшего развития норвежской художественной прозы». По-

добные конкурсы проходили и ранее. В 1931 году победителем стал Сигурд Кристиансен, получивший первую премию за остро сюжетный роман «Двое живых и один мертвый». Вторую премию получил Сигурд Хель — писатель, широко известный в Советском Союзе, за роман «День в охотбре». В 1962 году первую премию получил Финн Альнес за психологический роман «Юлосс», а в 1976 году на конкурсе детектива завоевал первое место антифашистский роман «Железный крест» Юна Мишлета, в котором выражается резкий протест против неонацизма.

Издательство получило 130 рукописей. Лучшими были признаны три романа: «Эхо старой усадьбы» старейшего писателя, выходящего из рабочей среды Нильса Юхана Рюда, где «частная жизнь предстает в неразрывной связи с событиями истории»; «Горящие мосты» Кая Скагена — остросоциальный роман о проблемах современной молодежи и «Тегга гоха» Юна Мишлета — о работе шведского врача в Бразилии; в нем писатель стремился рассказать о борьбе человека за лучший мир.

Всем трем романам была единодушно присуждена 1-я премия (2-е и 3-е места остались неза занятыми). Получили положительную оценку и многие произведения, не удостоенные премии. Лучшие из них будут опубликованы вслед за романами, занявшими первое место. Жюри отметило жизнеспособность норвежской прозы, широту ее тематики и высокий художественный уровень.

## ПОЛЬША

### ЮБИЛЕЙ ВАНДЫ ЯКУБОВСКОЙ

Первый секретарь ЦК ПОРП Войцех Ярузельский в связи с 75-летием старейшего мастера кино Ванды Якубовской прислал ей поздравление, в котором отмечается ее огромный вклад в создание отечественной кинематографии.

Первые работы Ванды Якубовской относятся к началу 30-х годов. В 1939 году она приступила к экранизации романа Элизы Ожешко «Над Неманом», но пленка этой картины сгорела в осажденной Варшаве.

Фильмом, принесшим ей всемирную славу, стал «Последний этап» (1948); он демонстрировался более чем в шестидесяти странах и был первым польским фильмом, вышедшим на мировой экран. С успехом он шел и в Советском Союзе.

Картина посвящена узникам Освенцима, через ужасы которого прошла и сама Ванда Якубовская. Глубоко гуманистическое произведение, «Последний этап» пона-



Польское телевидение показало спектакль по драме Зыгмунта Красиньского «Небожественная комедия», относящейся к числу лучших произведений польского романтизма. Одну из ролей с успехом сыграла талантливая актриса Анна Дымна (на фото).

(Газета «Трибуна людей»)

зывает не только зверства фашизма, но и силу человеческого духа, человеческую солидарность в кошмарных условиях лагеря смерти. Многие сцены сняты с такой достоверностью, что приобрели силу подлинного исторического документа.

В создании фильма принимала участие как соавтор сценария немка Герда Шнайдер, тоже бывшая узница Освенцима, и советский оператор Борис Монастырский. Фильм был удостоен многих

## РУМЫНИЯ

Известный румынский критик Д. И. Сукьяну высоко оценил успех актрисы Аделы Мэркулеску, исполнительницы главной роли в новом фильме режиссера Г. Турку «Кто любит и бросает...».

«Будни» героини фильма, редакционного работника женского журнала, превращаются в подлинное служение людям, нуждающимся в помощи и поддержке. Как отмечает рецензент «Румыния литерарэ», Адела Мэркулеску прекрасно справилась с ролью «целительницы душ».

На снимке: Адела Мэркулеску в фильме «Кто любит и бросает...».

(Еженедельник «Румыния литерарэ»)



международных премий, а Ванде Янубовской была присуждена Премия Всемирного Совета Мира.

Ведущая тема последующих фильмов режиссера («Солдат победы», «Конец нашего мира», «Горячая линия») — борьба за гуманистические идеалы, за создание народной Польши.

В связи с 75-летием старейшего мастера кино был устроен вечер, на котором польские кинематографисты приветствовали свою коллегу, ей были зачитаны многочисленные поздравления.

## СИРИЯ

### «СКАЛА ГОЛАНА»

Как сообщает газета «Аль-Иттихад» (г. Хайфа), Союзом арабских писателей в Дамаске выпущен роман известного сирийского прозаика и драматурга Али Окли Арсана под названием «Скала Голана».

Это широкомасштабное произведение (в романе около 2 тысяч страниц) рассказывает о героической борьбе сирийцев — солдат регулярной армии и простых крестьян — против израильских оккупантов, захвативших принадлежащие Сирии Голанские высоты.

Как говорится в предисловии к роману, в его основу положены подлинные события и факты.

### «СТРЕЛА И КРУГ»

«Стрела и круг — введение в сирийскую новеллистику пятидесятих и шестидесятых годов — так называется книга, написанная лите-

ратуроведом Мухаммедом Кямилем аль-Хатыбом. Она посвящена проблемам развития сирийской прозы.

Книгу выпустило издательство «Дар аль-Фараби» в серии «Критические исследования».

## США

### ЮБИЛЕИ РОМАНА

В связи с тридцатилетием со дня выхода знаменитого романа негритянского писателя Ральфа Эллисона «Человек-невидимка», признанного одним из наиболее значительных произведений американской литературы XX века, издательство «Рэндом хаус» выпустило юбилейное его издание. За три десятилетия этот роман выдержал тридцать семь изданий, был переведен на пятнадцать языков. Сегодня он входит в программу всех гуманитарных колледжей и университетов США.

Жизнь героя романа «Человек-невидимка», талантливого молодого человека, негра, выходящего с Юга, искалечена сознанием того, что Америка не «видит» его, отрицает его право на полноценную жизнь. Источником своего творчества Ральф Эллисон всегда называл американскую литературу — от Твена к Мелвиллу и Фолкнеру — и фольклор.

— Я считаю себя американским писателем, — сказал он в интервью газете «Интернэшнл геральд трибюн». — Негритянская литература и американский фольклор, вливаясь в литературу США, становятся частью великой мировой литературы. Литература не различает цвета кожи, ее нужно оценивать лишь с точки зрения ее общечеловеческой значимости.

Член Американского института искусств и литературы, член Американской Академии искусств и науки, бакалавр философии и литературы, Ральф Эллисон много лет преподавал американскую и русскую литературу в США и других странах. За прошедшие тридцать лет писатель опубликовал несколько отрывков из своего незаконченного второго романа. Летом 1967 года 300 страниц рукописи сгорели при пожаре в доме писателя.

— После этого я начал переделывать некоторые сюжетные линии, — рассказал он. — У меня собрался огромный материал — и тот, что не вошел в роман «Человек-невидимка», и новый. Но я очень осторожен в отношении предварительных публикаций... По количеству написанных страниц новый роман может быть трилогией. Действие его происходит в XX веке... По стилю



он отличается от моей первой книги...

Писатель не уточнил срока, когда он собирается передать рукопись издателю. Но в заключение беседы Ральф Эллисон, которому сейчас 68 лет, сказал:

— Если я хочу оставить по себе память как о романисте, мне нужно спешить.

## НОВЫЙ РОМАН ИРВИНА ШОУ

Служащий известной книжной фирмы Роджер Дамон в три часа утра разбужен телефонным звонком. В трубке звучит незнакомый мужской голос. Мужчина, назвавшись «мистером Заловски», сообщает измученному Роджеру, что его ждет суровая расплата — он заплатит собственной жизнью за все несчастья, которые он, Роджер Дамон, причинил когда-то близким ему людям...

Так «закругивается» сюжет нового романа известного американского прозаика Ирвина Шоу «Восполнимые утраты». По словам рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», в этой книге «Шоу удачно совмещает занимательную загадочность напряженного сюжета с глубокой серьезностью семейно-бытового психологического романа — то, что он уже однажды сумел сделать в «Богаче, бедняке...» («ИЛ», 1980, № 8—11).

Таинственный ночной звонок буквально переворачивает все представления Дамона о самом себе. Он невольно обращается к своему прошлому, пытается — теперь уже в воспоминаниях — прожить свою жизнь заново. Парадоксальность созданной Шоу ситуации, отмечает рецензент, в том, что его герой — почти что «идеальный». Ему присущи все лучшие качества хемингуэвского «кодекса чести»: отвага, честность, душевная твердость, готовность пойти на риск во имя друга. Во всяком случае, так казалось самому Дамону, пока ему не позвонил «мистер Заловски». Теперь же, присмотревшись к себе как бы со стороны, он вдруг начал понимать, с какой беззаботностью относился ко многим своим друзьям, с какой легкостью терял людей, которые его любили, — быстро смиряясь и утешая себя мыслью о том, что это все «восполнимые утраты»...

В этой книге, примыкающей к таким недавним его романам, как «На вершине» (1979), «Пустая хлеб по водам» (1981), Шоу по мнению рецензента, продолжил разработку «своей» темы, показывая кризисные явления в духовной жизни сегодняшней Америки, беспощадно воссоздавая тягостную атмосферу опустошенного и банального, хотя внешне и «благополучного» существования представителей американского среднего класса.

## ТУНИС

### «ДВИЖЕНИЕ И ЗАКАТ СОЛНЦА»

Журнал «Аль-Изаа ва-т-таляфаза», издаваемый управлением радио и телевидения Туниса, опубликовал рецензию критика Хамиды ас-Сули на новый роман писателя Мохаммеда Аль-Хади Бен Салеха «Движение и закат солнца».

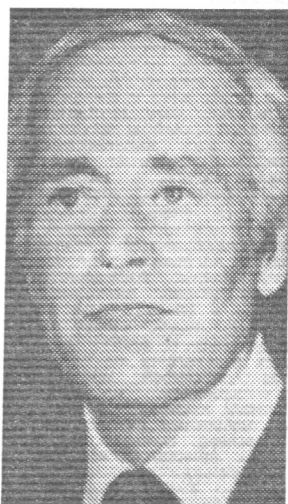
Мохаммед Аль-Хади Бен Салех — молодой, но уже достаточно широко известный прозаик — новеллист и романист. Его первая книга — сборник рассказов «Цветные нольца» — вышла в 1975 году. Вслед за тем он опубликовал роман «В лагуне» (1976), написанный им еще в 60-е годы. (Герой этого романа — молодой человек, выходец из «низов», добивающийся успеха в служебной карьере, но терпящий в конце концов жизненный крах из-за сословных предрассудков и социальных барьеров.) В 1980 году вышла историческая повесть Бен Салеха «Тело и палка», рисующая борьбу крестьян Южного Туниса против феодального произвола в эпоху правления бев (XIX в.).

Действие нового романа Бен Салеха разворачивается в 70-е годы. Его главный герой — бывший крестьянский парень из юнотунисской деревни, ценой огромных

В некрологах, посвященных памяти Генри Фонды, пресса единодушно называет его «прототипом американского героя» «Он бесспорно один из лучших американских актеров нашего века», — сказал о нем его соотечественник и коллега, известный актер Чарльтон Хестон. В юности Генри Фонда оставил журналистику ради театра и кино, работу в которых прервал лишь во время второй мировой войны, когда ушел воевать. Он оставался актером до последнего дня своей жизни, несмотря на тяжелую болезнь сердца, которая помешала ему в 1981 году лично получить премию Оскара, ее получила за него его дочь Джейн Фонда. «Разве вы не понимаете, — говорил Генри Фонда, — игра для меня лучше всяких лекарств».

На снимке: Генри Фонда (в центре) в двух самых знаменитых своих ролях — Тома Джоуда в «Гроздьях гнева» (слева) и Кларенса Дарроу в «Двенадцати разгневанных мужчинах».

(Газета «Интернешнл геральд трибюн»)



усилий получивший университетское образование и ставший преподавателем. По ложному обвинению он попадает в тюрьму, выйдя из которой становится безработным. Он пытается заняться торговлей, пускается на разные аферы и в конце концов попадает на самое «дно», живет в содержании своих любовниц, проститутки. Совершив преступление, он снова оказывается в тюрьме.

По мнению критика, образ главного героя романа типичен для определенной категории тунисских интеллигентов «очень близкого к нам периода». В романе дается панорама тунисской общественной жизни 70-х годов, затрагиваются события, происходившие в то время в других странах, в частности палестинское движение.

В одном из последних номеров журнала «Кысас» было опубликовано интервью Бен Салеха с его коллегой по перу новеллистом Ахмедом Мемму. Писатель ответил на вопросы Мемму о значении социальных факторов в его произведениях (он их назвал «определяющими»), поделился своими взглядами на будущее тунисской новеллистики. Бен Салех, в частности, сказал, что в стране имеется «группа талантливых и образованных новеллистов, преисполненных веры в свои творческие возможности, они не подавляют их, ссылаясь на притеснения или обиды. Эти люди — будущее тунисской новеллистики, вот кто создаст настоящие основы для ее развития».

## ФИНЛЯНДИЯ

### ТОЛСТОЙ НА ФИНСКОЙ СЦЕНЕ

Драматический театр в Хельсинки «Васа-театер» по праву считается одним из лучших в стране. Как пишет театральный критик газеты «Ню тид» Петер Лодениус, спектакли театра всегда создают особую атмосферу тепла и человечности. Это объясняется и тщательным отбором репертуара, и необыкновенной слаженностью труппы. Актеры «Васа-театер» — это поистине одно целое, настоящая ансамбль.

Недавно «Васа-театер» вновь порадовал своих читателей — известный финский режиссер Марьяана Кастр поставила «История лошади» (пьеса Марка Розовского по повести Л. Н. Толстого «Холстомер»). По словам режиссера, финским создателям спектакля хотелось поставить пьесу «об уважении и старости, о безграничности человеческого терпения, об истории странствования человека по земле от самого его рождения до смерти».

Петер Лодениус восторженно отзывается о спектакле. Немалую роль в создании «удивительно прономенного рассказа о человеческой жизни» сыграли наряду с режиссером художник Грета Торсдоттир и хореограф Улла Коивист. Успех постановки был бы просто невозможен без талантливой игры Ульфы Тюрнрота — исполнителя главной роли.

## ФРАНЦИЯ

### КНИГА ОБ АЛЖИРСКОЙ ВОЙНЕ

В 1982 году отмечалось двадцатилетие окончания последней колониальной войны, которую вела Франция в Алжире. В связи с этой датой вышло несколько книг, в том числе и художественных произведений. Их авторы — главным образом бывшие участники этой войны — вспоминают о пережитом, по-новому, с сегодняшних позиций оценивают события прошлого. Одна из наиболее читаемых в нынешнем литературном сезоне книг на эту тему — роман Клода Клотца «Призывники». Автор — популярный романист, пишущий в самых разных жанрах от дешевых полицейских и поверхностных исторических до тонкой психологической прозы, которую он публикует под псевдонимом Патрик Ковэн.

Хотя «Призывники» вышли под собственным именем автора, которым он обычно подписывает свои книги развлекательного характера, этот роман далек от массовой дешевой литературы. В нем речь идет о буднях алжирской войны в 1959 году. Книга написана серьезно, взволнованно, искренне, в ней явно присутствуют автобиографические мотивы.

Главный герой романа Берлье, как и сам автор, в прошлом школьный учитель, не приспособлен к военной службе — хилый, близорукий, неловкий, он живет в мире книг и мечтаний. Постепенно ему открывается чудовищный и античеловечный мир колониальной войны, он осознает ее несправедливость, начинает лучше понимать сложность реального мира и приходит к необходимости занять в нем определенную общественную позицию. Интеллигенту Берлье противостоят ловкач Жино, который до службы в армии был мелким торговцем, умеет приспособиться к любой обстановке и извлечь из нее выгоду; военный врач Дебар — выходец из семьи крупных буржуа, убежденный защитник колониального режима, человек крайне правых взглядов, жестокий и несправедливый; священник отец Барре — наивный, простодушный и недалекий, слепо верящий в бога и в

разумность всего, что происходит. Все персонажи наделены четкой социальной характеристикой, их судьбы показаны на фоне представленной без прикрас алжирской войны с пытками во французских застенках и жестокостями в отношении арабов.

Несмотря на некоторую затянутасть монологов и диалогов персонажей и порой чрезмерно подробный рассказ о любовных приключениях героев, в целом книга, по мнению критика газеты «Монд», является лучшим произведением Клода Клотца и дает живое и яркое представление об алжирской войне.

### ТРИСТА ТОМОВ «ПЛЕАДЫ»

Издательство «Галлимар» недавно отметило 50-летие с начала выхода своей знаменитой и самой престижной во Франции серии «Плеяды», в которой издано к середине 1982 года ровно триста томов классиков отечественной и иностранной литературы. В нее вошли также отдельные наиболее крупные авторы XX века.

Светлые изящные томки, напечатанные на тонкой бумаге самого высшего качества, завоевали любовь читателей не только своим внешним видом, но и высоким уровнем подготовки публикуемых текстов, снабженных интересными и глубокими предисловиями ведущих специалистов и подробным историко-литературным комментарием. Именно в этой серии было опубликовано самое полное научное издание «Человеческой комедии» Бальзана, осуществленное крупнейшим французским балзакведом Жоржем Кастенсом и тридцатью его сотрудниками. Престиж и значение «Плеяды» так высоки, что попасть в ее серии для современного писателя означает получить наивысшее литературное признание, как бы оная оказалась на «пьедестале почета».

Задумал «Плеяду» и начал ее выпускать еще в 1931 году молодой издатель Жак Шиффрин, который хотел, чтобы книги классиков, выходящие до того времени в основном в виде увесистых фолиантов, стали бы достоянием широкого читателя, были бы меньше по объему, приятнее на взгляд, удобнее для чтения. Шиффрин смог опубликовать только две книги и перешел вместе с «Плеядой» в «Галлимар»: это издательство и придало ей современный вид. После войны помимо классиков в серию стали включать произведения писателей XX века. Так еще при жизни авторов в «Плеяде» вышли «Дневники» Андре Жида, романы Роже Мартен дю Гара, Андре Мальро, пьесы Поля Клоделя и Поля Монрелана, полное собрание сочинений поэта Сен-Жона Перса. По-

смертно были опубликованы в «Плеяде» Мориак, Камю, Сартр.

С 1956 года в эту серию стали включать и произведения иностранных писателей XX века. В «Плеяду» вошли сочинения Хемингуэя, Фолкнера, Кафки, Лорки, Джойса. Именно первый том собрания сочинений Джойса и стал 300-й книгой серии.

## ФРГ

### «ПИСЬМО ЛОРДУ ЛИСТУ»

Так называется новый роман известного западногерманского писателя Мартина Вальзера. С героем его, Францем Хорном, читатель уже встречался в романе «По ту сторону любви».

Некогда правая рука своего шефа, Франц Хорн теперь вынужден уступить свое место в фирме новому человеку, которого сослуживцы зовут «лорд Лист». Эта ситуация «знакома многим в наш негероический век», — пишет, рецензируя роман в журнале «Шпигель», критик Хельмут Каразек.

Роман написан в форме письма Листу. Франц Хорн задним числом как бы пытается объяснить с удачливым соперником. Он мысленно перебирает минувшие события, находит убедительные слова, доводы, проявляет немало проницательности, честности, даже мужества в оценке самого себя — но при этом знает, что письмо это никогда не будет отправлено адресату. «В конце концов, нужно все высказать», — в этой его фразе «есть нечто от самотерапии», замечает рецензент.

По мере того как Хорн углубляется в происшедшее, ему постепенно самому становится ясно, что человек, вытеснивший его из иерархии фирмы, назвавшийся ему таким грозным и самоуверенным, на самом деле тоже слаб и уязвим. Шеф вскоре сменит и его, как сменил уже Франца Хорна. Но и это не будет по существу означать ничьей победы, потому что сама фирма во главе с шефом окажется поглощена гигантским многонациональным концерном, и будущее никому не сулит добра.

В личной жизни Лист тоже оказывается несчастным. У него сложные проблемы с женой, он давно пьет, только до поры до времени ему удавалось скрывать свои запои. В сущности, они с Хорном оба несчастны, у них нет оснований для счетов, зависти или торжества друг перед другом. «Впечатление такое, — пишет Хельмут Каразек, — будто два беззубых пса рычат друг на друга, оспаривая участок, давно уже покинутый хозяином. Но если вдруг они перестанут лаять, придется

признать, что много лет они старались впустую».

Эта нота жалости дает рецензенту основание заметить: «При всей своей острой наблюдательности Вальзер все-таки милостивый сатирик. Если бы он писал «Путешествия Гулливера», диллипуты у него были бы на несколько сантиметров выше, а кожа у великанш не такая пористая».

### ФИЛЬМ О ШУМАНЕ

В ФРГ начались съемки фильма, посвященного жизни немецкого композитора Роберта Шумана. Его ставит известный западногерманский режиссер Петер Шамони.

Действие фильма охватывает 12 лет, самых сложных в жизни Шумана, исполненных борьбы за свое творческое признание и любовь молодой пианистки Клары Вик, которая стала в 1840 году его женой.

Роль Клары Вик исполняет молодая актриса Настасия Кински, известная советским зрителям по фильму «Тасс». Дочь известного западногерманского актера Клауса Кински, она дебютировала в кино школьницей, создав запоминающийся образ бродячей циркачки Миньоны в фильме Вима Вендерса «Ложное движение», являющемся вольной экранизацией романа В. Гёте «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Затем молодая актриса была приглашена в Голливуд, где сыграла в двух фильмах. Роль Клары Вик — пятая работа



На снимке: Настасия Кински — исполнительница роли Клары Вик.

(Журнал «Фильм»).

в кино этой 20-летней актрисы. Роль Шумана исполняет начинающий актер Герберт Гренемайер.

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Я. ГАШЕКА

Издательство «Чехословацки списовател» выпустило в свет последний, шестой, том «Избранных сочинений» Ярослава Гашека. Издание

Художник Зденек Филип широко известен в Чехословакии как автор политических плакатов и книжных иллюстраций. Особенно любовно работает он над книгами для детей, стремясь донести до юных читателей не только внешний облик героев, но и их психологию, и общий замысел автора. Много и успешно иллюстрирует художник книги советских писателей.

На снимке: иллюстрация Зденека Филипа к книге Аркадия Гайдара «Школа».



приурочено к столетию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться в 1983 году.

Газета «Руде право» посвятила этому событию большую статью, где отмечается важность завершения издания и подчеркивается, что данное, третье по счету, собрание сочинений более широко по сравнению с предыдущими отражает творчество писателя. В «Собрание» вошли 400 юмористических рассказов, фельетонов, очерков, политических памфлетов и принесший Я. Гашеку мировую славу роман «Похождения бравого солдата Швейна».

## ШВЕЦИЯ

### БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

Со смертью Ингрид Бергман мировое кино потеряло большую актрису, которой, по мнению рецензента газеты «Ланд оф фольк», предстояло долгое, плодотворное «бабье лето», обещающее новые, значительные роли. Заявив о себе в мире кино еще до второй мировой войны,



Ингрид Бергман снялась в ряде картин, принесших ей известность. Среди лент, знакомых советскому зрите-

лю,— «Осенняя соната», последний фильм с участием Ингрид Бергман, созданный ее прославленным соотечественником режиссером Инмаром Бергманом.

## ЮГОСЛАВИЯ

### ПРЕМИЯ — КРИТИКУ И ПЕРЕВОДЧИКУ

Решением Президиума Союза писателей Хорватии Международная премия «Юлие Бенешич» за 1982 год присуждена советскому критику и переводчику Н. М. Вагаповой.

Премия носит имя видного хорватского театрального деятеля и переводчика Юлие Бенешича (1883—1957). Она присуждается ежегодно «за активную работу по пропаганде и освещению югославской литературы в мире и за выдающиеся достижения в деле перевода литературы народов Югославии в других странах».

# Авторы этого номера

**ЯРОМИРА КОЛАРОВА — JAROMIRA KO-LÁROVÁ** (род. в 1919 г.). Чешская писательница, сценарист. Начиная литературную деятельность в довоенные годы как критик и публицист. Ее первая новелла «Я писала для тебя» («Psala jsem pro tebe») появилась в 1946 г. В последующие годы вышли романы «Лишь о делах семейных» («Jen o rodinných záležitostech», 1964), «Мой мальчик и я», главы из которого печатались в «Иностранной литературе» (1975, № 1), «Наш маленький, маленький мир» («Náš malý, docela malíčký svět», 1977), сборник рассказов «Спокойной ночи, разум!» («Dobrou noc, rozumě!», 1972). Я. Коларовой принадлежат также книги для детей, пьесы, сценарии для кино и телевидения.

На русский язык переведены повесть «О чем не сказала Гедвика» («ИЛ», 1979, № 2), роман «Наш маленький, маленький мир», книга для детей «Дома на зеленом лугу». Роман «Вода!», из которого печатаются предлагаемые главы, вышел в 1980 г. («Voda!», Ostrava, Profil, 1980).

**АНДРИЯНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ** (род. в 1936 г.).

Советский журналист. Автор ряда публицистических книг и сборников очерков. Лауреат премии имени Юлиуса Фучика Союза журналистов ЧССР.

**ЗИМЯНИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА**

Советский переводчик с чешского. Переводила произведения Я. Риски, В. Стибловой, М. Стингла, Я. Гашека.

**ВАШКУ КАБРАЛ — VASCO CABRAL** (род. в 1926 г.).

Поэт и государственный деятель Республики Гвинея-Бисау. Получил высшее экономическое образование в Лиссабонском универ-

ситете. Автор ряда работ по вопросам экономики и политики.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Борьба — моя весна» («A luta e a minha primavera», 1981).

**УРСУЛА ХОЛДЕН — URSULA HOLDEN** (род. 1921 г.).

Английская писательница. Живет в Лондоне. Ее первый роман «Бесконечная гонка» («Endless Race») увидел свет в 1975 г. Затем вышли романы «Кони из одной конюшни» («String Horses», 1976), «Турникеты» («Turnstiles», 1977), «Ловцы облаков» («Cloud Catchers», 1979), «Спой об этом» («Sing About It», 1982).

Мы знакомим читателей с творчеством У. Холден, публикуя роман «Узы денег» («Penny Links». London, Eyre Methuen, 1981).

**ЧУГУНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ** (род. в 1916 г.).

Советский переводчик с английского, литературовед. В его переводе издавались романы американских писателей Дж. О'Хары «Дело Локвудов», Ирвина Шоу «Вечер в Византии», Ш. Э. Грау «Кондор улетает», Д. Халберстэма «Один очень жаркий день», повесть английского писателя Дж. Фаулза «Башня из черного дерева». роман индийской писательницы К. Маркандайя «Ярость в сердце» и др.

**ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ — EUGENIO MONTALE** (1896—1981).

Итальянский поэт. Лауреат Нобелевской премии. Автор поэтических сборников «Панцири каракатицы» («Ossi di seppia», 1925), «Обстоятельства» («Le occasioni», 1939), «Финистерре» («Finisterre», 1943), «Буря и другое» («La bufera e altro», 1956), «Сатура» («Satura», 1971), «Дневник 71-го и 72-го» («Diario del '71 e del '72»), «Тетрадь за четыре года» («Quaderno di quattro anni», 1977), а также книги новелл «Динарская

бабочка», из которой взяты публикуемые рассказы («Farfalla di Dinard», Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1960).

«Иностранная литература» неоднократно обращалась к творчеству Эудженио Монтале. Подборки его стихов напечатаны в 1958, № 5; 1967, № 2; 1973, № 1; 1976, № 7 и др.

#### ПЕТРИКОВСКАЯ АЛЛА САВЕЛЬЕВНА

Советский литературовед и критик, кандидат филологических наук. Автор книг и статей по литературе и культуре Австралии, Новой Зеландии и развивающихся стран Океании. Подготовила ряд советских изданий литературы этого региона, в том числе первые произведения писателей-аборигенов.

**ЭЙДЛИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ** (род. в 1910 г.).

Советский литературовед и переводчик; заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, профессор. Автор книг и статей о китайской литературе, китайском театре и художественном переводе. Л. Эйдлину принадлежат переводы китай-

ской и вьетнамской классической и современной поэзии.

**СААДИ АЛЬ-МАЛЕХ** (род. в 1951 г.).

Иракский прозаик, ассирец по национальности, пишущий по-арабски. Автор сборников коротких рассказов «Тени фальшивые и настоящие» (1971), «Чужой у себя дома» (1973). В периодике арабских стран в разные годы печатались в переводах С. Малеха произведения советских писателей Чингиза Айтматова, Нодара Думбадзе, Анара.

«Бейрутский дневник» публикуется по рукописи, предоставленной автором журналу.

**ЛУКА ГОЛЬДОНИ — LUCA GOLDONI** (род. в 1928 г.).

Итальянский журналист и писатель-сатирик. Автор нескольких книг рассказов, юморесок, очерков.

Предлагаемые рассказы взяты из сборников «Сошлись на меня» («Di'che ti mando io», Milano, Mondadori, 1976) и «То есть» («Cioè», Milano, Mondadori, 1977).



---

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. А. КУДРЯВЦЕВА**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ**, **Л. З. ЭЙДЛИН**.

Художественный редактор **С. И. Мухин**.

Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,  
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 08.12.82. Подписано в печать 21.01.83. А 01515. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 27,3

Тираж 380.000 экз. (1-й завод: 1—340.000 экз.). Зак. 4211.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.





ТИМЕРШАХ ФАРУХ. Афганки в паранджах. 1982





С. 121. Рукопись в музее А. Сулеймановского